Цена 1 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“
МОСКВА, Центр, М. Черкасский пер., 3/4.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
на ежемесячный философский и общественно-эконом. журнал

„Под Знаменем Марксизма“

7-й год издания.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“ ставит перед собой задачу защиты ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

В своей статье, ставшей для журнала программной, В. И. Ленин подчеркивал боевое для дела революции значение поставленных перед журналом задач и его величайшую необходимость, как идейного проводника воинствующего материализма.

В наши дни, когда к этим, намеченным В. И. Лениным, задачам журнала прибавилась еще важнейшая задача — борьба с ревизией основ марксизма и ленинизма, значение журнала возросло еще более.

В журнале принимают участие видные марксисты, коммунисты и беспартийные ученые материалисты.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“ имеет постоянные отделы: Ленин и ленинизм, актуальные проблемы философии диалектического материализма, история материализма, современные течения философской мысли, исторический материализм, статьи по вопросам теоретической экономии, статьи по теории советского хозяйства, история социализма, вопросы литературы, искусства в материалистическом освещении, психология и марксизм, диалектика и естествознание, дискуссионный отдел, критика и библиография, отдел переписки с читателями, сообщения и заметки.

— „ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“ рассчитан на активных работников партии, преподавателей и слушателей комвузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 1 мес. — 1 р. 50 к., 3 мес. — 4 р. 25 к., 6 мес. — 8 р., 12 мес. — 15 р.

Цена отдельного номера 1 р. 50 к.

Подписную плату надлежит переводить по адресу: Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“. Москва, Центр, М. Черкасский, а также во все отделения издательства.

23840

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3
МАРТ

HOOVER WAR LIBRARY

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА — 1-9-2-8

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА"

ежемесячный философский и общественно-экономический журнал

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимова, М. Н. Покровского, Я. Э. Стэна, А. К. Тимирязева, А. Я. Троицкого. Отв. редактор А. М. Деборин.

В журнале принимают участие:

И. Агол, И. Альтер, А. Айхенвальд, Арк. А—н, В. Асмус, В. Астров, З. Атлас, Гр. Баммель, А. Бартенев, Я. Берзтыс, А. Болотников, В. Борзенко, Б. Борилин, Н. Бухарин, В. Ваганян, И. Вайнштейн, П. Виноградская, А. Вишневский, А. Вознесенский, Р. Выдра, Б. Выропаев, Б. Гессен, С. Гоникман, Б. Горев, И. Дашковский, А. Деборин, Ш. Дволанцкий, Г. Дмитриев, Дубровский д-р, Ф. Дучинский, Мих. Дынник, В. Егоршин, Б. Завадовский, Г. Зайдель, Н. Звенигородцев, Л. Зивельчинская, П. Ионов, Ф. Капелюш, Ник. Карев, В. Кирпотин, Б. Козо-Полянский, В. Колоколкин, К. Корнилов, А. Кон, Ст. Кривцов, И. Куразов, М. Левин, Н. Ленцнер, Б. Лившиц, Н. Лукин-Антонов, И. Луппол, А. Максимов, Дм. Марецкий, акад. Н. Марр, Л. Мендельсон, К. Милонов, В. Милютин, Я. Мирошкин, Ф. Михалевский, С. Моносов, В. Невский, И. Орлов, Е. Пашуканис, В. Позняков, В. Полянский, М. Покровский, Н. Разумовский, Я. Розанов, М. Рубинштейн, Н. Рубинштейн, Д. Рязанов, И. Сапир, П. Сапожников, Н. Саргин, А. Серебровский, А. Слепков, Вас. Слепков, Ю. Стеклов, И. Степанов, А. Столяров, П. Стучка, Я. Стэн, А. Тальгеймер, Ф. Тележников, А. Тимирязев, А. Троицкий, Г. Тымянский, А. Удальцов, Ю. Франкфурт, Ц. Фридлянд, В. Фриче, З. Цейтлин, Г. Шмидт и др.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 48. Тел. 4-84-21.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

Не принятые рукописи не возвращаются.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 3

МАРТ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1928

Главлит № А—12791 Тираж 4.000

Тип. газеты „Правда". Москва, Тверская, 48.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Ю. Стеклов.—Этическая система Чернышевского 5
С. Яновская.—Категория количества у Гегеля и сущность математики 30
Э. Лурье.—Младо гегельянцы и Фейербах 72

И. Рубин.—К вопросу об общественном абстрактном труде (отв. на критику С. Шабса) 99
З. Атлас.—Роль кредита и границы кредитной экспансии при капитализме (окончание) 126

Рудольф Гаус.—Социал-демократия и военный вопрос 167

И. Аіол.—Неовитализм и марксизм 202

Критика и библиография.

Обзор текущей иностранной литературы 238
А. Реузль.—И. И. Рубин. Современные экономисты на Западе 249
В. Позняков.—Д. Розенберг. Программа по политической экономии 255
Ю. С.—Л. Иванов. Англо-французское соперничество 1919—1927 гг. 260

Сообщения и заметки.

В. Миллер.—Письмо в редакцию 263
С. Раевич и *Ф. Вольфсон.*—В редакцию „Под Знаменем Марксизма 264
И. Разумовский.—„Вынужденный ответ" 265
Условия приема в институт красной профессуры на 1928—29 учебный год на подготовительное отделение 266

Этическая система Чернышевского [1]).

Ю. Стеклов.

1. Основоположники материалистической этики.

В тесной связи с материалистической философией Чернышевского находятся его взгляды на нравственность. Желая выбить идеализм из этой важной позиции, Чернышевский построил систему морали, основанной, по его словам, на точных данных науки и соответствующей действительной «природе человека». Мы говорим о теории «разумного эгоизма», столь популярной среди шестидесятников-«реалистов» и вызывавшей столько недоумений. Эту теорию Чернышевский построил, исходя из данных естествознания, из философии Фейербаха, из утилитаризма Бентама и Дж. Ст. Милля и из материалистической этики просветителей XVIII века, для того чтобы противопоставить ее этике идеалистов сороковых годов.

Этика Чернышевского непосредственно примыкает к этике Фейербаха; скажем поэтому несколько слов о последней. Как замечает Энгельс [2]), этика Фейербаха по форме реалистична, по существу же своему совершенно абстрактна. Исходным пунктом является для него человек, но он ничего не говорит о том мире, в котором живет этот человек, и потому моральный человек Фейербаха остается у него абстракцией, лишенной исторического содержания. Правда, у Фейербаха попадаются отдельные замечания относительно классового и исторического характера морали, но на общий характер этических построений Фейербаха эти замечания не оказывают никакого влияния. Его этическая система прежде всего лишена социологического обоснования.

Человеку присуще стремление к счастью, говорит Фейербах, и это стремление должно быть положено в основу морали. Чтобы удовлетворить свое стремление к счастью, человек должен правильно оценивать последствия своих поступков, а с другой стороны—уважать одинаковые стремления других людей. Разумное самоограничение и любовь к ближним—таковы основные правила фейербаховской морали.

В письме от 11 апреля 1877 года из Вилюйска Чернышевский, заговорив о «способности человеческой натуры к бескорыстной любви» и указав, что большинство руководится «своекорыстными интересами», ссылается по вопросу о «мотивах человеческой деятель-

[1]) Извлечено из первого тома моей книги «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность». Ю. С.

[2]) Энгельс, От классического идеализма и пр., стр. 35 и сл.—Энгельс зло высмеивает этику Фейербаха, утверждая, что по его морали биржа—высший храм нравственности, если только спекуляция ведется с правильным расчетом. Это, конечно, полемический прием, но он удачно вскрывает абстрактность и неисторичность фейербаховской морали.

ности» на одно из примечаний к «Лекциям о религии» Фейербаха [1]). Н. Русанов полагает, что речь идет о примечании [2]). Вот что там сказано по интересующему нас предмету.

В действительности, говорит Фейербах, люди вообще действуют по совершенно иным мотивам, чем они это представляют себе в своем религиозном воображении. Мораль и право базируются на любви к жизни, на интересе, на эгоизме. Различие между правдой и неправдой, добром и злом, служащее источником морали и права, вовсе не устраняется с исчезновением религии.

Итак, в основе морали лежит эгоизм. Какой же эгоизм имеет в виду Фейербах? На это он сам отвечает: «Не тот ограниченный эгоизм, к которому одному обыкновенно прилагают это имя, но который является лишь одною, хотя и самою вульгарною, его разновидностью, но тот эгоизм, который включает в себя столько же видов и родов, сколько вообще существует видов и родов человеческого существа, ибо имеется не только одиночный или индивидуальный эгоизм, но также и эгоизм социальный, семейный, корпоративный, общинный, патриотический [3]). Конечно, эгоизм есть причина всех зол, но также и причина всех благ, ибо кто иной, как не эгоизм, вызвал к жизни земледелие, торговлю, искусства и науки? Конечно, он—причина всех пороков, но также и причина всех добродетелей, ибо кто создал добродетель честности? Эгоизм—запрещением воровства. Кто создал добродетель целомудрия? Эгоизм—запрещением прелюбодеяния, эгоизм, который не желает делиться предметом своей любви с другими. Кто создал добродетель правдивости? Эгоизм—запрещением лжи, эгоизм, не желающий быть оболганным и обманутым. Таким образом эгоизм есть первый законодатель и первая причина добродетелей, хотя бы только из вражды к пороку, только из эгоизма, только потому, что для него является злым то, что для меня является пороком, как и, наоборот, что для меня есть отрицание моего эгоизма, то для другого есть утверждение, что для меня есть добродетель, то для него есть благодеяние».

На возражение, что мораль должна основываться на религии, на божественном, как на чем-то прочном и извечном, иначе она потеряет всякий авторитет и всякую устойчивость, Фейербах отвечает, что существо человека вовсе не есть нечто относительное и ненадежное, а напротив, при всем бесконечном разнообразии его основных влечений, есть нечто себе равное, надежное, даже чувственно достоверное. Все дело в натуре данного человека. «Если ты — не подлая, а благородная натура, если ты и в самом деле человек, а не зверь, то ты и без страха перед богом и людьми найдешь в себе достаточно мотивов, которые удержат тебя от постыдного дела. Я назову прежде всего чувство чести [4]).

Сюда же относится и дополнение к примечанию 27 (цит. соч., стр. 383—384), где Фейербах говорит о взвешивании человеком своих поступков и о выборе между разными решениями. «Человек в самом себе делает различия,—он ведь сам явственно состоит из отличающихся друг от друга и даже противоположных органов и сил,—но то, что он в самом себе отличает, в такой же мере принадлежит к его ин-

[1]) «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 125—127.
[2]) Н. Русанов, Чернышевский в Сибири, «Рус. Богатство» 1910 г. № 5, стр. 182.
[3]) В этой фразе курсив мой.—Ю. С.
[4]) Фейербах, Сочинения, т. III, М. 1926, стр. 333—337.

дивидуальности, в такой же мере является составной частью ее, как и то, от чего он это отличает. Если я борюсь с какой-либо наклонностью, то разве та сила, при помощи которой я борюсь, не является в такой же мере силою моей индивидуальности, как и моя наклонность, только силой особого рода? [1]). Голова, местопребывание интеллекта, есть нечто совершенно иное, чем живот, местопребывание материальных страстей и потребностей. Но распространяется ли мое существо лишь до пупка, а не до головы? Есть ли только содержание моего чрева—содержание моей индивидуальности? Разве Я в голове уже больше не Я? Не обнаруживается ли мое Я более всего там? Разве мышление не есть индивидуальная деятельность, «индивидуальное состояние»? Почему же в таком случае оно заставляет меня так напрягаться? Не является ли голова мыслителя, т.-е. человека, который делает индивидуальную деятельность мышления своей главной и характерной для него задачей, отличной от немыслящей головы? Или вы, быть может, полагаете, что Фихте философствовал в противоречии со своей индивидуальной наклонностью, что Гете и Рафаэль творили в противоречии с их индивидуальными наклонностями?» [2]).

Фейербах в вопросе о морали имел своих предшественников. В этой области, как и в других, его задолго предупредили французские материалисты XVIII века, которые вслед за английскими сенсуалистами [3]) пытались создать материалистическую систему морали, основанную на принципе расчетливого эгоизма [4]).

По поводу этических учений французских материалистов Маркс в «Святом семействе» замечает: «У Гельвеция, тоже исходившего из Локка, материализм получает настоящий французский характер. Он непосредственно применяется к общественной жизни (Helvetius — «De l'homme»). Впечатления, получаемые внешними чувствами, себялюбие, наслаждение и правильно понятый личный интерес составляют основу морали. Природное равенство человеческих духовных способностей, единство успехов разума с успехами индустрии, природная доброта человека, всемогущество воспитания, — вот главные моменты его системы... В «Système de la nature» Гольбаха часть, посвященная физике, также представляет собой соединение французского и английского материализма, теория же нравственности по существу опирается на мораль Гельвеция» [5]).

[1]) В сноске здесь сказано: «Может ли в самом деле индивидуум превзойти самого себя? Не есть ли это превзойдение лишь моя, только теперь созревшая, развившаяся индивидуальная сила или способность?».
[2]) Полнее Фейербах изложил свои этические взгляды в работе «О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли» (Сочинения, т. I), но мы здесь не цитируем ее, ибо она относится к 1863 — 1866 гг., т.-е. не могла быть известна Чернышевскому до ареста. Ниже мы приведем из нее пару мест, чтобы показать, насколько ответы Фейербаха и Чернышевского на ряд вопросов точно совпадали.
[3]) На то, что материалисты продолжали дело, начатое Локком, указывал уже Вольтер.
[4]) В упомянутой в предыдущем примечании работе Фейербах (стр. 192) ссылается на «Систему природы» Гольбаха для доказательства «правильной» мысли, что человек необходимо стремится к благосостоянию, а в другой раз (стр. 201) и ссылается на нее, и полемизирует с нею: «В согласии, но также и в противоположении с французской «Системой природы», потому, что как различна воля в зависимости от возраста и пола, так различна она и в зависимости от национальности, и, следовательно, французская и немецкая воля — не безразлично одна и та же». Ссылок, впрочем, у Фейербаха вообще мало; но это ничуть не меняет дела: основные свои взгляды он заимствовал у французских просветителей.
[5]) «Литературное наследие», т. II, стр. 271—272.

Действительно из всех просветителей Гельвеций больше всего занимался вопросами этики. Но и главный из них, Д. Дидро, также касался этих вопросов и тоже пытался заложить материалистические основы морали. С него мы и начнем.

Одной из первых работ Дидро был сделанный им в 1745 году вольный перевод «Опыта о заслугах и добродетели» Шефтсбери. Английский философ утверждал, что всемерное достижение своего счастия при помощи содействия счастью других и есть добродетель; противоположный образ действий есть порок, который приводит к собственному несчастью.

Дидро переносит сенсуализм и в область морали. Органы чувств являются источниками не только нашего познания, но и душевных переживаний. «Нет движения, которое бы не сопровождалось, которому бы не предшествовало или за которым бы не следовало страдание и удовольствие, и которое бы не имело в качестве постоянного начала потребность». Все действующее на наши чувства должно или нравиться, или не нравиться нам: первое мы назовем благом, и будем к нему стремиться; второе назовем злом, и будем его избегать.

Дидро последовательно отрицает свободу воли. Воля человека столь же обусловлена, как и разумение. Актов беспричинной воли не существует. Воля рождается из желания, обусловленного нашей физиологической организацией. А так как человек стремится к счастью, то из этого желания и возникает воля к тому или иному действию.

Стремление к счастью есть принцип человеческого существования, и все поступки людей в основе своей сводятся к нему.

Страсти, влекущие нас к удовольствию, сами по себе не являются порочными. Напротив, только сильные страсти способны подвинуть людей на великие дела (ср. сказанное выше Фейербахом об эгоизме как причине не только всех пороков, но и всех добродетелей). Страсти без разума это — паруса без кормчего, но разум без страстей это — король без подданных; одно без другого немыслимо, и наоборот.

Что нам говорит голос природы? — спрашивает Дидро. — Чтобы мы были счастливы. Нужно ли и можно ли ему сопротивляться? Нет. Наиболее добродетельный и наиболее испорченный человек одинаково подчиняются ему. Правильно, что природа говорит с нами на разных языках. Но пусть все люди сделаются просвещенными, и она заговорит со всеми на языке добродетели.

Добродетель есть справедливость. Общее благо должно быть высшим правилом нашего поведения. Добиваясь счастья для себя, мы должны добиваться его для других. Целое с его благом выше отдельного лица [1]).

Человеческие действия обусловливаются природой человека. «Если же предположить, что люди созданы таким образом, что они не могут жить, не оказывая друг другу поддержки, то ясно, что их действия целесообразны или нецелесообразны, смотря по тому, приближаются ли они или удаляются от этой прямой задачи, и что это отношение их к сохранению рода человеческого придает им характер добра и справедливости, зла и несправедливости, который, следовательно, обусловливается не каким-либо произвольным соглашением, а самою природою человека, ее организациею».

Альтруизм это — тот же эгоизм. «Самоуважение, одобрение собственной совести не составляют ли они достаточного вознаграждения за мимолетные выгоды, которые человек приносит

[1]) И. Луппол, Д. Дидро, стр. 126, 249—268.

в жертву удовольствию пользоваться уважением других?» [1]) (вспомним «чувство чести» Фейербаха).

Как мы сейчас увидим, Дидро, хотя и писавший против Гельвеция [2]), в сущности стоит с ним на одинаковой почве. Оба они начинают с индивидуализма, чтобы притти к общественным основам морали и признать задачею личности служение интересам целого. Оба же они рассматривают мораль как результат политического строя. «Нравы повсюду суть следствия законодательства и формы правления,—говорит Дидро в «Mélanges», писанных для Екатерины II; — они не бывают ни африканскими, ни азиатскими, ни европейскими: они бывают добрыми или дурными». Интересно, что, исходя из этих положений, Дидро с моральной точки зрения протестует против деления общества на классы, из которых один эксплоатирует другой. Выше мы уже цитировали слова Маркса о том, что из этического учения французского материализма сделаны были коммунистические выводы. И это понятно.

Приблизительно такова же была мораль и Ламеттри. Последний вообще проповедует жизнерадостность и счастье. Мораль должна быть выведена из человеческих чувств, а в основу альтруизма должен быть положен эгоизм — все это при свете разума: последний нас обманывает, когда руководится предрассудками, но он является надежным руководителем, когда руководствуется природою. Добродетель состоит в доставлении пользы обществу. «Принося счастье обществу, вместе с тем создаешь и свое собственное счастье. Все добродетели сводятся к тому, чтобы заслужить благодарность общества». Ламеттри также считал мораль результатом политического строя и утверждал, что она навязывается массам господствующими классами в своих интересах. По его словам, мораль это — произвольный продукт политики и служит политическим средством для обуздания масс. В отличие от религиозной морали, заставляющей человека подавлять свои естественные наклонности, мораль природы учит следовать своим склонностям [3]).

Гельвеций, оказаший наибольшее влияние на всех материалистов, писавших после него о морали, исходит из того основного положения, что интерес управляет всеми нашими суждениями [4]). Но при этом он ставит мораль в зависимость от социальной среды.

Добродетель человека зависит в большой мере от обстоятельств, его окружающих.

Нет преступления, которое не возводилось бы в ряд достойных поступков обществами, которым это преступление было полезно, нет и полезного поступка в общественном смысле, который не был бы осужден каким-либо частным обществом, которому этот поступок был невыгоден.

[1]) Р. Сементковский, Русское общество и литература, стр. 588—589.

[2]) «Трудно создать хорошую метафизику и мораль, не будучи анатомом, натуралистом, физиологом и медиком»,—писал Дидро по адресу Гельвеция. Подобные положения характерны для натуралистического материализма, как называет Деборин систему Гольбаха. Гельвеций (и, вероятно, Чернышевский) не стал бы против этой мысли Дидро спорить.

[3]) А. Деборин, Философия и марксизм, стр. 179 сл., 153—154.

[4]) «Об уме», стр. 29. — Плеханов в «Очерках по истории материализма» (стр. 51) указывает, что «Гельвеций не только был материалистом, но среди своих современников он с наибольшей «последовательностью» придерживался основной идеи материализма».

Своими пороками и добродетелями всякий обязан исключительно различным видоизменениям, которым подвергается личный интерес. Все люди движимы одной и той же силой, все равно стремятся к счастью. Разнообразие страстей и влечений, из которых одни согласуются, другие противоречат общественному благу, определяет наши добродетели и наши пороки.

Брут пожертвовал своим сыном для спасения Рима только потому, что родительская любовь была в нем менее могущественна, чем любовь к родине... «В том критическом положении, в котором тогда находился Рим, этот акт явился основанием его огромного могущества, которого он впоследствии достиг благодаря любви к общественному благу и свободе».

Человек праведен, когда все его действия направлены к общему благу. Если хочешь поступать честно, принимай в расчет и весь только общественному интересу, а не окружающим людям. Личный интерес часто вводит их в заблуждение. Поэтому для того, чтобы быть честным, надо, чтобы к благородству души присоединялся просвещенный ум [1]).

Моралисты должны были бы знать, что подобно тому как скульптор из ствола дерева может сделать бога или скамью, так и законодатель может по желанию образовать героев, гениев и добродетельных людей. Все искусство законодателя заключается в том, чтобы заставить людей быть справедливыми друг к другу, опираясь на их любовь к себе самим. А чтобы составить такого рода законы, надо знать сердце человеческое и прежде всего знать, что люди чувствительны только к самим себе и равнодушны к другим, и не рождены ни добрыми, ни злыми, а готовыми стать теми или другими в зависимости от того, соединяет или разделяет их общий интерес; что чувство предпочтения, которое каждый испытывает к самому себе и с которым связано сохранение рода, неизгладимо выгравировано в нем самой природой, что физическая чувствительность вызывает в нас любовь к удовольствию и отвращение к страданию, что чувства удовольствия и страдания посеяли и взрастили во всех сердцах семя себялюбия, которое, развиваясь, породило страсти, из которых проистекли все наши пороки и добродетели [2]) (ср. Фейербах).

А высокие чувства и героические подвиги? Они имеют тот же источник, что и все прочие. Стремление к величию вытекает из страха перед страданиями и из любви к чувственным удовольствиям, к которым необходимо сводятся все остальные. То наслаждение, которое доставляют власть и уважение, не есть настоящее удовольствие; оно так называется только потому, что надежда на удовольствие и на обладание средством доставить себе его есть уже удовольствие, которое, однако, обязано своим существованием существованию физических удовольствий.

Мы любим уважение не само по себе, а за те выгоды, которые оно нам доставляет. Тщетно будут указывать на пример Курция [3]), как

[1]) Ibid., стр. 33, 34, 48, 51 сл.

[2]) Ibid., стр. 143, 153.—По этому поводу Плеханов в «Очерках» (стр. 50) замечает, что Гельвеций «был единственным философом XVIII столетия, осмелившимся затронуть вопрос о происхождении нравственных чувств. Он был единственным, осмелившимся выводить их из «чувственного ощущения» людей». Это, впрочем, не совсем верно. На той же позиции стояли по существу и Дидро, и Ламеттри, и Гольбах, и др.

[3]) Курций—легендарный римский герой, бросившийся в пропасть для предотвращения угрожавшей государству опасности.

на противоречащий этому заключению: случай почти единственный не может служить опровержением принципов, опирающихся на множество примеров, особенно когда этот случай может быть приписан иным причинам и естественно ими об'яснен. Чтобы появился Курций, достаточно, чтобы человек, утомленный жизнью, испытал такое же тяжелое физическое состояние, какое побуждает многих англичан к самоубийству, или чтобы в век, столь суеверный, каков был век Курция, родился человек более фанатичный и легковерный, чем все остальные, который бы верил, что своим подвигом он заслужит место среди богов. В том и другом случае можно обречь себя смерти или для того, чтобы прекратить страдания, или для того, чтобы открыть себе доступ к небесному блаженству... Люди желают быть достойными уважения только для того, чтобы быть уважаемыми, а быть уважаемыми они желают только для того, чтобы пользоваться удовольствиями, связанными с этим уважением; следовательно, жажда уважения есть тольдко замаскированная жажда наслаждений [1]).

Почему жители Крита и Беотии и вообще народы, особенно отдававшиеся любовной страсти, были самыми мужественными? Потому, что в этих странах женщины были благосклонны к самым храбрым.

Одним словом, чувственные страдания и удовольствия заставляют людей думать и действовать и являются единственными рычагами, двигающими нравственный мир (стр. 238—241).

Следовательно, добродетельный человек не тот, который жертвует своими удовольствиями, своими привычками и самыми сильными страстями ради общего интереса,—ибо такой человек невозможен,—а тот, чья сильная страсть до такой степени согласуется с общественным интересом, что он почти всегда принужден быть добродетельным (стр. 247) [2]).

В результате своего исследования Гельвеций приходит к тому заключению, что люди полностью становятся тем, чем делает их окружающая обстановка (стр. 406), а «все различие в духе и в характере нации должно приписывать различию государственного устройства и, значит, причинам моральным» (стр. 301—302) [3]).

Гольбах в своей «Системе природы» повторяет основные положения Дидро и особенно Гельвеция. Исходя из того, что человек несчастен лишь потому, что не знает природы, Гольбах рекомендует ему

[1]) Ib., стр. 228—229.—По поводу этих рассуждений противники Гельвеция обвиняли его в «оклеветании» героев (ср. выше пример Брута).

[2]) Ср. несколько парадоксальное заявление Чернышевского в письме от 24 ноября 1873 года: «Я держался философии, не допускающей так называемых самоотверженных подвигов на пользу — чью бы то ни было, кроме немногих людей, которых человек любит лично, и для которых подвиги его не нужны, а нужно только, чтобы он — если он мужчина — зарабатывал кусок хлеба для них. Над всяким энтузиазмом я смеялся всегда, когда не видел особенной надобности заменять смех серьезными выговорами. Энтузиасты это — глупцы, глупцы, невыносимо глупенькие мальчики взрослых размеров тела. Большею частью добряки, и за это следует быть снисходительным к ним, но дети, крошечные дети, проводящие век в дурачествах, неприличных взрослым людям» («Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 84).

[3]) Обращаем внимание читателей на эти слова. Запомнить их необходимо для того, чтобы, встречая у Чернышевского заявления о том, что все дело в причинах «моральных», мы не впадали в ошибку Г. Плеханова, который истолковывает их в смысле свидетельства об идеалистических уклонах Чернышевского, тогда как у того речь идет о подлежащих разрушению дурных политических учреждениях.

строить свою нравственность на своей природе, на своих потребностях, на реальных выгодах, даваемых ему жизнью в обществе; пусть он осмелится любить самого себя; пусть он работает над своим собственным счастьем, трудясь над счастьем других.

Благодаря незнанию самого себя и непониманию необходимых отношений, существующих между ним и другими людьми, человек не понял своих обязанностей по отношению к своим ближним; он не понял, что они были необходимы для его собственного счастья. Точно так же он не понял своих обязанностей по отношению к самому себе, он не усмотрел излишеств, которых он должен избегать, чтобы стать длительно счастливым, страстей, которым он должен сопротивляться или которым он должен отдаться ради своего собственного счастья. Одним словом, он не познал своих истинных выгод... Таким образом, незнание человеческой природы помешало человеку уяснить себе задачи нравственности; впрочем, развратные правительства, которым он был подчинен, помешали бы ему осуществить на деле предписания морали даже если бы он их знал [1]).

Добродетель это — все то, что поистине и постоянно полезно живущим в обществе людям; порок это — все то, что вредно им. Величайшие добродетели это — те, которые доставляют им величайшие и длительнейшие выгоды; величайшие пороки это—те, которые больше всего препятствуют их стремлению к счастью и которые нарушают больше всего необходимый обществу порядок. Добродетельный человек это — тот человек, действия которого всегда устремлены к благополучию его ближних; порочный человек — тот, поведение которого ведет к несчастью тех, с кем он живет, из чего обыкновенно вытекает и его собственное несчастье. Всё то, что доставляет нам самим подлинное и длительное счастье, — разумно; всё, что нарушает наше собственное благополучие или благополучие людей, необходимых для нашего счастья, — бессмысленно или неразумно. Человек, который вредит другим, — злой человек; человек, который вредит самому себе, — неблагоразумный человек, не имеющий понятия ни о разуме, ни о собственных интересах, ни об истине (стр. 106).

Чтобы человек был добродетельным, необходимо, чтобы он находил интерес в этом и видел выгоды в добродетельном поведении. Для этого необходимо, чтобы воспитание внушило ему рациональные идеи, чтоб общественное мнение и пример заставили его видеть в добродетели достойнейшую уважения вещь (стр. 117).

Польза должна быть единственным мерилом для людских суждений. Быть полезным—это значит содействовать счастью своих ближних; быть вредным—это значит содействовать их несчастью.

«Говоря, что интерес есть единственный мотив человеческих действий, мы желаем этим сказать, что каждый человек по-своему трудится для своего счастья, которое он находит в каком-нибудь видимом или невидимом, реальном или воображаемом предмете,—цели своего поведения» (стр. 233—236).

Человек, привыкший поступать добросовестным образом, руководствуется всегда интересом заслужить любовь, уважение и помощь своих ближних, а также испытывает потребность любить и уважать самого себя; пропитанный этими ставшими для него привычными, идеями, он воздерживается даже от скрытых преступлений, которые унизили бы его в его собственных

[1]) «Система природы», стр. 1—13.

глазах; он похож на человека, который, усвоив с детства привычку к чистоплотности, испытывал бы, запачкавшись, неприятные чувства, даже если бы никто не был свидетелем этого. Хороший человек это—человек, видящий свой интерес или свое счастье в поведении, которое другие люди должны ради собственного их интереса любить и одобрять.

Эти принципы являются—при должном развитии их—истинной основой морали.

Быть добродетельным, следовательно, это значит видеть свой интерес в том, что совпадает с интересом других людей; это значит наслаждаться благодеяниями и удовольствиями, которые доставляешь им (стр. 233—239).

Разум и мораль сумеют оказывать влияние на людей лишь в том случае, если они покажут каждому из них, что его подлинный интерес связан с полезным для него самого поведением; а это поведение может быть полезным, лишь снискав ему благожелательное отношение других людей, необходимых для его собственного счастья; поэтому воспитание должно с ранних лет занимать воображение граждан мыслями об интересе или пользе человечества и о вытекающих отсюда уважении, любви, выгодах; привычка должна приучить их к средствам получить эти выгоды; общественное мнение должно сделать эти средства дорогими для них, а пример окружающих должен побуждать их искать этих средств.

Человек со всеми своими взглядами и поступками есть продукт воспитания и окружающих условий. Мнимое учение о свободе воли не основывается решительно ни на чем; опыт опровергает его на каждом шагу: опыт показывает человеку, что во всех своих действиях он подчинен необходимости; и эта истина не только не опасна для людей или пагубна для морали, но, наоборот, должна стать ее настоящей основой, ибо она показывает необходимость отношений, существующих между чувствующими существами, об'единившимися в общество, чтобы совместно трудиться над взаимным счастьем. Из необходимости этих отношений вытекает необходимость обязанностей у людей и необходимость чувства любви к поведению, называемому добродетельным, и отвращения к поведению, называемому порочным и преступным.

Человек бывает так часто злым лишь потому, что он считает себя почти всегда заинтересованным в этом; пусть позаботятся о просвещении и о счастии людей, и они станут лучше (стр. 267 и 271).

2. Мораль разумного эгоизма.

Таковы были материалистические учения о нравственности, которые были известны Чернышевскому [1]), которые он в общем разделял и считал своим долгом пропагандировать среди читателей. В статье «Антропологический принцип», посвященной изложению основных начал материалистической философии, он набросал также основные черты морали «новых людей», этики разночинцев, отвергающих тра-

[1]) Напомним, что еще Герцен в «Письмах об изучении природы», печатавшихся в «Отеч. Записках» 1845—1846 гг., касался вопросов морали, в частности материалистической. «Этика Герцена,—пишет Ветринский («Н. Г. Чернышевский», стр. 143), — совершенно в духе Фейербаха, основана всецело на принципе эвдемонизма, личного стремления человека к счастью». В письме четвертом Герцен, говоря об Эпикуре, пишет: «Блаженство без всякого сомнения—цель жизни... но вопрос, в чем состоит блаженство человека... В нравственности и добродетели

диционные представления и строящих свое отношение к миру на основе здравого смысла и, как им казалось, свидетельств исторического опыта. Протестуя против угнетавшего их политического и общественного строя, они протестовали и против навязываемых этим строем этических норм, против аскетизма, которого он требовал от подчиненных, против осуждения самых естественных порывов, стремлений и страстей, против умерщвления личности и насильственного загнания ее в узкие рамки религиозных и полицейских предписаний, рядившихся при нужде в тогу идеалистических учений. Материалистическая этика раскрепощала личность, реабилитировала человеческие страсти, возлагала на общество ответственность за все несчастия, испытываемые людьми. Уже одним этим она должна была привлекать симпатии революционного поколения и его идеологов, в частности Чернышевского, тем более, что она представлялась ему естественным выводом из положений материалистической натурфилософии [1]).

В своем двойном качестве экономиста и человека железной логики, не боящейся самых крайних выводов, Чернышевский идет в этом вопросе до конца. Опыт показывает, говорит он, что все люди—эгоисты, и что в своей практической деятельности они руководятся эгоистическими соображениями. На первый взгляд это положение как бы опровергается многочисленными примерами бескорыстия, самопожертвования и т. п. Но только на первый взгляд: при внимательном анализе этих фактов оказывается, что и в их основе всегда лежит разумный эгоистический расчет.

Любящая жена плачет об умершем муже: «на кого ты меня покинул? что я буду без тебя делать?» и т. д. Подчеркните эти слова: «я, меня, мне», говорит наш автор: в них—смысл жалобы и основа печали. Возьмем чувство более высокое: любовь матери к ребенку,—и здесь мы увидим ту же основу [2]). Но и в основе так назыв. самопожертво-

---

только и достигает он высшего блаженства» («Сочинения», т. IV, стр. 90). Это вполне в духе французских просветителей, о которых он в письме восьми (стр. 176) говорит, что «в памяти нашей слова реализм, материализм неразрывно с именами французских писателей XVIII века». Дальше он прямо упоминает о Гельвеции и его книге «De l'esprit», а также о «Системе природы» Гольбаха. «Философы сказали во всеуслышание, что чувства имеют свои права, но что одно чувственное не может удовлетворить развитого человека;... философы доказали, что эгоизм — один из необходимых элементов всего живого, сознательного, оправдывая его, раскрыли, что человеческий эгоизм — не только чувство личной любви к самому себе, но сверх того чувство любви к роду, к человечеству, к ближнему» (стр. 180). Уже одни эти статьи Герцена, которые Чернышевский внимательно читал в студенческие годы, должны были обратить его внимание на указанные вопросы и названных писателей.

[1]) «Обоснование этики на стремлении к наслаждению и счастию индивидуума или на эгоизме и материалистическое мировоззрение взаимно обуславливал друг друга. Наиболее ясна эта связь у Эпикура» (К. Каутский, Этика и материалистическое понимание истории, Спб. 1906, изд. «Новый Мир», стр. 10).

[2]) Кстати, отметим одну выходку либерального профессора Иванова. Чернышевский старается опровергнуть мнение, будто у животных нет нравственных чувств. «Он должен, следовательно, — поясняет г. Иванов («История русской критики», т. II, стр. 519), — унизить человека и возвысить животное. Указывая на заботливость курицы о цыплятах, Чернышевский говорит: «она любит их потому, что положила в них часть с в о е г о нравственного существа — не материального существа, нет, в них нет ни частички ее крови, — нет, в них она любит результаты с в о е й заботливости, с в о е й доброты, с в о е г о благоразумия, с в о е й опытности в куриных делах: это отношение чисто-нравственное». Мы нарочно подчеркнули слова «своей, своего» для того, чтобы читатель мог судить о достоинстве дальнейших комментариев г-на Иванова. Этот историк пишет: «О человеке пойдет и н о й разговор. Все его действия управляются эгоизмом. Положим, и курица эгоистична, но по поводу, например, слез матери о смерти ребенка уже не вспоминается о «чисто-нравственном отношении», а

вания лежит или личный расчет, или страстный порыв эгоизма. Этому не противоречат даже факты самоубийств или пожертвования своей жизнью.

Вопрос о таких решительных или героических поступках всегда занимал сторонников морали разумного эгоизма, ибо они чувствовали, что здесь заключается слабое место их системы. Мы видели относящиеся к этому вопросу рассуждения Гельвеция (кстати, некоторые примеры последнего, напр. с Курцием, приводит и Чернышевский). Фейербах тоже остановился на этом пункте,—правда, в работе, написанной после ареста Чернышевского и потому последнему неизвестной, а именно в рассуждении «О спиритуализме» и пр. Вот что он говорит здесь («Соч.», т. I, стр. 174 сл.).

Защитники свободной воли всегда ссылались на самоубийства, чтобы доказать правильность своего тезиса. Но, возражает им Фейербах, стремление к самосохранению занимает в человеке не больше места, чем его Я или то благо, которое он относит к своему Я и которое он не может ни обособить, ни устранить от себя, не устраняя вместе и себя самого. Что такое Я или жизнь (ибо кто сможет разделить жизнь и бытие Я) для любящего—без любимой, для честолюбца—без чести, для богача—без богатства, для воина—без битвы или без оружия? Что такое вообще жизнь—без того, что с точки зрения человека и его потребности необходимо относится к жизни?.. Поэтому, если человек кончает свою жизнь, боясь потерять или потеряв то, что он относит к сущности жизни, то он поступает не вразрез, а в согласии со своим стремлением к самосохранению.

Самоубийство относится к разряду противоречивейших явлений в человеческом существе, явлений или поступков, которые стоят или, точнее, кажутся, что стоят в кричащем противоречии с его себялюбием и все-ж таки из себялюбия только и возникают... Добровольной смертью человек доказывает лишь то, что даже и высший акт его свободы не выходит за пределы естественной необходимости, что он всего лишь сам причиняет себе то, что он неминуемо претерпел бы от природы. Он доказывает, следовательно, то, что его воля—не оригинальный творец, а только копировщик природы.

Приблизительно то же можно сказать и об актах героизма. Героические поступки, противоречащие стремлению к счастью, вообще не имеют места, если для них нет какого-нибудь трагического основания. Они происходят,—но это обыкновенно тоже упускают из виду, или не обращают на это достаточного внимания—только в таких обстоятельствах и положениях и только в такие моменты, которые сами противоречат стремлению к счастью, когда эти поступки не могут быть не совершенными, когда все теряется, если не ставится на карту (ibid., стр. 263).

Почти так же рассуждает и Чернышевский, следуя в этом отношении, главным образом, примеру Гельвеция, к которому в данном вопросе он стоит особенно близко.

Сходство между обоими писателями отметил уже Плеханов в своих «Очерках по истории материализма» (стр. 59), где он пишет:

черкивается в ее причитаниях я, м о е у м е н я, т.-е. чисто эгоистические чувства. Вообще всюду человек руководится расчетом, выбирает бо́льшую пользу или бо́льшее удовольствие. Курица поэтому выходит выше: у нее нет способности рассчитывать и выбирать (Чернышевский как раз доказывает обратное.—Ю. С.) и она подвизается в добре по влечению своей благородной природы». Это — обычный прием идеалистов в борьбе с сторонниками материалистической философии.

«Великий русский просветитель был всем, чем угодно, он не был только ни «изящным», ни «генеральным откупщиком», ни «тщеславным» (никто не обвинял его в подобной слабости), ни любовником «прекрасных рабынь» (все это враги ставили в упрек Гельвецию.—Ю. С.). И, однако, из всех французских философов XVIII столетия Гельвеций больше всех походит на него. Чернышевский отличался таким же бесстрашием логики, таким же презрением к сентиментальности, таким же методом, таким же направлением вкуса, подобным же рационалистическим способом доказательства, теми же самыми выводами и примерами, вплоть до самых частных вопросов, для доказательства того или иного своего утверждения [1]). Чем объясняется подобное совпадение? Имеем ли мы плагиат со стороны русского писателя? Никто до сих пор не решался бросить Чернышевскому подобное обвинение. Но допустим даже, что оно имеет известное основание. Тогда мы должны были бы сказать, что Чернышевский украл идеи Гельвеция, который, в свою очередь, обязан ими своему сладострастному темпераменту и своему безмерному тщеславию. Что за поразительная ясность мысли! Какая глубокая философия истории человеческой мысли!».

Так или иначе, но Чернышевский в этом вопросе рассуждает подобно Гельвецию. В основе героических поступков, актов самопожертвования и т. п. лежит мотив личного счастья, особая форма эгоизма (вспомним подчеркнутые нами выше слова Гельвеция о «различных видоизменениях, которым подвергается личный интерес»). Жители Сагунта перерезались, чтобы не отдаться живыми в руки Ганнибала: это об'ясняется очень просто: они не хотели попасть в рабство к врагам и предпочли минуту смертельной муки нескончаемым годам мучений. Лукреция закололась, когда ее осквернил Тарквиний: она поступила очень расчетливо, ибо ее ждало унизительное отношение со стороны мужа, который невольно должен был охладеть к ней после этого инцидента. «Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унизительном, по сравнению с тем, к какому она привыкла» (Сочинения Чернышевского, т. VI, стр. 230—231).

Во избежание кривотолков Чернышевский спешит оговориться: «Мы говорили все это вовсе не к уменьшению великой похвалы, какой достойны жители Сагунта и Лукреция; доказывать, что геройский поступок был вместе умным поступком, что благородное дело не было безрассудным делом, вовсе еще не значит, по нашему мнению, отнимать цену у геройства и благородства».

Это замечание с очевидной ясностью показывает, что реалисты, строя новую мораль, подобно материалистам XVIII века, отнюдь не имели в виду отрицать так называемые альтруистические поступки или восставать против них. Они стремились лишь ввести их в общую систему своих воззрений, дать им реалистическое толкование и об'яснение. Верно ли это об'яснение, это другой вопрос. Но каким лицемерием или тупостью нужно обладать, чтобы усмотреть в этике шестидесятников проповедь вульгарного эгоизма или стремление возвеличить животных насчет человека! А ведь именно такие возражения делались Чернышевскому, как они в свое время делались Гельвецию и других.

[1]) Гельвеция обвиняли в том, что он оклеветал Сократа и Регула. Но то, что Чернышевский говорит о знаменитом самоубийстве целомудренной Лукреции, не пожелавшей пережить своего позора, поразительно напоминает замечание Гельвеция о героическом пленнике карфагенян (Примечание Плеханова).

Чернышевский продолжает свою аргументацию. Человек, проводящий целые недели у постели своего друга, приносит свое время и свою свободу в жертву своему чувству дружбы: это «свое» чувство в нем так сильно, что, удовлетворяя его, он получает большую приятность, чем получил бы от всяких других удовольствий и даже от свободы; а нарушая его, оставляя без удовлетворения, чувствовал бы больше неприятности, чем сколько получает от временного стеснения своей свободы. То же можно сказать об ученых, отрекающихся от личной жизни во имя интересов науки, или о политических деятелях, «называемых обыкновенно фанатиками», поясняет Чернышевский, т.-е. о революционерах.

«По своему предмету эти случаи очень резко отличаются от тех фактов расчета, в которых человек жертвует очень большой суммой денег для удовлетворения какой-нибудь низкой страсти, но по теоретической формуле все они подходят под один закон: сильнейшая страсть берет верх над влечениями менее сильными и приносит их в жертву себе». Для Чернышевского важно дать рационалистическое, как ему кажется, материалистическое и вместе с тем общее, монистическое истолкование человеческих поступков. Правда, при этом он, подобно Фейербаху, становится на абстрактную почву и отнимает у своей формулы всякий исторический и социальный характер, но меньше всего он думает при этом восхвалять эгоизм в обычном смысле этого слова. «Конечно,—говорит он,—этою одинаковостью причины, из которой происходят дурные и хорошие дела, вовсе не уменьшается разница между ними: мы знаем, что алмаз и уголь—все один и тот же чистый углерод, но тем не менее алмаз есть алмаз, а уголь—все-таки уголь, вещь очень малоценная» [1]).

Но «что есть истина»? Что такое добро и зло? Эти понятия Чернышевский пытается также определить с точки зрения утилитаризма. Цель всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений. Полезными вещами называются «прочные принципы наслаждений», а добро это—превосходная степень пользы. Чернышевский знает, что добром в различные эпохи и у различных классов считались совершенно различные вещи, но, тем не менее, он отказывается признать, что «понятие добра не имеет в себе ничего постоянного». Отдельный человек, говорит он, называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще (это почти слово в слово то, что говорили Гельвеций и Гольбах).

Итак, устанавливается градация полезности, а стало быть—нравственности поступков: полезность для индивидуума, общества и человечества (не следует думать, что Чернышевский забывает об отдельных классах внутри общества: он говорит о «сословиях» и «большинстве членов общества»). Но что, если между этими отдельными элементами возникают конфликты? С каким критерием должны мы тогда подходить к оценке человеческих поступков? Чернышевский отвечает и на этот вопрос.

Очень часто,—говорит он,—интересы разных наций и классов («сословий»—этот термин Чернышевский употребляет иногда вместо «классы») противоположны друг другу или противоречат интересам

[1]) «Антропологический принцип» (Сочинения, т. VI, стр. 231).

человечества в целом; столь же часты случаи, когда выгоды какого-нибудь отдельного класса противоречат национальному интересу. Во всех таких случаях возникает спор, но решить его, определить, на чьей стороне бывает в таких случаях «теоретическая справедливость», вовсе не трудно. «Общечеловеческий интерес,—говорит Чернышевский,—стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного»[1]).

Итак, искомый критерий для различения нравственности человеческих поступков найден, и одно недоумение, вызываемое теорией разумного эгоизма, раз'яснено. Остается другой, более частный вопрос, ответ на который естественно вытекает из полученного уже решения общего вопроса. Какие же человеческие поступки можно назвать действительно «расчетливыми», соответствующими теории «разумного» эгоизма? Чернышевский все в той же статье[2]) отвечает на это совершенно определенно: «Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр. Когда человек не добр, он—просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на покупку грошевой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых бы достало ему на приобретение несравненно большего наслаждения». Это то самое положение, которое мы встречали уже у французских материалистов.

Не правда ли, как это похоже на восхваление грубого эгоизма, на принижение человека перед животными! В действительности, мораль Чернышевского пред'являет к человеку самые высокие требования. Она хочет, чтобы человек органически способен был только на добрые дела, чтобы его индивидуальные стремления совпадали с общей пользой, чтобы его эгоизм был вместе с тем и альтруизмом. Человек должен стоять так высоко, чтобы его личный расчет толкал его на акты благородного самопожертвования, чтобы он чувствовал удовлетворение только от служения интересам человечества, общества и «многочисленного» класса, т.-е. трудящихся. Только такое служение общественным интересам он готов признать «расчетливым»; узко же эгоистическим поползновениям он отказывает даже в эпитете расчетливый, лишая их права гражданства в своем царстве «разумного эгоизма» (вспомним слова Фейербаха о «самой вульгарной» разновидности эгоизма).

Прочтите, в самом деле, что говорит Чернышевский о положительных людях в «Очерках гоголевского периода». Некоторые эгоистические люди считают себя людьми положительными, но это жестокое заблуждение. «Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастью окружающих нас людей и огорчаться их страданиями) так же врождены человеку, как и эгоизм». Кто действует исключительно по расчетам эгоизма, тот действует наперекор человеческой природе, подавляет в себе врожденные и неискоренимые потребности. «Искать счастья в эгоизме натурально, и участь эгоиста никому не завидна, он—урод, а быть уродом неудобно и неприятно»[3]).

[1]) Эта классификация представляет шаг вперед, сделанный Чернышевским по сравнению с его предшественниками, и об'ясняется его классовой точкой зрения коммуниста.

[2]) «Антропологический принцип», loc. cit., стр. 236.

[3]) «Очерки гоголевского периода»,—Соч., т. II, стр. 207—208.—То же говорили Гельвеций и Гольбах.

Для Чернышевского равно неприятны и ненормальны пустые фантазеры, не считающиеся с действительностью, и фантазеры трезвенности, утописты холодного эгоизма. Он ставит их на одну доску. «Положителен только тот, кто хочет быть вполне человеком: заботясь о собственном благосостоянии, любит и других людей (потому что одинокого счастья нет); отказываясь от мечтаний, несообразных с законами природы, не отказывается от полезной деятельности; находя многое в действительности прекрасным, не отрицает также, что многое в ней дурно, и стремится при помощи благоприятных человеку сил и обстоятельств бороться против того, что неблагоприятно человеческому счастью».

Положительным человеком в истинном смысле слова, вслед за Дидро, Гольбахом, Гельвецием и Фейербахом, заключает Чернышевский, может быть только человек любящий и благородный.

Основная мысль, лежащая в основе морали «разумного эгоизма», заключается в том, что поступки человека должны строго согласоваться с внутренними побуждениями его. Плохо, когда внутренние побуждения толкают человека к узкому эгоизму, но это, по крайней мере, естественно. Чернышевский может признавать холодного эгоиста уродом, но обвинить его в деланности, ненатуральности он не может. И не для таких «уродов» построена этика Чернышевского: она создана для «новых людей», — и вот от них Чернышевский требует, чтобы их поступки соответствовали их внутренним стремлениям, т.-е. чтобы не только их поступки, но и самая их натура насквозь проникнуты были благородством. Единственно, чего не допускает мораль Чернышевского, это—неестественность и рабское служение «принципам». Человек должен творить добро так же просто и естественно, как он пьет, ест и дышит. Делание добра, служение общественным интересам должно быть для него легким и приятным делом. Насиловать же свою натуру неестественно[1]).

Именно такова была мораль Чернышевского и его единомышленника Добролюбова[2]). Говоря о людях сороковых годов, Добролюбов осуждает их с точки зрения теории разумного эгоизма. Люди того поколения, по его словам, покупали свои принципы страшной мукой сомнения и делались сознательными рабами принципа. За исключением таких людей, как Белинский, большая часть из них «осталась только при рассудочном понимании принципа и потому вечно насиловали себя на такие вещи, которые были им вовсе не по натуре и не по нраву». В результате—недовольство собой, неудачи, фальшь. Но так называемые добродетельные люди, принуждающие

[1]) «В сущности, — говорит Плеханов (Соч., т. V, стр. 223), — Чернышевский именно это и хочет сказать, заставляя своих героев уверять нас в том, что они никого никогда не любили кроме себя. Этому уверению как будто противоречит то, что воображаемая невеста Лопухова... называет себя «любовью к людям». Но в действительности тут нет никакого противоречия. Чернышевский просто хочет сказать, что любовь к людям совершенно пропитала собою все нравственное существо его героев, вследствие чего поступки, подсказываемые этой любовью, составляют настоятельную потребность их «я». Стремление к бескорыстным действиям до такой степени свойственно Лопухову и Кирсанову, что, уступая этому стремлению, они не переживают никакой внутренней борьбы, а просто следуют своему хорошему инстинкту, вследствие чего и воображают себя людьми, думающими только о самих себе».

Ср. Сакулин, Русская литература шестидесятых годов, — «История России XIX века», изд. Граната, т. IV, стр. 253—254.

себя быть порядочными не в силу естественных влечений, а в силу отвлеченного принципа, не только не заслуживают восторженной похвалы, но и просто жалки и в нравственном отношении стоят на очень низкой ступени. Истинно нравственным человеком можно назвать только того, «кто заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития так, чтобы они не только сделались инстинктивно-необходимыми, но и доставляли внутреннее наслаждение».

Такова эта мораль разумного эгоизма, суровая и возвышенная, мораль не внешнего только долга, но внутреннего, инстинктивного стремления к добру. Эту же мораль исповедуют герои романа «Что делать?», в значительной степени посвященного проповеди новой этики и описанию ее применения в жизни.

В литературе неоднократно отмечалось, что действующие лица романа, столько толкующие об эгоизме, как единственном двигателе человеческих поступков, в действительности руководятся исключительно велениями долга. После всего вышесказанного для нас в этом не может быть ничего удивительного. «Эгоизм» Чернышевского и его последователей ничего общего, кроме звуков, не имеет с эгоизмом в обывательском смысле этого слова. Их «эгоизм» прежде всего «разумен», и выражается он в том, что они легко и свободно, без малейшего принуждения, следуют велениям «категорического императива» общей пользы. Что правда,—они терпеть не могут торжественных слов, вроде благородство, совесть, честь, но действуют они исключительно по совести, благородству и чести.

Просмотрите, в самом деле, разговор Лопухова с Верой Павловной в знаменитой главе «Гамлетовское испытание» [1]), где первый посвящает свою невесту в тайны теории разумного эгоизма. Он доказывает, что «в корне» всех человеческих действий лежит эгоизм, и когда молодая девушка, еще не успевшая выйти из стадии, на которой стоит г. Иванов, возмущается холодностью, беспощадностью и прозаичностью излагаемого перед нею учения, пропагандист отвечает:

— Эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она,—холодна, дрова—холодны, но в них огонь, который готовит теплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен вздрогнуться,—иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия—в правде жизни...

Лопухов отказывается от ученой карьеры, о которой горячо мечтал, для того, чтобы поскорее вырвать любимую девушку из тяжелой семейной обстановки. Но он ни за что не хочет слышать о слове жертва. Как для меня лучше, так и сделал,—рассуждает он.— Не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто не приносит; это фальшивое понятие: жертва—сапоги в смятку. Как приятнее, так и поступаешь» (стр. 85). «Теория, которой держался Кирсанов,—поясняет автор в другом месте (стр. 151),—считает такие пышные слова, как благородство, двусмысленными, темными,—

[1]) Сочинения, т. IX: «Что делать?», стр. 57 и сл.

это говорится в то время, как оба друга переживают тяжелый душевный кризис и готовы отказаться от личного счастья, лишь бы с честью выйти из затруднительного положения и обеспечить счастье любимой женщины! Это неприятие слов при осуществлении скрывающихся за этими словами дел весьма характерно для поколения, на первый план выдвигавшего цельность характера и гармонию личности, у которой внешние поступки не должны расходиться с внутренними побуждениями.

Но и сам Чернышевский и его герои чувствуют, что принятая терминология несколько стесняет их. Попытки выйти из неудобного положения, в какое ставит их эта терминология, производят несколько комичное впечатление как в устах героев романа, так и в статьях самого автора. Отказываясь от любимой женщины для своего друга, Лопухов анализирует свое поведение с точки зрения теории разумного эгоизма. И здесь ему (и автору) приходится не то что ограничить, а дать определенное толкование своей теории. Толкование, по существу аналогичное с тем, какое дает Чернышевский в цитированных выше статьях, сводится к тому, что слово «интерес» не следует понимать в слишком узком смысле обыденного расчета. Оказывается, что новые люди имеют в виду «умственный интерес» и «интерес совести». Ура! положение спасено: двусмысленные и темные слова «благородство», «совесть», напоминавшие об эпохе идеализма и потому неприятные для суровых новаторов, можно отвергнуть или, вернее, сохранить, прибавивши к ним слово «интерес». Совесть—фи! Это недостойно мыслящего реалиста, но интерес совести—это совсем другое дело [1]).

Милые, благородные люди! Милый, благородный Чернышевский! Только жалкие филистеры или преднамеренные слепцы могут не понимать, сколько пыла благородного сердца и честных порывов вложено в эти холодные на вид слова «расчет», «выгода», «интерес». И Лопухов имеет полное право заключить после своей важной словесной реформы: «Нужно и пожить, и подумать, чтобы уметь понять ее (теорию разумного эгоизма)».

Когда герои Чернышевского говорят о том, что «не нужно заглушать потребностей», то это не санинизм, нет. Мораль разумного эгоизма именно и требует, чтобы люди путем самовоспитания выработали в себе такие потребности, которых не приходилось бы стыдиться и удовлетворение которых не было бы связано с вредом для других людей. Вспомните самого последовательного и грозного из проповедников новой морали, Рахметова. Припомните, как он стыдит Веру Павловну за то, что она, огорченная исчезновением мужа, собирается оставить основанную ею мастерскую и по личным мотивам подвергнуть риску общественное дело. Вспомните, наконец, как он устроил свою личную жизнь, отказавшись от всяких личных радостей и решивши служить исключительно делу народного освобождения. Скажут, это было ему приятно, отказ от личного счастья в интересах общества—это дело его собственного выбора, «расчета вы-

[1]) «Сведя все к расчету, Чернышевский принужден различать корыстный расчет, «чуждый любви к добру», от бескорыстного, пропитанного этой любовью. Иначе сказать, он возвращается к старому различению эгоизма от альтруизма. С ним случилось то же, что гораздо раньше произошло с Гольбахом и другими просветителями XVIII века, тоже сводившими все к расчету и тоже оказавшимися в логической необходимости противопоставить корыстному расчету бескорыстный» (Плеханов, Соч., т. V, стр. 2[illegible]).

годы». В том-то и дело! К этому и сводится мораль Чернышевского: будьте такими, чтобы ваша личная выгода совпадала с общественными интересами; тогда вам не придется ни насиловать себя, ни говорить о самопожертвовании. Делайте, но не говорите! [1]).

Иногда, впрочем, Чернышевский не выдерживает серьезного тона и сам начинает добродушно подтрунивать над своей терминологией, сбивавшей с толку стольких пижонов и филистеров. Эту насмешку над теорией разумного эгоизма он влагает в уста Веры Павловны, которая в письме к «отставному медицинскому студенту» (т.-е. к своему первому мужу Дмитрию Сергеевичу Лопухову, временно скрывающемуся) дает ему такую характеристику: «Он (т.-е. сам Лопухов) постоянно отыскивает самые затаенные причины своих действий, и ему приносит удовольствие подводить их под его теорию эгоизма. Впрочем, это—общая привычка всей нашей компании. Мой Александр (Кирсанов) также охотник разбирать себя в этом духе. Если бы вы послушали, как он об'ясняет свой образ действий относительно меня и Дмитрия Сергеевича в течение трех лет! По его словам, он все делал из эгоистического расчета, для собственного удовольствия. И я уже давно приобрела эту привычку... Да если послушать нас, мы все трое—такие эгоисты, каких до сих пор свет не производил. А может быть, это и правда? Может быть, прежде не было таких эгоистов? Да, кажется».

Совершенно справедливо: т а к и х эгоистов, как Чернышевский, Добролюбов и герои «Что делать?», прежде не было [2]).

Теория разумного эгоизма не должна вводить нас в заблуждение. Это на первый взгляд индивидуалистическое учение в действительности насквозь проникнуто общественным характером. Важна не форма, а содержание «разумного эгоизма»—и, как мы видели выше, Чернышевский и его последователи решали все относящиеся сюда спорные вопросы в социальном духе, в смысле служения общественным и общечеловеческим интересам. В основе морали разумного эгоизма лежит идея долга, но долга свободного, идея выбора, соответствующего внутреннему, органическому благородству. «Быть защитником притесняемых или защитником притеснений,—выбор тут не труден для честного человека» [1]). Теория разумного эгоизма—это и есть м о р а л ь ч е с т н ы х л ю д е й, мораль революционного поколения 60-х годов.

Несколько парадоксальная форма, в которую на первых порах облекалась эта мораль, об'ясняется условиями того времени. Не забудем, что тогда шла всесторонняя борьба за освобождение личности, которая испытывала гнет не только материальной, но и духовной традиции. Необходимо было прежде всего освободить личность от давления идейных пережитков старины, которые сковывали революционного разночинца подобно кандалам каторжника. Старая идеалистическая одежда была слишком тесна для хлынувшей на сцену новой молодежи, жаждавшей в первую голову права на свободное самоопределение. Новая мораль помогла ей освободиться от психологии нытиков и «лишних людей», от морали поколения 40-х годов [2]). Новое поколение, которое вместе с Базаровым гордо говорило: «природа—не храм, а мастерская, и человек в ней—работник», хотело трезвыми глазами взглянуть на свое отношение к жизни и отделаться от старых кумиров, парализовавших его волю. На идеях смирения, самоограничения покоился старый режим, и молодое поколение восстало против идеи самопожертвования, в коей оно усматривало отчуждение части своей личности и отречение от своих прав на полную свободу и целостное развитие. Даже свое служение общественным интересам оно хотело рассматривать не как результат морального давления посторонней силы, в роде идеи «долга», но как свободный выбор свободной и автономной личности.

Именно эту мысль высказывал Писарев, когда писал: «Эгоист—человек свободный в самом широком смысле этого слова... Отсутсутствие нравственного принуждения—вот единственный существенный признак эгоизма... Эгоизм—система умственных убеждений, ведущая к полной эмансипации личности и усиливающая в человеке самоуважение... Эгоизм, если понимать его как следует, есть только полная свобода личности, уничтожение обязательных трудов и добродетелей, а не искоренение добрых влечений и благородных порывов».

---

[1]) Это принужден признать и реакционер Головин-Орловский. «Из самого хода романа,—пишет он,—явствует, что Чернышевский вовсе не задается проповедью голого бессердечия... В самом деле, когда Чернышевский говорит, что разумный человек не должен жертвовать собою, он хочет этим выразить не понятие о нравственной обязанности, а лишь уверенность в том, что личное счастье, рационально устроенное, вполне совпадает с общею пользою... Он утверждает неоднократно, что для разумного человека никакого конфликта между личным счастьем и счастьем других быть не может, потому что для такого человека высочайшее наслаждение—видеть вокруг себя всеобщее благополучие и содействовать его распространению... Личная воля развитого человека не может итти вразрез с общественной пользою» («Русский роман и русское общество», стр. 197—198).

[2]) По этому поводу Плеханов (Соч., т. V, стр. 219—220) пишет: «Замечательно, что Чернышевский, утверждавший, что человек всегда руководствуется соображениями выгоды, в последнем счете думал совершенно то же, что говорим мы, но плохо формулировал свою мысль». Плеханов указывает, что Лопухов и Кирсанов остаются «эгоистами»... во всех своих разговорах и заявлениях, но не в делах. А по поводу слов Лопухова, что в своем решении отказаться от научной карьеры для спасения Веры Павловны он ставил свое «я» на первом плане, Плеханов замечает: «Из того, что сознание своего «я» никогда не покидает человека в его соображениях о своих действиях, вовсе еще не следует, что все его действия эгоистичны. Если данное «я» видит свое счастье в счастье других, если оно имеет «пристрастие» к этому счастью, то такое «я» называется альтруистическим, а не эгоистичным».

Это же по существу признает и Головин, который пишет: «Освобождая человека от нравственной узды, наложенной на него религией, Чернышевский не таки, и вслед за ним все шестидесятники, имел в виду не торжество чувственных стремлений, а лишь иной нравственный склад,— по их мнению, более высокий. В пример он приводит аскета Рахметова и продолжает: «Таким образом идеал Чернышевского построен на том же самопожертвовании, которое он отрицает» («Русский роман», стр. 200—201). Он же с кислой гримасой принужден признать, что «большинство шестидесятников, при всей грубости их кисти, были глубокими идеалистами» (там же, стр. 163).

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 475.

[2]) Уже цитированный нами реакционный публицист Головин-Орловский тоже признает, что мораль разумного эгоизма была моралью «нового общественного класса, прежде ничтожного по численности, а теперь разом, как волна прибоя, затопившего все наше общество». И он указывает, в чем было коренное различие между этой новой общественной группой и либералами 40-х годов. «Между Тургеневым, Гончаровым, Толстым, даже между Гоголем и Белинским, с одной стороны, и Чернышевским и Добролюбовым, Помяловским и Решетниковым, с другой,—такой непримиримый психологический контраст, который можно об'яснить себе только сменой одной культуры другой. Различие между ними, строго говоря,—не идейное; в умственном развитии перерыва здесь нет, а есть нечто гораздо более глубокое — различие бытовое, полная смена идеалов культурных, нравственных и эстетических» («Русский роман и русское общество», стр. 161).

Так же смотрели на дело Чернышевский и Добролюбов[1]). Только в таком смысле они понимали эгоизм. И если у Писарева при этом иногда звучит индивидуалистическая нотка, то Чернышевский совершенно был свободен от этого. Не забудем, что его теория разумного эгоизма была тесно связана с пропагандой социализма, как единственного спасения для трудящегося человечества[2]). И как бы мы теперь ни смотрели на внешние недостатки этой теории, как бы мы ни относились к ее абстрактному характеру, к слабому историческому и социологическому обоснованию этики Чернышевского, мы должны помнить, что она связана была с общей социалистической системой и отвечала характеру целой исторической полосы русской общественной жизни.

Эту сторону вопроса, как мы видели, понял реакционер Головин. Еще лучше понял ее либерал Н. Котляревский, несмотря на то, что по всему своему мироощущению он стоит чрезвычайно далеко от Чернышевского. В статье «Очерки из истории общественного настроения 60-х годов» («Вестник Европы» 1912, № 12) он показывает, что за внешней формой эвдемонистической теории скрывалось глубокое чувство социального долга и подлинного альтруизма.

«Проповедь «разумного эгоизма», как окрестил Чернышевский свое учение,—пишет он,—была простым повторением основоположений утилитаризма. Бентама и Милля Чернышевский знал хорошо... Следов этики Фейербаха в самой характерной ее части—в учении о долге, совести, свободе и ответственности—в сочинениях Чернышевского не заметно, если не считать оправдания эвдемонизма, в чем Фейербах сходился со всеми утилитаристами. Но крайним эвдемонистом Чернышевский не был: «эгоизм», который он проповедывал, был смягчен признанием альтруистического чувства в людях, а как это чувство с принципом пользы ладило, об этом наш моралист не распространялся».

И дальше Котляревский замечает: «Если заранее предположить, что выгода отдельного человека совпадает с выгодой того сословия, частью которого он является, а выгода этого сословия поглощается выгодой целого народа, которая в свою очередь растворяется в выгоде всего человечества, то против такого утилитаризма вряд ли что возразить можно, кроме указания на то, что такого порядка никогда еще на земле не было, но что он весьма желателен. И Чернышевский в построении своей морали исходил из предвкушения желаемого, а не из научного анализа существующего».

Котляревский понимает, что Чернышевский сочинял свою мораль для революционеров. «И опять,—говорит он,—красивое видение возникало перед нашим моралистом. Он видел перед собой желанного ему человека, вступающего в жизнь с принципами новой морали, т.-е. собственно морали старой, морали любви, сострадания, равенства, свободы и братства, но построенной теперь на началах более

[1]) Добролюбов горячо убеждает своих читателей «сохранить личную самостоятельность против всякого авторитета, свою внутреннюю нравственность против всяких внешних внушений».—«Всякий, кто поступает против своего внутреннего убеждения,—энергически говорит он,—поступает бесчестно и подло. всякий, потерявший силу свободного, самостоятельного действия, есть жалкий дрянь и тряпка и только напрасно позорит свое существование».

[2]) Это понимает и реакционер Головин-Орловский. «У него (Чернышевского), как у всей тогдашней передовой школы, учение о здравой реальной морали, основанной на эгоизме, идет бок-о-бок с учением иного рода—с пропагандою социального преобразования» («Русский роман», стр. 196).

простых, более прочных и научных. Это был гордый человек с твердо выраженной решимостью отстоять свои личные права на счастье и наслаждение; человек, во всем соблюдающий свою выгоду, признающий лишь те обязательства, которые он сам добровольно на себя принял; человек, возмущенный этикой, допускавшей невероятные социальные несправедливости, и уверенный, что все эти несправедливости исчезнут, как только разумный эгоизм человека будет восстановлен в своих правах. Близоруким людям такой моралист мог на первых порах показаться подозрительным с его неизменной ссылкой на свою личную выгоду. Но, во-первых, он был развитой человек и понимал, что личная выгода человека всегда совпадает с выгодой человечества, и что разумный личный эгоизм есть единственный способ привести в равновесие все сталкивающиеся с ним эгоизмы; во-вторых, этот моралист, если бы даже он и слишком настаивал на своей личной выгоде, был прав, так как являлся выразителем огромного числа лиц, обездоленных прежней этикой.

«Наделяя этого «разумного» эгоиста своим умом, и, главное, своим сердцем, Чернышевский был уверен, что он принесет с собой в мир гораздо больше любви и справедливости, чем все альтруисты старого типа. И Чернышевский любовался этой импозантной фигурой здорового человека с резкими очертаниями ума и характера, врага всякого смирения и всякой святости и сурово требующего от людей, чтобы во имя справедливости они не забывали самих себя—людей убежденных, добрых и сильных. Красивый был это облик,... да и вообще как много красоты в человеке, в котором свободно и естественно развиваются все вложенные в него самой природой здоровые инстинкты, склонности и потребности».

Приведенные нами выше отзывы писателей самых различных направлений о моральной системе Чернышевского показывают, что недоразумения, связанные с несовсем подходящей терминологией, которую употреблял наш автор, теперь могут почитаться в общем рассеянными. Что это было возвышенное этическое учение, революционное по существу,—совершенно ясно. Но столь же очевидно, что с социологической точки зрения оно было неверно и страдало отвлеченностью. Об этом вопросе мы сейчас и поговорим.

3. Ошибка этики разумного эгоизма.

«Учение Чернышевского о нравственности, — говорит Плеханов, (том V, стр. 216),—совсем не отнимало цены у геройства и благородства; наоборот, оно хотело поднять эту цену указанием на то, что путь, избираемый героем, есть именно тот путь, который предписывается правильным расчетом. Но это не устраняет из соображений Чернышевского свойственной им логической ошибки».

Основным недостатком морали разумного эгоизма являются перевес в ней рационалистического начала и отсутствие исторической точки зрения. Этот грех Чернышевский разделяет с французскими материалистами XVIII века и с Фейербахом.

Являются ли поступки отдельных лиц, а тем более социальных групп результатом расчета, взвешивания противоположных шансов и т. п. или же, наоборот, результатом инстинктивной реакции чувственных раздражений на внешнее воздействие? Играет ли здесь главную роль рассудок или чувство? И в связи с этим преобладает ли в области нравственности элемент более или менее свободного выбора или же

внутреннее побуждение, принимающее характер обязательности и неизбежности?

Ведь то, что мы называем нравственностью, имеет зародыш еще в животном мире. Сам Чернышевский отмечал это в своей статье, где приводил примеры из области биологии. Первый толчок к образованию зачатков морали дают интересы сохранения вида, порождающие любовь родителей к детенышам, а среди животных, ведущих стадный образ жизни, готовность защищать стадо с риском для собственного существования. Человек, являющийся общественным животным по преимуществу, унаследовал первичные социальные инстинкты из периода животного состояния и развил их дальше в общественном состоянии. Как замечает Каутский [1]), причины, обусловливавшие уже в животном мире развитие общественных инстинктов, не теряют своей силы и в человеческом обществе, но еще усиливаются действием новых причин—о б щ н о с т ь ю т р у д а, совместной работой. В первобытном коммунистическом обществе заложены были первые прочные основы человеческой морали, сохраняющиеся до сих пор. Кроме совместного труда на развитие нравственного инстинкта, влияли и столкновения между племенами и народами—война, которая самыми различными путями содействовала усилению общественных инстинктов человека, развивая в нем чувство долга, самопожертвования и проч. Наконец, в этом же направлении действовала и борьба классов, давшая новый толчок развитию социальных инстинктов, особенно среди угнетенных классов [2]). Появляется классовая мораль. Постепенно, с развитием обмена и сношений между отдельными нациями, развивается и понятие об общечеловеческой морали.

Нравственный инстинкт вкореняется в человеке под влиянием привычки, примера, но с другой стороны и под влиянием общественного принуждения. Нравственность приобретает обязательный характер. Как замечает Каутский (стр. 116 и сл.), «в животном мире встречаются уже сильные нравственные о щ у щ е н и я, но нет определенных моральных п р е д п и с а н и й, обращенных к индивидууму». Последнее становится возможным только с возникновением языка. «Требования, предъявляемые обществом к отдельным его членам, повторяются так часто, с такой правильностью, что становятся привычкой, предрасположенность к которой в конце концов передается по наследству... В конце концов они становятся привычными и без дальних размышлений признаются нравственными заповедями».

С другой стороны, «в классовом обществе сохранение в силе известных правил нравственности есть уже дело интереса, и часто весьма могущественного интереса». Начинают применяться и принудительные

[1]) К а у т с к и й, Этика и материалистическое понимание истории, стр. 92 и сл.

[2]) На роль племенной жизни в развитии человеческой нравственности указывал в полемике с Чернышевским и Юркевич. Среди многих нелепых и пронизанных идеалистическими воззрениями возражений его против теории разумного эгоизма попадаются отдельные места, достойные внимания, но в своей концентрированности теряющиеся в идеалистическом хламе из старых семинарских тетрадок. «История человечества,—говорит Юркевич,—начинается непосредственно жизнью лиц в общем, в племени, в роде. Долго человек не хочет и не умеет выделять себя и свои интересы из этого общего; его нравственность есть нравы племени, его знание—авторитет старших; он радуется и скорбит не за себя, а за свое племя, за его счастье и несчастье; совершенства и слабости этого целого он относит к себе, как будто определенный дух этого общего есть его непосредственный дух. Общее благо так близко его простому сердцу, так непосредственно и внутренне интересует его, что он долго не может выделить из этой идеи представление о своей частной пользе»...

средства, заставляющие всех соблюдать те нравственные правила, в которых заинтересованы господствующие классы.

Но на ряду с этим действует и голос классовой принадлежности, который, по мере обострения классовой борьбы, перевешивает все угрозы правительственного аппарата господствующих классов. Появляется так называемое общественное мнение. Обыкновенно это есть мнение господствующего класса, но иногда и мнение того класса, к которому принадлежит или причисляет себя действующее лицо. «И теперь еще,—говорит Каутский,—даже в классовом обществе мы видим, что общественное мнение того класса, к которому человек принадлежит по рождению, или того класса или партии, к которому он примыкает, выйдя из рядов своего собственного класса, могущественнее всех принудительных сил государства. Тюрьму, нищету, даже смерть предпочитают позору».

Но так как общественное мнение одного класса бессильно по отношению к членам другого, ему враждебного, то приходится апеллировать к средствам принуждения—материального или духовного. Орудия такого воздействия многочисленны и разнообразны. Кроме прямого насилия посредством законодательных запретов и следующих за ними юридических санкций (кар, наказаний), а также посредством различных форм экономического давления, здесь применяются,—и оказывают, пожалуй, более серьезное действие,—средства духовного принуждения, среди которых главную роль играют религия и школа. Все эти средства вместе формируют мышление и мироощущение массы людей, внедряют в их сознание целый ряд норм, которые затем действуют в них с силою непреоборимого фактора и обусловливают их поступки.

Поэтому правила нравственности вовсе не являются чем-то произвольным, продуктом личного творчества. Напротив, нравственные нормы становятся для отдельного лица чем-то привычным, стихийным, чуть ли не врожденным, хотя часто и кажутся ему порождением его собственной духовной природы. Они являются чем-то обязательным, выполняемым вовсе не по свободной инициативе и выбору, а по велению какой-то непреодолимой силы [1]). То обстоятельство, что отдельным лицам, особенно склонным к размышлению и самоанализу, иногда кажется, что они действуют под влиянием хладнокровного расчета, ничего не доказывает. Это—просто иллюзия, самообман. Такой же иллюзией представляется и то, что человек всегда действует под влиянием интереса, «расчета выгоды».

Так рассуждали Гельвеций, Гольбах и другие французские материалисты. Так вслед за ними, или под влиянием той же исходной точки зрения, рассуждал и Чернышевский. «Во взглядах Чернышевского на разумный эгоизм,—замечает Г. Плеханов в своих статьях о Чернышевском [2]),—заметно свойственное всем просветительным периодам стремление искать в рассудке опоры для нравственности и в более или менее основательной расчетливости отдельного лица об'яснения его характера и поступков».

В «Разоблаченном христианстве» Гольбах говорит, что для человека достаточно р а з у м а, чтобы понять наш долг по отношению к

[1]) «Отличительная черта всякого нравственного закона,—замечает Головин (цит. соч., стр. 192),—именно заключается в его обязательности, в том, что он содержит в себе известное предписание, могущее вступить в конфликт с природными наклонностями человека».

[2]) Соч., т. V, стр. 41.

ближним [1]). Добродетель заключается в правильно понятом интересе. Философия должна доказать, что знаменитейшие герои человечества действовали бы так, как это и имело место в действительности, при допущении, что каждый из них руководствовался только стремлением к собственному счастью.

По этому поводу Плеханов замечает: «Греческие (он имеет в виду Сократа.—Ю. С.), французские, немецкие, русские просветители (Чернышевский и его ученики) впадали в одну и ту же ошибку. Они пытались доказывать то, что доказать нельзя, но что являлось лишь плодом поучения, черпаемого из социальной жизни» [2]).

Что в основе морали лежат материальные интересы, это бесспорно. Но, во-первых, материальный интерес не всегда значит личный интерес, а, во-вторых, связь здесь не столь примитивна и непосредственна, как это представлялось просветителям. Разумеется, мораль, подобно другим идеологическим настройкам, следует за экономическим развитием общества и приспособляется к изменениям, вызванным социальною эволюциею. «Но исторический процесс этого приспособления совершается за спиной у человека, независимо от воли и разума особей. Продиктованное интересом поведение представляется предписанием «богов», «врожденной совести», «разума», «природы». В бесчисленных случаях это просто личный интерес; однако не всегда. Когда идет речь о «добродетельных» поступках, то предписание исходит от интересов целого, т.-е. от социального интереса. Диалектика исторического движения превращает эгоистичные интересы общества или класса в самопожертвование и героизм особи. Тайна этого превращения заключается в действии социальной среды. Французские материалисты XVIII века знали это и умели ценить такое влияние. Они беспрестанно повторяли, что воспитание делает все, что человек не родится, а делается таким-то. И все же они очень часто рассматривали и изображали этот процесс м о р а л ь н о г о с т а н о в л е н и я как ряд рассуждений, повторяющихся в голове каждого индивидуума и изменяющихся непосредственно под влиянием обстоятельств, связанных с личным интересом действующего лица».

Обыкновенно моральный характер тех или иных поступков определяется общественным мнением господствующего класса, его интересом, его эгоизмом, который он отождествляет с интересом целого, интересом общества. Этот эгоизм целого, т.-е. стремление общества—господствующего класса (или угнетенного класса, определяющего действия лица) к самосохранению, к осуществлению своих интересов, не исключает индивидуального альтруизма, т.-е. отказа отдельной личности от своих собственных интересов в интересах того целого (общества или класса), которым она служит, с которыми она органически связана. Об'яснить альтруистические и героические поступки отдельных лиц можно только интересами того целого, с которым они связаны, его общественным мнением, его по большей части неписаными велениями. Здесь-то и сказывается роль воспитания и других форм психического воздействия целого на личность, для которой поступки, требуемые интересами целого, коллектива, становятся инстинктивными, непреодолимой потребностью ее духа. Для хладнокровных расчетов выгоды здесь не остается места. Как правильно замечает Каутский (цит. соч., стр. 15), «быстрое, решительное нравственное различение добра и зла не имеет ничего общего с взвешиванием различных видов удовольствия или пользы. Наконец, чувство нравственного долга является и там, где выполнение его указаний отнюдь не сопряжено с удовольствием или пользой, как бы широко ни толковались эти понятия».

Напомнив о том, что для Чернышевского, как и для Гельвеция (и не только для Гельвеция), даже наиболее самоотверженные поступки представляют лишь особый вид разумного эгоизма, и приведя рассуждения Чернышевского по поводу самоубийства Лукреции, Плеханов (Соч., т. V, стр. 41) основательно сомневается в том, чтобы перед смертью Лукреция могла предаваться столь основательным расчетам, для которых прежде всего требуется хладнокровие.

«Не вернее ли предположить, что в ее поступке рассудок играл гораздо меньшую роль, чем чувство, сложившееся под влиянием тогдашних общественных привычек и отношений? Человеческие чувства и привычки так приспособляются обыкновенно к существующим общественным отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут показаться подчас плодом самых основательных расчетов, между тем как в действительности вовсе не были вызваны расчетливостью... Поступки отдельного лица представляют собою результат общественных привычек, общественные же привычки складываются не под влиянием расчетов рассудка, а в силу исторического развития общества» [1]).

Недостатки этической системы Чернышевского связаны были с его общими историко-философскими взглядами, которые ему, к сожалению, не удалось развить до конца. Отдельные элементы построения правильного учения о нравственности у него несомненно были. Для него не была тайной социальная обусловленность морали, наличие классовой морали и различных видов нравственности. Более того, инстинктивно он чувствовал недостаточность своей системы и, как мы знаем, пытался спасти ее словесными оговорками и толкованиями. Но на надлежащий путь ему стать не удалось. Тем не менее, свою историческую роль мораль разумного эгоизма сыграла. Теории, подобно книгам, имеют свою судьбу. Для того боевого времени требовалась именно т а к а я система, и ее Чернышевский дал. В этом его заслуга, хотя испытания времени эта система в целом не выдержала.

---

[1]) «Особенность нравственного учения Чернышевского и до некоторой степени и всех шестидесятников заключается в том, что они пытаются обосновать нравственность помимо всякой обязанности... Вот здесь-то и помогает разум, изощренный положительным знанием. Разумный и развитой человек никогда не пожелает того, что может нанести вред другому, и не станет сокрушаться, если желаемый предмет достался не ему» (Г о л о в и н, цит. соч., стр. 192—193).

[2]) «Очерки по истории материализма», стр. 18 сл.

[1]) Каутский в цитированном сочинении (стр. 103) связывает возникновение мысли об эгоизме, как основе человеческих действий, с развитием товарного производства. Конкуренция, говорит он, оказала пагубное влияние на развитие социальных инстинктов. «И при развитом товарном хозяйстве человек легко приходит к мысли, что эгоизм является единственным естественным инстинктом человека, социальные же инстинкты—это не более как утонченный эгоизм или поповская выдумка для господства над людьми или, наконец, сверхъестественная тайна».

Категория количества у Гегеля и сущность математики [1]).

С. Яновская.

Вряд ли найдется у нас теперь такой марксист, который позволил бы себе считать изучение Гегеля лишним для марксиста-ленинца. Более того, даже те из наших марксистов, которые сомневаются в пользе изучения этого философа людьми, специальностью которых не является история философии—и естественниками в том числе,—не позволяют себе теперь открыто выражать эти сомнения, ибо мнение основоположников марксизма по этому поводу настолько недвусмысленно, что даже специальное «сочинение» (на предмет его извращения) «двух» Энгельсов («Энгельса до 1871 г.» и после этого периода) не достигает цели, и им приходится ограничиваться разговорами на тему о «склонности преувеличивать значение гегелевского влияния на Маркса и Энгельса и, в связи с этим, преувеличивать значение гегелевской диалектики вообще» [2]).

Ибо изучение Гегеля представляет, конечно, не только исторический интерес, ибо Гегеля только еще нужно научиться читать материалистически, как это рекомендовал Ленин. Ибо гегелевская философия захватила «несравненно более широкую область, чем какая бы то ни было прежняя система», и развила «в этой области еще и поныне изумительное богатство мыслей». И хотя «нужды системы» довольно часто заставляли Гегеля прибегать к тем насильственным теоретическим построениям, по поводу которых до сих пор так ужасно кричат его ничтожные противники, «но эти построения служат у него только рамками работы, лесами возводимого им здания. Кто, не останавливаясь около них, проникает в самое здание, тот находит там бесчисленные сокровища, до настоящего времени сохранившие свою полную ценность» (Энгельс, Л. Фейербах, стр. 28—29).

Маркс, Энгельс, Ленин материалистически преодолели Гегеля, но, к сожалению, не имели возможности специально заняться систематическим изложением своих философских взглядов. Не много времени могли они уделить и проверке этих взглядов на естественно-научном материале и приложению их к этому материалу там, где в науке острствовали общие методологические вопросы, где происходила ломка старых взглядов и «волей неволей естествоиспытателям приходилось становиться философами». Тем не менее, даже те их отрывки, заметки, которыми мы имеем возможность пользоваться, дают чрезвычайно много, часто открывают перед нами совершенно новые горизонты, но в большинстве случаев сами становятся понятными лишь на ряду с тщательным изучением Гегеля. Они не отменяют изучения Гегеля, а предполагают его. Более того, они учат нас изучать Гегеля, показы-

[1]) Из доклада, читанного в семинарии по Гегелю на естественном отделении Института Красной Профессуры.

[2]) В. О. Клемм, Основы материал. диалектики, I, Энгельс, стр. 14.

вают, как с ним обращаться, отмечают его промахи и достижения, иногда прямо призывают к его изучению.

Следуя за Марксом, Энгельсом, Лениным, каждому марксисту, работающему в области теории, в том числе и в области теоретического естествознания, приходится поэтому проделывать работу по изучению Гегеля.

Но для естественников-марксистов изучение Гегеля представляет еще и особый интерес. Гегель нередко непосредственно ставит перед собою конкретные вопросы методологии естествознания. Естественно, что его метод вряд ли мог бы представлять для нас какой-нибудь интерес, если бы все эти попытки были только искусственно надуманы и не содержали в себе, выражаясь гегелевским языком, момента истины. Изучение Гегеля с этой стороны мне представляется поэтому не лишенным интереса, особенно в семинарии на естественном отделении, и я постаралась к своей теме—о категории количества у Гегеля—подойти именно с такой точки зрения. К сожалению, количество вопросов, затронутых Гегелем даже в одной только главе его «Науки логики», сложность этих вопросов, обилие привлекаемого им материала, его громадная эрудиция во всех областях человеческого знания, его своеобразный язык и форма изложения делают эту задачу весьма трудной.

I. Введение.

Об'ектом научного познания является внешний мир, сведения о котором доставляют нам наши чувства. В потоке времени сменяются наши чувственные впечатления, получаемые от различных, наполняющих пространство предметов. Чувства наши отображают эти отдельные единичные предметы в их данном состоянии на определенный момент времени в определенном месте. Но когда мы хотим при помощи нашего языка адэкватно выразить то, что является нашим чувством, то оказываемся не в состоянии это сделать. Ибо если я вижу дом, то передо мною не дом вообще, а данный конкретный дом с его особыми специфическими свойствами—своей особой архитектурой, местоположением, народонаселением, расположением квартир, фамилиями квартиронанимателей, окраской частей и т. д. и т. д. Язык же мой выражает только, что я вижу д о м, не данный, следовательно, особый дом, а какой-то д о м в о о б щ е. И если я скажу даже «я вижу белый дом», то это будет еще не данный белый дом, а один из возможных белых домов вообще. И если я скажу еще далее—«я вижу белый дом в романском стиле», то и этим будет выражено только то, что перед моими глазами один из возможных «белых домов в романском стиле вообще», а не тот самый особенный белый дом в этом стиле, который находится в этот момент перед моими глазами. Чувства наши отражают единичное и особенное, а язык выражает только всеобщее. «Язык,—говорит Гегель,—высказывает лишь о б щ е е». Ибо язык уже не относится к области чувственного, он есть «произведение рассудка». А рассудок в противоположность чувствам, отображающим единичное и особенное, в состоянии мыслить лишь всеобщее. Мыслить эмпирический мир—значит, по Гегелю, существенно изменять его эмпирическую форму и превращать его в нечто всеобщее. При этом мир теряет свою непосредственную, чувственную красочность и превращается в нечто абстрактное и отвлеченное. «Под воздействием вторгающейся мысли беднеет богатство бесконечно многообразной природы, замирает ее весна, угасают ее цветные игры. Все, что шу-

мело в ней жизнью, немеет и смолкает в тишине мысли; напоенная теплотою полнота природы, слагающаяся в тысячу разнообразно притягательных чудес, превращается в сухие формы и безобразные всеобщности, подобные тусклому северному туману» (Гегель, Энциклопедия, II). Между рассудочным мышлением, расчленяющим, разрывающим, раз'единяющим действительность, данную нам в чувственном восприятии, и этой действительностью возникает, таким образом, противоречие, разрешаемое лишь разумом, синтетически воссоздающим ее истинную картину [1]) из изолированных, отвлеченных рассудочных определений. Процесс познания, таким образом, идет от единичного—непосредственной чувственной конкретности—через отвлеченное всеобщее—абстрактное рассудочное мышление—к конкретному опосредованному, или, как мы можем сказать вслед за Гегелем, к истинному конкретному—синтезу единичного и всеобщего. Ибо, непосредственно являющийся нашим чувствам конкретный мир еще не соответствует подлинному внешнему миру, нас окружающему. Вещи, являющиеся в наших чувствах, связаны между собою чисто внешними пространственными и временными соотношениями, тем, что одна вещь лежит подле другой, одна является после другой. Их истинные связи и взаимоотношения могут быть раскрыты лишь мышлением, и притом сначала отвлеченным, абстрагирующим, изучающим один род вещей, процессов или зависимостей изолированно от других с тем, чтобы лишь затем в процессе синтеза снова наполнить свои абстракции конкретным содержанием.

Познание, таким образом, начинается с абстракции, с отвлеченной и формальной деятельности рассудка. «Конкретное,—говорит Маркс,—потому конкретно, что оно заключает в себе множество определений, являясь единством в многообразии. В мышлении оно выступает как процесс соединения, как результат, но не как исходный пункт, хотя оно является исходным пунктом в действительности и, следовательно, также исходным пунктом наглядного созерцания и представления. Если итти первым путем, то полное представление испарится до степени абстрактного определения; при втором же абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного путем мышления».

Итак, первая ступень познания характеризуется расчленением единой, многообразной действительности, «умерщвлением» ее, как выражается Гегель, изоляцией одних ее частей от других. Действительность при этом «упорядочивается», вещи и события группируются, получают названия, классифицируются. Это становится возможным только после того, как человек научится останавливать свое внимание на отдельных вещах в окружающем его пространстве, отдельных моментах во времени [2]). Из многообразного потока единой действительности ему нужно уметь выделить отдельное (не единичное со всеми его специфическими особенностями, а отдельное, т.-е. изолированное от конкретной обстановки, в том числе и от собственных специфических особенностей, делающих его не отдельным предметом данного рода, а именно данным, конкретным, неповторяемым предметом). Но вот в окружающем нас ландшаф-

[1]) По Гегелю не картина действительности, а сама действительность создается разумом, ибо Гегель идеалист. В дальнейшем я себе позволяю кое-где материалистическую интерпретацию Гегеля без специальной оговорки—там, где это не ведет к недоразумениям.

[2]) Первобытный человек, повидимому, еще не умеет этого сделать.

те мы фиксировали уже внимание на доме, поле, лесе, облаках, вот идали еще ряд домов, снова поле, луг. Каждая из этих вещей предстала перед нами в своем качественном определении, в своем качественном отличии от других ее окружающих, в сходстве с некоторыми из них, ей подобными. Мы, быть может, сначала даже не можем формулировать, в чем это качество данной вещи (группы вещей, всех вещей данного рода) состоит, чем дом отличается от поля, но в нашей практической деятельности мы непосредственно это отличие замечаем, фиксируем его тем, что даем «дому» особое название, «полю»—другое и т. д., и говорим, что они качественно отличаются друг от друга. Тут качество является перед нами как непосредственное определение вещи, как то, что отличает ее от других, ее окружающих, то, что заставило дать ей особое название, выделить при помощи этого названия из среды остальных. «Через свое качество,—говорит Гегель,—нечто противополагается другому»... «Определенность, изолированная так для себя, как сущая определенность, есть качество,—нечто вполне простое, непосредственное... Вследствие такой простоты о качестве, как таковом, ничего нельзя более сказать».

Когда человек приступает к научному исследованию, он начинает с того, что выделяет из окружающей его действительности качественно одинаково определенные вещи, при чем делает это сначала непосредственно, опираясь на показания своих органов чувств. Исследование, таким образом, начинается с качественного определения, качественного, как говорят, подхода к действительности. Но это качество пока еще не понято, не опосредовано мышлением, а, так сказать, только фиксировано на основании показаний органов чувств. Собственно, не следовало бы говорить, что тут речь идет о качественном познании мира. Вещи то действительно выделены на основании их качественных отличий друг от друга, но самые качества еще не познаны. Дом качественно отличается от поля, но в чем состоит специфическая качественность дома, связана ли она и как с качественностями других вещей—эта задача на первой ступени познания даже еще не ставится. Ибо, начав с качества, познание качеством же и заканчивается: оно только тогда в состоянии адэкватно отобразить некоторую вещь, когда постигнет в ней самое ее особое качественное своеобразие и специфичность, делающие ее именно данной конкретной вещью. Мы непосредственно констатируем качественное отличие жизни от нежизни, в нашем распоряжении имеется целый ряд существенных свойств, позволяющих отличать живое от неживого, но самая специфическая качественность жизни нам пока еще настолько слабо известна, что именно проблема жизни становится главным прибежищем для всевозможных философов непознаваемого.

Начав с качественного определения отдельных, изолированных друг от друга вещей, познание переходит затем к установлению между ними связей и взаимоотношений. Сначала, конечно, внешних для этих вещей, противополагающих и связывающих между собою вещи так, как они есть, как они были качественно нами выделены, отвлекаясь от происходящих в них существенных изменений, при которых вещь перестает быть тем, что она есть, становится другой вещью, меняет, следовательно, свое качество. Такое установление внешних «безразличных» для предмета связей и взаимоотношений осуществляется при помощи количественного определения, дающего возможность

отличать друг от друга вещи одной и той же группы, качественно одинаково определенные—дома, например, по номерам.

Изучение чисто внешних связей, однако, неизбежно приводит к обнаружению таких связей и взаимоотношений, при которых в результате внешнего количественного изменения происходит качественное изменение самих взаимодействующих вещей (мера). Но тут снова встает вопрос о качестве. О том, что, собственно говоря, изменилось. Если мы начали с того, что констатировали качественность вещей, если затем установили между ними количественные взаимоотношения и, наконец, обнаружили, что в результате количественных изменений происходит изменение самой качественной определенности вещей—то что же такое самая эта качественная определенность, которая сначала казалась такой непосредственной и простой, что в силу ее простоты о ней нечего было даже сказать? Ответ на этот вопрос дается в категории сущности, в ее взаимоотношении с явлением и далее, где не только качество, но и количество и вопрос об их взаимоотношении подвергаются более глубокому разбору и выяснению. В гегелевской смене категорий, переходы между которыми иногда столь искусственны, мы обнаруживаем таким образом вполне рациональный смысл. Они изображают нам процесс познания в его восхождении от изолированного, отдельного и пустого к единому, многообразному и насыщенному—от абстрактного к конкретному, от описания к об'яснению.

Предметом моего доклада является одна из исследуемых Гегелем категорий—количество. Я считала, однако, необходимым дать этот краткий очерк движения категорий у Гегеля для того, чтобы иметь в дальнейшем возможность ближе очертить место и значение этой категории в отношении к остальным—и раньше всего к качеству.

II. Определение количества.

Ни качества, как такового, ни чистого количества в природе не существует, ибо все существующее представляет собой единство качества и количества. Но для того, чтобы изучить это единство в его полной конкретности, нам нужно начать все-таки с абстракции—нужно мысленно изолировать качество от количества и изучить каждую из этих категорий в отдельности [1]). «Для обычного сознания,—говорит Гегель,—качество и количество суть два независимых определения, положенных рядом друг с другом. Именно в соответствии с этим способом представления и говорят, что вещи «определены не только качественно, но также и количественно» («Энцикл.»).

Благодаря качеству каждая вещь есть то, что она есть. «Существование,—говорит Гегель,—есть определенное бытие; его определенность есть сущая определенность, качество. И далее: «определенность, изолированная так для себя, как сущая определенность, есть качество,—нечто вполне простое, непосредственное... Вследствие такой простоты о качестве, как таковом, ничего нельзя более сказать». «Качество есть первая, непосредственная определенность». Итак, качество есть то, что, по выражению Гегеля, «опре-

[1]) «Чтобы понять отдельные явления,—говорит Энгельс,—мы должны вырвать их из всеобщей связи и рассматривать их изолированным образом». Анти-Дюринг, стр. 27. См. также приведенную выше цитату из Маркса.

деляет» предмет, как именно данный, существующий, конкретный. Притом это определенность «простая», «первая», «непосредственная», неотделимая, иными словами, от самого предмета—если вы лишите вещь ее качества, она перестанет быть тем, что она есть.

Более того, бескачественных вещей не существует, бескачественную вещь можно только мыслить, и то как пустую отвлеченность, а не как реально существующий предмет. Ибо именно качественная определенность характеризует реальность вещи. Но, придавая вещи реальность, утверждая, так сказать, ее существование, всякая качественная определенность содержит в себе и момент отрицания. Ибо «всякая вещь существует через другую вещь и в противоположность другой вещи. Всякое определение возможно лишь через противопоставление» (А. Деборин). По выражению Спинозы, имеющему с точки зрения Гегеля «безмерную важность», omnis determinatio est negatio—всякое определение есть отрицание. Утверждать существование данной конкретной вещи во всей ее качественной особенности можно, только противополагая ее другим вещам, ограничивая ее этими вещами, выясняя в ней как то, что роднит ее с этими вещами, так и то, что от них отличает и притом как в смысле наличия одних каких-нибудь особенных черт, так и в смысле не менее характерного для нее данного, особенного отсутствия других. И поэтому первое утверждение о том, что «существование есть определенное бытие; его определенность есть сущая определенность, качество», Гегель сейчас же дополняет вторым—«через свое качество нечто противополагается другому, есть изменчивое и конечное, совершенно отрицательно определенное не только в противоположность к другому, но и в нем самом («Наука логики», стр. 49). Взятое в его первом определении, «отличенное как сущее», качество «есть реальность», «как подпавшее же отрицанию—отрицание вообще, которое есть также качество, но, признаваемое за его отсутствие, определяется далее как граница, предел» («Наука логики», стр. 51—52). Качество, таким образом, не только характеризует некоторую вещь как именно данную, существующую, но и выделяет ее из среды ей подобных, тем самым ограничивает ее. «Существование определенно; нечто имеет качество, и в нем не только определенно, но и ограничено; его качество есть его граница» [1]) («Наука логики», стр. 66).

Однако ограничение есть лишь частичное уничтожение и сохранение. «Ограничить что-нибудь,—пишет тов. Деборин,—значит уничтожить его реальность путем отрицания не всецело, а только отчасти. Следовательно, в понятии границ, кроме понятий реальности и отрицания, заключается еще понятие делимости (способности количественного определения вообще, не какого-либо определенного количества)».

Рассмотрение качественной определенности вещей вскрывает перед нами, таким образом, необходимость дополнения его изучением определенности другого рода—количественной определенности.

[1]) В действительности не всегда можно указать границы, строго отличающие одну вещь от другой: растение от животного, один вид от другого, ибо все вещи находятся между собою в связи. Но, тем не менее, если бы мы видели только эту связь и не видели различия между вещами, как это делает механическое естествознание, то не видели бы ничего, ибо все сливалось бы для нас в нечто среднее, неопределенное и бесформенное.

Качественная определенность поэтому не единственная, по которой вещи различаются друг от друга. «Определенность, изолированная так для себя, как сущая определенность, есть качество,—нечто вполне простое, непосредственное. Определенность вообще есть нечто более общее, так как она может быть также и количественною и обладать дальнейшими определениями» («Н. Л.», 6). Качественно одинаково определенные вещи могут еще различаться количественно, могут быть бо́льшие и меньшие дома, более и менее красные флаги, более и менее яркий свет, более и менее громкий звук. Но эта определенность совсем другого рода. Она уже не так непосредственно связана с предметом, с ее изменением предмет не перестает быть тем, что он есть. (Тут нужно помнить, что мы пока рассматриваем качество и количество изолированно друг от друга, в их различии, а не тождестве, почему и не принимаем во внимание моментов их единства—перехода количества в качество и наоборот).

«Следуя этому способу рассматривать вещи (т. е. способу, присущему в обычном сознании.—С. Я.),—говорит Гегель,—мы их рассматриваем сначала с точки зрения их качества, которое мы постигаем как определенность идентичную с бытием вещи. Если мы рассматриваем затем количество, мы видим сейчас же представляющуюся нашему рассудку определенность безразличную, внешнюю, такую, что вещь, несмотря на то, что ее количество меняется и что она становится больше или меньше, остается все же тем, что она есть» («Энцикл.», доб. к § 48).

«Для нечто его граница, как качества, есть его существенная определенность. Но если мы разумеем под границею границу количественную, и если, например, поле изменяет свою границу, то оно остается попрежнему полем. Если же изменяется его качественная граница, то это изменение касается его определения, как поля, и оно делается другом, лесом и т. п. Краснота, становясь напряженнее или бледнее, все же остается краснотою; но если она изменяет свое качество, то она перестает быть краснотою, становится синевою и т. п.» («Н. Л.», 112).

Количество, таким образом, тоже ограничивает предмет, но это ограничение совсем другого рода. Тут граница не связана непосредственно с предметом, с ее изменением предмет не перестает быть тем, чем он был. Это граница внешняя для предмета, безразличная ему, как неустанно повторяет Гегель. «Качество есть первая непосредственная определенность, количество же—определенность, ставшая безразличною бытию, граница, которая равным образом не есть граница, бытие для себя, которое совершенно тождественно бытию для другого». И далее, «определенность оказывается вообще вне себя, есть просто внешнее и также внешнее нечто; такая граница, безразличие ее в самой себе и к отличному от нее нечто, и составляют ее количественную определенность» («Н. Л.», 111). «Количество есть чистое бытие, где определенность не положена больше, как нечто неотделимое от бытия самого по себе, но как снятое или как безразличное (gleichgültig)» («Энцикл.», § 49).

К некоторым из этих формулировок нам еще придется вернуться при рассмотрении вопроса о чистом и определенном количестве (величине), пока же, я думаю, ясно одно: обычное сознание различает два рода определенности у предметов—качественную и количественную. Первая непосредственно связана с предметом, как таковым, с ее изменением предмет перестает быть тем, что он есть,—вторая имеет место только там, где уже есть первая (ибо качество

предмета неотделимо от самого предмета), но она к ней «безразлична». Эта вторая определенность—внешняя для предмета, не затрагивающая его существа, его содержания, с ее изменением предмет не перестает быть тем, что он есть—он, так сказать, только меняет свое место в ряду других ему подобных (вернее, качественно одинаково определенных) предметов.

Через посредство качества предмет выделяется из среды других его окружающих—дом отличается от земли и неба. Если нам понадобится точнее определить, о каком именно доме идет речь, мы сумеем это сделать двумя способами—либо глубже качественно его определим, не как «дом вообще», а как некоторый, данный, особенный дом (вернее, вид домов), либо будем исходить из того же качественного определения («дома вообще» в отличие, скажем, от неба, земли и т. п.), и станем отличать дома друг от друга количественно, для чего приведем их в соответствие с рядом чисел (перенумеруем), при чем постараемся сделать это так, чтобы каждому дому отвечал один только номер и каждому номеру один дом. Теперь предмет, данный конкретный дом будет вполне определен и выделен из среды ему подобных, но эта определенность будет только внешняя, «безразличная», ибо по номеру дома я, правда, сумею отыскать его среди ему подобных, если буду знать способ (закон) нумерации, но по существу ничего, кроме того, что он есть «дом», я о нем больше не узнаю, по крайней мере, до тех пор, пока в действительности его не выделю из среды ему подобных,—дойду до него и осмотрю, или хотя бы разыщу по плану. Между тем, если бы наш дом был определен качественно, мы бы знали о нем уже больше того, что он есть просто дом, «дом вообще»,—мы бы ближе знали его, как такового, данный.

Итак, количественная определенность выделяет предметы из среды других, им подобных, определяет их иногда даже вполне, но при этом не дает нам сведений о содержании, о сущности того, что она определяет. Для того, чтобы количественно определять предметы, нужно иметь раньше класс, группу, комплекс качественно одинаковых предметов, но при этом в сущности безразлично, какие это именно предметы, какими они обладают качествами, лишь бы последние вообще были: то же, что мы проделали с домами, можно проделать со стульями (в театре, например), книгами (десятичная классификация), новорожденными младенцами в родильном приюте и т. д.

Тут пора оговориться: кое-что новое о вещах, что не содержится в их общем качественном определении, мы таким образом все же узнаём. Это новое есть связь, выражаемая способом (законом), по которому производится данное количественное сравнение, устанавливается взаимоотношение между предметами, дающее возможность отнести младенца к его матери, стул в театре к гражданину, приобревшему право занять его, данную книгу к роду трактуемого ею предмета. И чем эта связь «теснее», тем ценнее для нас количественное определение, ибо оно в таком случае дает возможность, зная один из соотносящихся предметов, устанавливать свойства другого. Так, зная особенности данной материи, мы можем предвидеть некоторые свойства относящегося к ней младенца [1]).

[1]) Впрочем, в данном случае количественное определение не дает выражения формы связи между матерью и ребенком, как это имеет, напр., место тогда, когда оно осуществляется при посредстве формулы,—но лишь пользуется, если можно так выразиться, фактом существования связи между ними.

Это внешнее, безразличное к существу определяемых им вещей количественное определение дает, однако, возможность отобрать связи и взаимоотношения между вещами, и таким образом, пользуясь качественным познанием одних вещей, делать выводы относительно свойств других.

Более того, один вид зависимости, устанавливаемый при помощи такого количественного определения, отличается при этом от другого, один закон от другого, и притом уже не количественно, а качественно — как закономерности именно того, а не другого рода. Не случайно поэтому такие философы математики, как Кутюра, например, считают предметом математики (логики, что тождественно с их точки зрения) не количество, а качества — качественно друг от друга отличающиеся формы функциональных зависимостей, выражающих законы количественного сравнения, соотношения предметов. Всякое, следовательно, даже совершенно внешнее, безразличное к существу предмета количественное определение предполагает некоторый качественный момент, находящий себе выражение в том способе—«законе», по которому оно производится. Уже самые первые шаги в изучении количества таким образом обнаруживают перед нами, что в действительности количество и качество изолированы друг от друга не существуют, что всякое, даже чисто внешнее количественное определение содержит в себе некоторый качественный момент. А если при помощи этого определения находит себе выражение не чисто внешняя, случайная, произвольно нами устанавливаемая связь, а существенная для данных классов предметов зависимость, количественное определение становится очень мощным средством научного исследования. Но тут оно теряет уже свой характер внешности, безразличия к существу определяемых им предметов, и, следовательно, перестает быть голым количественным определением. Из формального оно превращается в содержательное, из внешнего в существенное, из количества в меру — единство качественного и количественного определения.

Это последнее в свою очередь имеет место только там, где связи между предметами не рассматриваются изолированно от этих предметов, где они являются существенными именно для данных конкретных предметов, а не предметов вообще, тождественных между собою, абстрактных, неопределенных бескачественных иксов и игреков. Ибо по существу можно отображать лишь то, что этим существом действительно обладает. Однако ближе об этом впереди.

III. Предмет математики.

Еще совсем мало изложено мною из гегелевской трактовки категории количества. Но и то немногое, что изложено, дает уже возможность сделать кое-какие выводы, имеющие прямое отношение к современной математике. В самом деле, что такое математика? На этот вопрос существует очень много ответов.

Большинство людей полагает, что математика, это наука о количестве. Но большинство современных математиков так не думает. Ибо, рассуждают последние, если математика есть наука об измерении величин, то как же быть с такими дисциплинами, как теория чисел, теория функций, проективная геометрия, где «действительное измерение величин является в лучшем случае чем-то побочным и второстепен-

ным» (В. Вундт, «Общее учение о математическом методе»). «Прежде предполагали (а философы до сих пор предполагают),—пишет Рессель,—что основным понятием математики является понятие о количестве. Но в настоящее время количество осталось в геометрии только в одной небольшой главе». Математика, следовательно, не наука о количестве. Что же она в таком случае собою представляет? Одни отвечают на это: математика, это—чистая логика, и потому предметом ее является чистая мысль, другие говорят: математика, это—не содержательная наука, а универсальный метод, третьи ставят все точки над i и откровенно заявляют: «математика может быть определена, как доктрина, в которой мы никогда не знаем ни о чем мы говорим, ни то, верно ли то, что мы говорим» (Б. Рессель). А смущенные этой формулировкой четвертые в недоумении разводят руками, полагают, что математика окончательно потеряла свой предмет, и необходимо экстренно соорудить экспедицию на его поиски (школа Брауэра и Вейля). Таким образом, даже в отношении своего предмета математика потеряла почву под ногами, сами математики не знают, чем они занимаются, о чем трактует их наука.

Математики-материалисты могли бы, конечно, занять по отношению ко всему этому движению во всех его оттенках позицию голого отрицания, ибо с материалистической точки зрения не может даже быть этого вопроса о предмете. Предметом математики, как и всякой другой науки, является природа, окружающая нас действительность, материальный внешний мир, частью которого являемся и мы сами. И, конечно, ответ этот вполне правилен. К сожалению, однако, он недостаточен, ибо, устанавливая тождество между математикой и другими науками, он еще не дает различия между ними, не указывает того специфического, что отличает математику от других наук, делает ее именно математикой, а не биологией или социологией, например.

Предмет математики, как таковой, этим еще далеко не определен, ибо, хотя все науки находятся между собою в связи, никто не сомневался еще до сих пор в существовании математики, как особой науки. Но в таком случае вопрос о предмете математики, как такой особой науки, снова встает перед нами во всей своей силе. Чем занимается математика, если верно, что в ней имеются дисциплины, в которых вопросы величины и измерения не играют уже существенной роли. Тут опять-таки возможны для материалиста две точки зрения. Можно просто отмахнуться от всего нового, закрыть на него глаза и продолжать стоять на той точке зрения, что никакие дисциплины, кроме тех, которые занимаются величинами, вовсе недостойны звания математики, их присутствие об'ясняется идеалистическим перерождением науки, и ими поэтому нет необходимости заниматься. При всей ограниченности этой точки зрения, в ней имеется еще и опасность выплеснуть вместе с водою ребенка из ванны. Создается, например, какая-нибудь не-Евклидова геометрия, не имеющая как будто никакого отношения к тому пространству, в котором мы живем и действуем, и вдруг оказывается, что этакая фантастическая, воображаемая геометрия имеет в действительности место на псевдосфере или другой, особого рода, поверхности. С «последовательной» точки зрения отрицания всего, что не имеет непосредственного отношения к окружающей нас действительности и не ведет прямо к усовершенствованию приемов и методов измерения,—мы оказались бы перед последним фактом в полной беспомощности и уже, во всяком случае, не были бы в состоянии предвидеть его.

Однако для материалиста вполне возможна (и мы сказали бы: необходима) другая точка зрения. Не позиция голого отрицания или закрывания глаз на то, что нам неприятно, а такая точка зрения, которая дает возможность учиться даже у неприятеля, и поэтому не только отрицать, но и преодолевать его.

И если мы с этой последней точки зрения посмотрим на все вышеприведенные взгляды на математику, то подметим в них общую черту,—они все, явно или неявно, высказывают один факт: математика не такая наука, которая изучает предметы по содержанию, по существу, она их не всегда изучает даже по величине. «Развитие не-Евклидовой геометрии,—говорит Рессель,—постепенно выяснило, что геометрия бросает не более свету на природу [1]) пространства, чем арифметика—на население Соединенных Штатов». «Современная математика... придает все большее и большее значение порядку... В настоящее время количество осталось в геометрии только в одной небольшой главе, между тем, как понятие о порядке захватывает все большие и большие области». Более близкого определения количества при этом, однако, не дается, хотя ясно, конечно, что речь идет о величине, о таком количественном соотношении, которое получается в результате измерения. Между тем, с гегелевской точки зрения количество вовсе не исчерпывается величиною в смысле результата измерения. Величина носит в себе момент количества, ибо она определяется как то, что может быть увеличиваемо и уменьшаемо, следовательно, как нечто внешнее для предмета, безразличное к его сущности, к его содержанию, но величина есть уже определенное количество, а не количественная определенность сама по себе во всей широте этого понятия [2]). Количество, это мы видели уже, есть некоторая определенность, характеризующая предметы, выделяющая их из среды им подобных, устанавливающая, следовательно, между ними связи и взаимоотношения, но при этом внешним образом, чуждым их содержанию, не освещающим и не затрагивающим его,—по крайней мере, на первый взгляд, для обыденного представления. Но в таком случае порядок также подходит под определение количества, как и величина, ибо это тоже есть вид безразличной определенности, внешней связи между предметами, и именно поэтому он может быть выражен посредством числа, т.-е. количественным образом. Математика есть все-таки наука о количестве, хотя она и не всецело посвящена измерению.

Именно тем, что предметом ее является количество, об'ясняется и ее сила, и ее слабость. Она действительно, по крайней мере, в низших своих частях (поскольку еще не введено понятие о бесконечности), совершенно не изучает природу предметов, их содержание, она устанавливает между ними связи и взаимоотношения, но при этом только внешним образом—при помощи произвольно выбранной единицы, при помощи совершенно чуждой той или другой кривой системы координатных осей. Но в этом и ее сила, ибо это безразлично к содержанию определяемых при ее посредстве предметов чрезвычайно расширяет круг ее приложения, делает ее действительно универсальной наукой... в области изучения связей и взаимоотношений, зависимостей между предметами. Именно в этом—корни той точки зрения, согласно которой математика не есть содержательная наука, а универсальный метод для других наук...

[1]) Курсив мой.—С. Я.
[2]) Ср. «Наука Логики», стр. 112; «Энцикл.», стр. 174—175.

Мы видели, что для возможности количественного сравнения неважно, какие предметы, какими качествами наделенные в нем будут участвовать, важно лишь, чтобы это были качественно одинаково определенные предметы. Поэтому те связи и взаимоотношения, которые устанавливает математика, могут быть ею установлены только между однородными предметами. Всякое установление математической (функциональной) зависимости между предметами и явлениями внешнего мира есть поэтому установление между ними некоторого тождества. «Результаты, добываемые сравнительным методом,—говорит тов. Деборин,—составляют, правда, необходимую, но, вместе с тем, низшую или подготовительную ступень истинно-научного знания. Сравнительный метод имеет своей задачей привести наличные различия к тождеству. Математика и является той наукой, которая осуществляет эту цель наиболее полным образом, т.-е. она приводит различия к тождеству. Но это тождество есть чисто формальное, внешнее, отвлеченное тождество. Однако за отвлеченным тождеством вещей не следует забывать их различия».

Более того, самые связи и взаимоотношения, которые изучает математика, особенно на низших ее ступенях, носят чисто внешний, произвольный характер. Устанавливается несколько основных, не подлежащих определению, взаимоотношений, в роде таких, как «между» («точка Z лежит между точками X и Y»), «лежит на» (точка лежит на прямой»), «равно» и т. п., из которых все остальные получаются уже при помощи нескольких формальных принципов комбинации. Так, взаимоотношение между двумя об'ектами может быть превращено во взаимоотношение с самим собою, если вместо зависимости между X-ом и Y-ом рассматривать ту же зависимость между X-ом и X-ом, всякое взаимоотношение может быть заменено его отрицанием; из двух взаимоотношений между двумя об'ектами и слова «и» может возникнуть одно взаимоотношение между тремя об'ектами (например, два соотношения «X отец Y» и «X племянник Z», где X и Y произвольные люди, могут быть скомбинированы в одно—«X отец Y и племянник Z»); два взаимоотношения могут быть соединены в одно, и при помощи слова (знака) «или» («Y—сын X или племянник X») [1]) и т. п. Семи таких принципов с точки зрения современных логистов вполне достаточно для образования всех тех зависимостей, которыми оперирует вся современная математика [2]). И нужно им отдать справедливость в том, что произведенный ими анализ структуры изучаемых математикою зависимостей во многих случаях не только остроумен, но и справедлив. Таким образом, определение математики, как науки о количестве (в том смысле этого слова, которое придает ему Гегель), не только отвечает на вопрос о предмете математики, но дает и границы применения математических методов, характеризует их роль и значение.

И Гегель действительно сам эти границы указывает. Количественная определенность находит себе, по Гегелю, полное выражение в числе. Арифметика поэтому может быть названа первой математической наукой. Но вот как Гегель характеризует арифметику: «Она не имеет такого конкретного предмета, который содержал бы в себе

[1]) Подробнее об этом см. в интересной статье H. Weyl'я «Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft» (Teil) в «Handbuch der Philosophie», 4. Lieferung, S. 5—6.
[2]) Сам Weyl, впрочем, не стоит на этой точке зрения. Он придает, в частности, существенное значение так называемому принципу творческого математического определения.

внутренние отношения, первоначально скрытые для мышления, не данные в непосредственном представлении о нем, но выделяемые лишь усилием познания. Она не только не содержит понятия, а потому и задачи для понимающего мышления, но есть его противоположность. Вследствие безразличия того, что связывает, к связи, в которой нет необходимости, мышление находится здесь в такой деятельности, которая есть вместе с тем полнейший выход вне себя, в насильственной деятельности, направленной к тому, чтобы двигаться в отсутствии мысли и связывать то, что не подчинено никакой необходимости. Предмет есть здесь абсолютная мысль о внешности, как таковой.

Как эта мысль о внешности, число есть вместе с тем отвлечение от чувственного многообразия; оно не сохраняет от чувственного ничего, кроме отвлеченного определения внешности, как таковой; тем самым это чувственное в числе всего более приближается к мысли («Н. Л.», 134).

Не лучше, по мнению Гегеля, обстоит дело и в геометрии, по крайней мере элементарной. Нужно отметить, что Гегель самым решительным образом высказывается против трактовки геометрии, как некоторой суммы фактов, некоторой эмпирически-описательной науки. Теорема, по его мнению, не имеет никакого смысла без доказательства. «Еще не может считаться геометром,—пишет он,—тот, кто знает теоремы Евклида наизусть без доказательств, знает их внешне, а не по существу, не внутренне, как можно было бы выразиться, ради противоположности. Равным образом, познание, которое посредством измерения многих прямоугольных треугольников выяснило бы, что их стороны стоят в известном отношении друг к другу, должно быть признано неудовлетворительным» [1]). Результат исследования и здесь не может быть, таким образом, оторван от пути, при помощи которого он получен, от метода исследования. Однако эта связь еще в достаточной мере внешняя и случайная. Доказательство хотя и связано с результатом, но еще не является его существенным моментом, необходимым, неотъемлемым развитием его содержания.

«При математическом познании,—пишет Гегель,—существенность доказательства не имеет еще значения и природы момента самого результата, в нем доказательство присутствует мимоходом и пропадает». «Движение математического доказательства не принадлежит предмету, а является действием, внешним ему. Например, по своей природе, прямоугольный треугольник не разлагается сам так, как это представляется в конструкции, необходимой для доказательства положения, выражающего его отношение». «Но неудовлетворительность этого познания в той же мере касается самого сознания, как и его материала вообще. Что касается познания, то, прежде всего, нужно отметить, что нельзя усмотреть необходимости конструкции. Она вытекает не из понятия теоремы, а навязывается извне; и люди слепо подчиняются предписанию, провести именно эти линии из бесчисленного множества других, которые могли бы быть в данном случае проведены, при чем ссылаются лишь на доверии в то, что это целесообразно для проведения доказательства. Позднее и обнаруживается эта целесообразность, являющаяся только внешней потому, что она оказывается впоследствии при доказательстве. Равным образом, доказательство идет путем, который имеет случайное начало, при чем неизвестно, в каком отношении оно стоит к искомому результату. В своем движении доказательство принимает некоторые определения и отношения и предпо-

[1]) «Феноменология духа», стр. 18.

гает другими, при чем непосредственно не видно, в силу какой необходимости оно это делает: внешняя цель управляет этим движением [1]). Характеризуя обычные способы изложения геометрии, известный математик-педагог Юнг пишет почти дословно то же самое: «Изумленного новичка мы ведем тут все далее и далее, при чем он соглашается с истинностью каждого из положений, как чего-то данного произвольно, но не видит никакой связи ни между ними самими, ни между ними и доказываемым предложением. Поэтому он находит, что свести их в одно—дело затруднительное, и когда, наконец, он неожиданно лицом к лицу сталкивается с главным положением, оно действует на него как удар. Он видит, что он попал в ловушку прочно, и что ему никак не удастся не согласиться с истинностью данного предложения. Но в то же время все кажется ему произвольным и таинственным» [2]).

Наконец, Шопенгауэр называет доказательства Евклида «ходульными штуками» и говорит, что тут «истина входит с черного хода» [3]).

Однако смысл этих высказываний Юнга и Шопенгауэра не имеет ничего общего с тем, что хочет сказать Гегель. Шопенгауэр имеет в виду отрицание математики, как науки, а педагоги, недовольные тяжелым формальным характером элементарной математики, стараются сделать ее доказательства по возможности нагляднее [4]), нередко ударяясь в противоположную крайность и превращая геометрию, например, в сумму фактов, чисто эмпирически устанавливаемых. Наиболее вдумчивые из них, к числу которых, несомненно, принадлежит и Юнг, пытаются связать доказательство органической связью с результатом. Но поскольку элементы условности, произвола из математики не могут быть изгнаны, поскольку она все же представляет собою именно формальный (абстрактный) метод обработки некоторого реального (конкретного) содержания, мне кажется, что полностью выдержанные эти попытки могут привести только к обману учащегося. Гораздо честнее сказать ему, когда он уже для этого немного подготовлен, что тут либо там мы имеем дело с некоторым «условием», исторически оправдавшим себя в качестве средства отображения действительности и в конце концов именно поэтому принятом, но в математике выступающим как произвольное, что в то, либо другое предложение он должен вкладывать только тот смысл, который ему будет предложено вкладывать и т. п. Без этого специфический характер математики, как науки, по преимуществу абстрактной, ускользнет от него, и главная цель преподавания математики—научить учащегося пользоваться отвлеченным мышлением—не будет достигнута. А мы видели, что именно с абстракции начинается всякое познание, что силен не тот, кто мышление подменяет воображением, а тот, кто, сочетая обе эти способности, диалектически мысля, умеет наполнить абстракции конкретным содержанием. Гегель поэтому не отвергает, подобно Шопенгауэру, математику как науку, а лишь отводит ей подо-

[1]) Гегель, там же, стр. 18—20.
[2]) Юнг, Как преподавать математику, стр. 196.
[3]) Там же, стр. 197.
[4]) Против чего Гегель особенно резко возражает: «Всего менее следует вменять науке, напр. геометрии и арифметике, в заслугу то нагляднее, которое приносит с собою ее материя, и представлять себе ее предложения, как основанные на нем. Напротив, именно потому материя таких наук имеет более низменную природу; воззрительность фигур или чисел не помогает их научности; последняя вносится в них лишь через мышление о них» («Н. Л.», т. II, стр. 27—28). Для материалиста, конечно, такое отрицание наглядности неприемлемо. Однако и с нашей точки зрения наглядность должна не противополагаться мышлению, не заменять его, а помогать ему.

внутренние отношения, первоначально скрытые для мышления, не данные в непосредственном представлении о нем, но выделяемые лишь усилием познания. Она не только не содержит понятия, а потому и задачи для понимающего мышления, но есть его противоположность. Вследствие безразличия того, что связывает, к связи, в которой нет необходимости, мышление находится здесь в такой деятельности, которая есть вместе с тем полнейший выход вне себя, в насильственной деятельности, направленной к тому, чтобы двигаться в отсутствии мысли и связывать то, что не подчинено никакой необходимости. Предмет есть здесь абсолютная мысль о внешности, как таковой.

Как эта мысль о внешности, число есть вместе с тем отвлечение от чувственного многообразия; оно не сохраняет от чувственного ничего, кроме отвлеченного определения внешности, как таковой; тем самым это чувственное в числе всего более приближается к мысли («Н. Л.», 134).

Не лучше, по мнению Гегеля, обстоит дело и в геометрии, по крайней мере элементарной. Нужно отметить, что Гегель самым решительным образом высказывается против трактовки геометрии, как некоторой суммы фактов, некоторой эмпирически-описательной науки. Теорема, по его мнению, не имеет никакого смысла без доказательства. «Еще не может считаться геометром,—пишет он,—тот, кто знает теоремы Евклида наизусть без доказательств, знает их внешне, а не по существу, не внутренне, как можно было бы выразиться, ради противоположности. Равным образом, познание, которое посредством измерения многих прямоугольных треугольников выяснило бы, что их стороны стоят в известном отношении друг к другу, должно быть признано неудовлетворительным» [1]). Результат исследования и здесь не может быть, таким образом, оторван от пути, при помощи которого он получен, от метода исследования. Однако эта связь еще в достаточной мере внешняя и случайная. Доказательство хотя и связано с результатом, но еще не является его существенным моментом, необходимым, неотъемлемым развитием его содержания.

«При математическом познании,—пишет Гегель,—существенность доказательства не имеет еще значения и природы момента самого результата, в нем доказательство присутствует мимоходом и пропадает». «Движение математического доказательства не принадлежит предмету, а является действием, внешним ему. Например, по своей природе, прямоугольный треугольник не разлагается сам так, как это представляется в конструкции, необходимой для доказательства положения, выражающего его отношение». «Но неудовлетворительность этого познания в той же мере касается самого сознания, как и его материала вообще. Что касается познания, то, прежде всего, нужно отметить, что нельзя усмотреть необходимости конструкции. Она вытекает не из понятия теоремы, а навязывается извне; и люди слепо подчиняются предписанию, провести именно эти линии из бесчисленного множества других, которые могли бы быть в данном случае проведены, при чем ссылаются лишь на доверии в то, что это целесообразно для проведения доказательства. Позднее и обнаруживается эта целесообразность, являющаяся только внешней потому, что она оказывается впоследствии при доказательстве. Равным образом, доказательство идет путем, который имеет случайное начало, при чем неизвестно, в каком отношении оно стоит к искомому результату. В своем движении доказательство принимает некоторые определения и отношения и предпо-

[1]) «Феноменология духа», стр. 18.

гает другими, при чем непосредственно не видно, в силу какой необходимости оно это делает: внешняя цель управляет этим движением [1]). Характеризуя обычные способы изложения геометрии, известный математик-педагог Юнг пишет почти дословно то же самое: «Изумленного новичка мы ведем тут все далее и далее, при чем он соглашается с истинностью каждого из положений, как чего-то данного произвольно, но не видит никакой связи ни между ними самими, ни между ними и доказываемым предложением. Поэтому он находит, что свести их в одно—дело затруднительное, и когда, наконец, он неожиданно лицом к лицу сталкивается с главным положением, оно действует на него как удар. Он видит, что он попал в ловушку прочно, и что ему никак не удастся не согласиться с истинностью данного предложения. Но в то же время все кажется ему произвольным и таинственным» [2]).

Наконец, Шопенгауэр называет доказательства Евклида «ходульными штуками» и говорит, что тут «истина входит с черного хода» [3]).

Однако смысл этих высказываний Юнга и Шопенгауэра не имеет ничего общего с тем, что хочет сказать Гегель. Шопенгауэр имеет в виду отрицание математики, как науки, а педагоги, недовольные тяжелым формальным характером элементарной математики, стараются сделать ее доказательства по возможности нагляднее [4]), нередко ударяясь в противоположную крайность и превращая геометрию, например, в сумму фактов, чисто эмпирически устанавливаемых. Наиболее вдумчивые из них, к числу которых, несомненно, принадлежит и Юнг, пытаются связать доказательство органической связью с результатом. Но поскольку элементы условности, произвола из математики не могут быть изгнаны, поскольку она все же представляет собою именно формальный (абстрактный) метод обработки некоторого реального (конкретного) содержания, мне кажется, что полностью выдержанные эти попытки могут привести только к обману учащегося. Гораздо честнее сказать ему, когда он уже для этого немного подготовлен, что тут либо там мы имеем дело с некоторым «условием», исторически оправдавшим себя в качестве средства отображения действительности и в конце концов именно поэтому принятом, но в математике выступающим как произвольное, что в то, либо другое предложение он должен вкладывать только тот смысл, который ему будет предложено вкладывать и т. п. Без этого специфический характер математики, как науки, по преимуществу абстрактной, ускользнет от него, и главная цель преподавания математики—научить учащегося пользоваться отвлеченным мышлением—не будет достигнута. А мы видели, что именно с абстракции начинается всякое познание, что силен не тот, кто мышление подменяет воображением, а тот, кто, сочетая обе эти способности, диалектически мысля, умеет наполнить абстракции конкретным содержанием. Гегель поэтому не отвергает, подобно Шопенгауэру, математику как науку, а лишь отводит ей подо-

[1]) Гегель, там же, стр. 18—20.
[2]) Юнг, Как преподавать математику, стр. 196.
[3]) Там же, стр. 197.
[4]) Против чего Гегель особенно резко возражает: «Всего менее следует вменять науке, напр. геометрии и арифметике, в заслугу то нагляднее, которое приносит с собою ее материя, и представлять себе ее предложения, как основанные на нем. Напротив, именно потому материя таких наук имеет более низменную природу; воззрительность фигур или чисел не помогает их научности; последняя вносится в них лишь через мышление о них» («Н. Л.», т. II, стр. 27—28). Для материалиста, конечно, такое отрицание наглядности неприемлемо. Однако и с нашей точки зрения наглядность должна не противополагаться мышлению, не заменять его, а помогать ему.

бающее место в человеческом познании. Даже по поводу занятия элементарной арифметикой, этою наиболее бедною и абстрактною наукой, которую он, по справедливому замечанию Энгельса, даже чересчур обижает, он пишет: «Число есть не-чувственный предмет, и занятие ни и его комбинациями—не-чувственное занятие, тем самым дух удерживается на рефлексии в себя и на внутренней отвлеченной работе, что представляет собою большую, но (немедленно оговаривается он) одностороннюю важность. Ибо, с другой стороны, так как в основе числа лежит лишь внешнее, лишенное мысли различение, то эта работа есть лишенная мысли, механическая».

Более того, Гегель подчеркивает даже важность аксиоматических исследований, от которых ждет выяснения границ применимости математического метода. «То обстоятельство,—пишет он,—что так называемые доказательства таких положений, как положения равновесия рычага, отношения пространства и времени в движении падения и т. д. выдаются и принимаются за доказательства, само является только доказательством того, как велика для познания потребность в доказывании: там, где его больше нет, обращают внимание на пустую иллюзию его и при помощи получают удовлетворение. Критика таких доказательств была бы настолько же занимательна, как и поучительна в целях очищения с одной стороны, математики от этого фальшивого наряда, с другой, ради указания ее границ и вытекающей отсюда необходимости в другом знании[1]).

Математика, таким образом, представляет собою абстракцию от действительности, и притом наиболее полную, наиболее бедную конкретным содержанием. Как уже было упомянуто, абстрактное (рассудочное) мышление по Гегелю убивает действительность, умерщвляет ее с тем, чтобы исследовать в ней сначала отдельные части, изолируя их друг от друга и затем связывая, сначала тоже чисто внешним образом. Математика представляет собою такое познание в его наиболее чистом виде, ибо «цель или понятие математического познания—величина. Это есть именно не существенное, не выражаемое в понятиях отношение. Движение знания совершается поэтому в математике на поверхности, касается не самого дела, не сущности или понятия». Поэтому «такой недействительностью, какую представляют собою предметы математики, не занимаются ни конкретное чувственное созерцание, ни философия. В такой недействительной сфере может быть также только недействительное истинное,—т.-е. фиксированные мертвые положения: на каждом из них можно остановиться; следующее начинается для себя снова, при чем первое само не двигается к другому, и таким образом не возникает необходимой связи благодаря природе самого дела. Вследствие такого принципа и сферы знание—в этом-то и состоит формальная сторона математической очевидности—идет по линии равенства. Мертвое не движется, так как оно не устанавливает различия сущности, существенного противоположения или неравенства, поэтому не достигает перехода противоположного в противоположное, не приходит к качественному имманентному движению, к самодвижению»[2].

Но тут, как это всегда бывает при изучении Гегеля, нужно, наконец, оговориться. Все это будет вполне верно тоже только в абстракции, только вообще, ибо в действительности нет непро-

[1]) «Феноменология духа», стр. 20. Курсив мой.—С. Я.
[2]) «Феноменология духа», стр. 20.

ходимой границы между внешностью и внутренним содержанием: начиная с такого чисто внешнего определения, с абстрактного тождества, математика постепенно наполняет свои абстракции конкретным содержанием—так, начав с отнесения кривой (или поверхности) к совершенно чуждой для нее, безразличной к ней системе координат, она приходит, наконец, к отысканию инвариантных соотношений, которые, в свою очередь, не зависят от выбора координатных осей и характеризуют уже не внешние для кривой (или поверхности, например) связи, а кривую или эту поверхность самое по себе—в ее существенных свойствах. Именно так и идет развитие математики, именно в этих последних достижениях ее главное значение и заслуга. Но именно так ставит вопрос и Гегель. Определив количество, как полную противоположность качеству, и отнюдь не отказываясь от этого своего определения, он обнаруживает в дальнейшем развитии этой категории, при наполнении ее конкретным содержанием, совершенно противоположные моменты, но не останавливается в недоумении перед этими противоречиями, а умеет обозреть их в их единстве. «Диалектика,—говорит тов. Деборин,—есть для Гегеля движущий принцип понятия. При этом он различает два момента диалектики: отрицательный и положительный. Отрицательная диалектика разрушает предмет, понятие путем обособления момента всеобщего и выделения противоположных определений. Положительная или высшая диалектика понятия понимает определение не только как предел и противоположное, но и порождает из себя положительное содержание и результат, благодаря чему одному она есть развитие и имманентное движение вперед» (А. Деборин, «Маркс и Гегель»).

На протяжении всей дальнейшей части главы о количестве, мы присутствуем при том, как это сначала чисто внешнее, безразличное к существу характеризуемых им предметов количественное определение приобретает способность все более и более существенного их отображения, пока, наконец, в мере не становится могучим средством их истинного, т.-е. соответствующего живой действительности, отражения. И вот тот самый Гегель, который, не стесняясь, всячески поносил элементарную математику, теперь пишет: «Математика природы, если она желает быть достойною имени науки, должна быть по существу наукою о мере, наукою, для которой эмпирически сделано, правда, много, но собственно научно, т.-е. философски, еще мало». «Велика заслуга познать эмпирические числа природы, например, взаимные расстояния планет, но еще неизмеримо большая заслуга заставить исчезнуть эмпирические определенные количества, возвысив их до общей формы количественных определений так, чтобы они стали моментами закона или меры,—бессмертные заслуги, оказанные, например, Галилеем относительно падения тел и Кеплером относительно движения небесных тел. Они доказали найденные ими законы, показав, что им соответствует весь об'ем воспринимаемых частностей. Но должно потребовать еще высшего доказательства этих законов, состоящего не в чем ином, как в том, чтобы их количественные определения были познаны из качеств или из определенных соотносящихся понятий (каковы время и пространство)» [1]). Таким образом, развиваясь, математика обогащается, с одной стороны, при помощи опыта,—с другой, опираясь на философское рассмотрение. Но при этом она перестает быть математикою в собственном смысле этого слова и становится

[1]) «Н. Л.», I, стр. 237. Весь курсив—Гегеля.

могучим орудием физического уже исследования действительности. Не физика, поэтому,—«сводится», к математике, а, наоборот, математика обогащается новым, качественным, физическим содержанием.

Подводя итоги, мы можем сказать:

1. На ряду с другими естественными науками, математика есть наука о природе, об окружающем нас внешнем мире, частью которого являемся и мы сами.

2. При этом она есть абстрактная наука, изучающая действительность не в ее конкретном многообразии, а в отвлечении.

3. Однако и другие, естественные науки изучают действительность при помощи метода абстракции. Математика отличается от них не только степенью абстракции,—ибо она есть наиболее абстрактная наука,—но также и ее характером, так как она абстрагирует совершенно от содержания предмета, занимаясь только внешними безразличными для него взаимоотношениями с другими ему однородными предметами,—количеством.

4. Приводя предметы и события в это внешнее для них взаимоотношение между собой, в котором они выступают, как связанные однородные, математика есть наука об абстрактном тождестве предметов.

5. Как таковая, она вступает поэтому в силу всюду там, где другие естественные науки нуждаются в установлении связей между предметами, в приведении их к тождеству. Поэтому она служит средством для других наук.

6. Все эти положения остаются, однако, совершенно верными только в отношении к низшим ступеням математики, в первую очередь к арифметике. В действительности нет непроходимой пропасти между внешним и внутренним, связями предмета с окружающей его действительностью и его внутренним содержанием. Продвигаясь по этому пути от абстракного к конкретному, по которому должна идти всякая наука, заменяя абстрактные связи и взаимоотношения все более и более конкретными, математика идет по пути приближения к содержанию освещаемых ею предметов, получая таким образом возможность служить целям отображения действительности даже там, где речь уже не идет более о простом абстрактном тождестве. «Абстрактное тождество и его антитеза, различие,—говорит Энгельс,—уместны только в математике—абстрактной науке, занимающейся умственными построениями, хотя бы и являющимися отражениями реальной действительности,—но и здесь оно постоянно снимается» («Диалектика и естествознание», стр. 15). Поэтому одинаково неправы будут как те, которые хотят свести всю математику к формальной логистике—к чисто абстрактно логическим исследованиям «о вещах, ничего не обозначающих, и о предложениях, ничего не выражающих», эти, как их остроумно назвал Томэ, «мыслители без мысли» [1]), так и те, кто хотят превратить математику в сумму эмпирически накопленных фактов—в индуктивно-описательную науку, в которой вопросы формально-логического обоснования лишены всякого смысла. Вопрос же о том, в какую сторону направить «огонь»,—это вопрос конкретный, зависящий от условий той обстановки, в которой приходится работать.

IV. Чистое количество.

Так как всякая следующая категория в «Логике» Гегеля должна содержать в себе те же моменты, какими обладала предыдущая, то

[1]) См. Ф. Клейн, Вопросы элементарной и высшей математики, стр. 11.

можно ожидать, что подобно тому, как в категории качества мы имели бытие, бытие с определенностью (существование) и для-себя-бытие, переход к которому был произведен при помощи качественной бесконечности,—в категории количества мы также должны иметь подобные три момента. И, действительно, Гегель различает в количестве чистое количество, определенное количество (величину) и отношение, переход к которому осуществляется при помощи математической бесконечности. Искусственность построения тут несомненно налицо, и все же, нужно отдать справедливость Гегелю, в это искусственное построение он сумел вложить совершенно необходимое содержание.

Для возможности количественного сравнения нужно обладать некоторым качественно однородным материалом, при чем, чем меньше будет в этом материале качественных определений, чем он будет однороднее, тем легче будет приложить к нему количественную мерку, тем легче будет установить самые основные, самые общие свойства количественной определенности.

Такой наиболее чистый, во всех своих частях наиболее однородный субстрат количественного определения Гегель и называет чистым количеством. «Чистое количество,—пишет он,—есть безразличие, способное ко всяким определениям, но так, чтобы последние оставались для него внешними, и оно само по себе не имело с ними никакой связи» («Н. Л.», стр. 261, т. I). Все наиболее общие абстрактные понятия могут быть под эту категорию подведены,—именно в силу своей наибольшей абстрактности, при которой мы отвлекаемся от всех качественных различий, от всего единичного во имя всеобщего, т.-е. одинаково присущего всякому единичному, составляющего, так сказать, его общую однородную основу. Ясно, что именно эти моменты и дают нам возможность количественного сравнения, что именно ими должен определяться и самый характер этого сравнения. За волосы притянутое на первый взгляд гегелевское чистое количество оказывается таким образом в действительности необходимым исходным пунктом изучения категории количества.

Все существующее в действительности материально и имеет непременно место в пространстве и во времени. Абстрактные [1]) понятия материи, пространства и времени являются поэтому наиболее общими. Моменты пространства, времени и массы (материальности) присущи всякому предмету окружающего нас внешнего мира. Все вещи поэтому могут быть об'ектом количественного сравнения, если мы отвлечемся от присущих им качественных отличий и обратим внимание только на место, занимаемое ими в пространстве и во времени, или на массу их. Тут все предметы однородны между собой, и единственные различия, которыми они могут обладать (если мы будем их сравнивать как только пространственные, только временные или только обладающие массой)—количественные. Более того, именно потому, что при этом все предметы рассматриваются с точки зрения одинаковости, однородности между собою, количественные определенности, которыми они при этом обладают, могут быть только внешними для них, их по существу не характеризующими, так как всякое определение по существу характеризует вещь, как таковую, как именно данную, единичную вещь, а не какую-нибудь другую, и, следовательно, не только в сходстве с другими вещами, но и в отличии от них. Усматривая же во всех вещах

[1]) Тут речь идет именно об абстракциях пространства, времени и материи, а не о конкретных их понятиях.

именно то, что в них обще со всеми другими вещами, мы как раз от этой специфичности единичного отвлекаемся.

И Гегель поэтому, без малейшего колебания, называет абстрактные материю, пространство и время чистыми количествами, вполне об'ясняя, таким образом, с одной стороны, то обстоятельство, что геометрия и механика являются именно математическими науками, указывая этим наукам, с другой стороны, границы их мощности и значения.

«Если требуются более определенные примеры чистого количества,—пишет он,—то они имеются в пространстве и времени, также вообще в материи, в свете и т. п., даже в я...».

«Пространство, время и т. п. суть протяжения, множества, которые суть выход вне себя, течение, не приводящее, однако, к противоположности, к качеству или к одному, но являющееся, как выход из себя, постоянным самопроизведением его единства. Пространство есть то абсолютное внебытие, которое вместе совершенно непрерывно, ино и вновь инобытие, тождественное с самим собою; время есть абсолютный выход из себя, произведение одного момента, теперь, который есть непосредственно его уничтожение и непрерывно вновь уничтожение этого прохождения так, что это произведение небытия есть также простое равенство и тождество с собой». Что касается материи, как количества, то в числе семи предложений, сохранившихся из первой диссертации Лейбница, есть одно, гласящее: не совсем невероятно, что материя и количество в действительности одно и то же [1]). В самом деле, эти понятия различаются лишь в том, что количество есть чистое определение мысли, а материя это же определение во внешнем существовании» («Н. Л», стр. 115).

Не менее определительно высказывает Гегель эту же самую точку зрения и в «Энциклопедии», особенно подчеркивая при этом, что так это будет только в абстракции, только в том случае, если мы заранее отвлечемся от всех различий и будем рассматривать материю, пространство, время, вообще все абсолютное, именно как таковое, т.-е. в его всеобщности, наличии во всем (без различия) существующем, а потому и неопределенности». «Абсолютное,—говорит Гегель,—есть чистое количество. Это точка зрения, к которой мы приходим вообще, когда помещаем абсолютное в материю и когда представляем себе эту последнюю обладающею формою, но в то же время как безразличною ко всякой определенности. Количество есть также основная определенность абсолютного, когда мы рассматриваем это последнее, как абсолютную неопределенность, как обладающее только количественными различиями. Чистое время, пространство также могут быть приведены в пример количества, если в действительности мы рассматриваем только пространство или время в их неопределенности» («Энциклопедия», § 99, 3).

Повторяю, здесь особенно должен быть подчеркнут момент абстрактности, всеобщности, неопределенности. Количеством Гегель называет именно абстрактную материю, пространство и время, строго различая их абстрактные понятия от истинных, т.-е. конкретных.

Как известно, французский материализм рассматривал материю, пространство и время именно с абстрактной точки зрения, т.-е. трактовал их исключительно, как количества, в их отвлеченной, абсолютной всеобщности, а не конкретном многообразии. И на этой же, в конеч-

[1]) В тексте цитата из Лейбница приведена по-латыни.

ном счете, точке зрения стоит и современный механизм. Но для Гегеля такая точка зрения совершенно недостаточна, настолько недостаточна, что именно за эту исключительно количественную трактовку действительности он отвергает материализм вообще, отождествляя его с механическим материализмом французов.

После Маркса и Энгельса механический материализм, однако, вовсе не единственный возможный. Диалектический материализм рассматривает количественную трактовку действительности, как совершенно необходимый, но отнюдь не достаточный момент. Ибо абстракция есть не цель, а средство познания, она имеет значение только постольку, поскольку ведет к конкретному, представляет собой исходный пункт, с которого изучение конкретного начинается. Остановиться на абстрактном, отвлеченном, всеобщем, значит поэтому остаться в самом начале того пути, который ведет к истине. «Мы скажем,—пишет Гегель,—что нужно рассматривать как одно из наиболее досадных заблуждений стремление свести, как это делается обычно, все различия и все определенности вещей к различиям и определенностям чисто количественным. Без сомнения, дух есть нечто бóльшее, чем природа, животное бóльшее, чем растение. Но мы будем знать слишком мало о сущности этих вещей и об их различии, если, вместо того, чтобы уловить их особую определенность и раньше всего их качественную определенность, мы остановимся на этом больше и меньше» («Энциклопедия», § 99, приб.).

Примеры, которые тут приводит Гегель, конечно, неправильны, но мысль выражена вполне ясно. И замечательно, что Энгельс по тем же самым поводам,—по вопросам об абстракциях материи, времени, пространства, движения и т. д.,—приходит к совершенно тем же выводам.

«Материя, как таковая,—пишет он,—это—чистое создание мысли и абстракция. Подводя вещи, рассматриваемые нами, как телесно существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех качественных различий в них. Поэтому материя как таковая, в отличие от определенных существующих материй, не является чем-то чувственно существующим. Естествознание, стремящееся отыскать единую материю как таковую, стремящееся свести качественные различия к чисто количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц, поступает так, как оно поступало бы, если бы вместо вишен, груш, яблок оно искало плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. искало млекопитающее как таковое, газ как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое соединение как таковое, движение как таковое... Как доказал уже Гегель, это воззрение, эта «односторонняя математическая точка зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно исконно одинакова, является «именно точкой зрения» французского материализма XVIII столетия. Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, количественную определенность, как сущность вещей» (Арх. II, стр. 147, см. также стр. 151—152).

Мы видим таким образом, как на первый взгляд совершенно искусственно созданная Гегелем по аналогии с чистым бытием категория чистого количества, оказалась насыщенной содержанием.

Трактуя наиболее общие абстрактные понятия (пространство, время, материю) как чистые количества, Гегель дает об'яснение того обстоятельства, что геометрия и механика оказываются математическими науками, обстоятельства самого по себе далеко не ясного и приводящего в затруднение не малое число современных

математиков (Фосс, например, останавливается перед этим вопросом в недоумении, когда хочет дать такое определение математики, которое об'единило бы и чистую и прикладную математику. Он, правда, обнаруживает принцип об'единения в числе, т.-е. окончательно в количественном определении, но вместо об'яснения этого обстоятельства заставляет мысленное определение—число—п о д ч и н я т ь себе реальную действительность).

Но этого мало. Обнаружив причину математического характера этих наук, об'ектом которых уже является реальная действительность (пространство, время, материя), он выясняет этим самым имеющиеся в их распоряжении возможности—об'ективные границы их применения.

V. Непрерывность и дискретность.

В фрагменте «К вопросу о диалектике» Ленин пишет:

«У Маркса в «Капитале» сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз повторяющееся, отношение буржуазного товарного общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой «клеточке» буржуазного общества) все противоречия (resp. зародыши всех противоречий) современного общества». И далее: «В любом предложении можно (и должно), как в «ячейке», «клеточке», вскрыть зачатки всех элементов диалектики».

Именно такова первая задача диалектического метода Гегеля. Поэтому и в применении к категории чистого количества, сколь бы абстрактной она ни оказалась, мы должны ожидать того «раздвоения единого и познания противоречивых частей его, о котором Ленин говорит, как о сути (одной из «сущностей», одной из основных, если не основной, особенностей или черт) диалектики. И действительно уже—в весьма, как мы видели, абстрактной—категории чистого количества Гегель обнаруживает противоречивые моменты, влияние которых будет сказываться на всем дальнейшем развитии категории количества. При чем, несмотря на кажущуюся искусственность построения, моменты противоречия выбраны им отнюдь не произвольно.

Все завоевания современной математики покоятся в основном на том, что ей удается путем расширения и углубления своих методов подвергнуть количественной, т.-е. окончательно основанной на применении числа, трактовке все более и более конкретные связи и отношения об'ектов действительности. Но, поступая таким образом, она остается в полном недоумении перед ею же самою достигнутыми успехами, ибо, как говорит, например, Вундт, «прерывное число и непрерывная протяжность остались и до сих пор полярнейшими понятиями математики, несмотря на более чем двухтысячелетние попытки сближения их» (В. Вундт, «Общее учение о математическом методе»).

Не так обстоит дело для Гегеля. Раздельность (дискретность) и непрерывность для него, хотя и полярные, противоположные, но отнюдь не исключающие друг друга понятия. Наоборот, уже чистое количество лишь постольку реально, постольку может служить, хотя бы самым первым приближением (отображением) к действительности, поскольку оно есть е д и н с т в о обоих этих моментов—н е п р е р ы в н о с т и и д и с к р е т н о с т и. Более того, в каждом из этих моментов содержится в зародыше, в зачатке, ему противоположный. О непрерывности можно говорить лишь тогда, когда в нашем распоряжении имеется совершенно однородный материал, допускающий поэтому всюду неограниченную делимость, р а з д е л е н и е на части, каждая из которых совершенно подобна другим, но и дискретность, раздельность предполагает некоторую общую однородную основу всей дискретной совокупности, которая при этом также оказывается разделенной на части, совершенно подобные друг другу.

Даже если мы имеем перед собою дискретную совокупность отдельных вещей, то, поскольку эти вещи об'единяются в одну совокупность, отличную от других, они имеют нечто общее, их об'единяющее, в них всех однородное,—хотя бы, например, даже то обстоятельство, что они все занимают место в пространстве и времени, все обладают массой. Всякая дискретность, таким образом, предполагает некоторую непрерывность, некоторую однородную основу.

«Н е п р е р ы в н о с т ь есть,—говорит Гегель,—простое, равное самому себе отношение к себе, которое не прерывается никакою границею и никаким исключением; но оно есть н е н е п о с р е д с т в е н н о е единство, а единство сущих для себя одних. Здесь еще сохраняется в н е п о л о ж н о с т ь м н о ж е с т в а, но вместе с тем, как неотличаемая, н е п р е р ы в н а я. Множественность положена в непрерывности так, как первая есть в себе; многие суть также одни, как и другие, каждое равное другому, и множество поэтому есть простое, неразличимое равенство. Непрерывное есть этот момент с а м о р а в е н с т в а внеположного бытия, самопродолжения различных одних в отличные от них одни.

Поэтому величина в непрерывности имеет непосредственно момент д и с к р е т н о с т и» (множественности.—С. Я.).

Однако эта «дискретность есть со своей стороны сливающаяся дискретность, в которой одни связываются отношением не с пустотою, не с отрицательным, но с своей собственной непрерывностью, и не прерывают этого равенства с собою во многом.

Количество есть единство этих моментов, непрерывности и дискретности. Но оно есть это единство в форме одного из них н е п р е р ы в н о с т и» (Нужно помнить, что здесь речь идет о ч и с т о м количестве—пространстве, времени, материи, например.—С. Я.) («Н. Л.», 113).

Таким образом, для того, чтобы могла итти речь как о непрерывности, так и о дискретности, должна существовать некоторая общая, однородная основа—чистое количество, как его называет Гегель. Между категориею чистого количества и понятиями непрерывности и дискретности обнаруживается таким образом подлинная органическая связь, а не случайное об'единение, как это может показаться при первом чтении Гегеля.

Что всякая непрерывность предполагает м н о ж е с т в е н н о с т ь, отнюдь не представляет собою исключительного достояния гегелевской диалектики. Именно на этом обстоятельстве, на его и с к л ю ч и т е л ь н о м выделении—трактовке непрерывности только как особого вида з а к о н ч е н н о й м н о ж е с т в е н н о с т и—построено все учение Георга Кантора, еще недавно безраздельно господствовавшее в математике. Посредством этого сведения непрерывности к одному из ее моментов—к дискретности была достигнута логическая формализация понятия непрерывности, но настолько утеряна связь с тем обычным представлением о непрерывности, абстрактным выражением которого это понятие служит, что такой математик, как Пуанкарэ, например, вынужден констатировать непроходимую п р о п а с т ь между о б ы ч-

ным представлением о непрерывности и ее математической трактовкой, констатировать, иными словами, тот факт, что обычное представление не подмечает момента дискретности в непрерывности, в то время как математик именно ему придает совершенно исключительное значение. По Кантору, всякая величина рассматривается лишь как множество принимаемых ею значений. Когда это множество ее значений «всюду плотно» и «совершенно», величина считается непрерывной (по одному из его первых определений непрерывности). «Всюду плотным» множество называется в том случае, если между любыми двумя его элементами, как бы мало они друг от друга ни отличались, всегда можно вставить третий (а следовательно, и бесчисленное их множество). Так, например, множество рациональных чисел «всюду плотно», ибо какие бы два рациональных числа a и b мы ни выбрали, всегда можно найти среднее между ними рациональное же число (в качестве такого числа можно взять, например, их среднее арифметическое $\frac{a+b}{2}$).

«Совершенным» же называется такое множество, которому принадлежат все его «предельные точки», а «предельная точка» множества,—в независимости от того, принадлежит ли она к этому множеству или нет,—это такое число, в любой, сколь угодно, тесной близости к которому лежит бесконечно много элементов нашего множества. Так, нуль будет предельною точкой для бесконечного множества чисел 1, $^1/_2$, $^1/_4$, $^1/_8$, $^1/_{16}$, $^1/_{32}$, $^1/_{64}$, $^1/_{128}$, $^1/_{256}$,..., хотя сам он в этом ряду не находится (ему «не принадлежит»), ибо как бы близко к нулю мы ни подобрались, какое бы маленькое число ни выбрали, в нашем ряду всегда найдется такая дробь, которая будет еще меньше этого числа и, следовательно, еще ближе к нулю, а раз найдется одна такая, то следующая будет еще меньше, следующая за нею еще меньше и т. д. до бесконечности.

Множество всех вещественных чисел, содержащихся в промежутке от нуля до двух включительно, будет, таким образом, непрерывным, ибо

а) оно «всюду плотное», так как между любыми двумя числами из этого промежутка всегда лежит число того же промежутка;

б) оно «совершенное», ибо каждая его точка есть «предельная точка» (так как сколь угодно близко к каждому числу нашего промежутка лежит бесчисленное множество чисел того же промежутка) и никаких других предельных точек, кроме принадлежащих ему, оно не имеет.

— Множество же всех рациональных чисел, лежащих в том же промежутке, не непрерывно, так как, например, $\sqrt{2}$ является для него предельной точкой, к которой при посредстве рациональных чисел этого промежутка можно подойти сколь угодно близко, но которой достигнуть никогда нельзя. А это значит, что $\sqrt{2}$ представляет собою такую предельную точку нашего множества, которая этому множеству не принадлежит, т.-е. множество наше «несовершенное».

Здесь не место заниматься ни уточнениями, которым это определение непрерывности было впоследствии подвергнуто, ни его дальнейшим раз'яснением. Для нас существенно только одно: чтобы убедиться в непрерывности какой-нибудь величины, мы должны уметь настолько индивидуализировать каждое из принимаемых ею значений, чтобы иметь возможность различить его среди бесконечно к нему близких.

Между тем, как совершенно правильно отмечает Пуанкарэ [1]), на практике этого никогда нельзя сделать. Так, сравнивая в руке веса в 10 и 11 грамм, мы никогда не заметим между ними разницы и должны будем считать их практически равными. Но то же относится и к весам в 11 и 12 грамм, в 12 и 13, в 13 и 14,—все они практически равны между собою; но в таком случае равны между собою и веса в 10 и 14 грамм, разница между которыми, однако, уже вполне ощутительна [2]). Применение более точных методов измерения, чем наша рука, не избавляет нас от трудности, а только отодвигает ее, ибо, в конце концов, оценку приходится делать, все-таки опираясь на показания какого-нибудь из наших органов чувств, а для последних всегда существует такой предел точности, дальше которого различия не воспринимаются.

«Но, в чем навсегда отказано чувственности, то достигается при помощи математического понятия. Оно требует полной различимости состояний бытия, как бы близко друг к другу в пространстве и времени они ни находились, оно исходит из пунктуального определения и разграничения элементов, которое никаким опытом никогда не может быть достигнуто... И только грубое и неясное представление о непрерывности, которым довольствуется обычное мышление, снова и снова затемняет это положение. «Непрерывным» является для него такое многообразие, отдельные составные части которого сливаются в беспромежуточное чувственное «целое», границы элементов которого нивелируются и сливаются. Между тем, научное понятие непрерывности утверждает как раз противоположное: оно требует, чтобы, вопреки всем известным границам нашей способности различения, логически могла быть сохранена обособленность и единичная определенность элементов» [3]).

Таким образом, на практике убедиться в непрерывности какой-нибудь величины методами Кантора совершенно невозможно. И, однако, построенная на этом—предполагающем абсолютную разграничимость элементов—определении теория непрерывных функций прекрасно используется в технике в применении именно к таким величинам, которые признаются непрерывными лишь в силу слитности их частей. Приводя в своей статье о «Канте и современной математике» вышеизложенные соображения, Кассирер снабжает их примечанием, которое в связи с гегелевской трактовкой непрерывности мне представляется интересным, почему и позволю себе привести здесь из него выдержку:

«Более строгий теоретико-познавательный анализ понятия непрерывности... показал бы, что это понятие сводится к двум различным на вид (противоположным) операциям мышления, поскольку оно сначала требует полного и строгого разграничения элементов, а затем их синтетического об'единения в одну величину. Элементы, которые оно об'единяет в некоторое единство, не даны изначально; они лишь полагаются и получаются посредством мысленного акта различения. Из этой двойственной обусловленности выясняется также...—с теоретико-познавательной точки зрения это должно пока-

[1]) В статье «Курно и принципы исчисления бесконечно-малых» (Revue de Metaphysique, XIII, 293 f.).

[2]) Тут мы имеем попутно хороший пример для выяснения границ применимости некоторых, казалось бы, абсолютно непреложных формально-логических истин: две величины, физически равные порознь третьей, физически же могут оказаться вовсе не равными между собою.

[3]) Э. Кассирер, Kant und die moderne Mathematik, Kantsstudien, 1907, Bd. XII, S. 21.

заться особенно парадоксальным,—что чистый принцип «дискретности» в своем неограниченном обобщении сам по себе ведет к понятию непрерывного». Дискретность, таким образом, предполагает непрерывность так же, как непрерывность—дискретность. Для Кассирера и Пуанкаре все эти противоречия только логического характера, в действительности им ничего не соответствует. С нашей же точки зрения, теория, построенная на положениях, противоречащих непосредственным чувственным данным, только потому может успешно применяться к действительности, что, отражая ее противоречивую структуру, фиксирует один из моментов не идеального только, а реального противоречия. Здесь следует, однако, отметить, что современное интуиционистское направление пытается построить такую теорию континуума, которая находилась бы в соответствии с наглядным представлением и не предполагала момента дискретности в непрерывности, уменья отличать, отграничивать одни элементы континуума от других, к ним сколь угодно близких. Но даже самим интуиционистам, считающим, что им удается вполне преодолеть это противоречие с «наглядным созерцанием», приходится констатировать появление нового противоречия с ним: континуум с их точки зрения не слагается из своих частей, и отрезок от нуля до двух не состоит из отрезков от нуля до единицы и от единицы до двух [1]). Трактовка предмета с точки зрения целостности, на которой настаивают и гештальт-теоретики, проникает, таким образом, даже в математику, и, возможно, нам скоро придется констатировать, что континуум и состоит и не состоит из своих частей, но это будет только новым плодотворным выражением его противоречивой структуры.

«Философский идеализм,—пишет Ленин,—есть односторонне, преувеличенное, überschwengliches (Dietzgen), развитие (раздувание, распухивание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный. «Познание человека не есть (resp. не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую прямую (линию), которая, если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину, где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, суб'ективизм и суб'ективная слепота—вот гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= философского идеализма), конечно, есть гносеологические корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, об'ективного, абсолютного человеческого познания».

Не на этой ленинской, диалектической точке зрения стоят, однако, и современные противники канторизма. Они предпочитают удариться в противоположную крайность и одной односторонности противопоставить другую. Кантор трактовал непрерывность, текучесть, процесс, как статическое, застывшее, само в себе законченное множество, превративши для этого бесконечность в некоторый абсолют, при котором конечному отведено было скромное (по дословному выражению самого Кантора) место хвостика,—противники его отбросили всякую устойчивость, всякий абсолют во имя абсолютной относи-

[1]) См. Hermann Weyl, Die heutige Erkenntnisslage in der Mathematik.

тельности, все бесконечное во имя конечного, отведя бесконечности не менее скромное место некоторого эвристического приема в конечном [1]), и мир превратился у них в мир конечных, единичных предметов [2]), мечущихся в беспрестанных движениях, где никакому покою, никакому равновесию нет места. «Ледяной покров лопнул вдребезги,—пишет Вейль,—и теперь стал элемент текущего скоро полным господином над устойчивым» («Symposion», B. I, H. I).

Для диалектического материализма нет конечного без бесконечного и наоборот, а процесс сам по себе, ради самого себя так же не допустим, как и закостенелая устойчивость, неподвижное болото, ибо он только тогда имеет смысл, когда, разрушая одну относительную устойчивость (буржуазное общество, например) создает другую (коммунизм). «Равновесие,—пишет Энгельс,—неотделимо от движения. В движении небесных тел движение находится в равновесии и равновесие в движении... Без относительного покоя нет развития. Возможность относительного покоя тел, возможность временных состояний равновесия является существенным условием дифференцирования материи, а значит, и жизни» (Архив, II, стр. 23). Несмотря на ряд чрезвычайно ценных положений, выдвигаемых интуиционистами, напр., современные критики Кантора не сумели преодолеть его в том смысле, какой влагает в это слово диалектический материализм, ибо сами занялись «односторонним, преувеличенным» «раздуванием» «одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют».

Между тем, в конце первой половины XIX века, когда идеи Гегеля и его ближайших предшественников еще не считались столь «одиозными» у математиков, такой крупнейший математик, как Герман Грассман, например, писал: «Противоположность между дискретным и непрерывным (как и все истинные противоположности)—текучая, ибо дискретное может быть рассматриваемо, как непрерывное, и, наоборот, непрерывное, как дискретное» [3]), Более того, он понимал даже, что из этого вовсе не следует, будто различение непрерывного и дискретного в таком случае теряет смысл. Будучи единством противоположностей, заключая в себе момент дискретности, непрерывное, однако, положено в форме непрерывности, дискретность в нем содержится лишь в скрытой, неразвитой еще форме, именно, как момент. И, наоборот, дискретное положено в форме дискретности, заключая в себе непрерывность лишь в зародыше, лишь как момент. Недостаточно поэтому сказать «все и непрерывно и дискретно», но в каждом отдельном случае необходимо выяснить, в какой именно форме предстоит перед нами нечто данное, в какой из них оно положено. В каждом отдельном данном случае мы имеем дело или с непрерывным, или с дискретным, но это непрерывное содержит в себе момент дискретности, а дискретное—момент непрерывности. Так, относительно непрерывная эволюция в действительности тоже содержит в себе множество разрывов, а дискретный скачок при ближайшем анализе сам выступает, как непрерывная

[1]) «Таким образом, математика бесконечного в сущности обращается в некий эвристический прием, состоящий на службе у математики конечного» (А. Хинчин, Идеи интуиционизма,—«Вестн. Комм. Ак.» № 16, стр. 192).

[2]) «В одной из своих последних работ Гильберт глубоко и правильно указал, что корни современного кризиса математики гнездятся в том, что ложное понятие («мнимая идея») бесконечности еще не вполне изгнана из нашей науки. В реальном мире за этим понятием не стоит никакого предмета; нет его и в нашем мышление; все конечно—и во внешнем мире, и в нашей психике». (Там же).

[3]) Г. Грассман, Чистая математика и учение о протяженности,—«Нов. идеи в матем.» № 1, стр. 69.

величина. Задача исследователя состоит, однако, не в том, чтобы все свести только к дискретности или только к непрерывности, либо успокоиться на формуле «и дискретность и непрерывность», но чтобы в каждом отдельном случае подчеркнуть существенный для него момент. Так, Октябрьская революция есть скачок в развитии человечества, хотя сама она, конечно, не произошла в один миг, и в ней тоже можно подметить момент непрерывности. Наоборот, по отношению к революции предшествующее развитие есть эволюция, для которой характерна именно непрерывность, хотя несомненно, что каждое крупное событие в этой исторической непрерывности в свою очередь является некоторым скачком.

Что для Грассмана была ясна и эта черта гегелевской трактовки единства противоположностей, с несомненностью вытекает из следующего места, относящегося, правда, не к противоположению дискретного и непрерывного, а равного и различного.

«Противоположность между равным и различным,— пишет он,— тоже текучая. Равное различно, поскольку уже то или иное, равное ему, каким-нибудь образом обособлено (ведь без этого обособления оно было бы только одним, значит не было бы равного); различное—равно, хотя бы постольку, поскольку различные об'екты связываются между собою относящеюся к ним деятельностью, т.-е. поскольку они являются чем-то связанным. Но это не значит, что оба момента теряются друг в друге, так что нужен масштаб для определения того, сколько следует признать равного и сколько различного между обоими представлениями. Хотя с равным и связано всегда каким-нибудь образом различное, и наоборот, но все-таки в каждом случае лишь одно из них является моментом рассмотрения, между тем как другое представляет лишь предпосылку и основу первого» [1]) (Курсив мой.—С. Я.).

Момент множественности в непрерывных величинах и непрерывности в дискретных множествах был, однако, и до Гегеля с достаточной четкостью уже подмечен Кантом. Более того, Кантом же было обнаружено и то обстоятельство, что всякая субстанция, всякая, следовательно, вещь или совокупность вещей может быть рассматриваема с двух точек зрения—и как непрерывная, и как дискретная. Однако для Канта эта противоположность была не «текучей», как выражается Грассман, не приводящая к единству противоположных моментов, а неподвижная, закостенелая. На соответствующей кантовской антиномии чистого разума, относящейся, как говорит Гегель, к так называемой бесконечной делимости материи, блестяще разобранной Гегелем, мне, к сожалению, не придется остановиться, приведу только, в качестве иллюстрации, небольшую цитату из Канта, где он показывает, как одну и ту же вещь «тринадцать талеров» можно трактовать и как непрерывную, и как дискретную. Предварительно замечу только, что понятие величины у Канта уже, чем у Гегеля,—под величиною он понимает именно непрерывную величину.

«Если я называю тринадцать талеров денежною величиною, то я выражаюсь правильно, поскольку я разумею под этим весовое содержание марки чистого серебра, представляющей собою во всяком случае непрерывную величину, в которой ни одна часть не есть наименьшая, но всякая часть могла бы составить монету, которая всегда содержала

[1]) Там же, стр. 70.

бы в свою очередь материал для еще меньшей монеты. Но если под этим названием я разумею тринадцать круглых талеров, как столько-то монет (при чем весовое содержание серебра в них может быть каким угодно), то я неправильно называю их денежною величиною, но должен рассматривать их, как аггрегат, т.-е. как число монет. Однако, так как в основе всякого числа должна лежать единица, то, как единица, всякое явление есть величина, и, как таковая, оно всегда есть нечто непрерывное» («Критика чистого разума», стр. 135, в перев. Н. Лосского). В последней фразе, несомненно, содержится указание на то, что во всяком дискретном числе имеется момент непрерывности,—лежит даже в его основе постольку, поскольку он всегда содержится в единице. Можно сказать, что одними мыслителями односторонне подчеркивается момент дискретности, при чем самая непрерывность у них превращается в множественность, т.-е. окончательно трактуется, как дискретность,— другими же момент непрерывности, при чем всякая дискретность оказывается сливающеюся со своею средою в одну неразличимую непрерывность. Кант стоит выше и тех и других, ибо он сумел обнаружить в том, что Гегелем было названо чистым количеством, оба момента—и непрерывность и дискретность, умел показать не только дискретность в непрерывности, но и непрерывность в дискретности. Кант был поэтому очень близок к тому, чтобы об'яснить то основное затруднение, которое с точки зрения Вундта, например, непреодолимо для математики,—противоположность между дискретным числом и отображаемой им непрерывной величиною. Но этого он не сделал. Положительная диалектика и тут, как это вообще имеет место в отношении между Кантом и Гегелем, была выполнена только Гегелем, который трактовал количество, как единство обоих моментов—непрерывности и дискретности. В чистом количестве это единство выражено в форме одного из них, непрерывности, в определенном количестве, или числе, в форме другого, дискретности. Какие из этого противоположения чистого количества и числа делаются Гегелем выводы, мы сейчас увидим. Однако, прежде чем перейти к этому вопросу, связанному с гегелевской трактовкой числа, отмечу, что, трактуя количество, как единство непрерывности и дискретности, Гегель фактически не одинок и в естествознании. Ибо, в конце концов, именно на этой точке зрения стоит физика, по крайней мере, та, которая рассматривает материю, как состоящую из электронов и атомов, с одной стороны, как некоторый непрерывный субстрат, носитель таких особых узловых точек, как электроны, с другой. «Гегель,—говорит Энгельс,—очень легко справляется с этим вопросом о делимости, говоря, что материя—и то и другое, и делима и непрерывна, и в то же время ни то, ни другое, что вовсе не является ответом, но что почти теперь доказано» («Диал. и естеств.», стр. 29).

«Что заполняет промежутки? Тоже эфир. Здесь, значит, постулат материи, которая не расчленена и не состоит из молекулярных или атомных клеток» (Там же, стр. 37, курсив Энгельса).

VI. О числе и действиях над ним.

Что такое число?

«Определения понятия число очень многочисленны и очень разнообразны,—пишет Пуанкарэ;—я отказываюсь перечислить даже имена их авторов. Мы не должны удивляться тому, что их так много.

Если бы одно из них было удовлетворительным, не строили бы новых. Если каждый новый философ, занявшийся этим вопросом, думал, что он должен найти другое определение, то лишь потому, что не был удовлетворен предшествующим» («Наука и метод», стр. 127).

«Что касается, прежде всего, самого понятия о числе,—пишет Клейн,—то корни его в высшей степени трудно вскрыть. Легче всего дышится, быть может, тогда, когда решаешься вовсе оставить в стороне эти трудные вещи» («Вопросы элем. и высш. матем.», стр. 15).

А между тем совершенно прав А. Фосс, когда он заявляет: «работа большей части XIX столетия была направлена на то, чтобы... доказать, что понятие числа и действий над ним есть исключительный фундамент всего математического познания» («Сущность математики», стр. 17, курсив автора).

Что же, все-таки, такое число, и почему ему может принадлежать столь исключительное значение в математике. Не констатирует ли только что приведенное мнение Пуанкарэ бессилие перед этим вопросом? И прав ли он, говоря, что не было ни одного философа, который сумел бы удовлетворительно ответить на этот вопрос?

Гегелевское определение числа относится, собственно говоря, непосредственно только к целым числам. Однако мне кажется, что уже оно способно пролить свет на многие связанные с понятием числа «проклятые» вопросы.

Уже рассмотренное нами чистое количество (пространство, время, материя) обладало, несмотря на свой во всех частях совершенно однородный, тождественный характер, некоторой определенностью—именно оно, содержа в себе множественность, дискретность в возможности, было положено,—как говорит Гегель,—в форме непрерывности. «Обычные представления о непрерывной и дискретной величине [1]) упускают из виду, что каждая из этих величин содержит в себе оба момента, как непрерывность, так и дискретность, и что их различие возникает лишь от того, какой из этих моментов есть положенная определенность, и какой—только сущая в себе» («Н. Л.», 124).

Называя ту или другую часть пространства, времени, материи непрерывной, мы уже обнаруживаем в ней некоторую определенность, но еще очень недостаточную, ибо, во-первых, при этом не получает выражения скрытый в ней момент дискретности, во-вторых, эта часть еще ничем не отличена от всех остальных, неограниченна, следовательно, неопределенна. Полной определенности,—говорит Гегель,—количество достигает лишь при посредстве числа. Число есть, таким образом, наиболее полное выражение количества и притом именно как определенности.

«Определенное количество (т.-е. количество с некоторым определением или границею вообще)—есть в своей полной определенности число» («Н. Л.»).

Мы видим, таким образом, что число по Гегелю есть наиболее полное выражение количественной определенности. Уже отсюда для нас вытекает ряд замечательных следствий.

[1]) Все, что может служить объектом количественного сравнения, Гегель называет величиною—Grösse, отличая его этим термином от величины, также определенной количественным образом—quantum. Следуя за переводчиком Гегеля, я буду в дальнейшем под «величиною» понимать именно «Grösse», употребляя для слова quantum термин «определенное количество».

Количественная определенность есть внешняя, существо определяемых ею предметов не затрагивающая определенность. Значит, если мы по каким-нибудь внешним признакам будем распределять предметы в группы, классифицировать их, или будем отличать их друг от друга каким-нибудь чисто внешним образом, например, при помощи названия, то можно сказать, что мы будем заниматься количественным определением. Но ведь математику мы определили, как науку о количестве, а между тем никто не видел еще такого учебника по математике, где изучались бы названия переулков на Арбате, например. Не поторопились ли мы, так безоговорочно принявши гегелевское определение количества?

Нет. Ибо имена, названия тоже служат способом внешнего, количественного отображения, но это способ несовершенный. Лишь с большим трудом при этом способе удается установить связь между предметами, их взаимоотношения. Хотя «Иван Петрович» не только выделяет данного суб'екта «Ивана» из среды других ему подобных, но и устанавливает связь его с некоторым другим суб'ектом (его отцом—«Петром»), однако больше при помощи такого «определения» мы ничего не узнаем, как бы ни пытались над ним «действовать».

Наиболее совершенным способом количественного определения является определение при посредстве числа. И недаром в Нью-Йорке, например, где пришлось бы запоминать слишком много улиц и переулков, давно уже перешли к этому более совершенному способу обозначения улиц (при котором нужно только запомнить некоторый закон количественного определения). Но и у нас уже дома на улицах отличаются не по тому, что они принадлежат Ивану Петровичу или Петру Сидоровичу, как это еще имеет место в глухой провинции, а по номерам.

Нет поэтому ничего удивительного в том, что изучающая количество наука занимается преимущественно таким его выражением, которое в ходе исторического развития выработалось как наиболее для этого приспособленное.

И, однако, в последнее время появились такие математики, которые сделали открытие, что математике нет вовсе надобности заниматься только численными выражениями, что ее предмет гораздо шире, ибо математика есть не что иное, как логика, и что, как таковая, она совершенно независима от идеи числа (См., напр., Кутюра). «Математика,—говорит Грассман,—есть наука о свободном (беспрепятственном) сочетании и расчленении», совершенно внешнем, таким образом, соединении суб'екта с предикатом, одного слова с другим.

Отказываясь от количества, как предмета математики, современные логисты сделали открытие, что математика есть наука... о количестве, т.-е. о чисто внешнем сочетании и расчленении. Им показалось при этом, что они чрезвычайно расширили предмет математики, отказавшись от числа, и были очень поражены, когда оказалось, что их новая математика ничего существенно нового не дает.

«Поскольку я знаком с практическими результатами математической логики,—пишет А. Фосс,—она при каждом действительном применении оказывается несостоятельной в виду крайней громоздкости ее формул, из которых при несоразмерно большой затрате энергии можно вычитать почти что тривиальные выводы с абсолютной, правда, достоверностью. Только там, где трактуются чисто математические вопросы, т.-е. соотношения между числами, математическое исчисле-

ние (как в «Formulaire des mathematiques» Пеано или в его же «Lezioni di Analisi infinitesimali») оказывается действительно полезным методом» («Сущность математики», стр. 70). Но с гегелевской точки зрения в этом нет ничего удивительного. Так как число есть наиболее совершенное выражение внешних, т.-е. количественных соотношений, возвращение от числа назад, к чисто внешним сочетаниям других символов ничего нового дать не может.

Однако почему именно число, каким мы его имеем в результате долгого исторического развития, обладает наилучшей возможностью отображения количественных соотношений?—Конечно, потому, что именно в этом постепенном, иногда чрезвычайно трудном и болезненном приспособлении к количественным соотношениям и состояло его историческое развитие. Эту сторону вопроса, историческое развитие и расширение понятия числа Гегель оставляет в стороне. Поэтому его изложение этого понятия и носит иногда сугубо туманный и мистический характер, но, тем не менее, основные моменты его подмечены правильно—так что действительно дают возможность понять, как при посредстве числа может быть выражена количественная определенность.

Моментами числа Гегель считает единицу и множество, предполагая, таким образом, не подлежащим дальнейшему определению противоположение единицы и множества. Число (Zahl) для него есть, таким образом, единство двух противоположных определений: единицы и определенного множества, численности (Anzahl). С точки зрения Пуанкарэ, например, это, конечно, вовсе не определение, ибо тут «число вообще» (Zahl) определяется через некоторое определенное число—единицу (единица ведь тоже число) и численность (Anzahl), про которую неизвестно—не придется ли ее в свою очередь определить через число.

И, тем не менее, это вовсе не так глупо, как кажется.

Каждое данное определенное число,—говорит Гегель,—вовсе не может быть получено из общего понятия о числе, ибо счет есть не что иное, как процесс внешнего присовокупления или отделения из образованной уже совокупности, на каждом шагу которого повторяется то же самое, что было сделано на предыдущем. Различия, которые при этом устанавливаются, могут быть поэтому только внешними различиями, знаками, метками, отмечающими каждый шаг процесса. Поэтому Гельмгольц совершенно прав, когда называет такие первые, в результате эмпирического счета возникающие числа знаками. Но он неправ в дальнейшем, когда хочет свести к этим первым счетным знакам все понятие числа. С точки зрения формальной логики, впрочем, нельзя даже иначе поступить, ибо она обязывает дать такое определение числа, которое охватывало бы все решительно возможные числа. Поступать так, как это делает Гегель, т.-е. начать с числа, как знака—Anzahl с тем, чтобы, «снимая» это определение в дальнейшем, подняться от него к числу, как наиболее совершенному отображению количественной определенности—это для него невозможно, несмотря на то, что именно в этом и состояла та «большая работа XIX столетия», о которой говорит Фосс.

Тут можно возразить, что именно о «расширении» понятия числа трактуют все решительно курсы современной математики, авторы которых, конечно, не менее формально-логически мыслят, чем Гельмгольц. А между тем они вовсе не пытаются ограничить понятие числа числами натурального ряда, да еще трактуемыми просто как мысленные знаки для эмпирически отсчитываемых вещей.

Но ведь задача этих мыслителей как раз и состояла в том, чтобы подчинить формальной логике происшедший в действительности в отношении понятия числа диалектический процесс. И это пытались сделать путем не углубления этого понятия, при котором, например, положительные и отрицательные числа рассматривались бы, как моменты рационального числа, а путем расширения его так, чтобы оно могло охватить одновременно и положительные и отрицательные числа. Разница между этими двумя процессами состоит в том, что при диалектическом углублении понятие все более и более обогащается содержанием, не теряя, однако, и в об'еме, между тем как при расширении понятие выигрывает только в об'еме, теряя на содержании. Если вы хотите, например, так расширить понятие «человек», чтобы оно охватывало и обезьяну, вам уже непременно придется поступиться некоторыми отличительными свойствами человека, и притом, конечно, наиболее ценными. Происшедшее в действительности углубление понятия числа, обогащение его содержания, математики пытались, однако, изобразить именно, как расширение, увеличение только по об'ему. Неудивительно, что им это удавалось только в том случае, когда явно или неявно, но при этом вводились новые, более богатые содержанием определения этого понятия. Особенно ясно выступило последнее обстоятельство на той ступени «расширения» понятия числа, где его нужно было сделать вещественным числом, охватывающим как рациональные, так и иррациональные числа. И особенные недоумения вызывало, в сущности, то обстоятельство, что по мере «расширения» понятия числа получались все большие и большие возможности отображения при его посредстве конкретной действительности, все более и более ценные и богатые конкретным содержанием результаты математического исследования.

Неудивительно поэтому и то многообразие различных определений числа и та их неудовлетворительность, о которой говорит Пуанкарэ. Каждый мыслитель подчеркивает в числе один из моментов развития этого понятия, раздувает его до пределов определения числа вообще, хочет охватить им все решительно исторически возникшие числа, а когда которые-нибудь из них решительно противятся этому насильственному укладыванию в Прокрустово ложе одного из своих определений,—либо оказывается непоследовательным, подменяя фактически неудобное ложе другим, либо с остервенением отбрасывает не поддающиеся насильственному укладыванию и пытается построить математику без них, как это сделали, например, Гельмгольц и еще решительнее Кронекер с иррациональным числом.

Гегель уже в отношении целого числа не стоит на этой формальной точке зрения. Его число способно быть не только знаком, употребляющимся при счете, но количественным определением величины, и при том не только как дискретной совокупности, но и как некоторой непрерывности, ибо оно есть единство в множественности, ибо единица и определенное число (Anzahl)—его моменты, единством которых является оно само.

В то время как определенное число (Anzahl) состоит из многих одних, составлено из них,—число (Zahl) представляет уже собой их единство [1]).

[1]) «Об определенном числе правильно говорится, что оно состоит из многих, так как одни в нем не сняты, а суть в нем» («Н. Л.», 126).

Как таковое, «число является... дискретною величиною, но оно вместе с тем имеет непрерывность в единице» («Н. Л.», 126).

Но таким образом мы получаем об'яснение того факта, почему именно число может служить отображением количественной определенности. Будучи некоторым определенным единством во множественности, оно может характеризовать одно из таких единств в отличие от других, как множество оно представляет собою дискретную величину, но в единице в скрытой форме содержится момент непрерывности. В противоположность непрерывной величине, содержавшей в себе момент дискретности лишь в возможности, лишь в скрытой форме, оно положено, как дискретность, и содержит в себе в неявной, скрытой форме момент непрерывности. И непрерывная величина и дискретное число—оба содержат в себе оба момента: и непрерывности и дискретности, но в разных формах.

Достичь полного выражения своей количественной определенности непрерывная величина поэтому может лишь при посредстве дискретного числа, подчеркивающего в ней как раз тот момент, который скрыт от непосредственного наблюдения.

Гегель, таким образом, не только об'ясняет тот факт, что дискретное число служит выражением непрерывной величины, но и обнаруживает его необходимость.

«Величины пространственная и числовая,—говорит он,—рассматриваются, как два различных вида: первая для себя есть столь же определенная величина, как и вторая; их различие состоит лишь в различных определениях непрерывности и дискретности, а как определенные количества, они стоят на одной и той же ступени. Вообще говоря, геометрия в пространственной величине имеет предметом непрерывную величину, а арифметика в числовой величине—дискретную. Но при таком различии предмета они не обладают также равным способом и совершенством ограничения или определенности. Пространственная величина обладает определенностью лишь вообще; поскольку же она рассматривается, как просто определенное количество, она имеет нужду в числе» («Н. Л.», 127).

Казавшееся на первый взгляд неприемлемым гегелевское определение числа оказалось в действительности не только законным (конечно, с диалектической, а не формально-логической точки зрения), но и чрезвычайно плодотворным, именно потому, что оно берет предмет не с точки зрения одного какого-нибудь из его моментов, выхваченного из единства с другими, а в самом этом единстве противоположностей.

Наука, занимающаяся числами, как таковыми, называется арифметикой. Именно потому, что она занимается числами, как таковыми, она начинает с числа в его первом определении, в его возникновении.

Но, как уже было отмечено, это первое, в процессе простого счета возникающее число не обладает еще внутренним единством, оно «есть вообще нечто внешне сочетанное, просто аналитическая фигура, не содержащая в себе никакой внутренней связи» («Н. Л.», 128). Поэтому арифметика и не имеет такого предмета, внутреннее содержание которого (по крайней мере на первых ступенях своего развития) ей нужно было бы раскрывать. Она не изучает числа, а действует над ними.

«Арифметика,—говорит Гегель,—рассматривает числа и их фигуры или, правильнее, не рассматривает их, а действует над ними. Ибо

число есть безразличная, косная определенность, оно должно быть приведено в действие и в отношение извне. Способы этого отношения суть виды счета» («Н. Л.», 128).

Будучи мысленным знаком, относимым в процессе счета к каждому следующему участвующему в нем предмету, число не представляет еще собою понятия, оно,—говорит Гегель,—«занимает промежуточное положение между чувственным и мыслию». «Как эта мысль о внешности, число есть вместе с тем отвлечение от чувственного многообразия; оно не сохраняет от чувственного ничего, кроме отвлеченного определения внешности, как таковой; тем самым это чувственное в числе всего более приближается к мысли» («Н. Л.», 134), никогда не достигая, однако, понятия в гегелевском (синтетическом) смысле этого слова.

«Конечно, пять дано в воззрении,—пишет Гегель,—т.-е. есть совершенно внешнее сочетание произвольно повторенной мысли, одного; но и семь есть столь же мало понятие; здесь нет никаких понятий» («Н. Л.», 130).

«Действие, через которое производится число, есть счет по пальцам, по точкам и т. д. Что такое четыре, пять и т. д., может быть лишь показано. Остановка на том, сколько сосчитано, поскольку граница есть нечто внешнее, есть нечто случайное, произвольное» («Н. Л.», 129).

С числа, таким образом, окончательно снимается его таинственный покров. Как простой мысленный знак, лишенный содержания, оно может приводиться в действие лишь извне, при помощи некоторых механических приемов.

Сумму 7 и 5 нельзя поэтому получить только при помощи даже самых глубокомысленных размышлений о природе числа или действия сложения, которое есть не что иное, как последовательное присовокупление единиц одной совокупности к другой, а нужно действительно заняться самым действием, чисто «опытным», можно сказать (хотя бы этот опыт и относился лишь к мысленным вещам), путем, последовательно присчитывать единицы, содержащиеся в 5 к 7, пока не исчерпаем их все. И если, все-таки, для нахождения суммы, например, 5 и 7, мы отнюдь не всегда занимаемся таким последовательным присчитыванием, то происходит это лишь потому, что мы раз-навсегда выучиваем наизусть таблицу сложения, и вместо того, чтобы находить всякий раз результат наново, обращаемся к своей памяти за готовым результатом.

«Что 7 и 5 составляют двенадцать, узнается таким путем, что к 7 принумеровывается еще 5 одних по пальцам или иным способом, результат чего удерживается затем в памяти наизусть, так как в этом случае нет ничего внутреннего. Равным образом мы узнаем, что $7 \times 5 = 35$ через счет по пальцам и т. п., прибавляя к одной семерке еще другую, проделывая это пять раз и затем также удерживая результат в памяти. Труд такой нумерации, нахождение сумм и произведений совершается при помощи таблицы умножения, что также можно выучить лишь наизусть» («Н. Л.», 129).

Арифметика есть таким образом наука, которая учит нас действовать над числами, при чем действия, с которых она начинает, носят чисто внешний, механический характер. Гегель поэтому довольно зло высмеивает Канта, который на том основании, что результат сложения 7 и 5 не может быть выведен ни из понятия числа, ни из понятия суммы, хотел видеть в суждении $7 + 5 = 12$ синтетическое суждение à priori. Гегель отмечает, что, во-первых, тут нет никакого

подлинного «синтеза»—ничего, кроме внешнего сочетания и составления, и, во-вторых, ничего априорного, ибо узнать, что сумма 7 и 5 равняется 12, а произведение 7 на 5 = 35, можно только путем опыта. Для полного выяснения всех этих взглядов Гегеля на арифметику, как науку, обучающую счету и вычислениям, приведу еще следующую (частично уже мною цитированную) выписку, в которой Гегель оценивает, исходя из предшествующего изложения, педагогическое значение арифметики.

«Число есть не-чувственный предмет, и занятие им и его комбинациями—не-чувственное занятие; тем самым дух удерживается в рефлексии в себя и на внутренней отвлеченной работе, что представляет собою большую, но одностороннюю важность. Ибо, с другой стороны, так как в основе числа лежит лишь внешнее, лишенное мысли различие, то эта работа есть лишенная мысли, механическая. Требуемое ею напряжение силы состоит, главным образом, в том, чтобы удержать то, что лишено понятия, и комбинировать его без помощи понятий... Так как счет есть столь внешнее и тем самым механическое занятие, то оказалось возможным изобрести машины, совершеннейшим образом исполняющие арифметические действия. Если бы о природе счета было известно одно это обстоятельство, то уже тем самым был бы решен вопрос, как следует относиться к попытке обратить счет в главное средство развития духа, и тем самым предать последний пытке превращения его в машину» («Н. Л.», 136—137).

Нужно, однако, помнить, что все это относится прежде всего к счету, к самому выполнению арифметических вычислений, по поводу которого некоторые современные математики говорят, что это—духовное занятие, достойное цирковых лошадей.

И, однако, Гегель неправ в своем чрезмерном пренебрежении арифметикой. Ибо различие арифметических действий соответствует различию задач конкретной действительности, которые при помощи арифметики разрешаются. И хотя «различие, которое присуще числам, как определенным количествам, есть внешнее тождество и внешнее различение, равенство и неравенство» («Н. Л.», 128), но в приложении к действительности этому различию действий над числами соответствуют уже не только чисто количественно друг от друга отличающиеся результаты. Так, при сложении линейных величин мы получаем линейную же величину, умножая же одну линейную величину на другую, получаем уже величину второго измерения—некоторую площадь,—«в приложении к пространственным предметами,—говорит Гегель в другом месте,—аналитическое отношение обнаруживается вполне в своей качественной определенности, как переход от линейных к плоскостным определениям, от прямолинейных к криволинейным и т. д.» («Н. Л.», 206, подчеркнуто мною).

Даже в самой низшей математической науке—арифметике, посвященной числу, как таковому, и при том числу на первой ступени развития этого понятия, уже обнаруживаются таким образом в приложении к объектам реальной действительности некоторые качественные моменты, находящие свое выражение в различии действий между собою и порождаемом ими различии чисел и особенно сказывающиеся в отношении к так называемым обратным действиям. Для того, чтобы были всегда возможны эти обратные действия, приходится при установлении каждого из них вводить некоторые новые числа (отрицательные, дробные, иррациональные, мнимые), соответственно «расширяя» при этом понятие о числе и о действии над ним [1]). Но при этом «расширяется» также количество задач, поддающихся математической трактовке, и, что главное, изменяется самый их характер. При помощи мнимых чисел, например, оказываются разрешимыми такие задачи, которые без них вовсе не поддаются математической трактовке. Более того, существуют даже задачи такого рода, вещественные решения которых могут быть получены лишь через мнимое число. И это, конечно, особые, специфические задачи, не раз, именно в силу этой своей особенности, привлекавшие внимание математиков.

«Каждому особому способу исчисления,—говорит Гегель,—соответствует особая определенность или особое отношение величины к его предмету, и что как этот особый способ составляет сложение, умножение, возвышение в степень и извлечение корня, исчисление логарифмов и рядов и т. п., так то же справедливо о дифференциальном и интегральном исчислении» («Н. Л.», 205).

Совершенно оторвать количество от качества, таким образом, нельзя даже в наиболее абстрактной науке—арифметике. И поскольку рассматриваемым в ней действиям над числами соответствует некоторая об'ективная реальность, качественные моменты, соответствующие различным видам взаимоотношений (зависимостей) об'ектов между собою, должны найти себе отражение в различных математических действиях и порождаемых ими качественных различиях уже между отдельными числами. «Число есть чистейшее известное нам количественное определение,—пишет Энгельс.—Но оно полно качественных различий. Гегель, определенное число (Anzahl) и единица, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня. Благодаря этому получаются уже—на что не указывает Гегель—качественные различия: получаются первичные числа и произведения, простые корни и степени. 16 не есть просто сумма 16 единиц, оно также квадрат 4 и биквадрат 2... Поэтому то, что говорит Гегель, II, стр. 237, о бессмысленности арифметики, неверно» (Архив, II, стр. 83).

VIII. Об экстенсивном и интенсивном количестве.

Следуя за Гегелем, мы уже обнаружили в развитии числа два момента:

1. Число, как определенное число — численность (Anzahl), возникающее в процессе счета.

2. Число, как единство во множестве, как выражение количественной определенности.

В дальнейшем Гегель анализирует еще далее последнее понятие числа, подчеркивает в нем два момента, соответствующие развитию этого понятия:

а) Будучи единством во множестве, число может служить для отображения той или другой совокупности вещей, количественного отличия одной совокупности от другой, установления ме-

[1]) Диалектический характер этого «расширения» понятия числа сказывается уже в том, что благодаря ему «уничтожается» противоположение между обратными действиями: при помощи дробей между умножением и делением, при помощи отрицательных чисел между сложением и вычитанием. Умножение на дробь есть деление на обратное число. Прибавление положительного числа есть вычитание равно-противоположного отрицательного числа. «М. Симон делает по этому поводу остроумное замечание, что именно вследствие введения отрицательных чисел, благодаря которому вычитание становится действием, не имеющим исключения, оно перестает существовать как самостоятельная операция» (Ф. Клейн, Вопросы элементарной и высшей математики, стр. 36).

жду различными совокупностями тождества (эквивалентности) и различия. Так, число два характеризует все возможные пары предметов-совокупность, состоящую из двух элементов, число три-тройки, четыре-четверки и т. д.

Современные математики называют такое, всегда относящееся к некоторой совокупности число — количественным (кардинальным) и отличают от возникающего при счете порядкового (ординального) числа. Между ними при этом идет спор о приоритете одного из этих чисел над другим. Гельмгольц, например, опираясь на человеческий опыт, считает ординальное число первичным, и старается свести к нему количественное число. Кантор, Фреге, Рессель, Фосс и др. «исходят из понятия кардинального (количественного) числа как абстракции, не зависящей от особой природы множества об'ектов», и пытаются чисто логически вывести из него, как вторичное, понятие ординального числа[1]). Каждый, таким образом, фактически старается доказать, что математике не нужно пользоваться определением числа в его развитии,—необходимо выбрать какое - нибудь одно из определений, свести к нему все остальные, и на нем строить в дальнейшем всю математику.

б) Но Гегель не останавливается, однако, и на этом количественном числе, относящемся всегда к некоторой совокупности, некоторому множеству об'ектов. Он переходит в дальнейшем к числу, характеризующему один предмет, и при том при помощи некоторого качества, его интенсивности—степени. Так, мы различаем одно освещение, звук, температуру, давление и т. д. по степени их интенсивности от других, более или менее «сильных», более или менее интенсивных. Число, характеризующее температуру воздуха в комнате, не относится уже ни к какому множеству об'ектов — оно характеризует степень нагретости комнаты в отличие от других возможных степеней. Оно относится к некоторому изменяющемуся качеству и характеризует его в его изменении. С введением этого понятия о числе мы вступаем уже в несколько иную область.

Приведем, в самом деле, простой пример. По степени нагретости можно различать более или менее теплую воду, можно даже характеризовать эту степень нагретости воды (температуру) числом. С изменением температуры вода не перестает быть водой—она только отличается от другой воды, обладающей иною степенью нагретости. Различие таким образом установленное—количеественного порядка. И, однако, только в известных пределах, ибо может быть достигнута такая степень нагретости (температура), при малейшем дальнейшем изменении которой вода перестанет быть тем, что она есть—превратится в пар или в лед. Новое понятие числа, таким образом, оказывается уже не столь внешним, безразличным к предмету, который оно характеризует: с его изменением предмет не перестает быть тем, что он есть, только в известных пределах.

Количественную определенность—число, относящееся к множеству, совокупности об'ектов (или частей какого - нибудь одного об'екта) Гегель называет экстенсивным, относящееся к степени какого-нибудь качества, характеризующей предмет,—интенсивным.

[1]) См., например, А. Фосс, Сущность математики, стр. 74: «Итак, представление кардинального числа оказывается первоначальным, между тем как понятие ординального (порядкового) числа получается через прибавление единицы».

В первом,—говорит Гегель,—численность (Anzahl) находится внутри, ибо оно представляет собою единство в некотором множестве, во втором—вне, ибо только через отношение к другим, ему подобным, предметам предмет приобретает при этом свою количественную определенность. Группа из трех предметов представляет собой некоторый один предмет — некоторую тройку. «Три» есть численность такой группы, так сказать, внутри ее находящаяся. Наоборот, какая численность содержится в 37-градусной температуре человеческого тела? Лишь через отношение к некоторой единице температуры некоторая температура становится количеством (числом), при чем, конечно, нелепо будет представлять ее себе сложенной, составленной из 37 отдельных градусов, хотя бы даже только в возможности. Численность 37 тут не характерна для нее самой по себе, а находится, так сказать, вне ее, в отношении к другим, ей подобным, температурам. И в этом Гегель видит глубокую противоречивость интенсивного количества—«быть определенным так просто в себе», но «иметь свою определенность лишь в другом»...

Число, как мы видим, представляет собою по - Гегелю некоторое единство, единица и численность служат его моментами. Если мы делаем ударение на моменте множественности в числе, мы получаем возможность отображать при его посредстве экстенсивные величины, если делаем ударение на единстве, на том, что всякое число есть некоторое одно (сотня, пятерка), отличающееся от другого одно, мы получаем возможность отображения при его посредстве интенсивной величины. Но уже эта возможность отображения при посредстве того же самого числа, как экстенсивной, так и интенсивной величины, наводит нас на мысль о реальном единстве этих определений величины. И действительно, установив различие между экстенсивной и интенсивной величиною, Гегель переходит в дальнейшем к установлению тождества, правильнее сказать, единства между ними. «Каждое существование,—говорит он,—представляет собою как экстенсивное, так и интенсивное определенное количество» («Н. Л.», 142). «Экстенсивная и интенсивная величины суть одна и та же определенность определенного количества; они различаются лишь в том, что одна имеет определенное число (Anzahl) внутри себя, другая его же, определенное же число, вне себя» («Н. Л.», 140).

«Примером тому служит все, являющееся в количественном определении. Даже число необходимо имеет непосредственно в нем эту двойную форму. Оно есть определенное число, и постольку оно есть экстенсивная величина; но оно есть также одно, десяток, сотня, и постольку оно образует переход к интенсивной величине, так как в этом единстве многообразное совпадает в простое».

«Величина некоторого предмета проявляет свою двойственность, как экстенсивная и интенсивная, в двояких определениях своего существования, в одном из которых она является, как внешнее, как вес, есть экстенсивная величина, поскольку оно составляет некоторое определенное число фунтов, центнеров и т. д., и интенсивная величина, поскольку она оказывает известное давление; величина давления есть нечто простое, степень, имеющая свою определенность в скале степеней давления. Как оказывающая давление, масса является бытием внутри себя, суб'ектом, которому присуще интенсивное различие степеней. Наоборот, то, что оказывает эту степень давления, в состоянии двинуть с места известное определенное число фунтов и т. п., и его величина этим и определяется».

Отношение силы и ее проявления и есть,—говорит Гегель,—отношение интенсивного - внутреннего, нераздельно с предметом связанного, к его проявлению во вне, к экстенсивному. И как это внутреннее неразрывно связано со своей внешностью, своим проявлением, так не могут быть оторваны друг от друга интенсивное и экстенсивное количество.

Мы видим таким образом, как, начавши с абсолютной внешности количественного определения, абсолютного безразличия числа к существу характеризуемых при его помощи вещей, Гегель приходит в дальнейшем, на более высокой ступени развития этого понятия, приложения его к реальной действительности, к числу как выражению некоторой внутренней, существенной определенности. И хотя существо этой определенности при помощи числа и не может быть выражено, но, тем не менее, связь числа с нею установлена, и при том не менее тесная, чем связь между некоторой внутренней силой и ее внешним проявлением. Характеризуя это внешнее, экстенсивное, значит, проявление, число оказывается в состоянии давать также указание на интенсивную определенность величины. Непосредственно число относится лишь к экстенсивным величинам, но так как всякая интенсивная величина обладает возможностью своего экстенсивного проявления во вне, то, измеряя это внешнее экстенсивное проявление, мы получаем некоторые сведения об являющейся его источником, интенсивной величине,—именно, о степени ее интенсивности.

Пример, приведенный самим Гегелем, думаю, лучше всего подтверждает правильность этого положения. Но Гегель не ограничивается одним примером—для большей ясности он приводит их несколько. Так как существо дела этими примерами действительно хорошо выясняется, я приведу их полностью:

«И теплота имеет степень; степень теплоты, например 10-я, 20-я и т. д., есть простое ощущение, нечто субъективное. Но эта степень равным образом существует, как экстенсивная величина, как расширение жидкости, ртути в термометре, воздуха или глины и т. д. Высшая степень температуры выражается более длинным столбом ртути или более тонким глиняным цилиндром; она нагревает большее пространство так же, как меньшая степень—лишь меньшее пространство».

«Более высокий тон, как более интенсивный, есть тот, с тем бо́льшее число колебаний, а более громкий тон, которому приписывается более высокая степень, слышен в более широком пространстве. Более интенсивным цветом можно также окрасить большую поверхность, чем менее интенсивным; более светлое, другой вид интенсивности, видимо далее, чем менее светлое и т. д.».

«Равным образом и в области духовного высшая интенсивность характера, таланта, гения имеет более широкое, захватывающее существование, более широкое действие и более многостороннюю сферу соприкосновения. Наиболее глубокое понятие обладает наибольшим общим значением и применением» [1]) («Н. Л.», 142, 143).

[1]) В формальной логике, чем больше об'ем понятия, тем соответственно беднее его содержание. У Гегеля это не так—чем глубже понятие, тем оно более соответствует реальности, тем, значит, более общим значением и применением может обладать. Ибо реальностью, с диалектической точки зрения, обладают не только единичные вещи, но и классы вещей.

Интенсивное таким образом не отделимо от экстенсивного. Гегель поэтому возражает как против естествознания, которое хочет рассматривать одни только интенсивные величины (и называет себя поэтому в отличие от механического естествознания, занимающегося экстенсивными величинами, динамическим), так и против того механического естествознания, которое стремится свести все к однородной экстенсивной величине.

В то время, как для динамического естествознания число служит выражением внутренней интенсивности, измеряя ее внешнее проявление, для механического—оно может характеризовать нечто целое лишь при помощи его частей. Поэтому для последнего характерна точка зрения, аггрегата, составленности из однородных частей, атомистическая, как ее называет Гегель, точка зрения, против которой он не устает выступать. (Тут нужно помнить, что «атомистическая» точка зрения для Гегеля служит именно синонимом аггрегата, чисто внешней совокупности раздельно друг от друга существующих частей). Наоборот, для динамического естествознания характерно взаимоотношение между силой и ее проявлением. И хотя, говорит он, «отношение силы и ее проявления, соответствующее понятию интенсивного, ближайшим образом и есть более истинное сравнительно с отношением целого и частей», но, во-первых, мало одного только признания силы, как количества, хотя бы и интенсивного, ибо при его посредстве мы познаем в интенсивности лишь ее степень, ее рост и падение, ее пределы, а не ее сущность, во-вторых, интенсивное неотделимо от экстенсивного, так что, по существу, о степени интенсивности приходится судить именно по ее экстенсивному проявлению. Нужно поэтому не отдавать предпочтение тому или иному виду количества, а мыслить интенсивное в его единстве с экстенсивным, и, наоборот, в каждом отдельном случае подчеркивая при этом какой из этих двух моментов является данным, положенным [1]).

В качестве примера одностороннего увлечения интенсивностью Гегель приводит попытку рассматривать, например, «плотность или специфическое наполнение пространства не как известное множество и определенное число материальных частей в определенном количестве пространства, но как известную степень сзйственной материи наполняющей пространство силы» («Н. Л.», 141). В качестве примера для другой односторонней точки зрения—экстенсивности (против которой, нужно это подчеркнуть, он выступает уже совершенно безоговорочно)—Гегель рассматривает то представление об удельном весе, согласно которому больший удельный вес об'ясняется только бо́льшим числом однородных частиц, и которое (тоже в связи с вопросом об экстенсивной и интенсивной величине) встретило аналогичные возражения уже со стороны Канта [2]).

«Так, например, физика,—пишет Гегель,—об'ясняет различие удельного веса тем, что тело, удельный вес которого вдвое больше

[1]) Замечательно, что и в отношении этой противоположности между экстенсивным и интенсивным Грассман стоит фактически на гегелевской точке зрения. «Ясно также,—пишет он,—что можно рассматривать всякую реальную величину двояко: и как интенсивную, и как экстенсивную величины. Так, например, линия рассматривается, как интенсивная величина, когда абстрагируют от того способа, каким элементы ее находятся друг вне друга, и принимают во внимание только количество элементов. Таким же точно образом точка, источник силы, может быть рассматриваема, как экстенсивная величина, когда представляют себе силу в форме линий» (Г. Грассман, там же, стр. 23).

[2]) См. «Критику чистого разума», стр. 136—137.

удельного веса другого тела, содержит, в одинаковом объеме, вдвое больше вещественных частей (атомов), чем последнее. Точно также в теории теплоты и света, об'ясняют различные степени температуры и освещения большею или меньшею численностью теплотворных и светоносных частичек (Molecules)... В настоящем случае отвлеченный рассудок, в противоречие не развитому и истинному, конкретному мышлению, признает протяженную (экстенсивную) величину, как единственную форму количества и не допускает напряженных (интенсивных) величин, где они встречаются в их собственной определенности, но старается, основываясь на несостоятельной гипотезе, насильственно свести их на протяженные величины» («Энц.», стр. 182—3, курсив мой).

«Но кто бы мог подумать,—замечает по этому же поводу Кант,—что эти естествоиспытатели, большею частью математики и механики, основывают свое умозаключение исключительно на метафизическом предположении, чего они, по их словам, так старательно избегают, именно они допускают, что реальное в пространстве повсюду одинаково и может различаться только по своей экстенсивной величине, т.-е. по количеству частиц». И далее добавляет: «Ошибочно рассматривать реальность в явлении, как нечто везде одинаковое по степени и различное только по аггрегации и экстенсивной величине ее» [1]).

Механическое естествознание таким образом, оказывается, стоит не только на исключительно количественной точке зрения, но и в области самих количественных определений односторонне признает только экстенсивные величины. Да это и понятно, интенсивная величина всегда связана с некоторой сущностью, специфичностью вещи или процесса, в то время как ее проявление—экстенсивная величина—носит всюду однородный характер. Как интенсивные, величины отличаются друг от друга не только по степени их интенсивности, но и по ее особому роду, как экстенсивные они все однородны, тождественны между собою, и могут отличаться лишь большим или меньшим количеством частей. Когда речь идет поэтому об установлении внешнего тождества или различия между вещами, это может быть выполнено лишь при посредстве экстенсивных величин.

Различие между экстенсивной и интенсивной величиной выступает лишь тогда, когда речь идет не о количестве или числе самом по себе, а об отображении при их посредстве некоторой реальности, некоторой величины особого, специфического рода. Поэтому наука о количестве как таковом, числе как таковом,—математика,—не знает еще интенсивных величин, тем более, что выражающее степень интенсивности число возникает лишь через посредство некоторой экстенсивной величины, в которой эта интенсивная находит себе проявление. Математика есть поэтому, раньше всего, наука об экстенсивных величинах. «Под экстенсивными величинами,—говорит Гаусс,—я разумею такие, которые составлены из однородных частей; они образуют предмет математики; интенсивные же являются таковыми, лишь поскольку они могут быть сделаны экстенсивными, если для них можно подыскать шкалу, по которой их можно измерить и сравнивать друг с другом» («Gauss zum Gedächtniss» С. Фон-Вальтергаузена, цит. по А. Фоссу, стр. 68).

[1]) Тут нужно отметить, что, правильно подмечая противоположность между экстенсивною и интенсивною величиною, Кант, по обыкновению, превращает ее в противоположность метафизического характера, отрывая один из ее моментов от другого и относя экстенсивность к пространству, которое занимает всякая вещь, а интенсивность к вызываемому ею в нас ощущению.

В течение XIX столетия естествознание выполнило огромную работу—для многих из таких явлений, которые раньше были совершенно не сравнимы друг с другом, была подыскана та общая шкала, о которой говорит Гаусс. Была, таким образом, установлена связь между такими явлениями, которые ранее, казалось, не имели ничего общего между собою. Но в этих поисках общего, тождественного, однородного,—в этих поисках единообразной мерки для всех вещей и событий позабыли об их различиях, ибо все стало экстенсивною величиною—суммою однородных частиц. И невольно представляется при этом, что все это вполне в духе того столетия, о котором Зомбарт пишет:

«В центре всякого интереса ныне стоит,—в этом не может быть никакого сомнения,—восхищение всякой измеримой и весомой величиной. Везде господствует, как это выразил один глубокомыслящий англичанин (Брайс): «a tendency to mistake bigness for greatniss» (тенденция принимать величину за величие.—Ал. З.), тенденция принимать внешнюю величину за внутреннюю, как мы вынуждены перевести, так как немецкий язык, к сожалению, не обладает соответствующим словом ни для «bigness», ни для «greatniss». В чем заключается величина, безразлично: это может быть число жителей города или страны, вышина памятника, ширина реки, частота самоубийств, количество перевозимых по железной дороге пассажиров, величина корабля, число людей, принимающих участие в исполнении симфонии, или что-нибудь еще. Предпочтительнее всего восхищаются, правда, величиной какой-нибудь денежной суммы. В денежном выражении нашли к тому же удивительно удобный путь—обращать почти все недопускающие сами по себе меры и веса ценности в количества, и тем самым вводить их в круг определений величин. Ценно теперь уже то, что дорого стоит.

О каких своеобразных психических процессах идет дело в сдвигах ценностей, совершаемых нашим временем, показывает, быть может, яснее всего, отношение современного человека к спорту. В нем его по существу интересует только еще один вопрос: кто будет победителем в состязании? Кто совершит измеримо высшее количество действия? Число, количественное соотношение между двумя действиями выражается посредством пари. Можно ли представить себе, что в греческой палестре держались пари? Или разве это было бы мыслимо в испанском бое быков? Конечно, нет. Потому что и там и тут, с художественной точки зрения,—т.-е. именно с чисто-качественной, так как оценка количественная невозможна,—оценивалось и оценивается в высшей степени персональное действие отдельных индивидов».

Неужели в этой чисто-количественной оценке идеал науки будущего? Конечно, нет. Ибо подобно тому, как, уничтожив преграды между отдельными странами и превратив все, вплоть до человеческой совести, в товар, обмениваемый на деньги, которые не пахнут, так как совершенно однородны между собою, капиталистический строй подготовил почву для социализма, так и механистическая наука, установивши связи между самыми разнородными предметами, подготовила новую науку—диалектическое естествознание будущего.

Младо-гегельянцы и Фейербах.

Э. Лурье.

Характеристика эпохи.

«Политика должна стать нашей религией»,—говорит Людвиг Фейербах. Бауэр же находит, что философия не может обходиться без политики, последняя должна разрушить существующий порядок, если он противоречит самосознанию [1]). Гервег, приглашая Фейербаха сотрудничать в предполагаемом журнале «Der Deutsche Bote», пишет ему, что орган должен быть в конечном итоге политическим, так как он исходит из «единства всех знаний под углом зрения политики» [2]). Своей невесте Гервег выражает сожаление, что он не в состоянии создать Марсельезы [3]).

Итак, политика есть знамя времени, практически это выражается в борьбе между либералами и реакционерами. Характер этой борьбы Руге изображает в одной из статей «Немецких Летописей» следующим образом: «Блюстители порядка кричат: христианство погибает! Философы отвечают: в принципе и исторически оно уже побеждено; монархисты вопят: государство погибает! Историк отвечает: ваше государство уже погибло; его страшным судом была революция, а против исторических приговоров нет апелляций; реакция кричит: революция! а прогрессивные элементы отвечают: вы сами ее создаете» [4]).

Интерес к общественной жизни проявляется в области литературы, философии, религии. И сочинения, отражающие импульс времени, Руге называет независимо от содержания и дисциплины «произведениями искусства». К ним он относит произведения Гервега и Гоффмана фон-Фаллерслебена, «Трубный глас страшного суда», трактат «Шеллинг, философ во Христе» [6]) и критику верующего об учении Гегеля об искусстве и религии. Эти произведения Руге называет «историческими комедиями» [7]).

Итак, политика представляет довольно пеструю картину: религия, философия, искусство окутаны ею. На арену политической борьбы раньше выступает буржуазия, а несколько позже пролетариат. Роль той и другого можно об'яснить социальными условиями до-мартовской Германии.

Промышленность тогдашней Германии отстала от промышленности Франции и Англии. И все же богатство ее бюргерства, начиная с 1815 года, все возрастает, а вместе с тем возрастает и его полити-

[1]) Die Posaune des jüngsten Gerichtes über Hegel den Atheisten und Antichristen. Ein Ultimatum, Leipzig 1841, S. 83.

[2]) Georg Herweghs Briefwechsel mit seiner Braut, Stuttgart 1906, S. 81. Предполагаемый журнал не издавался.

[3]) Ibid, S. 65.

[4]) Deutsche Jahrbücher, 1842, S. 3.

[5]) Брошюра эта—вторая часть «Die Posaune» и т. д. вышла анонимно. Автором ее вместе с Бауэром является, по всей вероятности, Маркс. Останавливаться на этом не входит в мою задачу.

[6]) Брошюра Освальда, молодого Энгельса.

[7]) Deutsche Jahrbücher, 1842, S. 757.

ческое значение. Рост богатства и развитие торговли подняли буржуазию так высоко, что она увидела противоречие между своими интересами и политическим строем страны.

Большинство немецких рабочих в Германии было занято у мелких ремесленников, у которых преобладал средневековый способ производства. Вполне понятно, что при таких условиях к рабочим почти что не проникали современные идеи. А все же благодаря промышленным округам, где господствовал более современный способ производства, и страннической жизни многих рабочих, в ряды пролетариата проникали идеи об освобождении от капитализма. Но эти идеи охватывали сравнительно небольшое ядро рабочих. И если движение буржуазии можно датировать с 1840 года, то пролетариата—с 1844 года.

Интересы германской буржуазии не совпадают с интересами полубюрократической, полуфеодальной монархии, и она поэтому стремится к конституционному правлению. Конституционными веяниями полна литература Младо-Германии, конституционную монархию Гегель об'явил в философии права высшей формой правления. Но либеральная буржуазия пока вяла, робка. Недаром Варнгаген фон-Энзе жалуется на отсутствие политической жизни в Берлине [1]). Лишь со вступлением на престол Фридриха Вильгельма IV начинается оживление, и поэтому движение буржуазной оппозиции датируется с 1840 г.

От нового короля либеральные круги Германии ждали реформ; это реформаторское настроение дошло до кульминационного пункта к столетию со дня рождения Фридриха Великого. Вскоре после вступления на престол нового короля выяснилось, что его интересы диаметрально противоположны интересам либеральной буржуазии. Убедиться в этом было легко, так как Вильгельм IV был любителем всяких выступлений, так что намерения либералов быстро парализуются. Осведомленный Варнгаген рассказывает в своем дневнике четвертого июня, что некоторые гласные собираются подать королю петицию с требованием конституции, а восьмого июня он пишет, что петиция в виду разумной осторожности не будет пущена в ход. Если и не было петиции о требовании конституции, то ее все же гласно добивались. Король был принужден пойти на кой-какие уступки, к чему его побудили и финансовые затруднения. Он созвал весной 1841 года провинциальные ландтаги, чьи права были несколько расширены в сравнении с прошлым.

Самыми либеральными оказались прусский и рейнский ландтаги; в первом был затронут вопрос об открытых заседаниях, во втором—о свободе печати. Правда, Вильгельм по-своему реагировал на эти требования. «Галльские Летописи» по причине цензурных преследований должны были в первой половине 1841 г. перенести редакцию из Галле в Дрезден, а с июля журнал был переименован в «Немецкие Летописи». А все же совершенно игнорировать требования оппозиции было невозможно; новый эдикт о цензуре был издан лишь в январе 1842 г.—иначе получилось бы впечатление, что он идет навстречу желаниям ландтага. По новой инструкции разрешается «более свободное обсуждение» вопросов политики, и цензорам повелевается исполнение закона о печати 1819 года, чем уничтожается дополнение к нему последующих годов. Маркс, критикуя новую инструкцию, говорит, что она делит граждан на подозрительных и неподозрительных, на благонадежных и неблагонадежных [2]).

[1]) Varnhagen von Ense, Tagebücher, Leipzig 1861, Bd. I, S. 155.

[2]) Anecdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik, Zürich und Winterthur 1843, Bd. I, S. 73.

Но либеральная оппозиция сумела использовать и эти крохи, результатом чего явилась «Рейнская Газета» и «Лейпцигская Всеобщая Газета».

Оппозиция либеральной буржуазии датируется с 1840 года, но теоретически она проявила себя раньше. Уже анонимная брошюра Фейербаха «Размышления о смерти и бессмертии» является походом против существующих взглядов, а «Жизнь Иисуса» Давида Штрауса подвергает сомнению более основные вопросы религии, затем следует Бруно Бауэр и, наконец, «Сущность христианства» Фейербаха. Влияние этой книги, точно так же как и родственной литературы, не ограничивается одной религией. Так как политика была слишком терпкой областью, то борьба, главным образом, была направлена против религии. Носителями этой теоретической оппозиции были младогегельянцы. Благодаря неясному гегелевскому стилю им удавалось затуманивать бдительность цензоров, и они, по словам Маркса, пользовались свободой, «неизвестной в другой области литературы»[1]).

Розенкранц следующим образом характеризует младо-гегельянцев: Фейербах является среди последних самым крупным мыслителем. Руге, повидимому, потерян для науки, он весь ушел в политику. Братья Бауэры якобы продолжают учение Гегеля, на деле же они его ложно толкуют. Штирнер, Освальд (Юнг)[2]) работают в том же духе, что и их учитель, но в своем методе более приближаются к Руге.

Но и среди младо-гегельянцев мы наталкиваемся на разногласия: примером этому служит беспощадная критика Маркса и Энгельса братьев Бауэров на страницах «Святого Семейства»[3]).

Розенкранц, занимающий среднюю позицию между правыми гегельянцами и его левым крылом, в целом дает правильную характеристику; он только не различает отдельных этапов; так, он не разграничивает периода совместного сотрудничества Маркса и Энгельса с младо-гегельянцами от периода постепенного расхождения с ними.

Характеристика Розенкранца нуждается в комментариях. Центральной фигурой младо-гегельянцев безусловно является Фейербах[4]). Его влияние в домартовской Германии не только колоссально, но и в высшей степени многообразно—оно охватывает философию, естествознание и искусство. Он «провозгласил торжество материализма», что имело громадное значение для выработки мировоззрения Маркса и Энгельса. Его антропология безусловно является базисом индивидуализма Штирнера, основоположника анархизма, его «непомерное обожествление любви» является исходным пунктом учения «истинных социалистов». То и другое говорит только о неимоверном влиянии Фейербаха; влияния этого не избегли ни Руге, ни Бауэр, ни даже Штраус.

Наторп говорит о марбургской школе, что, несмотря на разногласия отдельных мыслителей, все они имеют одну общую черту: трансцендентальный метод Канта является для них исходным пунктом[1]). То же самое можно сказать про любую школу: точка соприкосновения должна быть между ее отдельными мыслителями. Исключения не составляют младо-гегельянцы.

1) Исходя из своего понимания практики, они применяли к ней гегелевскую философию.

2) Исходя из конкретных условий тогдашней Германии, они в своем мировоззрении уделяли много внимания вопросам религии.

3) Не имея достаточно конкретных данных для разрешения практических вопросов, они ищут ключ к ним в философии. К этим основным чертам под влиянием Фейербаха прибавляется еще гуманизм[2]).

Руге.

Меринг замечает, что Штраус и Руге задавали тон «Галльским Летописям», а «Немецкие Летописи» находились под влиянием Фейербаха и Бауэра[3]). Этот громаднейший шаг влево «Немецких Летописей» в сравнении с «Галльскими» тождественен отходу Фейербаха влево по сравнению с Штраусом, чем и об'ясняется то громадное влияние, которое он оказал на младо-гегельянцев.

Несмотря на это, Руге является видной фигурой освободительного движения Германии, как редактор «Галльских» и «Немецких Летописей», как редактор сборников, вышедших в Швейцарии и об'единивших младо-гегельянцев.

Политическая борьба, хотя лишь на литературном поприще, настолько поглощает Руге, что вопросы практики для него являются центром теоретического внимания, вследствие чего возникает ее неразрывная связь с теорией. Руге указывает на то, что как Гегель, так и немецкая философия в целом скрывает практическое содержание теории, чтобы не касаться сущности религии[4]). Тут в заявлении Руге мы наткнулись на существенные вопросы религии и политики, занимающие его, как и младо-гегельянцев в целом.

Из неразрывной связи теории и практики для Руге вытекает «единство теоретического и практического духа». Абсолютность духа является реальной только в историческом процессе, носителем которого является человек, «политическое существо»[5]).

Ставя политику в центре внимания, Руге, конечно, не мог обойти молчанием ее конкретных вопросов. Он безусловно отвергает точку зрения Гегеля, для которого полицейское государство является высшей формой, причину этой точки зрения своего учителя Руге видит в признании об'ективного духа; вместо этого он требует признания суб'екта[6]). Нельзя ни в коем случае рассматривать определенное государство, как вечную форму, так как «определенное государство—это не что иное, как существование духа, в котором он реализуется исторически»[7]).

---

1) Marx, Revolution and counter revolution of Germany in 1848, London-New-York 1896, p. 15.

Из переписки Маркса и Энгельса очевидно, что большинство статей для «New-York Tribune», составляющих содержание книги, написаны Энгельсом, а что правильно указывает т. Рязанов в своей статье в «Grünberg's Archiv», Bd. VI, S. 187 Anm.

2) Фактически, Энгельс.

3) Rozenkranz, Aus einem Tagebuch, Leipzig 1854, S. 140—141.

4) См. мою статью «Философия религии Фейербаха», «Записки Научного Общества Марксистов» № 7, стр. 91—112.

1) Kantstudien, 1912, S. 193—194.

2) По причине ограниченности места и по другим соображениям, я разбираю только Руге, Бауэра, Гесса и Штирнера.

3) F. Mehring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, Berlin und Stuttgart 1922, Bd. I, S. 25.

4) Deutsche Jahrbücher, Leipzig 1842, S. 765.

5) Arnold Ruges Briefwechsel und Tagebuchblätter, Berlin 1881, Bd. I, S. 299—300.

6) Ibid., S. 223—224.

7) Deutsche Jahrbücher, 1842, S. 762.

Точно так же как действительное государство, действительная философия имеют дело с историческим явлением, философия не должна упускать из виду ни государство, ни исторический дух [1]). В вопросе о государстве мы натолкнулись на существенный вопрос у Руге, как и у младо-гегельянцев в целом, на вопрос философии. Уж одна ее постановка в центре практических вопросов является большим шагом вперед. Присмотримся ближе к этой проблеме у Руге.

Свободная, абсолютная философия является единственной наукой, «вне ее нет ни теологии, ни какой бы то ни было другой науки» [2]).

Философия является предпосылкой могущества и духовного влияния [3]). Отсюда вытекают и требования к ней. Она должна стать принципом развития нации, без чего последняя не может стать свободной. Задача философии состоит в поднятии масс до ее постижения. В Германии философия еще далеко не является национальным достоянием, так как массы относятся индифферентно к конфискации философских произведений. «Для философа не существует безразличной учености. Философия—это свобода, она хочет создать свободу; а под свободой мы понимаем истинно-человеческую, т.-е. политическую, свободу, а не какое-нибудь метафизическое, голубое дуновение, которое можно себе создать у себя в кабинете, если б комната оказалась даже тюрьмой» [4]).

«Франция является страной, которая со времени революции работает над реализацией философии. Франция является вполне философской страной. Если ее можно упрекнуть в том, что она из-за практики иногда теряет из виду принцип, то надо признаться, что она к нему вернется с бодростью, достойной удивления [5]). Сближение немецкой жизни с французской возможно лишь в том случае, когда философия станет политической» [6]).

Долго останавливаться на смысле термина «философия» у Руге не приходится, она в сущности тождественна с политикой. Руге, с одной стороны, не мог отрешиться от вседовлеющего понятия философии в Германии, а, с другой стороны, он еще не освоился со словом политика, которое только что появилось на горизонте. Младо-гегельянцы, исходя из Гегеля, революционизируют в сущности его философию, главным же образом, его философию религии и права, но они остаются всецело на позиции его идеализма. Фейербах же, Маркс и Энгельс покидают гегелевский идеализм. Но это не мешает последователям первого, в том числе и Руге, рассматривать его сквозь свои идеалистические очки.

Руге находит: шаг вперед Фейербаха по отношению к Гегелю состоит в следующем: он утвердил суб'ективизм в противоположность об'ективизму своего учителя, становление в противоположность бытию, долженствование в противоположность достигнутому абсолютного в системе и действительности [7]). Слова Руге надо расшифровать следующим образом: вместо духа и его реализации в об-

[1]) Ibid.
[2]) Ruges Briefwechsel, Bd. I, S. 224.
[3]) Ibid., S. 281.
[4]) Deutsch-Französische Jahrbücher, Paris 1844, S. 5.
[5]) Ibid., S. 12.
[6]) Ibid., S. 16. Последние места приведены из передовой статьи Руге «Немецко-Французской Летописи».
[7]) Ruges Briefwechsel, Bd. I, S. 224.

екте у Гегеля мы получаем человека, изменяющего бытие, вместо абсолюта и системы мы имеем дело с долженствованием, диктуемым действительностью.

Недовольный системой Гегеля, в которой все предназначено абсолютным духом и его постепенной реализацией, Руге впадает в другую крайность; освобождаясь от власти об'екта, в чем он далек, как небо от земли, от Фейербаха, для которого мир существующий «вне нас» является исходной точкой его мировоззрения. В наше время, находит Руге, гуманизм презирают во имя потусторонней святыни, и поэтому его утверждение является историческим актом, который является заслугой Фейербаха. Он бодро вступает в будущее и, посредством отрицания старой точки зрения, приходит к положительным взглядам в области религии, образования и истории, что является в высшей степени историческим, «он не тащит на сушу кораблей, которые его привели к новому берегу, он не носит цепей Прометея на своих руках и в своей памяти: он, наоборот, считает злые дуновения прошлого в чистой жизненной атмосфере самосознания» [1]).

Философия Гегеля, как христианская философия, есть схоластика, «лишь критика христианства есть истинная философия, свободная наука» [2]), и в этом смысле Руге рассматривает мировоззрение Фейербаха, «как новый поворотный пункт в немецкой философии» [3]), при чем он правильно понимает, что Фейербах своей постановкой и разрешением проблемы религии наносит смертельный удар заодно и умозрительной философии.

Будучи горячим сторонником Фейербаха, но идеалистом, Руге в чисто практических вопросах не может последовать за ним. Если Фейербах уничтожает религию, оставляя ей «лазейки» в тех случаях, когда он, в силу обстоятельств, не справляется с поставленной проблемой, то о каких-нибудь практических мероприятиях в этом направлении не может быть и речи. Руге же на них останавливается. Так, он находит, что «посредничество между истинной и высшей религиозностью со старым трансцендентным богослужением может только быть желательным» [4]).

Исходя из лазейки религии у Фейербаха, а не из его религиозного мировоззрения в целом, Руге приходит к неправильным выводам. Так, наш мыслитель, по его мнению, является реставратором монизма, который заключается в единстве религии и этики [5]). О таком единстве для Фейербаха не может быть и речи, он, наоборот, неоднократно доказывает, что суеверие и безнравственность являются следствием подчинения человеческого, суб'ективного, об'ективному. Но, правда, «лазейки» религии в пункте морали больше всего дают себя чувствовать. Так, «отношения ребенка к родителям, мужа к жене, брата к брату, вообще человека к человеку» являются моральными и поэтому истинно религиозными [6]). Но этого все же недостаточно, чтоб говорить об единстве морали и религии.

Сама история, по словам Руге, критиковала христианство, но лишь Фейербах доказал, что в основе его лежит антропология [7]). Он

[1]) Anekdota, Bd. 2, S. 20.
[2]) Ibid., S. 22.
[3]) Под этим заглавием Руге написал в «Anekdota» обстоятельную рецензию на «Сущность христианства».
[4]) Ibid., S. 29.
[5]) Ibid., S. 18—19.
[6]) Feierbach, Werke, Stuttgart 1903—1911, Bd. 6, S. 326.
[7]) Anekdota, Bd. II, S. 19.

даже указал всемирной истории ее универсальное значение и христианству его неисторический характер. Христианину история не по душе, так как он ищет спасения не впереди, а позади. Этот принцип противоречит жизни, так как только реальный труд приводит к историческим результатам. Так, христианство, со всей своей любовью к ближнему, не уничтожает ни тирании, ни покорности, ни рабства. «В фантазии все люди братья, на деле же господа и рабы, а совесть христианина нашла пытку, кнут, торговлю неграми, патримониальный суд в порядке вещей, лишь гуманизм и всемирное образование превозгласили права человека» [1]). Эти строки, полные революционного пыла, напоминают аналогичные места из «Сущности христианства», они составляют большой шаг вперед по отношению к гегелевской философии, для которой христианство является абсолютной религией.

Отсутствие исторического подхода к христианству является слабой стороной философии религии Фейербаха, в чем Руге видит ее заслугу. Если поставить вопрос, какое место занимает история в новейшей критической философии [2]), то можно ответить, что «из нее и через нее лишь получается история», с критикой Гегеля и христианства начинается истинная история. Критическая философия является началом нового направления, которое должно быть связано с предыдущим, т.-е. негегелевской философией. Критическая философия признает процесс разума в истории, она должна дать об'яснение разума на предыдущей ступени, и это об'яснение прошедшего носит в себе залог будущего. Поэтому каждая критика должна превратить познанную (erkannte) историю в становящуюся (werdende), становление этого процесса является самым познанием [3]).

Тут мы имеем дело со своеобразным пониманием истории у Руге, которое он приписывает Фейербаху. Исходит он от гегелевского процесса разума в истории, критерием которого является фейербаховская философия. Для параллели между Руге и Фейербахом нам, однако, нужен еще конкретный материал. Так, первый говорит: «Наша история является понятием истории», или же—свободой; там, где люди, там—ее обитель. Так как мы не в состоянии исследовать историю африканских народов, то мы останавливаемся на истории культурных народов, где существует соответствие между действительностью и понятием [4]). Такого отношения к первобытным народам не придерживался ни Гегель ни Фейербах, который сравнительно мало оперировал с историей, и поэтому очень беден в этом отношении в сравнении с Гегелем, притом он ни в истории, ни в какой бы то ни было другой дисциплине не исходил из понятия. Если история является слабой стороной мировоззрения Фейербаха, то Руге, соединяя его точку зрения с гегелевским понятием, ничего существенного в этом направлении не мог дать. Популярность и влияние Фейербаха в до-мартовской Германии обусловливались, главным образом, его философией религии, и поэтому также его антропологией, так как отделить ту от другой невозможно. Если борьба в области религии была при тогдашних условиях политической борьбой, то вполне понятно, что вместе с религией вопросы практики являются центральным пунктом философии; гуманизм является удачным выражением потребности времени, так как он: 1) ставит в центре вопросы практики; 2) так как он противопоставляет их идеалистической концепции гегелевского абсолютного духа что-то практическое, хотя и абстрактное. Решительно все младо-гегельянцы находятся под влиянием фейербаховского гуманизма. Антропология для Руге является «истинной философией», а человек—политическим существом.

[1]) Ibid., S. 53.
[2]) Руге подразумевает фейербаховскую.
[3]) Anekdota, S. 58—59.
[4]) Ibid., S. 58.

«Коммунисты—это не что иное, как гуманисты, только они для того, чтобы сделать человека человеком, что является задачей гуманизма, предпринимают и предпринимали различные меры» [1]). Эти слова Руге можно пояснить следующим образом: гуманизм—это принцип, коммунизм—его реализация. Принцип этот был для него абстрактен, абстрактен был для него также коммунизм, и при более близком столкновении с ним и его носителями оказалось, что он от него очень далек.

И для Фейербаха человек—это коммунист, что для него значит; я есть одновременно и ты, что «люди сообща составляют человечество». В письме к Марксу от 22 февраля 1845 г. Энгельс пишет: «Фейербах говорит, что ему необходимо основательно уничтожить религиозную дрянь, раньше чем заняться коммунизмом и быть его представителем в печати. Притом он в Баварии слишком оторван от жизни, чтоб притти к этому. В общем он коммунист, и для него дело сводится лишь к практическому его осуществлению» [2]).

Несмотря на оторванность Фейербаха от практической жизни, он не порывает с коммунистами, подобно Руге. Он, по словам последнего, очень сожалеет об его разрыве с ними, «так как он очень высоко ставит коммунистов из-за их правильного принципа уничтожения рабства» [3]).

Бауэр.

Руге—практик в теории, Бауэр—теоретик-практик. Руге робок, Бауэр более боевой. И тот и другой остаются идеалистами, несмотря на влияние Фейербаха. Бауэр провозглашает «единовластие самосознания».

«Трубный глас», «Страшный суд», «Атеист», «Антихрист». Какой ужасный крик. Неужели суматоха дня, действительность так мучительна, что можно стать вразумительным только через призыв трубного гласа и громовые слова? Или, может быть, наука, прогнанная из храмов, разгуливает по улицам и травит чернь? Если это так, тогда слова, составляющие заглавие, хорошо подобраны и не менее удачная надпись отдельных глав: «Ненависть Гегеля против бога», «Уничтожение религии». «Презрение священного писания» [4]). Так характеризовал Штраус анонимную книгу под заглавием «Трубный глас страшного суда против Гегеля-атеиста и антихриста. Ультиматум», автором ее является Бауэр.

Чтобы обмануть бдительность цензуры, Бауэр принимает тон ортодоксального теолога, возмущенного ересью гегелевского учения; тон этот так удачен, что Руге принял его за чистую монету; он говорит, что автор «донес ловко и бесстыдно» [5]). «Posaune» наделала слишком

[1]) Ruges Briefwechsel und Tagebücher, Berlin 1886, Bd. I, S. 319.
[2]) Der Briefwechsel zwischen Karl Marx und Friedrich Engels, Stutgart 1919, Bd. I, S. 15.
[3]) Ruges Briefwechsel, Bd. I, S. 404.
[4]) Deutsche Jahrbücher, 1841, S. 94.
[5]) Ruges Briefwechrel, Bd. I, S. 249.

много шуму, вследствие чего не могла долго обмануть бдительность цензуры и была конфискована вскоре после выхода.

Мало того, что автором брошюры называют Фейербаха [1]), его таким об'являют и в печати, на что последний и реагирует в своей статье «К критике моего труда «Сущность христианства»». Здесь Фейербах указывает, что один корреспондент из Франкфурта-на-Майне в «Аугсбургской Всеобщей Газете» заявил, «что надо только прочесть несколько страниц из моего труда, чтоб убедиться, что его автор тождественен автору «Трубного гласа страшного суда», или, по крайней мере, не различаем от него». «Если б же он вместо нескольких страниц прочел правильно только одну единственную страницу моего труда, он нашел бы, что существует значительная разница между методом Гегеля и моим способом философствовать, между гегелевской философией религии и моей, следовательно, также между «Posaune», которая выводит результаты «отрицательной философии религии» прямо из Гегеля, как будто тот сказал то же самое, что моим трудом».

«Моя философия религии точно так же мало является толкованием гегелевской, как это хочет заставить верить остроумный и талантливый автор «Posaune», будто бы она есть результат оппозиции против гегелевской философии, может быть понята и критикована только в связи с этой оппозицией» [2]). Фейербах, следовательно, говорит: его философия религии не имеет ничего общего с философией религии автора «Posaune», но что тот, как и он, дает в сущности «отрицательную философию религии», кроме того, Фейербах подчеркивает талантливость Бауэра, на что указывает и менее пристрастный критик Розенкранц, который к словам, полным похвалы, добавляет: «жаль его» [3]).

Разницу между своей философией религии и автора «Posaune» Фейербах видит, главным образом, в их различном отношении к Гегелю, и поэтому и с отношения Бауэра к нему начну свой анализ.

Ошибка врагов гегелевской философии состоит в том, что они не заметили его атеизма, благодаря чему ввели в заблуждение верующих; хитрость младо-гегельянцев, с целью ввести в заблуждение своих противников, еще ухудшает дело. Друзьям и гегелевской системы слывут правые гегельянцы (Бауэр их называет старо-гегельянцами), но они фактически относятся враждебно к системе. Правительство также считает истинными носителями гегелевской системы, и, как таковых, оно их ставит на ответственные государственные места, но тут и лежит опасность. Если правители должны быть гегельянцами, то правые гегельянцы могут принести только вред, так как не они, а младо-гегельянцы являются истинными последователями гегелевского учения [4]).

Гегель, этот ненавистник всего божественного и священного, в качестве профессора Берлинского университета, повел борьбу под щитом философии против всех ценностей. «К нему примкнула толпа его последователей, и во всей истории никогда не видно было такого послушания, такой приверженности, такого слепого доверия, какие выказывали ему его сторонники. Они следовали ему, куда он их только вел, они следовали ему в борьбе против одного» [5]).

[1]) Ibid., S. 255.
[2]) Feuerbach, Werke, Bd. I, S. 265.
[3]) K. Rosenkranz, Aus einem Tagebuch, S. 113.
[4]) Die Posaune, S. 8—13.
[5]) Ibid., S. 44.

Гегель был большим революционером, нежели все его ученики вместе взятые, против него, а не против них надо вести борьбу [1]). Гегель—антихрист, он ставит французов очень высоко, так как они взбунтовались против бога, а немцев он презирает, так как у них нет мужества отрицать бога. Французы для него «истинные люди», немцы—«вьючные животные», те—«истинные философы», эти—хулители, те—для него «открыватели истинного царства духа», эти—трусы, испрашивающие у чиновников разрешения пользоваться плодами просвещения, те для него—«герои свободы», эти—рабы: «Коротко, те для него все, эти—меньше, чем ничего» [2]).

Революционный пыл Гегеля заходит очень далеко. Его ненависть против существующего неимоверна, повсюду ему чудится контрреволюция [3]). Гегель, следовательно, у Бауэра превращается в революционера и атеиста. Ленин говорит, что философия Гегеля привела к материализму Фейербаха [4]). Эти слова являются прямым выводом из его слов: «я стараюсь читать Гегеля материалистически, выкидывая «боженьку, абсолют, чистую идею»» [5]). И если из учения Гегеля выкинуть его идеалистический остов, то получится материалист и революционер, получится в данном случае Фейербах и Бауэр? И все же прав тов. Рязанов, когда он говорит: «...еще до появления «Сущности христианства» Маркс вместе с Бруно Бауэром разделались с гегелевской философией религии. Об этом лучше всего свидетельствуют обе части «Posaune», и намерение Бауэра и Маркса еще осенью 1841 г. издавать атеистический журнал [6]). Конечно, характеристика Гегеля, данная Бауэром в «Posaune», уже ничего общего не имеет с Гегелем, признающим христианство абсолютной религией и Прусскую монархию абсолютным государством. И если, несмотря на это, Фейербах все же открещивается от «Posaune» руками и ногами, то он прав: между ней и «Сущностью христианства» действительно мало общего, один только пункт, указанный Фейербахом, отрицательное отношение к религии.

«Сущность христианства» провозглашает торжество материализма, а «Posaune»—самосознания. «Религия—это акт и удовлетворение сердца и души». Эти слова, по Бауэру, составляют смысл гегелевского толкования религии. Они-то делают понятной гегелевскую борьбу с теологией чувств. Так, если Шлейермахер обозначил чувство седалищем религии, то он этим ее строго разграничил от мышления. Гегель рассвирепел, так как он видел, что тут прервана связь между религией и мышлением, Гегель боролся так яро против Шлейермахера, так как думал, что если он покорит чувство, он этим уничтожит религию [7]). Это толкование религии далеко не является гегелевским; Гегель вел борьбу со Шлейермахером не ради уничтожения религии, наоборот, она занимает в его системе почетное место, так как она дает истину в форме представления [8]). В то время, как мыслящий дух занят вечной истиной, он занят тем же, что и религия [9]). Но Бауэр действительно попал в самую точку, если думал, что оторвать религию от философии

[1]) Ibid., S. 82.
[2]) Ibid., S. 85.
[3]) Ibid., S. 164.
[4]) Ленин, Памяти Карла Маркса, М. 1923, стр. 8.
[5]) Ленин, Конспекты Науки логики, — «Под Знаменем Марксизма» 1925, № 1—2, стр. 18.
[6]) К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, под ред. Д. Рязанова и И. Степова, т. I, М. 1923, стр. 544.
[7]) «Posaune», S. 100—101.
[8]) Hegel, Werke, hrsguu von E. Gans, Berlin, Bd. II, S. 150.
[9]) Ibid., S. 21—27.

еще мало, а надо ее совсем уничтожить. Исходя из отрицания религии, Бауэр все же не смог взглянуть на нее исторически. Положительное отношение Гегеля к религии греков он об'ясняет тем, что у них вовсе не было религии. «Религия для Гегеля—это что-то специфически восточное, для нас ближе что-то ассирийское. Прочь от Востока, Галилеи,—призывает он,—идите в Грецию, дайте нам стать греками, дайте нам снова стать людьми» [1]).

К исходу средних веков падает господство церкви. В нормальном и правовом государстве происходит примирение между религией и советской властью. К этим словам Гегеля Бауэр прибавляет: «т.-е. примирение, в котором религия, как таковая, как позитивная, специфическая религия снята, а вместе с ней погибает и церковь». На этом основании Роте, борющийся за единственное господство церкви, выступает с заявлением, что в государстве церковь должна со временем погибнуть, но он все-таки надеется, что, наоборот, государство погибнет в церкви. Бауэр, в противовес Роте, выступает за государство и против церкви.

Он продолжает дальше: религиозная община живет чувством отчасти в потустороннем небе, отчасти в прошлом, отчасти в будущем. Это кажущееся примирение между жизнью и религией дает плачевные результаты: мы получаем отрицательное отношение к миру, к природе, к искусству, к науке. Это примирение является чисто внешним.

Пока существует религия, между нею и жизнью не может быть примирения, так как истинно религиозная душа стремится в потусторонний мир, не может поэтому жить в гармонии в действительном мире. Она хочет лишь господствовать, притом таким образом, чтобы жизнь была признана ничтожной, недействительной.

Старые гегельянцы старались доказать совместимость церкви и государства таким образом, что значение как того, так и другого остаются неприкосновенными. Но этого они не могли думать серьезно, они не могли изобразить «дьявола нарядным, белым ангелом». «Может ли негр переменить свою кожу, а леопард свои пятна?» Они себя утешают тем, что ненависть Гегеля касается римско-католической церкви, но ни в коем случае не протестантской. Это заключение они сделали на том основании, что он подвергает нападкам первую. «Римская церковь со своими монастырями, со своим духовенством, со своими капителинами является для него истинной церковью, церковью в своем последовательном развитии, церковью в истинном смысле этого слова. Поэтому он считает ее достойной вовлечь в свою диалектику, она для него целый мир и достойна борьбы с миром; протестантская же церковь кажется ему для этой борьбы слишком слабой, слишком непоследовательной» [2]).

Из всего сказанного видно, что для Бауэра имеет право на существование не религия, а государство. В нем «дух свободен, разумен, нравственен, и истинная идея есть действительная разумность». И если Бауэр заканчивает главу «Ненависть против церкви» со словами: «Гегель провозгласил в своей философии религии чистый атеизм и единовластие самосознания» [3]), то можно прибавить, что это в сущности провозглашает Бауэр.

Из только что приведенного в сущности ясно, что Фейербах прав, когда говорит, что одна страница из «Сущности христианства» должна

[1]) Posaune, S. 111—114.
[2]) Ibid., S. 126—127.
[3]) Ibid., S. 120—124.

показать, что автором его не может быть автор «Posaune». Правда, они оба относятся лишь отрицательно к религии, но Бауэр признает «единовластие самосознания», а Фейербах «провозгласил торжество материализма». «Взгляды Бауэров были реакцией против идеализма Гегеля, и, тем не менее, они сами были насквозь пропитаны очень поверхностным, односторонним, эклектическим идеализмом» [1]). Для Фейербаха «человек—начало религии, человек—центр религии, человек—конец религии» [2]). Это значит: человеческие нужды создают религию, они же являются ее центром, они составляют содержание христианства. Поставленная, таким образом, проблема религии в корне является практической, социальной. В отношении церкви и государства Бауэр приходит к выводу революционного характера: церковь и государство составляют в сущности непримиримое противоречие; выход из этого положения—торжество государства, гибель церкви. Эта же проблема у Фейербаха значительно углубляется. В то время, как у Бауэра церковь является отрицательным понятием, государство у него является, наоборот, положительным понятием, у Фейербаха же оба понятия одинаковой ценности; оба отрицательны. Церковь и государство являются органом для эксплоатации человека человеком [3]).

Исходя из человека и его нужд, Фейербах приходит к выводу, что бог—это вымысел человека: чего не в состоянии человек, то в его воображении сможет бог. Этот вопрос далеко не так отчетливо стоит у Бауэра, так как для него сознание является исходной точкой. Поэтому не прав Койген, когда он говорит, что когда Бауэр считает религию «вымыслом духа» (des Ceistes), он в этом отношении сходится с Фейербахом [4]).

За последние двадцать лет, находит Руге, были сделаны попытки Гегелем, Маргейнеке, Даубом согласовать философию с религией; если раньше между этими дисциплинами существовала открытая вражда, то данную попытку в сущности надо рассматривать как начало правильной точки зрения. Она сводится к тому, что из этого согласования вернее можно притти к уничтожению религии. Философия и религия ни в коем случае не могут итти рука об руку [5]). Попытки позитивистов соединить философию с христианством ни к чему реальному поэтому повести не могут [6]).

«Реализованное самосознание является тем фокусом, которое, с одной стороны, удваивается, точно в зеркале и, наконец, после того, как оно тысячелетия рассматривало свое отражение как бога, оно разоблачило тайну, что тем отражением в зеркале является оно само». Религия считает то зеркальное отражение богом, философия—иллюзией, и показывает, что позади зеркала никого нет, что Я приносило жертвы, молитвы лишь своему отражению [7]).

Господами мира являются философы, они предписывают ему свои декреты, они всегда присутствуют при толчке истории; они являются участниками государственных переворотов. Философы являются по-

[1]) Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, М. 1919, стр. 265—266.
[2]) L. Feuerbach, Werke, Bd. 6, S. 222.
[3]) Понятия класса для Фейербаха еще не существует, лишь единичные места в его произведениях касаются пролетариата, бедных, но и только.
[4]) D. Koigen, Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Socialismus, etc. Bern 1901, S. 63.
[5]) Ibid., S. 148.
[6]) Posaune, S. 15.
[7]) Anekdota, Bd. II, S. 127—131.

следовательными, непримиримыми революционерами. Если Гегель говорит, что когда между внутренним стремлением и действительностью наступает несоответствие, тогда начинается эпоха философствования, то Бауэр эти слова понимает следующим образом: если дух начинает потрясать внутренние устои, тогда философия «совершает это нападение и вызывает период разрушения». Это значит, что философия коварно лишает жизнь, государство, религиозную общину их основ, вырывая из действительности душу, проникающую во все формы жизни, превращая ее в понятие и поднимая до самосознания. «Философия—это внутренняя родина духа». Она является критикой существующего. Она отличает между существующими и долженствующим, еще больше—она занимает место действительности осужденной на гибель, теоретический принцип должен превратиться в практический акт. Философия поэтому не может чуждаться политики, она должна разрушать существующие отношения, если они не соответствуют самосознанию [1]).

Философия об'являет революцию всему позитивному, история и даже больше—основательному и беспристрастному изучению истории.

Точно так же, как Руге, Бауэр не отделяет философию от политики, теорию от практики. Как для них, так и для Фейербаха философия связана с жизнью, но все же Фейербах в данном случае дает что-то совершенно другое, как и в философии религии. «Истинная философия»—это философия, которая сама себя отрицает, которая не выражается философским языком, которая не является философией по форме, по виду» [2]). «Философия должна начинать не с себя, а со своей антитезы, нефилософии» [3]). Под нефилософией Фейербах понимает жизнь, действительность, чувственный мир [4]).

«Философия—это познание того, что есть, вещи и существа, так мыслить, так познавать, как они есть—это высший закон, высшая задача философии» [5]). Я как небо от земли далек от тех философов, которые закрывают глаза, чтобы быть в состоянии лучше мыслить, для мышления мне нужны внешние чувства, прежде всего глаза; я основываю свои мысли на материале, приобретенном посредством деятельности внешних чувств, не создаю предмета из мышления, а, наоборот, мышление из предмета, но предмет—это только то, что существует вне головы» [6]).

Несмотря на то, что Фейербах, точно так же как и Бауэр, соединяет философию с жизнью, он «как небо от земли» далек от последнего, для него исходным пунктом философии является внешний мир, а для Бауэра—самосознание. И в связи с этим он отличает свою собственную философию от умозрительной, независимо от того, является ли она философией действительности, или нет. Для Бауэра же существует философия только в одном смысле, в смысле применения к практической жизни.

Разбирать Бауэра, не касаясь вопроса самосознания, немыслимо, поэтому я неоднократно его затрагивала, теперь же остановлюсь на нем более подробно. «Самосознание—это единственная сила мира и

[1]) Ibid., S. 80—83.
[2]) Feuerbach, Werke, Bd. 2, S. 409—410.
[3]) Ibid., S. 235.
[4]) Термин «философия» Фейербах употребляет в двояком смысле, в отрицательном—идеалистическую философию и в положительном—свою собственную. Без этого разграничения выходит путаница.
[5]) Ibid., S. 232.
[6]) Ibid., Bd. 7, S. 281.

истории, и история имеет лишь единственный смысл—становление и развитие самосознания» [1]). «Самосознание—это всемогущий чародей, который создает вселенную со всеми ее различиями» [2]). Посредством акта самопогруженности, всеобщность самосознания становится добром и идеей; тот же акт ставит людей в качестве конечных существ и заботится о существовании внешнего мира для его сознания [3]).

Смысл истории—это «становление и развитие самосознания», благодаря чему Бауэр рассматривает каждый отдельный вопрос, как находящийся на известной ступени самосознания, вследствие чего получается абстракция, плюс неправильное освещение. Эти недостатки особенно выплывают наружу при анализе какого-нибудь конкретного вопроса, как он разбирается в статье «Способность современных евреев стать свободными». В этой статье меня в данном случае интересует лишь проблема самосознания. Еврейство не представляет полного человека, развитого самосознания, обладающего неограниченным духом (Geist), а, наоборот, его сознание борется с естественной, чувственной преградой, составляющей для него содержание религии [4]). Уже Маркс указал в ответной статье, что еврейский вопрос принимает в различных странах различные формы [5]).

«Самосознание—это не крестьянин, не мещанин (Bürger), не дворянин, пред ним равны евреи и язычники, оно не только немецкое, или только французское; оно не может допустить, чтобы что-нибудь существовало раздельно от него, или находилось над ним, это об'явление войны и сама война, даже больше,—когда оно превратилось в действительное самосознание,—победа над всем, что является монополией, привилегией, достоянием исключительно для единиц» [6]). Подобная характеристика самосознания должна была бы быть поручительством одинаковых прав для еврея и христианина, но так как первый является обладателем мало развитого сознания, то получаются для него плачевные результаты. Христианство стоит выше еврейства, христианин выше еврея, и поэтому он обладает большей способностью стать свободным; он находится на той ступени развития, где человечество, посредством революции, вылечится от всех язв, причиняемых религией.

Евреи же далеко не способны ни к свободе, ни к революции, которая решает судьбу человечества, потому что ее религия сама по себе не имеет никакого значения для истории; только когда она растворится в христианстве, она сможет сыграть роль во всемирной истории.

Задача христианина состоит в том, чтоб перестать быть христианином и стать «человеком» «свободным». Задача еврея сложнее, так как он далеко еще не дошел до ступени развития христианина. «Но для человека нет ничего невозможного» [7]).

Еврея Бауэр берет вне времени и пространства, его спасителем является человек. Есть ли какая-нибудь связь между «человеком» Бауэра и Фейербаха. Посмотрим, как сам Бауэр толкует автора «Сущности христианства».

[1]) Posaune, S. 70.
[2]) Ibid., S. 155.
[3]) Ibid.
[4]) B. Bauer, Die Fähigkeit der heutigen Juden frei zu werden. Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz, zweite Auflage, Glarus 1844, S. 59.
[5]) K. Marx, Zur Judenfrage,—Deutsch-französische Jahrbücher, Paris 1844, S. 187.
[6]) Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz, S. 67.
[7]) Ibid., S. 69—71.

По словам Бауэра, Фейербах вывел радикалов из тупика; он уничтожил все противоречия своего времени. Этим магическим средством был человек. Он для него опять стал мерой, законом и критерием «абсолютной мерой», «мерой рода», «существом кроме которого человек не может мыслить, представить, чувствовать, верить, желать, любить и обоготворять другое, как абсолютное существо», «существо человеческой природы» [1]).

Прежде всего, человек Фейербаха обозначает практический принцип в философии, и в этом—его значение. Фейербаховский человек—это общественная единица, хотя и абстрактная, единство «Я» и «Ты». Это единство Бауэр понимает, как «уничтожение противоречий» и считает его «бессилием», «слабостью», он, наоборот, рассматривает единичного человека, как источник его благополучия [2]). Различие тут между Бауэром и Фейербахом очевидно. Для Койгена же тот и другой являются индивидуалистами, Фейербах даже в большей степени; от них обоих, по его мнению, шаг к Штирнеру и Ницше [3]).

Бауэр, мечтавший вместе с Марксом об издании более радикального органа, нежели «Немецкие Летописи», Бауэр, уволенный из университета за нежелательное для правительства направление, борется в 1844 г. против лозунга «масса». Она является для него безусловно отрицательным понятием, так как составляющие массу атомы, не имеют того круга движения, в котором вращаются атомы из более высокого руководящего множества, и в которых приобретается способность обозрения и сравнения, а также способность исправлять свои ошибки и даже проникаться сознанием своего эгоизма [4]).

Точку зрения Бауэра Гесс называет «нелепостью», он полагает, что она обусловлена не жизнью, а внутренним содержанием [5]). Толкование Гесса нельзя считать удовлетворительным. Бауэр, единомышленник молодого Маркса, выражает интересы либеральной буржуазии, стесненной монархией в своем развитии; лишь выступления на арену пролетариата заставляют вчерашних «революционеров» постепенно отмежеваться от него и итти вправо. Вот почему Марксу и Энгельсу приходится порывать со своими вчерашними единомышленниками.

Человек Фейербаха тесно связан с родом, и если Бауэр отрицательно относится к первому, то он этим самым отрицает и род. Благодаря Фейербаху, по словам Бауэра, «была сделана попытка вернуть роду все его почестям» [6]). Род Фейербах понимает, как совокупность индивидов, вследствие чего это понятие ни к чему реальному в области истории не приводит.

«Это самоотражение человека, созерцающего в своей сущности свою бесконечность, при чем бесконечность, совершенно недоступная его влиянию и его деятельности, бесконечность, которая об'емлет его, а не он ее,—должна вести к смирению, апатии и покорности той опре-

[1]) B. Bauer, Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Zeit 1842—1846, Charlottenburg 1847, Bd. III, S. 177—178. Несмотря на то, что определения человека, приводимые Бауэром, поставлены у него в кавычках и составляют якобы выдержки из «Основ философии будущего», они весьма произвольны.

[2]) Ibid.

[3]) Koigen, Zur Vorgeschichte..., etc., S. 73.

[4]) Бауэр, Род и масса (А. Деборин, Книга для чтения по истории философии, «Новая Москва», 1925, т. II, стр. 407). Не имея под рукой оригинала, пользуюсь книгой Деборина.

[5]) M. Hess, Sozialistische Aufsätze, Berlin 1921, S. 188.

[6]) Деборин, Книга для чтения по истории философии, стр. 409.

деленной ограниченности, которая суждена всему единичному [1]). В этой интерпретации фейербаховского понятия рода мы встречаем такой же суб'ективизм, как и по отношению к понятию человека. Если Фейербах говорит, что невозможное для индивида становится возможным для рода, что «не ограничен род, ограничен индивид», то Бауэр это понимает в связи с интерпретацией его человека следующим образом: единичный человек бессилен, род бесконечен, значит первый играет в последнем пассивную роль, которая приводит его к «смирению», к «апатии».

Род, наконец, для Бауэра нежелателен, так как он может привести к «уравнению» труда рабочих и более «высокого круга» [2]). Вообще Бауэр приписывает Фейербаху гораздо больший интерес к пролетариату, чем тот его проявил на деле, это он делает с целью, он хочет доказать, что понятие рода чревато такими язвами, как «масса», «пролетариат» и т. п.

Само собой понятно, что Фейербах относится лишь отрицательно к Бауэру периода «Allgemeine Litteratur Zeitung», о чем свидетельствует его письмо к Каппу в октябре 1844 г., в котором он называет братьев Бауэров «олимпийскими богами». Он находил, что точка зрения Бруно Бауэра заставляет его смотреть «презрительно» на человека с его «практическими потребностями»! Фейербах доволен, что Бауэр полемизирует с ним в своем органе, так как полемика эта показывает, как бесконечно далеко они стоят друг от друга в своей точке зрения [3]).

Гесс.

Если философия для младо-гегельянцев обозначает практику, то Гесс опередил их всех в этом пункте, он выступил со статьей «Философия действия» [4]) (Philosophie der That). Задача философии состоит в том, чтоб стать философией действия. Современные философы, по мнению Гесса, далеки от нее, их опередил в этом отношении Фихте, но все же не его, а Спинозу Гесс считает своим непосредственным предшественником; свою «философию действия» он считает дальнейшим развитием этики Спинозы, Фихте же он рассматривает, как связующее звено между собой и Спинозой. Первый мог бы справиться со своей задачей лишь в том случае, если б немецкая философия имела своего Канта в области «организма общества». А пока что социальные проблемы в Германии, можно сказать, прямо игнорировали: так—французская революция вызвала в Германии многочисленные симпатии, но все же тут не поняли ее сущности, как социального «переворота». В области мышления в Германии признают значение отрицания, но не в области практики. Именно мышление анализирует Кант и Фихте; последнее противоречит не только действительности, но и сказанному выше самим Гессом [5]). Он в данном случае называет Фихте философом мышления, так как действие для Гесса есть «свободная социальная деятельность» [6]).

Принцип «философии действия», по словам Гесса, может исходить исключительно из Германии. «Только там, где «философия» вообще достигла своего кульминационного пункта, она может перешагнуть через

[1]) Ibid., стр. 410.

[2]) Ibid., стр. 412.

[3]) K. Grün, Ludwig Feierbach in seinem Briefwechsel und Nachlass, Leipzig und Heidelberg 1874, Bd. I, S. 364.

[4]) Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz, S. 332.

[5]) См. выше.

[6]) Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz, S. 321—324.

себя и перейти в действие». Противоречие между действительным и потусторонним миром существует в духе (im Geiste), и его можно принципиально преодолеть опять-таки посредством духа. Немецкая философия уже стала «философией действия», но этим принципом проникнись лишь единицы, и лишь немногие имеют мужество придавать внешнему миру такую же ценность, что и мышлению [1]).

Разлад между теорией и практикой, божественным и человеческим есть существенная черта христианской эры. История современного христианства идет тем же путем, что и древнего. Древнее христианство было только теорией, учением, оно основало церковь с целью снять разлада между теорией и практикой, чтоб устранить пропасть между единственным и родом, и также искоренить ненависть между людьми. Вместо этого пропасть еще больше увеличилась, к церкви в средние века присоединились еще феодализм и крепостное право; «... самой церкви мы обязаны тем, что первоначальное, в теории пантеистическое христианство порождает в сознании человека резкий контраст между небом и землей, действительным и потусторонним миром, духом и телом» [2]). Христианство неоднократно переформировалось, оно было протестантским, рационалистическим, философским, атеистическим, но оно все же продолжает оставаться «выражением разлада между теорией и практикой» [3]). Историческое освещение у Гесса не отличается правильностью. После краткого изложения «философии действия» Гесса, приступим к ее освещению. Она, как и философия других младо-гегельянцев, есть практическая по существу, но его отличие от их философии состоит в том, что она уже не просто практика, не политика, а «общественный организм». Все же Гесс остается на позиции младо-гегельянцев, для него философия является чудотворцем, для которого все возможно. Так как она достигла кульминационного пункта в Германии, то отсюда должна исходить философия действия, для которой необходим общественный фактор, совсем еще не разработанный в Германии и имеющий своего представителя во Франции, в лице Бабефа [4]).

Вместе с другими младо-гегельянцами Гесс стоит на позиции идеалистической философии. Он считает Спинозу не только своим предшественником [5]), но и отцом как современной немецкой, так и французской социальной философии [6]). И Фейербах считает Спинозу своим предшественником, он для него «теологический материалист». В «Основах философии будущего» Фейербах более подробно об'ясняет, что он понимает под «теологическим материализмом». Если бог для Спинозы есть протяженность, т.-е. материальное существо, то этим определением он нашел удачную формулировку материалистических тенденций своего времени [7]). Он ценит религиозное мировоззрение Спинозы. В борьбе с теологами он доказывает, что, разрушая одну из догм христианской религии, веру в чудеса, он в сущности стоит на точке зрения Спинозы, который говорил, «что чудеса это не что иное, как необыкновенные естественные явления, которым по невежеству приписывают противо и сверх'естественные действия [8]).

[1]) Ibid., S. 75.
[2]) M. Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 190.
[3]) Ibid.
[4]) Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz, S. 325.
[5]) См. выше.
[6]) Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz, S. 78.
[7]) Feuerbach, Werke, Bd. 2, S. 266.
[8]) Ibid., Bd. 7, S. 81—82.

Итак, Гесс, философ действия, находит у Спинозы социальные тенденции, Фейербах, материалист,—материалистические мотивы.

У Фейербаха Гесс находит, главным образом, социальные мотивы. «Основы философии будущего» есть не что иное, как философия настоящего, но настоящего, которое есть для немца будущее, идеал». Этими словами Гесс хочет сказать, что философия Фейербаха есть социальная философия, а она в Германии лишь идеал. В «Основах философии будущего» Фейербах, по словам Гесса, высказывает теоретически то, что в других странах существует на деле: современное государство с дополняющим его буржуазным обществом [1]). В упомянутом произведении Фейербах, можно сказать, разбил на голову умозрительную философию; социальными вопросами он здесь мало интересуется. Гесса же можно понять в том случае, если принять во внимание его письмо к Марксу, где он говорит, что «Основами философии будущего» заканчивается «процесс религии» [2]). Данные слова Гесса подтверждают только правильную мысль Плеханова: Маркс не мог бы начать своей критики с гегелевской философии права, если б критика умозрительной философии не была завершена Фейербахом [3]). К словам Плеханова можно еще добавить, что фейербаховская критика теологии и умозрительной философии дала возможность мыслителям-радикалам сороковых годов прямо приступить к социальным проблемам.

Фейербах, например, высказывает ту мысль, что философия, как таковая должна быть преодолена, отвержена, реализована [4]). Но как? [5]). В этом пункте он сам себе противоречит. То «действительный человек» для него, по словам Гесса, единичный человек, то он для него общественный, «родовой человек», «сущность человека», присущая отдельному индивидууму. Если Гесс не совсем точно передает мысли Фейербаха, то все же он прав по существу. Для Фейербаха «Новая философия... сам мыслящий человек». Если человека Фейербаха можно понять, как практический принцип в философии, то он все же не справляется со своей задачей, и его «человек», как справедливо указывает Гесс, есть противоречивое понятие. Это противоречие, по словам Гесса, разрешает социализм, «который серьезно относится к осуществлению и отрицанию философии, который не занимается ни государством, ни философией, который не пишет никаких книг об отрицании философии», а ее отрицает и реализует в общественной жизни [6]).

Социализм отрицает и реализует философию, означает для Гесса, что он утверждает исключительно философию «действия» и отрицает всякую другую философию; он, подобно Фейербаху, употребляет термин «философия» в двояком смысле, в положительном и отрицательном.

Из сказанного ясно, что вопросы практики занимают центральное место в мировоззрении Гесса. Их принцип—это не «человек», а «деятельность», в процессе которой он его и рассматривает. Гесс признает «бытие для других», «друг для друга бытие (Füreinandersein) людей», «активный, творческий индивидуум [7]).

[1]) M. Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 192.
[2]) T. Zlocisti, Moses Hess, Berlin 1921, S. 210.
[3]) Плеханов, Соч., М. 1925 г., т. XVIII, стр. 189.
[4]) Т.-е., по толкованию Гесса, она должна стать социальной философией.
[5]) M. Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 192.
[6]) Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 193. И тов. Лукач в своей статье «Новая биография Гесса» указывает на его правильную критику слабых сторон Фейербаха (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, Гиз, М.—Л. 1927, кн. III, стр. 449).
[7]) Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 200.

В сущности друг для друга бытие—это лишь другой термин для обозначения фейербаховского «я—ты». Правда, Гесс, больше, нежели Фейербах, подчеркивает активность индивидуума. «Так как человеческие свойства лишь тогда становятся нашим всеобщим достоянием, когда они развиваются в процессе социального воспитания, то достояние единичного человека лишь тогда реализуется, лишь тогда становится его действительным достоянием, когда он сможет развивать и проявить в социальной жизни свойства, приобретенные им социальным воспитанием» [1]). Пока человеческие свойства не развиты социальным воспитанием, они суть не действительно, а потенциально наше достояние; развитые социальной средой свойства опять-таки суть наше достояние не действительно, а потенциально, пока они не проявляют в жизни своей активности. Или выражаясь философски: Пока «духовное» достояние не действительно, люди суть обладатели своего духовного достояния лишь «в себе, но не для себя». «Философия, которая оперирует со столькими категориями, не знает категории для «друг-другу-бытия», она не пошла дальше категории «в себе и для себя бытие» [2]).

По мнению Койгена, понятие человека у Гесса есть его синтез у Фейербаха и Шеллинга. Это понятие у Фейербаха не могло удовлетворить Гесса, так как первый оперирует с родовым человеком, поэтому он и прибегнул к Шеллингу, у которого единичный человек и сущность человека тождественны [3]). Во всяком случае, не Шеллинг превращает фейербаховского родового человека в общественного человека у Гесса, а скорее всего дальнейший ход общественной и идеологической жизни в Германии—плюс знакомство Гесса с рабочим движением Франции и Англии. Фейербах сам вел жестокую борьбу с умозрительной философией и теологией, ею обусловлен характер его мировоззрения, но зато он освободил своих последователей от этой борьбы и дал им возможность беспрепятственно приступить к анализу социальной проблемы.

Если для Гесса революция есть «социальный переворот», если для него философия—«социальная философия», а деятельность—свободная социальная деятельность», то мы видим, что слово «социальный» играет в его мировоззрении громадную роль. Присмотримся к нему ближе. Слово «социальный» для Гесса не есть абстрактное понятие. Социальные отношения обусловлены соотношением между бедными и богатыми, между денежной аристократией и пауперизмом, этим отношением обусловлены все общественные язвы, которые приведут в скором времени к катастрофе в Англии [4]). Не проходит дня без проявления этой ужаснейшей социальной болезни в массовых собраниях и восстаниях. Плачевно то, что никаким законным путем нельзя радикально излечить этой язвы, так что в конечном итоге совершенно безразлично, кто во главе правительства, тори или виги. Надо смотреть правде прямо в глаза, зло обусловлено не вопросами, касающимися хлеба и пошлины, также не политическими группировками, оно сидит гораздо глубже; не правы, поэтому, чартисты, когда требуют государственных реформ. Политические реформы суть лишь паллиативы против болезни. Никакая форма правительства не создала этого социального зла, никакая форма правительства не в состоянии его лечить: оно ни связано тесно с политической и духовной жизнью нации и как мы ни убеждены в том, что форма государства выражает его сущность, все же отношение формы правительства и политической жизни вообще к социальным условиям, которые суть катастрофичны, в Англии слишком отдаленны и посредственны, чтоб с этой стороны можно было ожидать лечебного средства [1]). Если современное социальное зло в Англии оправдывают тем, «что бедные и богатые существовали во все времена, во всех государствах, при всех формах правления», так это только доказывает, что никакая политическая реформа не в состоянии избавить нас от этой болезни [2]). Связь между социальным злом в Англии и политикой существует постольку, поскольку в демократической стране оно более невыносимо, чем было в те времена, когда религия была толкователем нужды [3]). Итак, слово «социальный» приобретает конкретное содержание, оно обозначает классовый.

Если для Гесса государство не в состоянии разрешить «социальной» проблемы, или вернее классовой, то отсюда ясно, что оно как раз и заинтересовано в классовых противоречиях [4]), так как ими обусловлено его существование. Точно так же, как и государство, религия заинтересована в существовании этого противоречия, и «она не может привести человека к свободе (духа), не отрицая себя». Она заинтересована в том, чтоб божественность и нравственность были для человека потусторонними ценностями, чтоб он не прогрессировал в своих стремлениях, так как их осуществление обозначает ее конец. Вред государства и религии искали не в их сущности, но в их случайной форме, или же в глупости и злодеянии правителей государства и церкви. Начиная с Канта и французской революции напрасно искали «разумной» и «справедливой» основы для государства и религии по той простой причине, что эти средневековые формы социальной жизни не основаны ни на разуме, ни на справедливости; они—продукт слепой борьбы эгоизма и потребностей эгоистичного индивидуума.

Церковь и государство уже Фейербах рассматривает как органы эксплоатации, но Гесс все же рельефнее его подчеркивает сущность классового противоречия, составляющую их основу. Но, несмотря на то, что классовое противоречие есть основной пункт гессевского мировоззрения, он его отмечает лишь в XVIII—XIX веках; в средние же века церковь и государство—«продукт слепой борьбы эгоизма».

Касаясь вопроса церкви и государства у Гесса, я, между прочим, привела следующую его мысль: Церковь «заинтересована в том, чтоб божественность и нравственность были для человека потусторонними ценностями». Эта фраза вызывает подозрение в каких-то «лазейках» религии, выражаясь языком Энгельса. Эти подозрения действительно оправдываются в статье «Религия и нравственность»: «Нравственность состоит в исполнении доброго или божественного, религия же, наоборот, в стремлении к нему» [5]). Когда оба эти отличия будут приниматься во внимание, тогда между религией и нравственностью перестанет существовать вражда; для достижения же этого необходимо усилить между ними борьбу. Цель религии воспитать индивидуального человека, поддержать слабого; государство же не терпит слабых, ему нужны не индивидуальности, а общественные люди [6]). В религии, значит, человек пассивен,

[1]) Ibid.
[2]) Ibid., S. 201.
[3]) D. Koigen, Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Sozialismus etc., S. 157.
[4]) Это Гесс писал в «Рейнской газете» в 1842 г.

[1]) Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 25.
[2]) Ibid.
[3]) Ibid., S. 26,
[4]) Ibid., S. 63.
[5]) Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 28.
[6]) Ibid., S. 29—36.

в морали активен: в религии он, так сказать, готовит себя к роли, возложенной на него моралью. На ряду с уничтожением религии Гесс вместе с Фейербахом не освобождается от ее употребления в положительном смысле.

Многочисленные попытки «снять» теоретически разницу между индивидуальным и родовым человеком не увенчались успехом, так как единичный человек, если он даже познает историю и природу, есть все же лишь отдельный человек; лишь практика может «снять» «раз'единенность людей». Практически социализм не только в состоянии «снять» разобщение людей, так как в социалистическом обществе люди живут и действуют сообща, кроме того, они уничтожают частную собственность. Если разница между индивидуумом и человечеством «снята» лишь теоретически, т.-е. в «сознании», то практически она продолжает существовать и в «сознании».

«Но социализм есть не только самая высшая религия, он также самая высшая наука, и социалисты должны быть, правда, апостолами, но они должны, кроме того, быть и философами» [1]). Значит, несмотря на то, что социализм базирует на общественных началах, или, вернее, именно потому, что он базирует на еще недостаточно исследованном классовом противоречии, он есть «религия» и «философия». Недостаток немецких, как и французских, социалистов состоит в их односторонности. Социализм есть потребность как сердца, так и головы. «Так как новый принцип охватывает всего человека, то весь человек должен быть привлечен для него» [2]).

Социализм есть, следовательно, синтез теории и практики, и с этой стороны Гесс рассматривает «Немецко-Французские Летописи», они для него союз философии и социализма [3]). Масса есть носительница социализма во Франции, а в Германии—влиятельное меньшинство образованного класса; «Рейнская Газета» доказала силу этого меньшинства. Пролетариат, или, еще вернее, нужда его желудка, создает социализм; так, по крайней мере, по словам Гесса, его об'ясняют реакционеры со Штейном во главе [4]). Французы не дали никакого повода для этой ошибки: правда, источник французского социализма,—это не мышление, но и не желудок, а сердце, сочувствие к нуждам человечества. Чувство постоянно воодушевляло французов в их борьбе. Правда, в настоящее время пролетариат является участником социализма во Франции, так как «человечность» у них больше развита, нежели у торгашей [5]).

Пропаганда социализма, исходившая из Франции, не пользовалась до сих пор в Германии успехом, так как носители его апеллировали к сочувствию, а не исходили из идеи гуманизма. Лишь с 1845 г. социализм прививается в Германии, так как он становится синтезом идеи гуманизма и практического гуманизма. Исходным пунктом социализма в Германии должна была быть философия, через посредство которой удалось овладеть всем человеком. «Акт рода» (Gattungsakt) должен был включить не только мышление, но и действие, самосознание должно быть рассмотрено как самодей-

[1]) Ibid., S. 124. Тов. Серебряков правильно указывает на связь у Гесса философии не только с политикой, но и с утопическим социализмом («Записки Научного Общества Марксистов» № 7, стр. 9).
[2]) Ibid., S. 124—125.
[3]) Ibid., S. 128. Тут не место останавливаться на задачах Маркса по отношению к «Немецко-Французским Летописям».
[4]) Гесс имеет в виду автора «Der Sozialismus und Communismus des heutigen Frankreichs».
[5]) Hess, Sozialistische Aufsätze, S. 129.

ствие. Наконец, мы убедились в том, что мало того, чтобы мыслить по-человечески, что нужно и жить по-человечески; это привело нас к противоречию мышления и действия, вследствие чего и к их синтезу [1]).

Классовое противоречие, хотя еще неясно обоснованное, есть исходный пункт гессевского социализма. Борьба же классов, результат этого противоречия, обусловлена не нуждой, а чувством. Вот и применение непомерного боготворения любви у Фейербаха. К нему можно добавить «непомерное боготворение идеи», конечно, попытку синтеза теории и практики [2]) надо рассматривать, как нечто положительное, но Гесс именно исходит из идеи, и вдобавок еще идеи гуманизма. Связь между ним и Фейербахом в этой области приведу при помощи самого Гесса, который уделяет этому вопросу достаточно внимания:

«Фейербах исходит из верного принципа, что человек, развивающий или проявляющий свою сущность, есть творец всех столкновений, противоречий и противоположностей, что, следовательно, в данном случае не может быть речи о каком-нибудь умозрительном посредничестве, так как действительно нечего посредничествовать, а надо восстановить не тождество противоположностей, а повсюду лишь тождество человека с самим собой» [3]). Подобное толкование Фейербаха до того произвольно, что без знакомства с мировоззрением Гесса его никак не преодолеть.

По Гессу это значит—существуют богатые и бедные, противоречие это лежит не вне человека, а в нем, и его тождество необходимо восстановить. Если Фейербах сказал, что бог, принимаемый за существо, находящееся вне его, есть фактически продукт его фантазии, то он не сделал соответствующих выводов, главным образом, потому, что исходил из психологических, и отчасти лишь из социологических мотивов. Гесс же, исходя из социальных факторов, пришел к тому выводу, что противоречие между богатыми и бедными зиждется в людях, чем он двинул проблему из религиозной плоскости в общественную, но разрешения ее он все же не дал. Гесс правильно отмечает существенную черту фейербаховского человека, для которого центр тяжести лежит не в единичном человеке, а в сообществе людей в «акте рода» [4]) (Gattunsakt), как он толкует о мышлении. При чем он не подчеркивает вместе с младо-гегельянцами исключительного значения «самосознания», а придает значение и другим формам, в которых проявляется человеческая жизнь, так как «акт рода», т.-е. сообщество людей для одной и той же цели, не есть только акт мышления; «но все же непонятно, почему он это прибавляет, так как он нигде не приходит к другим философским выводам, как и тем, которые вытекают из правильного понимания акта мышления» [5]). Гесс находит, что право на всякую другую человеческую деятельность, кроме акта мышления, не есть у Фейербаха философская истина. «Где немецкая философия становится практической, она перестает быть философией». «Что не вытекает с необходимостью из источника истины, из вечного принципа жизни, есть эмпирия. Эмпирия нисколько не лучше строй спиритуалистической религии. Эмпирия—это материалистическая религия» [6]).

[1]) Ibid., S. 131.
[2]) Она была сделана и Фейербахом, но не по отношению к социализму.
[3]) Ibid., S. 114.
[4]) Ibid., S. 116.
[5]) Ibid.
[6]) Ibid.

Мы опять пришли к гессевскому Фейербаху, которого нам нужно распутать при помощи самого же Гесса. Гуманизм Гесса есть, по его собственным словам, синтез теоретического и практического гуманизма, представителем первого он считает Фейербаха, а последнего—младо-гегельянцев. Благодря этому совершенно произвольному разделению, у него получаются неправильные выводы. Для Фейербаха—действительный мир является исходным пунктом его мировоззрения, хотя он далеко не всегда делает из этого соответствующие выводы; для Гесса же—«акт» мышления.

С практикой у Фейербаха, действительно, получается некоторая путаница, так как проблема практики у него занимает почетное место, но он с ней не справляется в силу своей оторванности от жизни. У Гесса же получается такая картина: Фейербах исходит в своем теоретическом гуманизме из «акта мышления»; если же он признает другую деятельность помимо мыслительной, он это делает произвольно, без всякого философского обоснования. Вот где, по мнению Гесса, и лежит конфликт между теоретическим гуманизмом и социализмом [1]).

Штирнер.

Бауэр провозглашает «единство самосознания», Гесс—философию действия, а Штирнер—«единство я».

«Мое дело—это не божеское, не человеческое..., а исключительно м о е, оно не общее, а е д и н с т в е н н о е, как и я есть единственный.

«Кроме меня, меня ничего не интересует» [2]). Из этих немногих слов видно, что центральный пункт автора «Единственный и его собственность» это—я, единственный, а не род Фейербаха. Первый отдел «Единственный и его собственность» озаглавлен «Человек». Он снабжен следующим эпиграфом. «Ч е л о в е к—это высшая сущность для человека», говорит Фейербах. «Ч е л о в е к л и ш ь т о л ь к о н а д е н», говорит Бруно Бауэр. Присмотримся же ближе к этому высшему существу и к этой новой находке» [3]). Нас в данном случае интересует отношение Штирнера к Фейербаху. По его словам, он преподносит нам под другим соусом теологию. Штирнер толкует отношение человека к богу у Фейербаха следующим образом: «Высшая сущность—это, действительно, сущность человека, но так как это его сущность, а не он сам, то совершенно безразлично, видим ли мы его вне нас и рассматриваем как «бога», или находим в нас и называем «сущность человека» или «человек». Я—не бог, не человек, не высшая сущность... и поэтому по существу совершенно безразлично, мыслю ли я сущность вне себя или во мне» [4]). Штирнер говорит, что Фейербах разрушает «небесную квартиру» ради «земной». Фейербаха, мы будем излагать его собственными словами. В своем ответе Штирнеру он говорит: «Предложение: человек, это—бог, высшая сущность человека... тождественно с предложением: нет бога, нет высшего существа в смысле теологии» [5]). Уже в словах Штирнера: «мое дело—это... не человеческое,

[1]) Ibid., S. 118. В статье «Новая биография Гесса» тов. Лукач доказывает правильность резкого отношения к Гессу Маркса и Энгельса в «Коммунистическом Манифесте». Историческое значение Гесса его не интересует. Оно занимает тов. Серебрякова в его статье «Поворот молодого Энгельса к коммунизму» (Записки Научного Общества Марксистов» № 7, стр. 1—37); он останавливается подробно на влиянии Гесса на молодого Энгельса.

[2]) S t i r n e r, Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig 1892, S. 14.

[3]) Ibid., S. 17.

[4]) Ibid., S. 44.

[5]) F e u e r b a c h, Werke, Bd. 7, S. 297.

а исключительно мое» мы видим залог расхождения с Фейербахом, и отсюда отождествление его бога и человека.

Фейербах, например, думает, что если он очеловечил бога, то он нашел правду. Нет, если бог нас мучил, то «человек» нас в состоянии еще сильнее терзать» [1]). Что мы люди, для нас имеет лишь постольку значения, поскольку это одно из наших свойств, наше достояние. Я так же человек, как и европеец, берлинец и т. п. Если меня считают человеком, мне оказывают этим мало чести, так как принимают во внимание мои свойства, а не меня [2]). «Человек» для Штирнера—отрицательное понятие, вместо него он ставит я. Он видоизменяет фихтевское «я—это все» в «я р а з р у ш а е т все». Никогда не существующее я, к о н е ч н о е я для него действительное Я. Фихте исходит от абсолютного Я, а Штирнер от себя, переходящего я» [3]).

Я и дух—это противоположности, так как я не включает дух, то последний должен находиться вне меня, вне человека, т.-е. он есть бог. Из этого вытекает, что «освобождение», которое нам принес Фейербах, теологического характера [4]). Если Фейербах отождествил умозрительную философию с теологией, то он этим не только освободил своих последователей от борьбы в области теологии, но и сыграл громадную роль в освободительном движении сороковых годов. Если же Штирнер отождествляет фейербаховского «человека» с теологией, потому что он не совпадает с его я, то он этим только ударил в самый крайний индивидуализм, дальше которого некуда итти.

Фейербах, по мнению Штирнера, расколол наше я на существенное и несущественное [5]), на что он сам дает следующий ответ: точно так же, как необходимо различие между я и ты, индивидуумом и родом, необходимо различие в одном и том же индивидууме между существенным и несущественным. Штирнер, противник теоретических вопросов, а таковы для него вопросы, связанные с «человеком», с его интересами, а не непосредственно с «я». Вопросы общего характера бесполезны для Я, даже вредны для него, так как они игнорируют «я». В «человеческом обществе» не считаются с единичным, игнорируют «особенное», «частное». Либерализм видит в человеке, в его свободе хороший, в эгоисте—злой принцип: «в этом—своего бога, в том—своего дьявола». И в этом отношении либерализм не дает единичному ничего существенного, его также будут игнорировать в «человеческом обществе», как игнорируют в «государстве» и в «рабочем или буржуазном обществе».

Политики хотят уничтожить с о б с т в е н н у ю волю, но они не замечают, что ч а с т н а я с о б с т в е н н о с т ь есть убежище самоволия.

И социалисты ни к чему существенному в данном вопросе притти не могут: они хотят уничтожить частную собственность, но ее составляют не только деньги; каждое мнение есть мое, есть собственность. Политики и социалисты заинтересованы в существовании всеобщего, человеческого мнения, всеобщих идеалов, получается «ф а н а т и з м с в о б о д ы», вера, согласованная с «сущностью человека». Все то, что не есть общее—человеческое, удовлетворяет лишь немногих, называется «эгоистическим», если что-нибудь удовлетворяет всех, но как

[1]) S t i r n e r, Der Einzige und sein Eigentum, S. 204.

[2]) Ibid.

[3]) Ibid., S. 213.

[4]) Ibid, S. 42.

[5]) Ibid.

Мы опять пришли к гессевскому Фейербаху, которого нам нужно распутать при помощи самого же Гесса. Гуманизм Гесса есть, по его собственным словам, синтез теоретического и практического гуманизма, представителем первого он считает Фейербаха, а последнего—младо-гегельянцев. Благодря этому совершенно произвольному разделению, у него получаются неправильные выводы. Для Фейербаха—действительный мир является исходным пунктом его мировоззрения, хотя он далеко не всегда делает из этого соответствующие выводы; для Гесса же—«акт» мышления.

С практикой у Фейербаха, действительно, получается некоторая путаница, так как проблема практики у него занимает почетное место, но он с ней не справляется в силу своей оторванности от жизни. У Гесса же получается такая картина: Фейербах исходит в своем теоретическом гуманизме из «акта мышления»; если же он признает другую деятельность помимо мыслительной, он это делает произвольно, без всякого философского обоснования. Вот где, по мнению Гесса, лежит конфликт между теоретическим гуманизмом и социализмом [1]).

Штирнер.

Бауэр провозглашает «единство самосознания», Гесс—философию действия, а Штирнер—«единство я».

«Мое дело—это не божеское, не человеческое..., а исключительно м о е, оно не общее, а е д и н с т в е н н о е, как и я есть единственный».

«Кроме меня, меня ничего не интересует» [2]). Из этих немногих слов видно, что центральный пункт автора «Единственный и его собственность» это—я, единственный, а не род Фейербаха. Первый отдел «Единственный и его собственность» озаглавлен «Человек». Он снабжен следующим эпиграфом. «Ч е л о в е к—это высшая сущность для человека», говорит Фейербах. «Ч е л о в е к л и ш ь т о л ь к о н а й д е н», говорит Бруно Бауэр. Присмотримся же ближе к этому высшему существу и к этой новой находке» [3]). Нас в данном случае интересует отношение Штирнера к Фейербаху. По его словам, он преподносит нам под другим соусом теологию. Штирнер толкует отношение человека к богу у Фейербаха следующим образом: «Высшая сущность—это, действительно, сущность человека, но так как это его сущность, а не он сам, то совершенно безразлично, видим ли мы его вне нас и рассматриваем как «бога», или находим в нас и называем «сущность человека» или «человек». Я—не бог, не человек, не высшая сущность... и поэтому по существу совершенно безразлично, мыслю ли я сущность вне себя или во мне» [4]). Штирнер говорит, что Фейербах разрушает «небесную квартиру» ради «земной». Фейербаха, мы будем излагать его собственными словами. В своем ответе Штирнеру он говорит: «Предложение: человек, это—бог, высшая сущность человека... тождественно с предложением: нет бога, нет высшего существа в смысле теологии» [5]). Уже в словах Штирнера: «мое дело—это... не человеческое, а исключительно мое» мы видим залог расхождения с Фейербахом, и отсюда отождествление его бога и человека.

Фейербах, например, думает, что если он очеловечил бога, то он нашел правду. Нет, если бог нас мучил, то «человек» нас в состоянии еще сильнее терзать» [1]). Что мы люди, для нас имеет лишь постольку значения, поскольку это одно из наших свойств, наше достояние. Я так же человек, как и европеец, берлинец и т. п. Если меня считают человеком, мне оказывают этим мало чести, так как принимают во внимание мои свойства, а не меня [2]). «Человек» для Штирнера—отрицательное понятие, вместо него он ставит я. Он видоизменяет фихтевское «я—это все» в «я р а з р у ш а е т все». Никогда не существующее я, к о н е ч н о е я для него действительное Я. Фихте исходит от абсолютного Я, а Штирнер от себя, переходящего я» [3]).

Я и дух—это противоположности, так как я не включает дух, то последний должен находиться вне меня, вне человека, т.-е. он есть бог. Из этого вытекает, что «освобождение», которое нам принес Фейербах, теологического характера [4]). Если Фейербах отождествил умозрительную философию с теологией, то он этим не только освободил своих последователей от борьбы в области теологии, но и сыграл громадную роль в освободительном движении сороковых годов. Если же Штирнер отождествляет фейербаховского «человека» с теологией, потому что он не совпадает с его я, то он этим только ударил в самый крайний индивидуализм, дальше которого некуда итти.

Фейербах, по мнению Штирнера, расколол наше я на существенное и несущественное [5]), на что он сам дает следующий ответ: точно так же, как необходимо различие между я и ты, индивидуумом и родом, необходимо различие в одном и том же индивидууме между существенным и несущественным. Штирнер, противник теоретических вопросов, а таковы для него вопросы, связанные с «человеком», с его интересами, а не непосредственно с «я». Вопросы общего характера бесполезны для Я, даже вредны для него, так как они игнорируют «я». В «человеческом обществе» не считаются с единичным, игнорируют «особенное», «частное». Либерализм видит в человеке, в его свободе хороший, в эгоисте—злой принцип: «в этом—своего бога, в том—своего дьявола». И в этом отношении либерализм не дает единичному ничего существенного, его также будут игнорировать в «человеческом обществе», как игнорируют в «государстве» и в «рабочем или буржуазном обществе».

Политики хотят уничтожить с о б с т в е н н у ю волю, но они не замечают, что ч а с т н а я с о б с т в е н н о с т ь есть убежище самоволия.

И социалисты ни к чему существенному в данном вопросе притти не могут: они хотят уничтожить частную собственность, но ее составляют не только деньги; каждое мнение есть мое, есть собственность. Политики и социалисты заинтересованы в существовании всеобщего, человеческого мнения, всеобщих идеалов, получается «ф а н а т и з м с в о б о д ы», вера, согласованная с «сущностью человека». Все то, что не есть общее—человеческое, удовлетворяет лишь немногих, называется «эгоистическим», если что-нибудь удовлетворяет всех, но как

[1]) Ibid., S. 118. В статье «Новая биография Гесса» тов. Лукач доказывает правильность резкого отношения к Гессу Маркса и Энгельса в «Коммунистическом Манифесте». Историческое значение Гесса его не интересует. Оно занимает тов. Серебрякова в его статье «Поворот молодого Энгельса к коммунизму» («Записки Научного Общества Марксистов» № 7, стр. 1—37); он останавливается подробно на влиянии Гесса на молодого Энгельса.
[2]) S t i r n e r, Der Einzige und sein Eigentum, Leipzig 1892, S. 14.
[3]) Ibid., S. 17.
[4]) Ibid., S. 44.
[5]) F e u e r b a c h, Werke, Bd. 7, S. 297.

[1]) S t i r n e r, Der Einzige und sein Eigentum, S. 204.
[2]) Ibid.
[3]) Ibid., S. 213.
[4]) Ibid, S. 42.
[5]) Ibid.

единиц, а не как людей, оно тоже «эгоистическое» [1]). Штирнер выступает с новой программой «эгоизма» и «единственного».

Единственный для него единичный человек, которого он так сильно разграничивает от фейербаховского «человека», что избегает употребления этого слова. Все же ему ясно, что с «единственным» далеко не уйдешь, и он проповедует союз эгоистов.

В полемике с Прудоном он, указывая на то, что тот не упраздняет собственности, говорит: «Собственник—это не бог, не человек («человеческое общество»), а единственный» [2]).

И у Фейербаха эгоизм играет большую роль, он есть стимул общественной жизни, чем он существенно и отличается от штирнерского эгоизма, признающего лишь «единственного».

Если Штирнер относится отрицательно к «человеку», так как он предполагает коллектив не-эгоистов, то не менее отрицательно он должен относиться к государству.

Государство и человек суть для Штирнера тождественные понятия, которые несовместимы с «единственным», с «эгоистом». Быть «человеком», значит быть «гражданином», а быть «гражданином», значит быть «христианином». «Человек», «гражданин», «христианин»—синонимы, так как они противоположны «единственному»

«Общество, от которого мы все получаем,—новая госпожа, новый призрак, новая «высшая сущность», требующая от нас «службы и повинности» [3]).

«Человеческая религия—последняя метаморфоза христианской религии. Ибо либерализм это религия, так как он отделяет мою сущность от меня и ставит ее надо мною, так как он так же возвышает «человека», как всякая другая религия, своего бога или идола» [4]).

Фейербах уничтожает религию, но все же употребляет это слово в положительном смысле,—для обозначения чувства и в том случае, где для него существует неразрешимая проблема. Штирнер же употребляет религию исключительно в отрицательном смысле, но она для него решительно все, кроме «единственного». Он мог бы сказать: не-единственный—это религия. Так как «человек» и «государство» суть тождественные понятия, то «человеческая» религия есть одновременно «государственная» религия. И религия воистину есть «государственная» религия: «свободное государство» обязательно требует от своих граждан принадлежность к той или другой религии.

«Единственный» Штирнера—это все же «человек». Как он ни старается избегать слова «человек», это ему не удается, так как его «единственный»—это единоличный человек, которого он называет «не-человек» (Unmensch). Не-человек—это человек, не соответствующий понятию «человек».

«Не призраки ли люди, которые суть не-люди». Каждый реальный человек есть привидение, так как он не соответствует понятию «человек» или не есть родовой человек. «Я, действительно, в одно и то же время человек и не-человек, потому что я человек и больше человека, т.-е. я воплощение или «я» моих свойств» [5]).

Если «человек» для Штирнера есть не человек, то он для Фейербаха общественный человек (Gemeinmensch), коммунист» [6]). Правда,

[1]) Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, S. 149—153.
[2]) Ibid., S. 292—293.
[3]) Ibid., S. 146—147.
[4]) Ibid., S. 206.
[5]) Ibid., S. 208.
[6]) Feuerbach, Werke, Bd. 7, S. 310.

он не справляется с общественным человеком и впадает в противоречия, понятие же «коммунист» он употребляет очень редко, и оно не имеет большого значения для его мировоззрения. Но все же далеко не прав Болин, когда говорит, что словом «коммунист» Фейербах, шутя, намекает на общественные течения сороковых годов в Германии, перед которым он никогда не «благоговел» [1]).

Действовать друг для друга, значит быть нравственным, а так как совместная жизнь и есть государство, то оно неотъемлемо от нравственности; это точь в точь «духовная любовь» христианства [2]). И если Фейербах говорит, что верующий любит не человека, а бога, то Штирнер находит, что нравственный человек любит не человека, а нравственность [3]).

Государство существует до тех пор, пока существует господствующая воля. «Воля господина—закон». Для государства необходимо, чтоб никто не имел своей собственной воли. «Государство немыслимо без господства и рабства (подданства); ибо государство должно желать быть господином всех его подданных; эту волю называют «государственной волей» [4]).

Если уже для Фейербаха государство есть орган социального противоречия, если Гесс эту проблему значительно углубляет и доходит до отрицания политики, то Штирнер идет еще дальше: он, можно сказать, отрицает всякое сообщество людей, так как признает лишь союз эгоистов». Все же между отрицанием государства у Гесса и отрицанием сообщества у Штирнера нет связи. Гесс исходит из «социального организма», а Штирнер из «Единственного», первый отрицает государство во имя социализма, второй—во имя «Единственного». Государство Штирнер рассматривает в связи с отдельными классами. Буржуазия опирается на праве; без охраны государства она не может существовать.

С пролетариатом же дело обстоит иначе: так как ему нечего терять, то он не нуждается в государственной охране, и он может лишь выиграть от ее уничтожения. «Государство зиждется на рабстве труда. И если труд станет свободным,—государство погибнет» [5]).

Пролетариат как будто вызывает симпатию Штирнера, так как он заинтересован в существовании государства; но это обманчиво—«единственный» враг коммунизма.

В коммунистическом обществе снится прекрасный сон общественного долга: «Общество, от которого мы все получаем, это новый господин, новый призрак, новая «высшая сущность», требующая от нас службы и повинности» [6]).

Какая же связь между Штирнером и Фейербахом? Если бы последний сказал, что бог, принимаемое за существо, находящееся вне нас, есть фактически продукт нашей фантазии, то Штирнер говорит: привидение—это все, кроме «единственного», это общественный человек, семья, мораль, государство, социализм. По справедливому замечанию Плеханова, фейербаховский «человек» своей абстрактностью составляет слабую сторону его критики религии. В противоположность ему, Штирнер исходит от действительности, не от абстрактного «чело-

[1]) Ibid.
[2]) Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, S. 209.
[3]) Ibid., S. 72—73.
[4]) Ibid., S. 228.
[5]) Ibid., S. 136—138.
[6]) Ibid., S. 145—146.

века», а от отдельного индивидуума, но его «единичный» не менее абстрактен [1]). Философия всемогуща для Баяэра и Гесса, она «сам мыслящий человек» для Фейербаха, для Штирнера же она отрицательное понятие. Философы—это мечтатели, которые видят в жизни «божественное», «в мире—небо» и т. п. Нельзя сказать, чтоб между Штирнером и другими младо-гегельянцами и даже Фейербахом не было никакой связи в вопросах философии. Философия для них должна обозначать синтез теории и практики, но они не справляются с задачей и впадают в противоречие, тогда Штирнер, чтобы освободиться от противоречий порывает с «философией», чем он, конечно, не разрешает проблемы.

Идеалист рассматривает практическую деятельность, как деятельность духа. Для того, чтобы материалист разрешил эту проблему не с точки зрения духа, он должен рассматривать человеческую деятельность, как производственную деятельность. Фейербах не был в состоянии этого сделать, отсюда противоречие его социального мировоззрения; отсюда неразрывность его социальной философии с понятиями «любовь» и «эгоизм», долженствующими конкретизировать абстрактное понятие «человек». От этих слабых сторон фейербаховского учения в сущности исходят младо-гегельянцы; его материализм для них не существует.

Руге, соединяя понятие истории с фейербаховским «человеком», приходит лишь к извращению исторических фактов.

Если для Фейербаха религия есть вымысел абстрактного человека, то Бауэр превращает последнего в дух, и у него получается—религия есть вымысел духа. Если для Фейербаха человек есть я и ты, то их абстрактность приводит к индивидуализму Бауэра.

Слабые стороны фейербаховской любви особенно проявляются у Гесса.

Наконец, абстрактность я и ты, с одной стороны, и эгоизма, с другой стороны, приводят к штирнерскому «единственному».

Положительные же стороны влияния Фейербаха на младо-гегельянцев заключаются в следующем: Фейербах, исходя из принципа практики, все же уделяет социальным вопросам мало внимания, так как он поглощен выработкой материалистического мировоззрения и борьбой в области религии. Но своим «человеком» Фейербах дал удачную формулировку потребности своего времени, и тем он двинул вперед практические проблемы, получившие свое дальнейшее развитие у младо-гегельянцев. Этой удачной формулировкой, главным образом, об'ясняется влияние Фейербаха в сороковых годах.

[1]) Plechanow, Anarchismus und Sozialismus, Berlin 1904, S. 22—23.

К вопросу об общественном и абстрактном труде [1]).

(Ответ на критику С. Шабса).

И. Рубин.

В начале 1928 г. вышла в свет книжка С. Шабса «Проблема общественного труда в экономической системе Маркса», посвященная критике моей работы «Очерки по теории стоимости Маркса». Невысокий теоретический уровень своей книжки Шабс постарался по мере возможности восполнить самонадеянностью тона. И в этом направлении, надо сказать, все возможности использованы им в полной мере. Он отзывается пренебрежительно и о сторонниках и о противниках «господствовавшей ранее интерпретации» абстрактного труда, взгляды которых лишены всякого «научного основания»; он заявляет, что споры между ними имели своим источником «невероятное почти недоразумение», рассеять которое призван он, Шабс; он не может не выразить своего изумления по поводу того, «с какими доспехами Рубин решается открывать новые горизонты в марксистской экономии», и т. д.

Появление книжки, специально посвященной вопросу об общественном труде в системе Маркса, не может не привлечь к себе внимания читателей и не вызвать с их стороны естественного желания разобраться в спорных вопросах. В виду того, что эти вопросы имеют первостепенное значение для правильного понимания экономической системы Маркса, мы вынуждены уделить книжке Шабса большее внимание, чем она того заслуживает по своему теоретическому содержанию.

I. Общественный труд и обмен.

Главный упрек, направляемый Шабсом против меня, заключается в следующем. По мнению Шабса, я отрицаю общественный характер производства в товарном хозяйстве и рассматриваю производство исключительно, как «сферу господства частного отношения производителя к материальной производственной среде, безо всякого отношения к общественным условиям процесса» (стр. 25). С другой стороны, обмен я рассматриваю, как ту сферу, в которой экономические явления приобретают общественную форму. Следовательно, «мы имеем здесь налицо отрицание частного момента, в обмене, как и общественного—в производстве, короче говоря,—отрицание двойственного, противоречивого характера процесса. Отсюда, в свою очередь, проистекает основной недостаток трактовки определений труда: двойственный характер труда получает такое же одностороннее выражение: в одной форме, частной (конкретной)—в производстве, в другой форме, обще-

[1]) Настоящая статья представляет главу из 3-го исправленного издания «Очерков по теории стоимости Маркса» (печатается).

ственной (абстрактной)—в обмене» (стр. 24). Этим резким разрывом между частным и общественным трудом я, по мнению Шабса, погрешаю против диалектики. «По Рубину, частный труд исключает общественный, как и наоборот: в его представлении—это две полярности труда, распределяющиеся по двум полюсам общественного процесса, по различным моментам производства. Отсюда полярность превращается в односторонность» (стр. 62).

Из отрицания общественного характера производства, приписываемого мне Шабсом, вытекают следующие ложные положения. Раз производство рассматривается исключительно, как материально-технический процесс, без всякого отношения к его общественной форме, то оно тем самым выпадает из круга исследования политической экономии (стр. 25); единственным об'ектом последней остается только сфера обмена. Далее, мы приходим к ложному выводу, что труд приобретает характер общественного и абстрактного труда в сфере обмена, в сфере же производства он является исключительно материально-техническим (конкретным) трудом. «Радикально ставит вопрос Рубин, отвергающий самую возможность возникновения абстрактного труда в производстве» (стр. 27). Наконец, мы приходим к нелепому представлению о соотношении между трудом и стоимостью: первый возникает в процессе обмена, стоимость же берет свое начало в сфере производства (стр. 76—77).

Последние выводы, приписываемые мне Шабсом, действительно являются нелепыми: нельзя относить абстрактный труд и стоимость к двум различным фазам общественного процесса воспроизводства, как и нелепо отрицать общественный характер производства. Но все эти нелепые выводы являются исключительно плодом фантазии моего критика и ни в малейшей мере не могут быть приписаны мне.

Действительно, начнем с первого, центрального пункта обвинения. Верно ли, что я рассматриваю процесс производства безо всякого отношения к его общественной форме? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы ответить на него отрицательным образом. В своей книге я на каждой странице подчеркиваю, что все явления производства изучаются Марксом в той специфической общественной форме, которую они принимают в товарном хозяйстве. Но, не ограничиваясь этим общим положением, я даю анализ специфической общественной формы, отличающей товарное хозяйство от других форм хозяйства. Этот анализ обнаруживает, что товарное хозяйство не является непосредственно общественным в том смысле, что оно не регулируется непосредственно общественным органом. «Связь общественного труда существует в виде частного обмена индивидуальных продуктов труда» [1]). С этой точки зрения обмен выступает, как определенная социальная форма самого процеса производства (понимаемого в широком смысле слова), включенная в процесс производства и сообщающая ему характер товарного производства. Вне обмена, понимаемого в этом смысле, т.-е. в смысле определенной социальной формы производства, не существует ни одна категория марксовой политической экономии, в том числе категории абстрактного труда и стоимости.

Такая характеристика обмена является общепринятой в марксистской литературе. Не говоря уже о самом Марксе, мы найдем такую же характеристику обмена у большинства авторитетных представителей марксизма. Плеханов, напр., высказывается следующим образом: «При

[1]) Маркс, Письма к Кугельману, 1907 г., стр. 44.

буржуазном порядке вещей производители совершенно независимы один от другого. Средства производства составляют частную собственность производителей, точно так же, как и изготовляемые с их помощью продукты. При таком положении дел обмен является единственной общественной связью между производителями» [2]).

В таких же выражениях характеризуют роль обмена Роза Люксембург и Гильфердинг [3]).

Впрочем, зачем нам обращаться к перечисленным авторитетам марксизма, когда мы можем сослаться на лицо, вероятно, еще более авторитетное для Шабса. Речь идет о самом Шабсе, который неоднократно вынужден признать, что «общественное отношение производства в товарном обществе осуществляется посредством обмена товарами» (стр. 82, курсив наш). Если общественное отношение производства осуществляется посредством обмена, то, следовательно, производство именно посредством обмена приобретает общественный характер.

Если производство становится в товарном хозяйстве общественным посредством обмена, то, очевидно, что и труд становится общественным и абстрактным посредством обмена. Так как пока мы рассматриваем обмен лишь как социальную форму самого процесса воспроизводства, а не как отдельную фазу, перемежающуюся с фазою непосредственного производства, то приведенное наше положение означает лишь, что при отсутствии обмена, как особой социальной формы хозяйства, нельзя говорить о наличии того общественного и абстрактного труда, который по учению Маркса, образует стоимость. Именно это положение я и подчеркивал с особой силою в своих «Очерках», в противовес экономистам, которые характеризовали абстрактный труд исключительно с физиологической стороны, игнорируя его социальный и исторический характер.

До сих пор мы говорили, что труд не может приобрести характер абстрактного труда при отсутствии обмена, но мы еще не ответили на следующий вопрос: приобретает ли труд, предполагая наличие обмена, т.-е. товарного хозяйства, характер общественного и абстрактного труда уже в фазе непосредственного производства или только в следующей за ним фазе обмена? Раз мы рассматриваем обмен, как социальную форму самого процесса воспроизводства, то тем самым мы уже устранили непроходимую пропасть между фазою непосредственного производства и фазою обмена. С одной стороны, явления обмена направляются и регулируются ходом процесса производства. С другой стороны, уже в фазе непосредственного производства принимается во внимание характер продуктов труда, как стоимостей, подлежащих реализации в фазе обмена, а тем самым труд приобретает черты общественного и абстрактного труда. Однако взаимосвязанность и взаимовлияние фазы непосредственного производства и фазы обмена, создавая известные черты сходства между ними, в то же время не уничтожает их различия. В фазе непосредственного производства характеристика труда, как общественного и абстрактного, является лишь предварительною, «идеальною», «скрытою», потенциальною

[2]) Плеханов, Соч., т. VI, стр. 80 (курсив наш).
[3]) Люксембург, Введение в политическую экономию, Госиздат, 1926 г., стр. 251. Гильфердинг («Финансовый капитал», 1923 г., стр. 6) говорит, что товарное общество «становится обществом только посредством процесса обмена, единственного общественного процесса, который знает экономия этого общества».

характеристикою, которая должна быть еще «осуществлена» или «реализована» в фазе обмена. Если бы труд уже в фазе непосредственного производства окончательно приобрел характер труда общественного, это значило бы, что он является непосредственно общественным трудом, т.-е. перестает быть трудом частных товаропроизводителей. На деле, однако, труд товаропроизводителей в фазе непосредственного производства является в первую очередь или непосредственно частным трудом, получая в то же время «идеальную» общественную характеристику, которая окончательно закрепляется за ним лишь в фазе обмена. В фазе непосредственного производства труд отличается и частным, и общественным характером, но частным трудом он является непосредственно, в то время как характер общественного труда приобретается им лишь косвенным образом, поскольку продукт его заранее произведен для обмена и идеально приравнен известной сумме денег. Только движение воспроизводственного процесса от фазы непосредственного производства к фазе обмена превращает товар в деньги и «идеальный» общественный труд—в реальный. Только в процессе движения разрешаются диалектические противоречия труда, характеризуемого одновременно как частный и общественный труд.

Шабс, который столь любит щеголять диалектикою и упрекает других в непонимании ее, именно в данном пункте сделал грубый и решающий промах. Противоречие между общественным и частным трудом разрешается им в высшей степени просто. По его мнению, труд, безразлично и в процессе производства, и в процессе обмена, отличается одним и тем же двойственным характером частного и общественного труда. «Тот же двойственный характер труда обосновал, как явление, возникающее в двойственном процессе производства и проявляющееся в том же двойственном выражении в противоречивом двойственном процессе обмена» (стр. 42). В простоте душевной Шабс полагает, что высшая диалектическая премудрость заключается в бесконечном повторении слова «двойственный». Труд обладает «двойственным» характером частного и общественного труда как в сфере производства, так и в сфере обмена,—дальше этого положения Шабс не идет. Его мнимая диалектика ограничивается приписыванием об'екту обоих противоположных признаков, вместо того, чтобы изобразить нам движение процесса, видоизменяющее характер каждого из этих признаков, а тем самым и характер об'екта в целом. У Маркса противоречие частного и общественного труда, как и прочие диалектические противоречия, разрешается только в процессе движения. Шабс же разрешает их словесным образом, соединяя оба противоположных признака и игнорируя их изменяющийся характер и меняющееся отношение их друг к другу.

Как видим, диалектика сыграла с Шабсом плохую шутку. В его неумелых руках она перестала быть орудием для познания полного противоречий движения процесса товарного производства. Ограничиваясь бесконечным повторением утверждения, что процесс производства и труд носят одновременно частный и общественный характер, Шабс отказался от более точного анализа общественной формы производства в товарном хозяйстве. Он заучил, не вникнув в его смысл, положение Маркса о том, что стоимость возникает в процессе производства, а не обмена. На этом основании он считает себя в праве игнорировать двойную роль обмена в процессе, который сообщает труду характер абстрактного труда, а именно: 1) роль обмена, как социальной формы процесса производства, при отсутствии которой нет ни абстрактного труда, ни стоимости, и 2) роль обмена, как фазы процесса воспроизводства, в которой окончательно реализуется общественный и абстрактный характер труда. Игнорируя это двойное и важное значение обмена в товарном хозяйстве. Шабс совершенно не в состоянии понять природу последнего. В его изображении товарное производство выступает, как непосредственно общественное производство, а труд товаропроизводителя, как непосредственно общественный труд. Достаточно Шабсу прочесть в какой-нибудь книге указание на роль обмена, чтобы бросить ее автору упрек в нео-меркантилизме, в игнорировании роли производства, в преувеличении роли обмена и прочих смертных грехах. А если подобная фраза встречается у самого Маркса, Шабс не останавливается ни перед какими кривотолкованиями и искажениями, чтобы ослабить значение слов Маркса. Приведем несколько примеров.

Шабс бесконечное число раз приводит мою фразу: «Абстрактный труд создается обменом» (см. мои «Очерки», второе издание, стр. 103). На этом основании он обвиняет меня в том, что я рассматриваю труд в процессе производства исключительно, как конкретный, т.-е. материально-технический труд. Но если бы Шабс привел фразу, которая следует за цитированною и с нею неразрывно связана, все его обвинения разлетелись бы, как карточный домик. Следующая фраза гласит: «Поэтому по мере расширения рынка и сферы обмена, по мере втягивания в него отдельных хозяйств и превращения их в единое народное, а впоследствии и мировое хозяйство, происходит усиление тех характерных особенностей труда, которые мы обозначаем, как абстрактный труд». Рекомендуем читателю прочесть еще дальнейшие фразы на той же стр. 103 второго издания наших «Очерков», чтобы убедиться, что в данном случае у нас речь идет об обмене исключительно, как о социальной форме процесса производства. Мы утверждаем, что абстрактный труд существует только при наличии обмена, иначе говоря, менового хозяйства, или производства, рассчитанного на обмен. Даже это бесспорное для каждого марксиста положение,—игнорируемое, однако, последовательными сторонниками физиологического понимания абстрактного труда,—Шабс умудрился сделать исходным пунктом обвинений против меня.

Я в своих «Очерках» (стр. 96—97 второго издания) цитировал известную фразу Маркса: «Так как производители вступают в общественный контакт между собою лишь в обмене продуктами своего труда, то и специфический общественный характер их частных работ проявляется только в рамках этого обмена». Казалось бы, что можно возразить против этого бесспорного утверждения Маркса? Казалось бы, что и сам Шабс соглашается с этим положением в своей цитированной выше фразе: «Общественное отношение производства в товарном обществе осуществляется посредством обмена товарами». Но так как эта цитата Маркса подтверждает высказанную мною мысль о роли обмена, то Шабс считает нужным выступить против положения Маркса. Претендуя на роль наиболее ортодоксального марксиста, он делает это, конечно, не прямо, а при помощи следующего хитроумного способа. Он заявляет, что я неправильно понял цитированную фразу Маркса, которая может смущать «разве только ум незатейливого метафизика да еще крайне непроницательного марксистского писателя» (стр. 58). Чтобы избавить нас от смущающего соблазна, Шабс великодушно обещает сам «заняться раз'яснением этого поучительного отрывка из «Капитала» (стр. 58).

После того, как Шабс с такою неподражаемою развязностью,— не покидающею его на всем протяжении его книжки, от первой строчки до последней,—включая себя в число «проницательных» марксистских писателей, мы с нетерпением ожидаем обещанного им «раз'яснения». В чем же оно заключается? Оказывается, не более и не менее, что в приведенной фразе Маркс имел в виду не развитое товарное хозяйство, а первобытную форму неразвитого товарного хозяйства, когда люди в виде общего правила производили для собственного потребления и обменивались лишь излишками своих продуктов (стр. 59—60). Только это первобытное хозяйство Маркс, по мнению Шабса, имел в виду, когда говорил, что общественный характер частных работ проявляется только в рамках обмена. «Иное дело— в развитом товарно-капиталистическом обществе» (слова Шабса на стр. 60), где, по мнению Шабса, труд является общественным независимо от обмена.

Мы настоятельно просим читателя прочесть соответствующие страницы Маркса (стр. 41 «Капитала», изд. 1923 г.), чтобы убедиться, к каким неслыханным искажениям мысли Маркса вынужден прибегать Шабс для защиты своей явно ложной позиции. Приведенная цитата Маркса взята из раздела о товарном фетишизме, в котором Маркс дает глубокий анализ товарного хозяйства, а Шабс хочет нас уверить, что выводы Маркса относятся не к товарному хозяйству, а к первобытному периоду неразвитого обмена. Какое дело Шабсу, что Маркс в этом же абзаце говорит о вещных отношениях лиц и общественных отношений вещей, т.-е. о фетишизации общественных отношений производителей, которая имеет место только в развитом товарном хозяйстве.

Мы полагаем, что одного приведенного примера достаточно для характеристики всей работы Шабса. Но наш автор решил пойти еще дальше. Предположим, что в толковании приведенной фразы Шабс, рассудку вопреки, наперекор стихиям, оказался прав. Предположим, что в данном абзаце Маркс действительно имеет в виду первобытный период неразвитого обмена и лишь в следующем абзаце, как уже утверждает Шабс, переходит к развитому товарному хозяйству. Но, если мы не ограничимся этим вторым абзацем, а перейдем к третьему абзацу, то в начале его найдем фразу Маркса, цитированную мною в «Очерках»: «Люди сопоставляют друг с другом продукты своего труда, как стоимости, не потому, что эти вещи являются для них лишь вещественными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот. Приравнивая друг другу в обмене разнородные продукты, как стоимости, они тем самым приравнивают друг другу свои различные работы, как человеческий труд вообще. Они не сознают этого, но они это делают» («Капитал», т. I, стр. 41). Как видим, Маркс повторяет здесь опять ту же мысль, которую он высказал раньше, а именно, что труд становится «равным», а тем самым и общественным, трудом лишь через посредство приравнивания продуктов труда, как стоимостей. Маркс здесь опять опровергает Шабса. Но наш критик не унывает. Он уже нашел способ отделываться от неприятных для него утверждений Маркса: он об'являет их относящимися к первобытному периоду неразвитого обмена. Ничтоже сумняшеся, Шабс применяет этот способ и к данной цитате из Маркса. «Загадка разрешается просто», если предположить, что Маркс и здесь имел в виду первобытный период неразвитого обмена (стр. 154—155).

Шабс довел свой способ толкования Маркса до абсурда и поставил себя, поистине, в смешное положение. Мы должны поверить ему на слово, что в первом абзаце Маркс имеет в виду первобытный период неразвитого обмена, во втором абзаце переходит к развитому товарному хозяйству, а в третьем абзаце почему-то опять возвращается к первобытному периоду неразвитого обмена. И все эти скитания Маркс проделывает только для того, чтобы дать возможность Шабсу как-нибудь выбраться из тех противоречий, в которых он беспомощно путается.

Нелепость приведенного толкования Шабса бросается в глаза. В пользу своего утверждения Шабс не может привести никаких доказательств, он насилует мысль Маркса и беспощадно режет его живой текст на отдельные фразы, в которые он вкладывает произвольный смысл вопреки их прямому значению. И после этого он еще имеет смелость бросать своим противникам упрек в том, что они будто бы вырывают из текста Маркса отдельные фразы, на которых строят целые теории.

Приведенное толкование Шабса не находит себе никакой опоры в тексте Маркса. Но, помимо этого, мы можем привести прямое доказательство его ложности. Последняя цитированная фраза имела в первом издании «Капитала» совершенно противоположный смысл и гласила так: «Если люди относят свои продукты друг к другу как стоимости постольку, поскольку эти вещи являются для них лишь вещественными оболочками однородного человеческого труда» и т. д. («Kapital», B. I, 1867, стр. 38). Во втором издании «Капитала» Маркс совершенно изменил смысл этой фразы, с очевидным намерением подчеркнуть, что приравнивание труда происходит в товарном хозяйстве только через приравнение вещей. Как же теперь выпутается Шабс из своего затруднительного положения? Неужели он решится утверждать, что в первом издании Маркс в приведенной фразе имел в виду развитое товарное хозяйство, а во втором издании говорит в той же фразе о первобытном периоде неразвитого обмена?

Мы уже убедились, в какой мере легкомысленным является утверждение Шабса, согласно которому «нигде мы не находим у Маркса той мысли, что абстрактный труд возникает из таинства акта приравнивания вещей» [1]) (стр. 85). Попытка Шабса отнести приведенные выше слова Маркса к первобытному периоду неразвитого обмена не удалась. Читатель, мало-мальски знакомый с Марксом, знает, что приведенные фразы Маркса являются в высшей степени характерными

[1]) Конечно, труд приобретает (предварительно и идеально) характер абстрактного труда до акта обмена, но лишь через посредство обмена, т.-е. поскольку уже в фазе производства предвосхищается обмен, и продукт приравнивается известной сумме денег. Против своей воли Шабс вынужден признать, что приравнение труда происходит через приравнение продуктов труда как стоимостей. «Посредством продуктов труда сопоставляется здесь и самый труд» (стр. 94). В цене товара дано приравнение труда, затраченного на производство товара, к труду, овеществленному в золоте. Поскольку приравнивание различных работ совпадает с приравниванием стоимостей, поскольку появление абстрактного труда уже предшествует обмену, так как цена товара... появляется еще до вступления товара в сферу обращения» (стр. 152, курсив наш). Наш проницательный критик не догадывается, что он жестоко бьет самого себя. Приравнение труда происходит, по его собственным словам, через посредство приравнения» продуктов как стоимостей, т.-е. предполагает обмен как социальную форму процесса производства. После этого можно судить о проницательности нашего критика, который единым духом говорит, что «в цене товара дано приравнение труда», и тут же заявляет, что это «абстрагирование труда» происходит «помимо актов рыночного обмена» (стр. 152, примечание).

для всей его концепции и могут быть подтверждены обильным числом других цитат. К счастью для Маркса, Шабс об этом не догадывается: в противном случае он, пожалуй, об'явил бы, что вся марксова теория стоимости относится только к первобытному периоду неразвитого обмена. Но, к несчастью для Шабса, дело обстоит именно так, как я указывал в своих «Очерках»: Маркс не устает повторять,—и можно только удивляться, что такой «проницательный» марксистский писатель, как Шабс этого не заметил,—что только обмен превращает «скрытый» общественный труд в действительный общественный труд. В фазе непосредственного производства труд еще не является непосредственно общественным. Он является в первую очередь, непосредственно трудом частным и должен еще проделать длинный и трудный «обходный путь» (auf Umwege—как выражается Маркс в «Критике готской программы»), чтобы превратиться в действительный общественный труд.

Это положение, отстаиваемое нами в «Очерках», вызвало наиболее резкие нападки со стороны Шабса. Но, как мы видели, это положение необходимо вытекает из всего учения Маркса о неорганизованном характере товарного хозяйства и подтверждается множеством цитат из Маркса. Более того, это положение стало уже своего рода трюизмом в марксистской литературе, и только полным незнакомством с последней можно было бы об'яснить тот странный факт, что Шабс счел нужным, именно, это положение избрать главной мишенью для своих нападок. Для подтверждения сказанного приведем несколько цитат из работ известных марксистов. Роза Люксембург пишет: «Раньше (в организованном хозяйстве.—И. Р.) каждая пара сапог, которую изготовлял наш сапожник, уже заранее на колодке представляла собой непосредственно общественный труд. Теперь его сапоги представляют, в первую голову, частный труд, который никого не касается. Затем лишь эти сапоги на товарном рынке просеиваются, и, лишь поскольку их берут в обмен, затраченный на них труд сапожника признается общественным трудом» [1]). «В качестве частного лица он (сапожник) не является членом общества, и его труд, как частный труд, еще не является общественным... Каждая вымененная пара сапог делает его членом общества, и каждая непроданная пара сапог снова исключает его из рядов общества... Это не постоянная связь, а непрерывно возобновляемая и вновь распадающаяся» [2]). Точно так же Р. Гильфердинг указывает, что товарное хозяйство «распадается на независимых друг от друга индивидуумов, производство которых является уже не общественным, а их частным делом» [3]). В товарном хозяйстве «труд отдельного индивидуума есть прежде всего просто его индивидуальная работа, вытекающая из его индивидуальной воли,—частный труд, не общественный труд» [4]). Если Шабс так жестоко нападает на мое утверждение, что в товарном хозяйстве, в отличие от организованного хозяйства, труд не является непосредственно общественным трудом, то ему следовало бы направить свои стрелы прежде всего против Маркса, Гильфердинга, Люксембург и прочих марксистов, отстаивавших тот же взгляд. Если я утверждаю, что в фазе непосредственного производства труд является непосредственно частным и лишь «потенциально» общественным, то из этого никоим образом не следует, что я рассматриваю процесс производства исключительно с материально-технической стороны, вне его общественной формы. Это нелепое обвинение Шабса об'ясняется тем, что он совершенно не понял, что означает слово «частный» у Маркса. Шабс допускает грубую ошибку, отождествляя частный труд с материально-техническим, конкретным трудом. На стр. 63 он пишет: «Утверждение, что, «пока товаропроизводитель занят своим конкретным трудом, последний представляет труд частный»,—означает не что иное, как то, что в процессе труда, в производстве, проявляется лишь отношение человека к вещи» (Курсив наш всюду, где не оговорено обратное.—И. Р. Это отождествление частного труда с материально-техническим проходит красною нитью через все рассуждения Шабса. На стр. 25 он приписывает мне «превращение производства в сферу господства частного отношения производителя к материальной производственной среде, без всякого отношения к общественным условиям процесса». На стр. 77 говорится о производстве, понимаемом «односторонне, как сфера господства частного отношения человека и его производительной функции» (Курсив наш.—И. Р.).

Если частный труд отождествляется с материально-техническим, то утверждение, что труд в фазе производства является непосредственно частным трудом, может быть истолковано в том смысле, что труд рассматривается исключительно с материально-технической стороны, вне отношения к его общественной форме. Но мало-мальски подготовленному читателю должно быть известно, что у Маркса термин «частный» (private) труд не имеет ничего общего с материально-техническим трудом и уже заключает в себе указание на общественную форму труда, организованного в виде товарного хозяйства. Если я говорю, что труд является «частным», то я уже утверждаю, что он организован в определенной общественной форме. Но эта общественная форма труда в товарном хозяйстве, в отличие от общественной формы его в социалистическом хозяйстве, заключается как раз в том, что труд в своей конкретной форме еще не включен заранее в совокупность общественного труда и в этом смысле еще не является «общественным» трудом. Труд имеет определенную общественную форму, но еще не является непосредственно общественным трудом [1]).

Только благодаря грубой путанице понятий и терминов Шабс мог притти к утверждению, что я рассматриваю процесс производства вне его общественной формы. В связи с этим он выставляет против меня целый ряд упреков, которые достаточно только процитировать; в опровержениях они не нуждаются. На стр. 77 Шабс пишет: «Ближайшее ознакомление с пониманием марксовых положений Рубиным показало, что, по мнению последнего, процесс труда рассматривается

[1]) Люксембург, цитированное сочинение, стр. 256.
[2]) Люксембург, цит. соч., стр. 259—260.
[3]) Гильфердинг, цит. соч., стр. 4.
[4]) Там же, стр. 8—9.

[1]) Подобно тому, как Шабс отождествил частный труд с материально-техническим, так он отождествил общественный труд с общественной формой труда. В других местах (стр. 54—55) он отождествляет «общественный» труд с «общественно-детерминированным» трудом. Здесь он понимает под общественным всякий труд индивида, определяемый условиями жизни всего общества. С этой точки зрения общественным будет не только труд товаропроизводителя, но и труд крестьянина, производящего для собственного потребления. Очевидно, что у Маркса общественный труд, противопоставляемый частному, означает нечто иное, чем общественную форму труда или общественно-детерминированный труд. Это—труд, рассматриваемый как доля совокупного однородного труда всего общества.

Чтобы тем легче приписать мне взгляд на производство, как на процесс, имеющий исключительно-технический характер, Шабс не останавливается перед легким «исправлением» моего текста. На стр. 101 «Очерков» я писал: «Пока товаро-

якобы Марксом только лишь как технический процесс». На стр. 127—128 мы читаем: «В итоге мы можем констатировать извращение теории стоимости Маркса в двух основных пунктах: 1) ложно истолковано марксово понимание стоимости допущением существования последней, как логической категории, на ряду с ее историческим прототипом... 2) общественное содержание стоимости сплошь и рядом отождествляется с вещественным, материальным носителем этого содержания,—стоимость идентифицирована с потребительной стоимостью». Как видим, меня обвиняют как раз в тех ошибках, против которых я вел решительную борьбу в своих «Очерках». Я доказывал, что Маркс изучает производственные отношения людей, а не материально-технический процесс производства. Именно на этом основании некоторые критики несправедливо упрекали меня в игнорировании последнего; теперь Шабс бросает мне упрек противоположного характера. Я в своей книге, в полном согласии с текстом Маркса, проводил резкую грань между стоимостью и потребительной стоимостью; я подчеркивал исторический характер категории стоимости и отвергал, как ненужное, так называемое логическое понятие стоимости. Теперь же Шабс патетически восклицает: «Что же верно в утверждениях Рубина,—что существует стоимость в двух разновидностях,—стоимость физиологическая, например, и стоимость социологическая, т.-е. как логическая и историческая категории» (стр. 121—122). Уже заранее можно предположить, что подобные обвинения являются, выражаясь изысканным стилем Шабса, «наивными, вульгарными и нелепыми».

Действительно, на чем зиждется упрек в признании логической категории стоимости? Автор цитирует мои слова, что без «формы стоимости стоимость превращается в логическую категорию» (стр. 121 книжки Шабса). Достаточно прочесть полностью соответствующее место из моих «Очерков», чтобы убедиться, в какой мере наш критик искажает мысль своего противника. На стр. 86 «Очерков» (2-е изд.) читаем: «Без «формы стоимости» сама «стоимость» превращается просто в трудовую затрату, в логическую категорию. А между тем Маркс постоянно напоминает, что стоимость—категория историческая, и трудовая затрата вне определенной общественной «товарной формы» или—что, как мы видели, то же—«формы стоимости» никакой стоимости не создает. Все эти противоречия исчезают, если мы признаем, что по Марксу стоимость создается только единством ее содержания и формы, т.-е. трудовых затрат и товарной формы хозяйства, что и при анализе труда он постоянно предполагает определенную общественную форму труда». На предыдущей стр. 85 я писал: «Без формы стоимости не существует и «стоимости» в подлинном смысле слова, а остается только «стоимость» в условном смысле трудовой затраты, лишенной всякой общественной формы и свойственной всем историческим эпохам».

Достаточно прочесть эти цитаты, чтобы убедиться, что я являюсь не сторонником, а именно противником так называемого «логического

производитель занят своим конкретным, специальным трудом, последний представляет труд частный». Шабс передает мою мысль следующим образом: «По Рубину товаропроизводитель в производстве «занят своим специальным конкретным трудом», т.-е. производством потребительных стоимостей,—и только» (стр. 64). «И сколь наивным, вульгарным и нелепым под углом зрения политической экономии является утверждение, что в производстве производитель «занят своим специальным конкретным трудом», без всякого отношения его деятельности к труду общества, к потребностям его» (стр. 75). Как назвать подобный метод полемики, с исправлением текста противника? Если назвать его наивным нельзя, то, во всяком случае, другие перечисленные Шабсом эпитеты приложимы к нему в полной мере.

понимания стоимости. Я указываю, что отождествление стоимости с трудовою затратою, взятою вне ее общественной формы, превращает стоимость из исторической категории в логическую и именно поэтому должно быть признано неправильным.

Полная необоснованность выдвинутых Шабсом обвинений обнаруживает одну характерную особенность нашего критика. Вместо того, чтобы вникнуть в смысл критикуемых им положений и разобрать их во всей их совокупности и в их внутренней связи, он предпочитает вырывать из текста критикуемого автора даже не отдельные фразы, а кусочки фраз и отдельные словечки. Этим вырванным из текста словам и фразам наш критик приписывает совершенно произвольный смысл,—часто совершенно противоположный тому смыслу, в котором они употребляются у автора,—при помощи этого произвольного толкования он строит нелепое положение, а из последнего с достойною лучшего применения последовательностью выводит целый ряд нелепых выводов. И вместо того, чтобы во всей этой совокупности нелепостей увидеть крушение своего «критического» метода, он приписывает эти нелепости критикуемому автору. Достаточно Шабсу встретить у своего противника указание на роль обмена, чтобы обвинить его в игнорировании общественной формы процесса производства. Достаточно ему прочесть указание на зависимость процесса движения стоимостей от материально-технического процесса производства, чтобы бросить обвинение в смешении стоимости с потребительной стоимостью. Повидимому, Шабс думает, что материально-техническая и социальная стороны процесса производства представляют собою не более, как два одновременно и параллельно протекающих ряда явлений, между которыми отсутствует причинная связь. Повидимому, такого рода параллелизм он приписывает Марксу, прибавляя: «Рубин же, наоборот, устанавливает «тесную связь» между «процессом производства материальных благ как таковым» и «общественною формою», определяет материально-техническое содержание как таковое—в качестве социального содержания товарной формы, отождествляет потребительную стоимость со стоимостью, смещивает техническое с социальным, физическое с историческим» (стр. 66). Насколько неправильно утверждение, что я отождествляю материальный процесс производства с его общественною формою, настолько верно, что я признаю между ними «тесную связь». Шабс склонен отрицать наличие этой «тесной связи» и в подтверждение своего взгляда ссылается на Маркса: «Маркс здесь ни на иоту не отступает от своего основного взгляда, что, «какова бы ни была общественная форма богатства, потребительные ценности обладают, всегда своей собственной сущностью, совершенно независимой от этой формы» (стр. 66. Курсив Шабса). Эту фразу Маркса, взятую из русского перевода «Критики политической экономии», Шабс противопоставляет моему утверждению о существовании «тесной связи» между материальным процессом производства и его общественной формою.

Из этой фразы Шабс, повидимому, хочет сделать вывод, что материальный процесс производства и его общественная форма «совершенно независимы» друг от друга. Но казалось бы, что это положение прямо противоречит основному положению Маркса о теснейшей связи между развитием производительных сил и изменением производственных отношений людей. Казалось бы, что Шабс, прежде чем выставить положение, резко противоречащее азбуке марксизма, обязан был проверить, правильно ли переведена на русский язык цитированная фраза Маркса. И тогда Шабс убедился бы, что он просто-на-

просто сделался жертвою неточного перевода. Приведенная фраза имеет у Маркса в подлиннике следующий вид: «Какова бы ни была общественная форма богатства, потребительные стоимости образуют всегда его содержание, первоначально (zunächst) безразличное к этой форме» («Kritik der pol. Oekon.», 1907, S. 2). Фраза Маркса означает, что «первоначально», на первой ступени анализа, мы рассматриваем общественную форму богатства отдельно от его материального содержания. Материально-технический процесс производства не составляет подлинного об'екта экономического исследования, но является всегда предпосылкой последнего. Конечная цель нашей науки заключается именно в том, чтобы открыть тесную «причинную связь» между материальным процессом производства и его общественной формою.

Как видим, Шабс склонен отрицать тесную связь между материальным процессом производства и его общественной формою. Только этим, вероятно, можно об'яснить один пункт его критики, который ничего, кроме удивления, вызвать не может. Шабс критикует мое утверждение о зависимости величины стоимости от уровня развития производительности труда. Цитируя мое утверждение, что «величина стоимости определяется трудом, процессом производства, развитием производительных сил» («Очерки», 2-е изд., стр. 88), Шабс приходит к выводу, что я отождествляю производительную силу труда с самим трудом, образующим стоимость. А так как Маркс относит производительную силу к конкретному труду, то очевидно, что я смешиваю конкретный труд с абстрактным и т. д. (стр. 69—74). Вместо того, чтобы, по своему обыкновению, нагромождать одну нелепость на другую, Шабс должен был бы обратиться к XVI главе моих «Очерков», где я выясняю зависимость изменений величины стоимости от роста производительной силы труда. На стр. 130—131 «Очерков» Шабс мог бы прочесть: «Рост производительной силы труда в данной отрасли производства, изменяя условия равновесия ее с прочими отраслями, изменяют величину общественно-необходимого труда и рыночной стоимости. «Рабочее время изменяется с каждым изменением производительной силы труда» (К. I, стр. 6). «Чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления известного товара, тем меньше кристаллизованная в нем масса труда, тем меньше его стоимость. Наоборот, чем меньше производительная сила труда, тем больше рабочее время, необходимое для изготовления товара, тем больше его стоимость» (К. I, стр. 7). В марксовой теории понятие общественно-необходимого труда тесно связано с понятием производительности труда. В товарном хозяйстве развитие производительных сил находит свое экономическое выражение в изменении общественно-необходимого труда и определяемой им рыночной стоимости» («Очерки», стр. 130—131). Что, казалось бы, можно возразить против этого утверждения, точно повторяющего мысли Маркса и разделяемого всеми без исключения марксистами? Но наш критик умудряется спорить и против этого положения.

Возражения Шабса сводятся к следующему. Согласно учению Маркса, данное количество труда (напр., 8-часовой труд) производит всегда одну и ту же сумму стоимостей, независимо от степени развития производительности этого труда. Рост производительности труда не сопровождается ростом суммы стоимостей, производимых данным количеством труда. «В этом несоответствии движения обоих факторов, в отставании роста величины стоимости от развития производительных сил находит свое наиболее общее выражение то основное противоречие, которое присуще товарно-капиталистической системе», стр. 72. Курсив наш.—И. Р.). А так как я признаю, что величина стоимости изменяется в соответствии с изменениями производительной силы труда, то очевидно, что я повинен в смертном грехе игнорирования противоречий товарно-капиталистического хозяйства. «Свое окончательное грехопадение Рубин совершает в своем отождествлении производительной силы с трудом по их отношению к образованию стоимости» (стр. 175).

Здесь что ни слово, то путаница, и при том путаница столь элементарная и грубая, какой мы не могли ожидать даже от нашего критика. Если бы я утверждал, что с увеличением производительной силы труда вдвое, общая сумма стоимостей, произведенных данным количеством труда (например, 8-часовым трудом), тоже увеличилась вдвое, я погрешил бы против теории стоимости Маркса. Но ведь я, в полном согласии с Марксом и со всеми без исключения марксистами, утверждаю нечто совершенно другое. Я говорю, что с увеличением производительной силы труда вдвое стоимость каждой единицы продукта, произведенного данным количеством труда, понижается вдвое. Последнее утверждение прямо противоположно первому, ибо наш вывод о понижении стоимости каждой единицы продукта, очевидно, предполагает, что общая сумма стоимостей, произведенных данным количеством труда, осталась без изменения. Положение Маркса о том, что данное количество труда производит всегда одну и ту же общую сумму стоимостей, и его же положение о том, что стоимость каждой единицы продукта изменяется обратно пропорционально изменению производительной силы труда,—не только не противоречат друг другу, как думает Шабс, но неразрывно между собою связаны. Второе положение является выводом из первого. Нужно, действительно, обладать полнейшей невинностью насчет азбуки марксизма, чтобы открыть «окончательное грехопадение» в признании зависимости изменений величины стоимости от изменений производительности труда.

II. Юридическая и экономическая концепции общества.

Шабс любит глядеть в корень вещей. Он не ограничивается тем, что вскрывает мою «методологическую ошибку», заключающуюся в явном игнорировании общественной формы процесса производства и общественного характера труда в сфере производства. Он хочет найти корень этой ошибки. «Корень этой ошибки кроется, нам кажется, в том, что исходным пунктом для интерпретации проблемы автору (Рубину) служит не экономическая, а юридическая концепция общества» (стр. 45).

Различие между обеими этими концепциями Шабс формулирует следующим образом: «Правовая наука, как известно, строит понятие общества как механической совокупности лично и материально независимых суб'ектов и выдвигает волю индивида в качестве единственной и универсальной основы отношений в буржуазном обществе» (стр. 46). В противоположность этому, с экономической точки зрения «товарно-капиталистическое общество рассматривается как сложное органическое единство, в котором отдельные индивиды являются «органами труда» взаимосвязанного производственного организма» (стр. 47). Шабс упрекает меня в том, что я будто бы исхожу именно из юридической, а не из экономической концепции общества. Прежде чем перейти к этому вопросу по существу, мы должны остановиться на приведенной характеристике обеих концепций общества.

Наш автор охотно упрекает своих противников в непонимании диалектики. Но в решающих пунктах он сам грешит против элементарных правил диалектического метода. Почему Шабс совершенно разорвал связь между юридической и экономической концепциями общества и наделил их столь противоположными чертами? Не являются ли правовые отношения выражением экономических (производственных) отношений людей? В частности, не определяется ли характер буржуазного права, которое исходит из «лично и материально независимых суб'ектов», характером самого буржуазного производства, раздробленного между отдельными товаропроизводителями? Отрицать это значило бы отрицать элементарные положения исторического материализма. С другой стороны, нам известно, что в тех общественных формациях, где хозяйство представляло собою полное «органическое единство» (напр., в патриархальной общине), правовые нормы также не признавали «лично и материально независимых суб'ектов». Вместо того, чтобы ссылаться на абстрактную противоположность права и экономики, Шабс должен был бы ближе разобрать, о каком именно праве и какой именно экономике идет в данном случае речь. Тогда он нашел бы, что характер буржуазного права определяется характером буржуазного производства, что противоположность между «органическим единством» и «независимыми суб'ектами» заложена в самой основе товарного хозяйства. Он открыл бы двойственную природу самого товарного хозяйства. Шабс, однако, не пошел по этому пути. Он предпочел отправить «независимых суб'ектов» в область права, благодаря чему сфера экономики выступает у него в одностороннем виде, в виде «органического единства». Шабс правильно подчеркивает материальную связанность членов товарного хозяйства, но он недооценивает значения того факта, что хозяйство раздроблено между частными товаропроизводителями, между которыми связь устанавливается лишь косвенным путем, через обмен продуктов их труда. Поэтому Шабс нередко характеризует товарное хозяйство при помощи таких терминов, которыми марксисты не пользуются. Он говорит, что в товарном хозяйстве «учет потребностей общества лежит в самой основе производства» (стр. 49, курсив наш.—И. Р.), между тем как марксисты утверждают как раз противоположное. Далее мы узнаем от Шабса, что «товаропроизводитель заранее подчиняет свою производительную деятельность общественной потребности» (стр. 49), что «его труд a priori отнесен к труду общества» (стр. 99), что он «определяет свою функцию в обществе a priori, ориентируясь на потребности общества, следовательно, как функцию общественную [1]) (стр. 61, то же на стр. 48—49). Маркс же любил повторять, что труд представляет непосредственно «общественную функцию» лишь в обществах с организованным хозяйством.

Преувеличивая значение «органического единства» товарного хозяйства и недооценивая все значение моментов неорганизованности и раздробленности в этом хозяйстве, Шабс склонен обвинять в «юридической» постановке вопроса тех экономистов, которые подчеркивают последние моменты. Доказательство того, что я исхожу из юридической, а не экономической концепции общества, он видит в следующих моих словах, помещенных на стр. 12 второго издания «Очерков»: «В своем предприятии каждый товаропроизводитель волен по своему произволу производить какой угодно продукт и при помощи каких угодно средств производства. Но когда он выносит готовый продукт своего труда на рынок для обмена, он не волен устанавливать пропорции обмена, а вынужден подчиняться условиям (конъюнктуре) рынка, общим для всех производителей данного продукта». Процитировав эти слова, Шабс с торжеством восклицает: «Эта формулировка позаимствована из правовой науки» (стр. 42). Повторяя бесконечное число раз мои слова, что каждый «волен по своему произволу» производить какой угодно продукт, Шабс на основании этих слов приписывает мне мысль, что «в производстве капиталисту, вернее его произволу, отведен полный и неограниченный простор; конкуренция лежит вне его кругозора, она для него не существует». «Подчинение самого производства законам конкуренции, сурово диктующим условия производства,—а это означает прежде всего подчинение общественным условиям в выборе средств производства, как и определенного вида товара, соответственно общественной потребности,—вовсе не укладывается в поверхностных представлениях, развиваемых в «Очерках» (стр. 43).

Мы выше уже видели, как беспомощно путается Шабс в самых элементарных вопросах политической экономии. Не приходится поэтому удивляться, что Шабс готов заподозрить своего противника в забвении азбучных истин. В данном случае он обвиняет меня в том, что я не понимаю значения конкуренции, что, по моему мнению, капиталист может производить какие-угодно продукты независимо от требований рынка и т. д. Все эти детски-наивные обвинения сами по себе не нуждаются в опровержении, но мы подробнее остановимся на них, чтобы еще раз охарактеризовать теоретический уровень работы Шабса, сочетающей азбучные истины с элементарными ошибками. Ведь всякому марксисту известно, что, когда мы говорим о «независимом» товаропроизводителе, который организует производство по своему «произволу» или «усмотрению», мы имеем в виду независимость товаропроизводителя от общественного органа, планомерно направляющего производство. Но никому в голову не придет видеть в наших словах признание независимости товаропроизводителя от условий рыночной конкуренции. Наоборот, Маркс многократно указывал, что именно «независимость» товаропроизводителей от сознательно действующего общественного органа создает их «зависимость» от стихийных законов рынка. «Наши товаровладельцы открывают таким образом, что то самое разделение труда, которое делает их самих независимыми частными производителями, делает в то же время независимым от них процесс общественного производства и их собственные отношения в этом процессе, так что независимость лиц друг от друга дополняется системой всесторонней вещной зависимости» (Капитал, т. I, стр. 75). Из наших слов о «произволе» товаропроизводителя делать вывод об отрицании нами зависимости товаропроизводителя от условий рынка,—значит обнаруживать полное незнакомство с общепринятою в марксистской литературе терминологией.

Мы извиняемся перед читателем за то, что держим его все время в кругу элементарных вопросов. Мы с благодарностью встретили бы критику наших взглядов, которая побудила бы к более углубленному обсуждению спорных проблем. Но, к сожалению, критика Шабса в

[1]) Выше мы уже отметили, что наш критик лишен чувства смешного. Иначе он не решился бы сказать, что товаропроизводитель должен быть рассматриваем как «индивидуум, действующий сообразно познаваемой им общественной необходимости» (стр. 53. Ср. на стр. 51 об «осознанной общественной необходимости»). До этого открытия Шабса марксисты были уверены вместе с Марксом, что в товарном хозяйстве закон общественной необходимости действует как «слепая сила природы», а Энгельс видел в нем «закон природы, покоящийся на бессознательности затрагиваемых его действием людей» (Капитал, т. I, гл. 1, примеч. 28).

большей своей части вращается вокруг элементарных вопросов, случайно выхваченных слов и произвольно толкуемых фраз. Хотя вопрос о «произволе» товаропроизводителя уже достаточно выяснен предыдущими нашими замечаниями, тем не менее мы должны на нем еще задержаться, чтобы окончательно разоблачить «критические» приемы Шабса. Мы уже показали, что ни один грамотный марксист не будет толковать наши слова о «произволе» товаропроизводителя так, как это толкует Шабс. Но теперь мы пойдем дальше и докажем, что Шабс не только обязан был знать, что́ именно разумеют марксисты, когда говорят о «произволе» товаропроизводителя, но мог прочесть об этом у нас на той же странице, которую он цитировал. Если бы Шабс не оборвал нашу цитату, а продолжил ее дальше, то он прочел бы у нас сейчас же вслед за приведенными им словами следующие слова: «Зависимость производителя от рынка означает зависимость его производительной деятельности от производительной деятельности всех других членов общества. Если суконщики выбросили на рынок слишком много сукна, то суконщик Иванов, который не расширял своего производства, тем не менее также страдает от понижения цен на сукно и вынужден сократить производство. Если другие суконщики ввели усовершенствованные средства производства (например, машины), удешевляющие стоимость сукна, то и наш суконщик вынужден улучшить технику производства. И в направлении, и в размерах, и в способах своего производства отдельный товаропроизводитель, формально независимый от других, на самом деле тесно связан с ними через рынок, через обмен» («Очерки», 2-е изд., стр. 12). Можно ли после этого, при мало-мальски добросовестном отношении к своим обязанностям критика, упрекать меня в игнорировании роли конкуренции и в признании независимости товаропроизводителя от условий рынка?

Но если Шабс впал в данном случае в грубую ошибку, не подал ли я ему повод к ней неосторожным употреблением слова «произвол»? Если бы Шабс был знаком с марксистской литературой, он знал бы, что в ней очень часто говорится о «произволе» или «усмотрении» товаропроизводителя в раз'ясненном выше смысле. Так, например, Плеханов пишет: «В буржуазном обществе производители работают независимо один от другого, каждый из них трудится как хочет, как может и как умеет, на свой собственный риск и по своему собственному усмотрению» [1]). В тех же словах выражается Люксембург: «Каждый трудится на свой риск и страх, каждый производит на свой счет по собственному усмотрению» [2]). Наконец, у Маркса мы найдем неоднократные указания на «прихотливую игру случая и произвола» и на «беспорядочный произвол товаропроизводителей» (Капитал, т. I, стр. 334). Правда, Маркс указывает, что стихийный закон подчиняет себе этот «беспорядочный произвол товаропроизводителей», но именно об этом и шла речь в нашей книге.

Мы можем подвести итоги. Упреки Шабса, что я будто бы исхожу из юридической концепции общества, ни на чем не основаны. Речь идет не о противоположности права и хозяйства, а о двойственной природе самого товарного хозяйства. Я в своих «Очерках» все время старался подчеркивать эту двойственную сторону товарного хозяйства, отличающегося одновременно единством и раздробленностью. Шабс же, преувеличивая значение первого момента и недооценивая значение последнего, рассматривает товарное хозяйство с односторонней, а потому и неправильной точки зрения. Этим об'ясняется одна характерная особенность в изложении Шабса, резко отличающая его от большинства марксистов. Обычно марксисты, по примеру самого Маркса, противопоставляют товарное хозяйство организованному хозяйству и при помощи такого противопоставления выделяют характерные особенности товарного хозяйства. Для Шабса такой путь закрыт, ибо он и товарное хозяйство рассматривает прежде всего со стороны «органического единства», недооценивая его стихийного, неорганизованного характера. Шабс поэтому вынужден прибегать к другому приему, а именно, к противопоставлению товарного хозяйства принудительному хозяйству, основанному на рабстве или на феодальной зависимости производителей (стр. 30, 35, 94, 98, 134, 135 и др.). В принудительном хозяйстве «общественное отношение производства носит односторонний характер» (стр. 94), так как производитель (например, раб) низведен до роли простого орудия. В товарном же хозяйстве общественное отношение производства реализуется «в двусторонних актах обмена между лично независимыми производителями. Здесь общественный индивид выступает не как res vocale [1]) рабовладельческого общества, не как орудие для добывания продуктов, а в полном значении социального суб'екта, формально, т.-е. абстрактно, неограниченный в своей самостоятельности» (стр. 30).

Исходя из противопоставления товарного хозяйства рабскому, Шабс приходит к выводу, что основная особенность товарного хозяйства заключается в юридической свободе индивида, в «формально-юридическом понятии самостоятельного индивида» (стр. 98). Такой чисто-юридический критерий пригоден, однако, лишь для противопоставления товарного хозяйства рабскому, но не выясняет нам основных экономических особенностей товарного хозяйства, в отличие, например, от социалистического хозяйства. В политической экономии юридическая независимость индивида должна быть рассматриваема лишь как выражение экономической независимости товаропроизводителя в качестве владельца средств производства и автономного организатора производственного процесса. Но, как мы видели, Шабс, преувеличивая моменты «органического единства» в товарном хозяйстве, склонен отрицать экономическую «независимость» товаропроизводителя на том основании, что последний подчинен условиям рынка. Эта позиция приводит его к ошибочному выводу, что характерной особенностью производителя в товарном хозяйстве является его юридическая свобода. Как видим, Шабс попал совсем не в ту комнату, куда хотел пойти. Он приписывает мне юридическую концепцию общества, а между тем сам видит основную особенность товарного хозяйства в чисто-юридических признаках. Он недооценивает атомистический характер товарного хозяйства, и именно в силу этого вынужден признать отличительной чертою последнего чисто-юридический атомизм. Такие диалектические превращения встречаются в работе Шабса довольно часто. В большинстве случаев Шабсу приходится играть не роль суб'екта, сознательно применяющего правила диалектического мышления, а роль об'екта, претерпевающего помимо своей воли ряд странных и весьма неприятных диалектических превращений.

[1]) Плеханов, цит. соч., стр. 83. Курсив наш.
[2]) Люксембург, цит. соч., стр. 251. Курсив наш.

[1]) У Шабса, питающего «влечение, род недуга» к латинским терминам и поговоркам, раб на стр. 30 и 35 фигурирует как «res vocale». Повидимому, наш столь же ученый, как и проницательный критик хотел сказать «res vocalis».

Пусть читатель не думает, что обвинение в формально-юридическом подходе выдвинуто нами против Шабса в целях полемических, из желания найти в работе Шабса тот самый порок, который он без всяких оснований приписывает нам. По нашему глубокому убеждению, Шабс неизбежно толкается в эту сторону всей своей позицией игнорирования моментов раздробленности в товарном хозяйстве. Рассматривая товарное общество, как «органическое единство», как совокупность «индивидуумов, действующих сообразно познаваемой ими общественной необходимости» и «заранее подчиняющих свою производительную деятельность общественной потребности», Шабс не может дать правильную характеристику экономических особенностей товарного хозяйства. Ему не остается ничего другого, как искать отличительные признаки товарного хозяйства в юридической личной независимости производителей и в двустороннем, т.-е. договорном, характере отношений, связывающих этих лично независимых производителей (стр. 30, 35, 42, 94, 98, 134—135 и др.). И—о, ирония судьбы!—обмен, против которого раньше Шабс воздвигал гонения, празднует здесь свою полную победу. Ибо что такое означает личная независимость производителя? Правда, Шабс для характеристики ее не жалеет привлекательных красок: «Здесь (в товарном обществе) общественный индивид выступает не как res vocale рабовладельческого общества, не как орудие для добывания продуктов, а в полном значении социального суб'екта, формально, т.-е. абстрактно, неограниченный в своей самостоятельности» (стр. 30. Курсив наш.—И. Р.). Но, в сущности, под привлекательной фигурою «социального суб'екта в полном значении» скрывается хорошо всем знакомая и прозаическая фигура формально независимого товаропроизводителя. А вместе с тем и двусторонние отношения между людьми представляют собою не что иное, как «двусторонние акты обмена между лично независимыми производителями» (стр. 30. Курсив наш.—И. Р.), «отношения обмена в их двустороннем характере» (стр. 42). Поистине гони обмен в дверь, он влетит в окно! Правда, зная строго «производственную» точку зрения Шабса, обмен счел нужным слегка замаскировать свои черты и явиться в опоэтизированной форме. Но зато при помощи этой легкой маскировки он добился полной победы и выступает теперь в качестве единственного признака товарного хозяйства. В то время, как у меня в «Очерках» обмен выступает как момент самого процесса воспроизводства, неразрывно связанный с материально-техническим процессом производства и распределением общественного труда, у Шабса он выступает теперь с односторонней, формально-юридической стороны, как акт договора между формально независимыми суб'ектами. Разумеется, я менее кого бы то ни было склонен отрицать, что и оформальная независимость товаропроизводителей является существенным признаком товарного хозяйства и накладывает свою печать на акт приравнивания продуктов труда (см. главу 10 моих «Очерков»). Но формально-юридическая характеристика товаропроизводителей является лишь производною от их экономической характеристики, а формальные особенности обмена должны быть изучаемы лишь на фоне материальной связи его с процессом производства, и в частности с процессом уравнения и распределения труда. Под предлогом защиты ложно понятой «производственной» точки зрения, Шабс отказался итти по пути исследования материальной роли обмена в товарном обществе, и за это был жестоко наказан, попав во власть меновой концепции в ее наиболее вульгарном, формально-юридическом виде.

Более того, Шабс не только пленен юридическим фетишизмом, но и не освободился от давно отживших и устарелых представлений о «естественном состоянии» человека. Он не только наивно верит, что буржуазное общество характеризуется признанием «социального суб'екта в полном значении», но проникнут еще более наивной верою, что это формально-юридическое признание соответствует «специфической природе (человека.—И. Р.) в его естественном состоянии» (стр. 98). Прочтем внимательно следующий отрывок: «Понятие «самостоятельного индивида» обнимает два обозначения человека: с одной стороны, формально-юридическое, социальное и, как таковое, историческое; а, другой стороны, адэкватное первому определению естественное состояние, но состояние, в своей практической значимости свойственное лишь особой исторической форме и ею обусловленное. Тут мы вновь наталкиваемся на «различие, не отделимое от тождества». С одной стороны, суб'ект общества—человек, как таковой,—понятие естественно-научное и, следовательно, логическое, внеисторическое. С другой—общественную значимость человека, соответственно специфической его природе, в его естественном состоянии, он получает лишь при определенных исторических условиях, утверждающих его в адэкватной юридической форме. Лишь формально-юридическое понятие самостоятельного индивида определяет в действительности значение человека, как такового, в качестве суб'екта общества, и потому являет эту природу человека в историческом свете. Напротив, социальная форма раба, как нам уже известно, определяет его значение в обществе как вещь,—и это значение остается практически значимым, хотя по своей естественной природе раб есть человек» (стр. 98. Курсив наш.—И. Р.).

Приведенная цитата ярко вскрывает всю основу построения Шабса. Социальное и историческое отождествляется с формально-юридическим. Характерным признаком товарного хозяйства признается «формально-юридическое понятие самостоятельного индивида», а это понятие рассматривается, как адэкватное «специфической природе (человека) в его естественном состоянии». Смысл сей философии ясен. Существует от века «специфическая природа человека в его естественном состоянии». В обществах, основанных на юридическом неравенстве лиц (например, в рабском, феодальном обществе), это «естественное состояние» человека не является «практически-значимым». Практическую значимость оно получает лишь в товарном хозяйстве в «адэкватной» юридической форме самостоятельного индивида. Здесь человек выступает уже «не как орудие для добывания продуктов, а в полном значении социального суб'екта, формально, т.-е. абстрактно, неограниченный в своей самостоятельности, освобожденный от «естественных связей» и противопоставляемый с этой точки зрения всей остальной природе» (стр. 30). В то время, как Маркс рассматривает понятие самостоятельного индивида, как «предвосхищение» и выражение буржуазного общества, Шабс рассматривает буржуазное общество, как реализацию или практическое осуществление естественной природы индивида.

Мы так подробно остановились на взглядах Шабса не только для того, чтобы показать, какую мешанину идей преподносит наш автор, претендующий на звание наиболее ортодоксального марксиста. Для нас изложенные взгляды Шабса представляют особую важность, как социально-философская основа его учения об абстрактном труде. Шабс достаточно последователен, чтобы провести полную аналогию

между характером индивида и характером его труда (стр. 98—99). Подобно тому, как существует «естественная природа» индивида, точно так же существует естественная природа или «физиологическая сущность абстрактного труда, как такового» (стр. 95). «Человеку как таковому», соответствует «человеческий труд, как таковой», или «абстрактный труд как таковой». Но в обществах, основанных на неравенстве лиц, естественная природа труда, как и естественная природа индивида, не получает еще «практической» или «общественной значимости». Последнюю он приобретает лишь в товарном хозяйстве: здесь естественная природа индивида получает адэкватную форму осуществления в виде формально-независимого товаропроизводителя, тем самым «чисто человеческий» или абстрактный труд, как таковой, приобретает общественную значимость и становится общественным (или экономическим) трудом.

Представление о «естественном индивиде» является тем фундаментом, на котором воздвигается учение Шабса об абстрактном труде. Наивная социальная философия «естественного индивида» лежит в основе не только построения Шабса, но и представлений Дашковского и многих других «умеренных» физиологистов. Но у Шабса эта связь выступает в более неприкрытом и ясном виде. Для нас было бы достаточно констатировать эту связь, чтобы заранее отвергнуть, как методологически ложное, все учение Шабса об абстрактном труде. Но чтобы не оставить у читателя сомнений насчет ложности тех выводов, к которым вынужден притти Шабс в своем учении об абстрактном труде, мы подвергнем последнее особому разбору.

III. Абстрактный и экономический труд.

В споре между сторонниками физиологического и социологического понимания абстрактного труда Шабс занял своеобразную позицию. С одной стороны, он называет «нелепым» утверждение Дашковского, что исторические категории суть проявления внеисторических законов (стр. 68, прим.). Отсюда следует, что историческая категория стоимости не может служить выражением внеисторической категории труда, понимаемого в физиологическом смысле. Но, с другой стороны, Шабс не согласен и с моим пониманием абстрактного труда, так как я, по его мнению, «недиалектически» отрываю социальную форму труда от его физиологической сущности. Шабс поэтому предлагает свое собственное решение проблемы. Он различает две категории: «абстрактный» труд и «экономический» труд. В игнорировании этого различия Шабс упрекает не только меня и прочих экономистов-марксистов, но и отчасти самого Маркса.

Изложить более или менее понятным образом мысли Шабса об абстрактном и экономическом труде представляется довольно затруднительным. Если в других частях своей работы Шабс создает величайшую путаницу в изложении мыслей своих противников, то в данном вопросе он создает не меньшую путаницу в изложении своих собственных мыслей. В виду этого мы приведем дословно несколько цитат, в которых Шабс пытается выяснить значение обоих терминов. «Подобно тому, как в социальном индивиде в специфическом его значении, как он выступает в общественном отношении к другому (например, в отношении рабочего к капиталисту), погашается его естественная природа, но не устраняется вообще в качестве естественного носителя социальной формы,—так и экономический труд, т.-е. общественный труд в товарном обществе, погашает в этой функциональной своей форме физиологическую сущность абстрактного труда как такового, но отнюдь не устраняет его имманентную субстанциональную сущность в качестве естественного же носителя социальной модальности; вне существования человеческого труда, как такового, не существует ни его конкретно-технического проявления в материальном процессе, ни его экономического проявления в общественном процессе. Абстрактный труд как таковой, как физиологическое явление, связан с экономическим трудом диалектической связью как «различия», неотделимые от «тождества». Лишь метафизикам... такое понимание проблемы оставляет поле для сомнений и возражений» (стр. 95). В другом месте мы узнаем, что абстрактный труд «определяется как физиологическое явление в непосредственном об'ективном своем характере; при этом в данном выражении он приобретает общественную значимость лишь при определенной исторической форме организации общественного труда, которая находит в абстрактном определении труда основу общественной связи, и тем самым определяет его как историческую общественную форму труда, как экономическую категорию. В пределах последнего функционального выражения субстанциальная сущность абстрактного труда погашается, выдвигая в данном экономическом аспекте социальное существо своего бытия, безразличное к естественной природе его» (стр. 116).

Нельзя сказать, чтобы приведенные формулировки отличались достаточной ясностью и давали отчетливое представление о том, что именно понимает Шабс под «абстрактным» трудом и «экономическим» трудом. Попытаемся, однако, путем сопоставления приведенных формулировок с целым рядом других мест из его работы, представить себе ход его мыслей, поскольку это возможно при запутанности его изложения.

Повидимому, Шабс представляет себе дело следующим образом: «Абстрактный» труд «определяется как физиологическое явление в непосредственном об'ективном своем характере» (стр. 116). В этом заключается его «имманентная субстанциональная сущность» или «естественная природа» (стр. 95, 116). Этот «абстрактный труд в его непосредственном физиологическом характере» представляет собою категорию внеисторическую, независимую от общественной формы хозяйства (стр. 128). Но значит ли это, что абстрактный труд есть «явление общественно значимое при любой общественной форме хозяйства» (стр. 35)? Нет,—отвечает Шабс.—Хотя человеческий труд, как таковой, существовал всегда, но он не всегда обладал общественной значимостью [1]. «И вполне понятно почему. То обстоятельство, что раб, например, осознает свой труд, как труд человеческий, так же точно не делает этого труда общественно - значимым, как и не затрагивает основы рабства то, что раб осознает себя как человек, а не как res vocale. До тех пор, пока раб не освобождается от условий рабства, он не становится в социальном значении человеком (хотя

[1]) Какую же роль играл этот труд до возникновения товарного хозяйства? На этот вопрос от Шабса нелегко добиться ответа. На стр. 132 читаем: «Для всех прочих предшествующих эпох это определение («труда как такового») вообще «применимо», но в то же время общественно-незначимо, неактуально». Если читатель, призвав на помощь тень И. Дашковского, подумает, что речь идет о существовании абстрактного труда «в понятии», то на следующей странице его ждет опять загадка. Оказывается, что в предшествовавшие исторические эпохи «общего между существующими формами труда нет ни в действительности, ни в понятии, хотя об'ективно физиологическая общность трудовых затрат «применима», разумеется, и к данной эпохе» (стр. 133).

он и представляется таковым по своей естественной природе), и его труд в обществе рабовладельцев будет рассматриваться как фактор материально-технический,—и только, как энергия машины, обладающей даром речи,—а не иначе» (стр. 35. Курсив наш.—И. Р.).

Из приведенной цитаты нам уже понятно, что именно требуется для того, чтобы абстрактный труд, т.-е. человеческий труд как таковой, приобрел «общественную значимость». Для этого требуется,—как мы это видели уже выше, при анализе понятия «естественного индивида»,—чтобы производитель был освобожден от личной зависимости и признан «человеком в социальном значении». Это имеет место в товарном хозяйстве: «отношение человека к человеку складывается здесь на основе двустороннего волеизъявления, как между равноправными сторонами» (стр. 94. Курсив наш); здесь человеческий труд как таковой, становится основою общественной связи между людьми. Абстрактный труд приобретает в обществе равноправных товаропроизводителей особую «общественно-значимую функциональную форму» (стр. 128) и тем самым превращается в труд «экономический» (который Шабс называет также «общественным»). Если абстрактный труд является категорией внеисторической, то экономический труд является категорией исторической, специфически присущей товарному хозяйству (стр. 99, 128). Стоимость продуктов труда является выражением именно экономического труда, а не абстрактного труда как такового (стр. 98 и др.).

Теперь мы можем отметить основные черты сходства и различия в построениях Шабса и Дашковского [1]). Оба они—Дашковский не столь последовательно, как Шабс—признают абстрактный труд как таковой, категорией физиологической и внеисторической. Оба они признают,—и здесь опять-таки Дашковский менее последователен,—что только в товарном хозяйстве этот абстрактный труд приобретает на деле «общественную значимость». Но в то время, как Дашковский полагает, что эта перемена ни в малейшей мере не изменила «качественной природы» самого абстрактного труда, Шабс считает, что благодаря своей новой социальной функции абстрактный труд приобрел и новую качественную природу, превратившись в труд «экономический» (или «общественный»). Если у Дашковского абстрактный труд на всем протяжении исторического развития остается «тождественным» самому себе, то у Шабса абстрактный труд и экономический труд связаны диалектической связью «тождества» и «различия». Экономический труд, с одной стороны, есть тот же абстрактный труд в определенной общественной форме; с другой стороны, он отличается от абстрактного труда в физиологическом смысле. В то время, как у Дашковского имеется одна категория абстрактного труда, Шабс строит две категории: абстрактного труда и экономического труда. Поэтому стоимость рассматривается Дашковским как выражение абстрактного труда, Шабсом же—как выражение экономического, а не абстрактного труда.

Прежде чем рассмотреть, в какой мере сложное построение Шабса соответствует учению Маркса, необходимо отметить, что у самого Шабса в высшей степени путано изложен центральный пункт его построения: вопрос об отношении между абстрактным трудом и экономическим трудом. Экономический труд «погашает», но не «устраняет» физиологическую сущность абстрактного труда. Что это значит? Не хочет ли Шабс сказать, что физиологический труд является лишь предпосылкою экономического труда, представляющего собою чисто общественную величину, в которой «погашен» физиологический характер труда? С одной стороны, такое понимание как-будто противоречит построениям Шабса, который резко критикует мои «Очерки по теории стоимости Маркса» именно за то, что физиологическому труду отведена лишь роль предпосылки по отношению к абстрактному труду (который в моем понимании соответствует приблизительно тому, что Шабс называет «экономическим» трудом). Но, с другой стороны, мы находим у Шабса немало выражений, как-будто подтверждающих изложенное понимание. Так, в приведенной выше цитате Шабс говорит, что «социальное существо» бытия абстрактного труда (т.-е. его бытия в качестве экономического труда) «безразлично к естественной природе его» (стр. 116), т.-е. к его физиологической природе. Также на странице 99 читаем: «Физиологический характер труда в этом случае не устраняется, но он становится безразличным в этом своем имманентном естественном существовании для данного общественного существования» (Курсив наш). Мимоходом отметим, что утверждение о «безразличии» физиологического характера труда «для данного общественного существования» его как будто плохо вяжется с основным положением Шабса о том, что физиологический характер труда приобретает «социальную реальность» или «общественную значимость» только в виде «данного общественного существования» его (как труда экономического).

Оставим, однако, в стороне эти неясности и противоречия в построениях Шабса. Возможно, что путем чрезвычайных усилий ему удастся как-нибудь устранить их и об'яснить нам понятным языком, как именно представляет он себе связь между трудом абстрактным и экономическим. Но что ему никоим образом не удастся, это—привести свои построения в согласие с учением Маркса. Шабс резко расходится с Марксом в двух пунктах: 1) на место категории абстрактного труда он ставит две категории: абстрактного труда и экономического труда; 2) он утверждает, что стоимость является выражением экономического труда, а не абстрактного труда.

Шабс утверждает,—не имея для этого никаких оснований, что я вношу в теорию стоимости «новеллы», не соответствующие учению Маркса. Но я утверждаю, что каждая из предлагаемых мною «новелл» не только находится в полном соответствии с учением Маркса, но и подкрепляется мною многочисленными прямыми высказываниями Маркса. Я сознательно избегаю пользоваться такого рода цитатами из Маркса, которые не находят себе опоры и подтверждения в многочисленных других высказываниях Маркса, выражающих ту же мысль. А наш строгий критик с легким сердцем создает «новеллы», не имеющие ни малейшей опоры в тексте Маркса и резко противоречащие его теории стоимости. Разберем по порядку обе его «новеллы».

Верно ли, что Маркс видит в стоимости выражение экономического труда, а не абстрактного труда? Верно ли, что Маркс строит, наряду с категорией абстрактного труда, еще одну категорию экономического труда? Ни одного доказательства в пользу этих своих утверждений Шабс привести не может. Чтобы создать хотя бы тень оправдания для употребления нового термина «экономического» труда, Шабс цитирует следующие слова Маркса из «Введения к критике политической экономии»: «Труд—это наиболее простая категория. Столь же древним является представление о нем в этой всеобщности—как труда вообще. Однако экономический труд, взятый в этой простейшей фор-

[1]) См. статью Дашковского в «Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 6.

ме, есть столь же современная категория, как и отношения, которые порождают эту простейшую абстракцию» (стр. 14, 100). Опираясь на эту цитату, Шабс на первых же страницах своей книги возвещает о сделанном им открытии: об отличии «абстрактного» труда от «экономического». Этому открытию наш автор приписывает чрезвычайно важное значение: оно должно раз навсегда положить конец спорам между сторонниками социологической и физиологической версий абстрактного труда. Споры эти имеют своим источником не более и не менее, как «невероятное почти недоразумение» (стр. 14), рассеять которое призван наш проницательный автор: сторонники обеих версий просто-на-просто не заметили, что у Маркса, на ряду с понятием абстрактного труда, имеется еще понятие экономического труда. «Как это на первый взгляд ни покажется парадоксальным, основным источником неразрешенного до сего времени спора является невероятное почти недоразумение, об'единяющее оба направления на одной и той же исходной ошибке. И сторонники и противники господствовавшей ранее интерпретации, опираясь одинаково на труды Маркса, непосредственно отождествляют без всякого на то научного основания далеко не покрывающие друг друга,—родственные, но, тем не менее, не идентичные,—понятия «абстрактного» и «экономического» труда» (стр. 14). «Отмеченная исходная ошибка—непосредственное отождествление экономического труда с абстрактным—приводит сторонников разных точек зрения различными путями к ложному истолкованию проблемы, и марксово учение о труде не находит правильного отражения ни в одной из них» (стр. 15).

Казалось бы, Шабс, выступая с открытием, которое до сих пор не было известно ни одному марксисту, должен был привести в его пользу веские доказательства. Ведь недаром наш автор пренебрежительно отзывается о всех марксистах--«сторонниках и противниках господствовавшей ранее интерпретации», которые высказывали свои мнения «без всякого на то научного основания». Какие же «научные основания» приводит наш проницательный автор в пользу своего открытия? Маркс сотни раз говорит об абстрактном труде, и ни разу при этом не упоминает о каком-то «экономическом» труде, якобы отличном от абстрактного труда. Если бы Шабс не обнаруживал «невероятного почти» легкомыслия насчет «научных оснований», долженствующих подкрепить его утверждения, он не решился бы строить свое открытие на приведенной цитате из Маркса. Во всяком случае, он счел бы нужным обратиться к самому подлиннику, и тогда он убедился бы, что и на этот раз, как и раньше, все его открытие имеет своим источником «невероятное почти недоразумение»: и на этот раз Шабс сделался жертвою неточного перевода слов Маркса. Ни о каком «экономическом» труде у Маркса нет речи, как в этом может убедиться всякий, кто заглянет в «Kritik der politichen Oekonomie» (1907, стр. XXXIX). Здесь он прочтет: «Однако, экономически рассматриваемый в этой простейшей форме, «труд» есть столь же современная категория, как и отношения, которые порождают эту простую абстракцию» [1]).

Мысль Маркса вполне ясна: поскольку понятие «труда вообще», «труда в простейшей форме» рассматривается с экономической точки

[1]) В подлиннике сказано: «Dennoch, oekonomisch in dieser Einfachheit gefasst, ist «Arbeit» eine ebenso moderne Kategorie» и т. д. Во 2-м издании сборника «Основные проблемы политической экономии» (1924 г., стр. 26), где перевод «Введения к критике политической экономии» дан в исправленном виде, Шабс мог бы прочесть: «Однако экономически «труд», взятый в этой простейшей форме, есть столь же современная категория» и т. д.

зрения (а не с точки зрения физиологической, психологической и т. д.), оно представляет собою «современную категорию», характеризующую товарно-капиталистическое хозяйство, а именно категорию абстрактного труда, образующего стоимость. Тот абстрактный труд, на котором Маркс строит свою теорию стоимости, и есть труд, рассматриваемый с экономической точки зрения. Категория абстрактного труда и есть основная экономическая категория марксовой теории стоимости. Ни о каком «экономическом» труде у Маркса нет речи [1]).

Хотя Шабс не подозревает, что он и на этот раз сделался жертвою неточного перевода, однако он не мог не обратить внимания на то странное обстоятельство, что Маркс нигде не проводит различия между абстрактным трудом и экономическим трудом. Шабс и ставит этот вопрос: «Почему Маркс многократно допускает в «Капитале» неточности в словоупотреблении, определяя стоимость то как выражение абстрактного труда, то общественного, тогда как стоимость как социальная категория может лишь являться выражением последнего, но не первого» (стр. 98. Курсив наш.—И. Р.). Шабс приводит две причины для об'яснения того, почему Маркс допускает «неточности в словоупотреблении». «Если при этом у Маркса в «Капитале» это соотношение (между абстрактным и экономическим трудом.—И. Р.) не нашло, однако, достаточно отчетливого и исчерпывающего выяснения, то мы этому факту видим об'яснение отчасти в том, что внимание Маркса было несравненно более поглощено разграничением противоположных понятий конкретного и абстрактного труда; а эти последние в своем существе отделены такой глубокой и непроходимой пропастью..., что в его глазах это уничтожило, так сказать, теоретическую дистанцию между абстрактным трудом и экономическим... Отчасти это об'ясняется также тем, что Маркс рассматривает абстрактный труд не в его качестве функции человека вообще в их непосредственной связи друг с другом (как это имеет место в физиологии), а как функцию социального человека, товаропроизводителя... так что сближение этих понятий достигает практически того предела, при котором остается лишь одно условное теоретическое их разграничение» (стр. 100).

Итак, первое об'яснение Шабса сводится к тому, что вопрос о противоположности абстрактного и конкретного труда «заслонил» перед Марксом необходимость разграничения этих двух сродных, но не идентичных понятий: абстрактного и экономического труда» (стр. 100. Курсив наш.—И. Р.). Странно слышать такое об'яснение из уст Шабса, претендующего на роль наиболее правоверного комментатора Маркса. Шабс обвиняет других в том, что они вносят в учение Маркса «новеллы», а между тем, сам он вносит совершенно неизвестное Марксу разграничение между абстрактным и экономическим трудом. Шабс упрекает меня в том, что я будто бы «критикую» Маркса и обвиняю его

[1]) Чтобы несколько смягчить свое расхождение с терминологией Маркса, Шабс иногда вместо названия «экономический» труд употребляет термин «общественный» труд. Но и это не спасает Шабса. Различие между абстрактным и общественным трудом имеет у Маркса и у Шабса совершенно различный смысл. У Маркса абстрактный труд есть разновидность общественного труда, а именно общественный труд в той специфической форме, которую он имеет в товарном хозяйстве. У Шабса же дело обстоит как раз наоборот: общественный (т.-е. экономический) труд есть разновидность абстрактного труда, а именно абстрактный труд в той специфической форме, которую он имеет в товарном хозяйстве. В данном вопросе, как и во многих других, Шабс пишет карикатуру на Маркса и заявляет, что это и есть настоящий Маркс.

в «противоречиях», а, между тем, сам он утверждает, что Маркс просто-на-просто не заметил «необходимость разграничения» тех понятий, которым он, Шабс, придает решающее значение для понимания марксовой теории. Шабс с легким сердцем бросает и «сторонникам и противникам господствовавшей ранее интерпретации» упрек в том, что они высказывали свои мнения «без всякого на то научного основания», а, между тем, сам он считает достаточным «научным основанием» апелляцию к мнимой рассеянности Маркса.

Если в своем первом об'яснении Шабс просто-на-просто обвиняет Маркса в том, что он «проглядел» различие между абстрактным и экономическим трудом, то во втором своем об'яснении он вынужден сам признать, что Маркс имел весьма серьезное основание для того, чтобы рассматривать абстрактный труд как экономический труд, т.-е. как социальную и историческую категорию. По признанию самого Шабса, «Маркс рассматривает абстрактный труд не в его качестве функции человека вообще..., а как функцию социального человека, товаропроизводителя» (стр. 100). Вспомним теперь, что, согласно терминологии Шабса, абстрактный труд, рассматриваемый как функция товаропроизводителя, означает не абстрактный труд «как таковой», а «абстрактный труд в его экономическом значении», иначе говоря: «экономический труд. Следовательно, из слов самого Шабса мы вправе сделать следующий вывод: Маркс рассматривает труд не в качестве абстрактного труда как такового, а в качестве экономического труда. Иначе говоря, под трудом Маркс понимает не физиологический труд как таковой, а труд, организованный в определенной социальной форме. Но ведь именно в этом и заключается центр спора между сторонниками социологической и физиологической версии труда. Именно в этом решающем пункте Шабс вынужден признать банкротство того наивного представления, согласно которому Маркс под трудом понимает «функцию человека вообще» или затрату человеческой энергии в физиологическом смысле.

Итак, сам Шабс вынужден признать, что предметом своего исследования Маркс берет труд как функцию товаропроизводителя, а не как функцию человека вообще. Но, вместе с тем, мы знаем, что Маркс постоянно называет этот труд абстрактным. Не очевидно ли после этого, что у Маркса абстрактный труд означает труд как функцию товаропроизводителя, а не труд как функцию «человека вообще»? Не очевидно ли, что Шабс вносит только величайшую путаницу, прилагая термин «абстрактный», в противоположность Марксу, именно к последнему труду, а не к первому (для которого он изобрел термин «экономический»)? То, что Шабс называет экономическим трудом, носит у Маркса название абстрактного труда[1]) и составляет непосредственный об'ект его изучения; а то, что Шабс называет абстрактным трудом, есть не что иное, как физиологический труд, составляющий предпосылку, но не об'ект марксова исследования. Каждому марксисту известно, что в марксовой теории стоимости труд называется абстрактным трудом и нигде не называется экономическим трудом. А между тем, Шабс, благодаря созданной им терминологической путанице, должен притти к выводу, что об'ектом исследования у Маркса является экономический труд, а не абстрактный труд как такой. Зачем же новыми терминами запутывать и без того сложный и запутанный вопрос? Не лучше ли последовать примеру Маркса и применять термин «абстрактный» к труду товаропроизводителя, а не «человека вообще»?

[1]) Поэтому мы очень охотно принимаем упрек Шабса, который говорит, что «Рубин везде употребляет «абстрактный труд» в полном значении экономического» (стр. 19, прим.). Именно в этом смысле термин «абстрактный труд» употребляется Марксом.

Под терминологической путаницею, созданной Шабсом, мы нашли у него ценное признание, что об'ектом исследования у Маркса не является «абстрактный труд как таковой», т.-е. физиологический труд, как таковой. Более того, Шабс вынужден признать, что этот труд вообще не является об'ектом исследования политической экономии. «Абстрактный труд рассматривается в политической экономии не в качестве функции человека как такового (в его естественном значении), а как функция общественного человека-товаропроизводителя» (стр. 99, также на стр. 135). Из этого второго ценного признания Шабса мы можем сделать вывод: труд, являющийся об'ектом исследования политической экономии и, в частности, марксовой теории стоимости, представляет собою не физиологическую и внеисторическую категорию, а категорию социальную и историческую.

Наконец, третье и еще более важное признание Шабс делает тогда, когда утверждает, что «абстрактный труд как таковой» не образует стоимости и не находит своего выражения в стоимости. По мнению Шабса, «Маркс многократно допускает в «Капитале» неточности в словоупотреблении, определяя стоимость то как выражение абстрактного труда, то—общественного (т.-е. «экономического».—И. Р.), тогда как стоимость, как социальная категория, может лишь являться выражением последнего, но не первого» (стр. 98. Курсив наш.—И. Р.). Здесь Шабс оказывается более последовательным и смелым, чем И. Дашковский. Последний утверждает, что «внеисторическая» категория абстрактного труда находит свое выражение в «исторической» категории стоимости. Шабс же называет нелепым утверждение Дашковского, что «исторические категории суть проявления внеисторических законов» (стр. 68, прим.). Но ведь стоимость является исторической категорией, абстрактный же труд как таковой признается Шабсом категорией внеисторической. Таким образом, Шабсу не остается другого выхода, как признать, что стоимость не является выражением абстрактного труда.

Этот вывод Шабса представляет для нас двойную важность. Во-первых, он ясно показывает, что тот абстрактный труд, который, по учению Маркса, образует стоимость и находит свое выражение в стоимости, представляет собою категорию социальную и историческую. Во-вторых, своим выводом Шабс приводит к абсурду не только свое собственное построение, но физиологическую версию абстрактного труда вообще. Все запутанные рассуждения и терминологические новшества Шабса привели его к выводу, что абстрактный труд: 1) не составляет об'екта исследования политической экономии и, в частности, марксовой теории стоимости, и 2) не находит своего выражения в стоимости. Но ведь оба эти положения резко противоречат учению Маркса. Именно абстрактный труд Маркс делает предметом своего исследования. Именно абстрактный труд, по учению Маркса, образует стоимость и находит свое выражение в стоимости. Понятие абстрактного труда введено Марксом в науку именно для того, чтобы об'яснить явления стоимости. А Шабс утверждает, что стоимость не является выражением абстрактного труда. Этим выводом Шабс благополучно довел свое построение до абсурда.

Мы можем быть благодарны Шабсу. Он не только сам проделал за нас работу доведения до абсурда своего собственного построения. Его пример также ярко освещает тот путь, на который, повидимому, вынуждены будут ступить все «физиологисты». После критики физиологического понимания абстрактного труда, данной мною в «Очерках по теории стоимости Маркса», Шабс не может не признать, что физиологический труд как таковой, не образует стоимости. А так как Шабсу не хочется отказаться от физиологического понимания абстрактного труда, то ему не остается другого выхода, как признать, что абстрактный труд не образует стоимости и не находит своего выражения в стоимости. Отрицание за абстрактным трудом способности образовать стоимость, или разрыв между абстрактным трудом и стоимостью,—таков тот вывод, к которому необходимо приводит физиологическое понимание абстрактного труда. Признаки такого разрыва встречаются и у И. Дашковского. Но Дашковский сохранил еще слабую пуповину, связывающую стоимость с абстрактным трудом, при помощи допущения, что внеисторическая категория абстрактного труда находит свое выражение в исторической категории стоимости. Шабс, от внимания которого не ускользнула методологическая ложность подобного допущения, вынужден был окончательно разрезать эту пуповину и заявить, что абстрактный труд как таковой не находит своего выражения в стоимости,—утверждение, резко противоречащее марксовой теории стоимости. К этому же утверждению приближался А. Кон в прениях по поводу моего доклада «Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса» [1]). Чем скорее сторонники физиологической версии абстрактного труда последуют в данном вопросе примеру Шабса, тем яснее читатель увидит, в какой мере эта версия противоречит основам теории стоимости Маркса.

[1]) И. Рубин, Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса, издание РАНИОН'а (выходит из печати).

Роль кредита и границы кредитной экспансии при капитализме.

(Окончание) [1]).

З. Атлас.

III. Экспансивистическая теория кредита.

(«Капитало-творцы»).

«Повидимому, каждому столетию суждено было иметь директора банка, который ошарашивал мир экстравагантной теорией кредита: в XVIII столетии—Ло, в XIX столетии—Маклеод и XX столетии—Ган».

Карл Диль.

Исходные пункты экспансивистической теории. —

(Ло, Маклеод, Ган).

Экспансивистическое направление в теории кредита решительно порывает с натуралистическими представлениями о сущности капитала и кредита и пытается вскрыть роль последнего в процессе общественного воспроизводства. В отличие от статических по преимуществу теорий натуралистов, экспансивисты главное свое внимание сосредоточивают на динамических процессах капиталистической экономики.

Если натуралисты первую и основную задачу кредитной теории видят в эмпирическом конструировании самого понятия «кредит», следовательно, ставят перед собой формально-догматическую задачу, то экспансивисты почти не занимаются разработкой понятия «кредита», и главное свое внимание концентрируют на кредитном процессе и его роли в капиталистической системе.

* * *

Нельзя, конечно, говорить о полном тождестве теорий крупнейших представителей этого направления. Мы, однако, будем говорить об общих принципах и основах экспансивистической теории, и сосредоточим наше внимание на тех моментах, которые вообще характерны именно для данного направления теоретической мысли.

Мы не ставим себе целью дать исчерпывающую критику систем главных представителей экспансивистической теории: наша задача заключается лишь в том, чтобы выяснить, могут ли быть использованы для построения научно-правильной теории кредита самые общие и основные положения экспансивистического направления.

Для натуралистов реален только капитал—блага. Остальное—чистая фикция. И деньги—это тоже фикция богатства, но не само бо-

[1]) См. «П. Зн. М.» № 2 за 1928 г.

гатство. С этой точки зрения реальность кредита заключается в тех благах, которые передаются из одних рук в другие. Независимо от этих благ, кредит как реальная ценность—не существует, он есть—фикция.

Диаметрально противоположен взгляд экспансивистов. Для них кредит и помимо тех благ, которые передаются из рук в руки, представляет нечто реальное, имеет ценность и, в качестве последнего, фигурирует в экономической жизни на ряду с другими «реальными ценностями» (благами). В чем же реальность кредита?

«Кредит так же хорош, как и деньги». Кредит, основанный на простом доверии к обязательству будущего платежа, является платежным и покупательским средством в данный момент. А так как экспансивисты отождествляют сущность денег с их формой средств обращения и платежа, то из этого ложного положения они делают логически правильную дедукцию: кредит, обладая покупательской силой, есть деньги.

Далее: мы знаем, что деньги есть форма, в которой авансируется и в которой в то же время и выражается функционирующий капитал. Если вы авансируете деньги промышленнику или купцу, то ясно, что вы авансируете их, как капитал. Следовательно, кредит создает капитал, и тот, кто обладает кредитом, располагает поэтому и добавочным капиталом, и отсюда кредит для него есть капитал.

Наконец, так как банк, выпуская ноты или открывая текущие счета клиентам, может создавать для себя кредит, а так как кредит есть деньги, а деньги есть капитал, то ясно, что банк, создавая кредит, создает в то же время и капитал.

Такова логически-последовательная нить фетишистической концепции, которая покоится на ложности всех звеньев логической цепи: деньги—капитал—кредит. Перед нами законченный фетишизм: в деньгах они видят не общественное отношение, но покупательское средство; капитал тоже не общественное отношение, но деньги, умножающие деньги, и производство—лишь средство для этого. Отсюда и кредит—просто деньги, умножающие деньги и, следовательно, капитал.

Нельзя не согласиться с мнением некоторых экономистов о том, что кредитные теории Гана и Шумпетера лишь расширенно воспроизводят концепцию Маклеода, которого и следует считать главнейшим теоретиком экспансивистической теории.

Известно, что против учения Маклеода в Германии ополчились лучшие теоретики кредита, как Вагнер, Книс, Лексис, Коможинский, и одно время, повидимому, считалось, что с этим направлением «покончено». Действительность опровергла эти предположения, и нужно сказать, что сейчас это направление сильнее, чем когда бы то ни было: помимо крупнейших официальных защитников этой теории, мы имеем ряд «негласных» ее сторонников и, кроме того, «колеблющихся».

Основателем этого направления всеми считается знаменитый Джон Ло. Нас сейчас совершенно не интересует вопрос о том, являлся ли Ло простым прожектером, как считал Кошю, или социал-демократическим апостолом, как это представлялось Луи Блану, или идеалистом-утопистом, как утверждал Бордильяр. Несомненно только то, что в теории Ло был стопроцентным фетишистом, именно денежно-кредитным фетишистом, вполне разделявшим

господствующие в его время обще-теоретические меркантилистические иллюзии.

Ло совершенно определенно указывает, что богатство нации зависит от количества денег в стране (а не наоборот):

«Итак, для того, чтобы обладать могуществом и богатством соответственно другим нациям, мы должны были бы обладать деньгами в соответствующей пропорции, ибо без денег самые лучшие законы не могли бы дать работы населению, ни усовершенствовать производство, ни расширить мануфактуры и торговлю» [1]). И именно выпуск бумажных денег по Ло [2]) и дает возможность «расширить мануфактуры и торговлю». (То же значение придает кредитной эмиссии новейшая экспансивистическая теория кредита). Отсюда ясно, что выпускать бумажные деньги—значит создавать новый капитал, ибо без этих дополнительных денег не появились бы новые мануфактуры и пр.

Во-вторых, хотя Ло сначала и утверждает, что «кредит, который обещает уплату в деньгах, не может быть расширен свыше массы денег в обращении» [3]), однако в дальнейшем считает целесообразным нарушение этой монетарной границы кредита, и его не пугают даже возможные крахи кредитных учреждений от чрезмерного выпуска обязательств, играющих роль денег.

Это мотивируется тем, что Франция никогда не имела достаточного количества денег: «Масса бедных,—говорит Ло,—которую мы всегда имели, является большой презумпцией того, что мы никогда не имели достаточного количества денег» [4]).

Вот почему Ло выступает горячим защитником того, что новейшие экономисты называют «кредитной экспансией», при чем, так же, как и Маклеод—Цишковский—Ган—Шумпетер, Ло отождествляет деньги с кредитом.

«Кредиты необходимы и полезны,—говорит Ло,—они производят тот же эффект и то же благо в торговле, как если бы количество денег увеличилось» [5]). И, наконец, Ло прямо предвосхищает Гана, утверждая, что банк создает кредит (а кредит есть деньги): «Создание кредита,—пишет Ло во «Втором мемуаре о банках»,—через посредство банка увеличило бы в течение года количество денег в гораздо большей мере, чем это сделала бы выгодная торговля в течение десяти лет: поэтому для Франции необходимо прибегнуть к помощи кредита—или же она будет находиться в состоянии слабости по сравнению с другими державами, которые пользуются кредитом [6]).

Развивая дальше количественно-механическую теорию процента, аналогичную Монтескье и противоположную Юму (который считает, что % не зависит от количества денег в стране), Ло полагает, что новые выпуски денег при посредстве кредита могут снизить процент, привести к обилию капиталов и всеобщему процветанию Франции: «Только обилие денег,—говорит Ло в том же мемуаре,—может естественным образом (?) вызвать беспрепятственно этот хороший эффект; только учреждение кредита может доставить обилие денег и дать первый толчок (premier

[1]) Law, Considerations sur le numeraire, éd. E. Daire, Collection etc., t. I, p. 506.
[2]) Ibidem, p. 546 и в других местах.
[3]) Ibidem, p. 507.
[4]) Ibidem, p. 546.
[5]) Ibidem, p. 554.
[6]) Ibidem, p. 609.

mouvement), который в дальнейшем даст Франции эти блага»[1]) (Курсив наш.—З. А.).

И именно этот «первый толчок» является фундаментом новейшей экспансивистической теории, и, например, Шумпетер строит на этом всю свою систему кредита и хозяйственной динамики.

Приведенные выше взгляды Ло на деньги и кредит и их роль в хозяйственной жизни дают основание формулировать следующим образом «систему» Джона Ло: деньги—это капитал, кредит—это деньги, бумажные деньги—это кредит.

Отсюда: выпуск бумажных денег есть создание кредита, создание кредита есть создание капитала, следовательно, выпуск бумажных (кредитных) денег есть создание капитала[2]).

Хотя в таком виде «система» Джона Ло не была формулирована самим ее творцом, однако, как это ясно из вышеизложенного, приведенная формула вполне соответствует «духу» всей его теории, внутренней логике его «системы». И в этой формулировке даны уже основные принципы экспансивистической теории. Из этой последней не может быть поэтому вычеркнуто имя Джона Ло, ибо эволюция этой теории начинается с Джона Ло, подлинного «отца» современных экспансивистов.

В дальнейшем основные исходные положения этой школы основательно фундаментировал Маклеод, который обосновал тот же тезис Ло: кредит есть деньги и деньги есть кредит. Кредит есть деньги потому, что, располагая кредитом, вы можете так же приобретать блага, как и в том случае, когда у вас имеются наличные. Кредит же основан на доверии, следовательно, и доверие имеет силу денег.

Если кредит есть деньги, то, с другой стороны, и деньги есть кредит, ибо если вы получаете за продукт деньги, то это вы делаете лишь в доверии к тому, что за деньги можно получить различные блага. Следовательно, когда вы продаете за наличные, то вы тоже оказываете кредит, ибо деньги есть только кредитный документ. Отсюда продажа за наличные есть продажа в кредит, а продажа в кредит есть продажа за наличные, ибо и наличные (деньги) есть тоже кредит.

Логика заставляет Маклеода причислить к деньгам не только банкноты, чеки, векселя, жиро-счета, но даже и почтовые марки, ибо все эти об'екты могут служить платежным средством и погашать долги.

Маклеод рассматривает кредит, как дополнительные деньги, как прибавку к наличным в стране деньгам. Банки, с его точки зрения, в форме депозитов и нот создают своим кредитом новые деньги, и поэтому он считает, что кредит имеет такое же значение для хозяйства, как Нил для Египта!

«Создавая кредит в пользу своего клиента,—говорит Маклеод,—банкир извлекает такую же прибыль, как если бы выдал ему наличные деньги. Из этого, очевидно, следует, что банковый кредит есть банковый капитал», а поскольку и торговый кредит есть также капитал, постольку вообще «кредит есть капитал»[3]).

[1]) Ibidem, p. 612.

[2]) Ср. Горн, Джон Ло. Опыт исследования по истории финансов, пер. с немецкого И. Шипова, стр. 87—88, Спб. 1895.

[3]) Маклеод, Основания политической экономии, стр. 313, пер. Веселовского, Спб. 1865.

Однако здесь нужно отвести возражение немецких критиков Маклеода (Книса, Коможинского, Диля), будто бы при логическом развитии его теории следует признать, что банк, благодаря кредиту, создает «нечто» из «ничего». Это, конечно, неверно, ибо, возражая против натуралистической трактовки капитала Сэя и сделанного последним на основе этой трактовки вывода—«кредит не умножает капиталы», Маклеод подчеркивает, что кредит, очевидно, есть вид невещественного капитала», и, следовательно, банк увеличивает не конкретно-материальную, но именно эту «невещественную форму капитала».

Деятельность банка, по Маклеоду, «заключается в создании обязательств, в умножении долгов, которые должны исполнить все обязанности денег и которые, исполняя эти обязанности, равносильны во всех отношениях такому же капиталу»[1]).

Этим, конечно, не сказано, что банк создает хлеб из воздуха, как это хотят представить критики Маклеода, но здесь фетишизм денег и капитала достиг своего апогея. Для Маклеода капитал—это все, что может принести прибыль (прибавочной стоимости для него не существует), и если выпуск банком «долгов» (т.-е. банкнот или открытие текущих счетов) приносят прибыль, значит то, что выпускается, есть действительный капитал, именно «невещественный капитал», который равен «вещественному капиталу».

Вместо того, чтобы вскрыть действительную природу эмиссионной и «банкотворческой» вообще прибыли, Маклеод, как вульгарный экономист, удовлетворяется констатацией того, что это есть прибыль, и «открывает» тот «капитал», который приносит эту прибыль.

То же непонимание сущности кредита и отождествление формы платежного средства с деньгами, денег с кредитом, а кредита с доверием мы находим и у новейшего представителя экспансивистической теории кредита—Гана. «Чек или жиро-счет,—утверждает Ган,—который в качестве платежного средства переходит от одного лица к другому, только юридически суть право требования на деньги, а с экономической точки зрения, когда и поскольку, они не разменяются на валютные деньги,—суть не только право на деньги, но и сами деньги»[2]).

И для него, также как и для Маклеода, об'ектом ссуды является кредит как таковой, т.-е. доверие, а поскольку кредит есть деньги, а деньги ссужаются всегда, как капитал, постольку вывод ясен: банк создает новый капитал. Правда, такого категорического вывода о создании капитала банком Ган, в отличие от Маклеода, не делает, видимо, потому, что заранее хочет предохранить себя от плоских обвинений в создании «нечто» из «ничего», в чем обвиняли Маклеода. У Гана мы не находим метафизического понятия, «невещественного капитала», и поэтому Ган не может сказать, что кредит есть капитал, и что отсюда создание кредита есть создание капитала.

По Гану банк создает не капитал, но кредит, и именно «кредит в буквальном смысле слова»; а уже кредит является средством создания капиталов и расширения производства. Отсюда «первичные банки» (Primärbanken) суть те банки, которые «создают кредит» (Kreditschöpfungsbanken), а «вторичные банки» (Sekundärbanken) только посредничают в кредите (Krediterscheinungsbanken)[3]).

[1]) Ibidem, стр. 334.

[2]) «Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits», стр. 19, Thübingen 1920.

[3]) Ibidem, S. 56—58.

Из основного положения Маклеода о способности банков при посредстве кредита создавать покупательскую силу, вытекает и знаменитый тезис Гана о приоритете активных операций, который и является центральным пунктом нападок его современных критиков.

Ган утверждает, что пассивным операциям предшествуют активные банковские операции, и что депозит создается открытием клиенту банка кредита по текущему счету, и поэтому «пассивные операции банка являются ничем иным, как рефлексом уже совершенных операций по предоставлению кредита» [1]). Хотя Маклеод в такой определенной форме и не высказал этого тезиса, но то, что он логически вытекает из всей его теории — это не представляет никаких сомнений, и поэтому и Ган, и Шумпетер не имеют никаких оснований считать свою теорию «новой теорией кредита».

Мы не согласны с этим положением Гана, но в то же время не согласны и с его многочисленными противниками, которые категорически утверждают обратное Гану.

С нашей точки зрения, марксист не имеет права занять ни той, ни другой позиции в этом споре, ибо никакого «закона» здесь установить нельзя. Активные операции могут развиваться на основе уже сконцентрированных пассивов, но могут иметь место и без них, и в этом случае пассивы можно действительно рассматривать, как рефлекс активных операций. Такова именно конкретная действительность, и нет никаких оснований строить теорию, которая бы обнимала лишь одну сторону этой последней. Между тем, обе теории насилуют действительность именно ради своей догмы.

И Коклен, и Маклеод, и Ган, и Шумпетер с фактами в руках доказали, что банки предоставляют кредит сверх об'ема действительно привлеченных ими средств, и что эти последние не представляют поэтому границы для кредитования. Это факт, и, как мы уже отмечали, не опровергнутый и не могущий быть опровергнутым натуралистами.

Но насколько верно, что активные операции вообще «предшествуют» пассивным, следовательно, собранным банками, средствам? Этот тезис Гана в такой абсолютной форме безусловно ложен, ибо совершенно ясно, что «предоставлять кредит» может не всякий, но только тот банк, который сам обладает некоторыми средствами, и именно без этих средств нет и не может быть того самого кредита-доверия, которыми торгуют, по Гану-Маклеоду, банки! Следовательно, уже само доверие-кредит является производным от наличных средств, сконцентрированных в банке в форме выпуска акций, облигаций или приема вкладов. И это тоже факт, который «новая теория кредита» не в состоянии опровергнуть, ибо она не может указать ни одного случая создания «первичного банка» без всяких наличных средств.

Но этим мы вовсе не утверждаем того, что наперекор тоже фактам упорно твердит натуралистическая теория, будто бы пассивы банков или реальные наличные средства всегда связывают активные банковские операции. Мы утверждаем, что кредитование обязательно предполагает накопление, но вовсе не то, что денежное накопление является эффективной абсолютной границей кредитования.

[1]) Ibidem, S. 29

Банки имеют много средств развивать кредитование за пределы этой границы, и тем самым толкать производство за пределы наличных фондов, как денежного накопления, с одной стороны, так и потребительского спроса, с другой. И «зерно истины» экспансивистической теории кредита заключается в том ее утверждении, что фактически не могут быть установлены точно-фиксированные границы, которые определяли бы об'ем кредита в каждый данный момент, точнее: об'ем кредитной эмиссии, и что хозяйственная динамика и есть не что иное, как процесс постоянного нарушения этих границ. Однако экспансивисты далеко не вскрыли сущность и внутреннюю закономерность кредита в капиталистической динамике, но только эмпирически-верно уловили ту эластичность, которую придает кредит циклическому движению кон'юнктуры.

* * *

Вопрос о роли и функциях кредита в капиталистической экономике сейчас рассматривается нами под углом зрения так называемой проблемы о «творческой роли кредита», при чем в этой проблеме мы различаем три момента:

1) «Создает» ли кредит капитал из данных в обществе материальных фондов или только «переносит» существующий капитал, т.-е. возможно ли накопление без кредита? Решение этого вопроса даст нам возможность выяснить роль кредита, как формы накопления.

2) Увеличивает ли кредит массу функционирующих капиталов в том случае, если под последними понимать также и денежные капиталы? Ответ на этот вопрос приведет нас к определению необходимости кредита как формы обращения.

3) «Создаются» ли при посредстве кредита новые производительные капиталы, следовательно, новые материальные фонды, или только используются наличные «капиталы»? Решение этого последнего вопроса даст нам ответ и на вопрос о границах кредитной экспансии и ее роли в капиталистической динамике.

Кредит как форма накопления и капиталораспределения.

Мы знаем, что натуралисты считают кредит только «перенесением» уже существующего капитала, следовательно, с их точки зрения, и без кредита наличные материальные фонды суть капитал. Мы показали ошибочность этого взгляда. Иначе разрешают этот вопрос экспансивисты:

«Без кредитования (Krediteinräumung),—говорит Ган,—никакие материальные блага не могли бы производиться, не могло бы произойти никакое капиталообразование для производства средств производства. Кредитование есть то, что притягивает к себе капиталообразование, как вторичное явление, подобно тому, как всякий спрос вызывает деятельность для его удовлетворения—производство. Кредитование есть не только причина капиталообразования, оно

является также определяющим началом для их соединения, их величины, и даже для распределения между субъектами в народном хозяйстве»[1]) (Разрядка наша.—З. А.).

На это очень важное положение Гана Карл Диль отвечает ссылкой на то, что капиталообразование может происходить и без кредита, а именно: на основе использования предприятиями прироста собственных средств[2]). Мы считает это возражение теоретически неосновательным и эмпирически неверным. Гигантский рост крупно-капиталистического производства во второй половине XIX века и в первой четверти XX века, конечно, нельзя об'яснить собственным капиталообразованием внутри промышленности, но, главным образом, той широчайшей аккумуляцией всего общественного накопления, которая происходила по преимуществу в кредитной форме. И характерным для современного капитализма следует, конечно, считать не собственное накопление промышленности, но «эксплоатацию» последней чужих «капиталов», следовательно, аккумуляцию чужих средств.

Вот почему мы считаем совершенно правильным тезис Гана о том, что если бы не было возможности кредитования, то не мог бы произойти колоссальный рост гигантских капиталистических предприятий, производящих средства производства, а при наличии этой системы крупного производства без возможностей «кредитования» не могло бы иметь места и индивидуальное накопление (которое в современном капитализме обязательно должно принять общественную, именно банковую или акционерную форму[3]). И именно в этом смысле мы

[1]) Цит. соч., S. 121.

[2]) «Theoretische Nationalökonomie», II Bd., S. 571.

[3]) Этой правильной трактовке Ганом кредита, как специфической и необходимой формы капиталообразования в условиях современного капитализма небесполезно противопоставить широко распространенный и в наши дни взгляд на кредит, как на простую передачу наличного капитала. Эту пресную «истину» распространяет и Шарль Жид, автор, по свидетельству В. Тотомианца, «самого распространенного в мире руководства по политической экономии», переведенного на 12 языков и выдержавшего массу изданий. «Кредит,—говорит Ш. Жид,—состоит, как мы видели, в передаче богатства, капитала из рук в руки...» («Основы политической экономии», перевод под редакцией Тотомианца, Москва 1916, стр. 355).

Из отождествления в духе классических робинзонад товара с продуктом капитала с товаром и, следовательно, капитала с продуктом, можно прийти лишь к вульгарно-натуралистическому, а вместе с тем и фетишистическому (ибо продукт наделяется свойствами товара и капитала по своей «природе») пониманию кредита.

Жид признает замечательной идеей бессодержательное определение кредита Дж. Ст. Милля, которое мы подвергли критике в первой статье: «Кредит есть лишь—как удивительным образом (sic!) выражается Стюарт Милль—позволение пользоваться чужим капиталом» («Основы», стр. 355). Удивляться приходится не этому определению, но тому, как Жид не понимает, в каком вопиющем противоречии находится это определение с теми фактами, которые не может не заметить и сам Жид. Двумя страницами выше он говорит: «Между тем, в такой стране, как Франция, миллиардами насчитываются капиталы, которые, таким образом, из'емлются из области бесплодного накопления или непроизводительного потребления и оплодотворяются кредитом» («Основы», стр. 357). Но из этого же совершенно очевидно, что Франция без кредита не была бы капиталистической страной и что, следовательно, кредит для Франции—это не простое «разрешение отдельных лиц пользоваться их «капиталами» другим лицам, но об'ективный и приватный закон, абсолютно необходимая и единственная форма капиталообразования. И в этом смысле можно с полным правом говорить, что именно кредит «создал» для Франции те самые миллиарды капиталов, которые без кредита, по свидетельству самого Жида, были бы обречены на «бесплодное копление и непроизводительное потребление», т.-е. не были бы капиталами!

Но собственно Жид в этом вопросе ни в коей мере не «оригинален». Он лишь повторяет в XX веке то, что, быть может, имели некоторое основание утверждать

можем сказать, что «кредитование» является необходимой формой для соединения «капиталов» и их распределения между индивидуумами, и именно отсюда и вытекает необходимость кредита для капитализма, который только благодаря наличию этой «общественной формы капитала» и способен до известных пределов развивать производительные силы.

Конечно, эту мысль о кредите, как необходимой и специфической для капитализма формы накопления и капиталораспределения, нельзя считать специально гановским «открытием». Вполне отчетливое понимание необходимости кредита, как формы капиталообразования можно встретить у забытого ныне экономиста шестидесятых годов Германа Рёслера. Он указывает, что кредит «сам по себе ничего не производит», однако кредит «создает капиталы, так как благодаря кредиту становятся производительными блага, которые без кредита лежали бы мертвыми или уничтожались бы»[1]). На основе правильного понимания кредита, как формы капиталонакопления, Рёслер приходит к выводу о необходимости кредита для капиталистической системы. «Кредит,—говорит Рёслер,—не есть нечто произвольное, но является необходимым плодом хозяйствования Wirtschaftlichkeit»[2]). Он рассматривает кредит, как необходимую предпосылку деятельности каждого отдельного предприятия и как необходимую предпосылку для всего народного хозяйства: «Кредит является необходимым (unentbehrliche) дополнением к системе разделения труда»[3]) (Разрядка наша.—З. А.). Эту же мысль кратко и отчетливо выразил еще Коклен, который на вопрос: «умножает ли кредит капиталы» ответил в двух словах: «отчего же нет, так как без участия кредита не образовались бы капиталы»[4]).

авторы первой половины XIX века. Так, если мы раскроем также широко распространенный в свое время курс K. Rau «Grundsätze der Volkwirtschaftslehre», то в нем мы прочтем буквально то же самое: «Действие кредита,—говорит Рау,—заключается в основном в оживлении товарного обращения, и в особенности в более легкой и частой передаче наличного капитала» («Grundsätze», siebente Ausgabe, 1863, S. 348). Однако то противоречие между пониманием сущности кредита и фактами действительности, которое мы выше отметили у Жида, уже стояло и перед Рау. Перечисляя функции кредита, Рау приходит к заключению, что «хотя кредит сам по себе никакого капитала не производит, однако он все же может содействовать увеличению массы капиталов в стране» (Там же).

Если в эпоху развивающегося промышленного капитализма и расцвета индивидуализма ложная трактовка сущности кредита, исключительно как перенесения наличного капитала, исторически понятна, то подобное определение кредита в условиях монополистического капитализма и господства финансового капитала говорит лишь о консерватизме современной экономии, которая, несмотря ни на что, не может сдвинуться ни на шаг в сравнении, например, с популярным Рау.

Во избежание недоразумений считаем необходимым здесь же подчеркнуть, что, выдвигая на первый план понятие кредита, как необходимой для капитализма формы капиталообразования, мы вместе с тем отнюдь не отрицаем, что кредит является также и формой перенесения («передачи») наличного капитала. Если фабрикант, ликвидируя свое предприятие, продает машины, сырье и проч. и затем вырученные деньги передает в банк для кредитования других функционирующих капиталистов, то в этом случае кредит действительно является простой формой передачи капитала или, точнее, перераспределения наличных капиталов между функционирующими капиталистами. Однако, вопреки мнению натуралистов, с нашей точки зрения, этим не исчерпывается роль кредита.

[1]) Herman Roesler, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre», Rostock 1864, S. 300—301.

[2]) Ibidem, S. 297.

[3]) Ibidem, S. 302.

[4]) Коклен, О кредите и банках, стр. 133.

И в другом месте: «Кредит выводит их (блага) из бездействия и летаргии и призывает к полному употреблению. Разве это не то же, что производить? Разве после этого может кто-нибудь не согласиться с тем, что умножать употребление капиталов значит умножать их?» [1]). Конечно, под термином Коклена «производить» следует понимать использование денег или товаров в качестве капитала в нашем смысле, т.-е. превращение их из просто товаров или денег в средство создания прибавочной стоимости, т.-е. в капитал. И, действительно, в этом смысле кредит «создает капитал» [2]), ибо без кредита большая часть денег и товаров не были бы капиталами [3]).

Иными словами: кредит, как форма капитала, следовательно, кредитный или денежно-ссудный капитал, является необходимой формой расширенного воспроизводства капитала в современных условиях [4]).

Но здесь необходимо внести одну существенную поправку в трактовку этого вопроса Маклеодом—Кокленом—Ганом—Шумпетером.

Дело в том, что все они отождествляют кредит вообще с банковской формой кредита. Но в этом случае как раз и невозможно доказательство необходимости кредита для капитализма, ибо и накопление капиталов и их централизация происходят отнюдь не исключительно на основе одной банковой формы, но на ряду с этим и в акционерной форме, при чем и сами банки возникают именно в этой форме.

Мы рассматриваем эмиссию акций и облигаций (промышленных), как такую же необходимую форму кредитования, как вексель, банкноту или контокоррентную ссуду [5]).

---

[1]) Ibidem, стр. 126.

[2]) То, что здесь называется «созданием капитала», не есть, конечно, в действительности создание капитала, но лишь понятие специфической, именно кредитной, формы создания капитала, или, еще точнее, формы капиталонакопления или капиталообразования.

[3]) Сами натуралисты понимают натянутость положения о простом «перемещении капитала» и, постоянно говоря о колоссальном увеличении производительности «национального капитала» благодаря кредиту, хотят сказать нечто иное. Так, например, Бунге полагает, что, «перемещая мертвый капитал в руки производителя, кредит создает из него действительно нечто новое, именно силу—хозяйственную» («Теория кредита», стр. 144). Но может ли капитал быть не «хозяйственной силой»? Конечно, нет, а раз так, значит кредит действительно «создает» капитал, т.-е. превращает товар или деньги в капитал, и, следовательно, то, что превращается в капитал благодаря кредиту, без последнего не могло бы в большинстве случаев рассматриваться, как капитал.

[4]) Денежный капитал не следует смешивать с денежно-ссудным капиталом. В этом отношении мы вполне согласны с Штейнбергом, когда он говорит, что по Марксу эти две формы «различаются по способу их реализации, т.-е. употребляются ли они для покупки средств производства (и рабочей силы.—З. А.), или ссужаются за %%. В первом случае речь идет о чистом денежном капитале, во втором—о денежно-ссудном капитале» (См. Steinberg, Das Geldkapital, 1922, Bonn u. Leipzig, S. 26). Денежно-ссудный или просто ссудный капитал представляет из себя новое звено в цепи кругооборота капитала; денежный капитал превращается в производительный не непосредственно, но через форму ссудного капитала. Следовательно, вместо Д—Т $<^{\text{ср. пр.}}_{\text{раб. сила}}$ ... П—Т′—D′ в условиях господства формы ссудного капитала мы имеем такой кругооборот: Д—ДС (денежно-ссудный капитал)—Д—Т $<^{\text{ср. пр.}}_{\text{раб. сила}}$ ...П—Т′—D′—П′ и т. д. Форма ДС—специфическая и необходимая форма воспроизводства общественного капитала в условиях финансового капитализма.

[5]) «С финансовой точки зрения вся экономика крупного производства, а в особенности акционерного общества, может быть формулирована одной фразой: расширение кредита» (Дж. Гобсон, Развитие современного капитализма, Гиз, 1926 г., стр. 223).

Переоценка экспансивистической теорией банковой формы и игнорирование специфичной для современного капитализма акционерной формы не дает ей возможности довести до конца свою концепцию и отпарировать критические удары своих противников. Возражая Гану, Диль, повидимому, и имел в виду эту форму накопления, которая, будучи оторвана от кредитной формы, действительно делает невозможной защиту позиции экспансивистической теории о кредите, как необходимом условии капиталистического накопления.

Поддерживая это последнее положение, мы, однако, ни в коем случае не разделяем второй части приведенного выше тезиса Гана о приоритете кредитования (Krediteinräumung) над капиталонакоплением (или более узко—активных операций банка над пассивными).

Из того, что кредит является необходимой формой капиталонакопления, отнюдь еще не следует, что первый «причинно обусловливает и целиком подчиняет себе второе, как это утверждает Ган. Здесь гановская концепция является лишь не более и не менее, как приложением к кредитной теории основ новейшей буржуазной потребительски-психологической политической экономии: это ясно и из той аналогии, которую проводит Ган между кредитованием—накоплением, с одной стороны, и потреблением (спросом)—производством (предложением), с другой стороны.

Собственно, помимо этой аналогии, мы не находим у Гана других доказательств этого тезиса. Но, во-первых, аналогия остается аналогией, а не доказательством, и, во-вторых, Ган не имеет никакого права навязывать в качестве аксиомы теорию о приоритете потребления над производством, и, в частности, нам уже приходилось на страницах нашего журнала указывать, что в этой теории нет и намека на аксиоматичность, но, наоборот, что даже самая лучшая защита этого положения не выдерживает критики [1]).

Игнорирование акционерной формы кредита вполне увязывается с проанализированной выше гановской (и вообще экспансивистической) концепцией о приоритете активов над пассивами, или, что то же, о приоритете кредитования над накоплением. Ган в этом центральном вопросе проявляет несомненную узость банкира-практика, который накопление мыслит бухгалтерски, как соответствующую запись в правом листе баланса, а под пассивами в узком смысле слова понимает только «текущие счета» и «вклады». И именно такое «накопление» (!) создается или притягивается активными операциями.

Но если уже подходить к этой проблеме бухгалтерски, то и в этом случае нет никаких оснований рассматривать пассив и пассивные операции только как операции по текущим счетам и вкладам. Ведь в пассиве баланса мы находим не только эти счета и не только «кредиторов», «корреспондентов Loro и Nostro» и пр., но и Aktienkapital, создание которого также следует рассматривать, как пассивную операцию. И разве, как уже было указано, образование собственного капитала банка не предшествует активным операциям? А раз так, значит и активные операции не имеют вообще приоритета над пассивными, а кредитование—приоритета над накоплением, ибо кредитованию как раз и предшествует накопление, принявшее кредитно-акционерную форму и обусловливающее самообразование банка, а

---

[1]) См. нашу статью «Новейший психологизм в политической экономии»,—«Под Знаменем Марксизма» № 6 за 1927 г.

следовательно, и его активных операций. На эту «мелочь» известные нам критики Гана не обратили внимания, хотя одна эта «мелочь» опрокидывает его основную концепцию.

Кредит как форма обращения.

Мы уже говорили, что большая часть нападок на теорию Маклеода-Гана покоится на недоразумении, ибо, утверждая, что кредит создает капитал (Маклеод) или банк создает кредит (Ган), они отнюдь не утверждали, что именно этот акт «создания кредита» представляется в то же время и как акт создания материальных благ, или что каким-то таинственным образом кредит вызывает к жизни некую материю из мира нематериального. Эта фантазия навязана экспансивистам самими критиками. В действительности же их теория хотя и фетишистична, но отнюдь не оторвана от реальной почвы и отнюдь не представляет из себя какой-то увлекательной фантазии.

Экспансивисты исходят из конкретных фактов. Выпуская банкноты (с 25%, например, обеспечением) или открывая своим клиентам кредит по текущему счету, банк действительно пускает в обращение новые платежные или покупательские средства. Поскольку же эти последние используются их клиентами, как капитал (по Коклену, «негоциант», таким образом, в 10 раз в отношении к собственному капиталу увеличивает свой оборот), постольку, следовательно, банк своим кредитом создает новый капитал. И этот вывод экспансивисты имеют право сделать только потому, что они решительно порывают с натуралистической концепцией капитала, как известно, господствующей в буржуазной экономии. Так, Шумпетер считает шаблонно-натуралистическое определение капитала Менгера слишком узким и выдвигает свое более широкое определение. Вот оно:

«Только платежные средства суть капитал, и не просто «деньги», но средства обращения вообще, какого бы рода они ни были (!!)... Однако капиталом являются не все платежные средства, но только те, которые фактически выполняют характерную для них функцию»[1]).

Эта характерная функция и заключается в том, что эти платежные средства используются «для создания новых благ». Поэтому для Шумпетера в его «статическом хозяйстве» нет капитала; это понятие исключительно динамическое. Капитал—это не более и не менее, как такие суммы денег и других платежных средств, которые в каждый данный момент имеются в наличии для передачи предпринимателю, при чем динамический характер капитала определяется тем, что «предприниматель в нашем смысле имеется только в динамическом хозяйстве» [2]). Указывая, что не только «деньги», но и всякие платежные средства (выполняющие указанную функцию) суть капитал, Шумпетер подчеркивает, что в большинстве случаев капитал состоит не из денег, но именно «из других платежных средств» [3]). И здесь мы видим характерный для этого направления фетишизм: форма капитала (денежная) просто идентифицируется с его содержанием. В противоположность натуралистам, для экспансивистов действительным капиталом являются не блага—средства производства, но сами деньги, следовательно, их форма;

[1]) J. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, S. 234.
[2]) Ibidem, S. 236.
[3]) Ibidem.

средства же производства выступают лишь, как момент в движении самих денег. Действительные отношения у них перевернуты: вместо того, чтобы рассматривать деньги, как момент или форму движения капитала, они рассматривают капитал, как средство движения его формы. Сущность вещи оказывается в подчинении у ее формы...

И только потому, что все экспансивисты-фетишисты переворачивают действительные отношения и наблюдают лишь за формой их движения, они могут в некоторых случаях, не проникая в сущность вещей, более или менее верно очертить форму их движения. Таким образом, они констатируют факт, отнюдь не об'ясняя его. Они утверждают, что кредит, создавая новые платежные средства, создает в то же время новый капитал. Это, конечно, верно, если капитал есть деньги, а деньги есть только средства обращения. Но мы знаем, что это глубоко-ошибочное вульгарное понятие капитала, ибо «капитал существует, как капитал, только в действительном процессе производства» (Маркс), а не в обращении, и поэтому ни деньги, ни платежные средства вообще не есть капитал, но лишь форма его авансирования. Они еще должны превратиться в товар—средства производства и притянуть к себе товар—рабочую силу, чтобы стать капиталом.

С нашей точки зрения, капиталом не являются ни блага—средства производства (натуралисты), ни деньги плюс платежные средства вообще (экспансивисты), но только то производственное отношение, которое неизбежно возникает, когда владелец средств производства купил и использовал товар—рабочую силу. Поэтому на вопрос, может ли кредит (банки) создать новый капитал, мы отвечаем, как это говорится в популярном анекдоте, вопросом, а именно о каком капитале идет речь?

О действительном, следовательно, производительном капитале или о денежном капитале?

Но этого мало: нужно далее выяснить, идет ли речь о действительном денежном капитале (золоте или нотах с полным золотым покрытием) или о фиктивном денежном капитале, как чистой форме производительного капитала, т.-е. просто о средствах обращения.

Если под «денежным капиталом» понимаются эти последние (т.-е. не действительные деньги, но их заместители), то мы отвечаем утвердительно: кредит (банк) действительно создает «денежный капитал» (конечно, не реальное золото, но фиктивный денежный капитал), следовательно, увеличивает наличную массу функционирующих средств обращения.

Но, в согласии с марксовыми экономическими понятиями, мы не можем принять такой терминологии: средства обращения не являются ни капиталом вообще, ни денежным капиталом. Они суть только денежная форма уже созданного, «чреватого прибавочной стоимостью» и подлежащего реализации товарного капитала [1]). В кругообороте П—Т′—Д′—П′... банк замыкает цепь созданием посредствующего звена в виде Д′, т.-е. денег, функциональное назначение которых в данном кругообороте заключается лишь в осу-

[1]) См. у Маркса во 2 части III тома, стр. 54, и в 1 части III тома, стр. 428, отчетливое разграничение денежного капитала и денежной формы капитала. То же и у Энгельса в примечаниях ко 2 части III тома по поводу ссуды денег и ссуды капитала.

ществлении реализации Т′, каковая не может произойти без этого посредничества Д′.

Следовательно, с нашей точки зрения банк не создает нового капитала в денежной форме (каковая и является формой авансирования производительного капитала вообще), но создает лишь денежную форму для реализации уже существующего капитала[1]).

Мы могли бы признать вместе с экспансивистами, что кредит создает новый капитал вообще, и денежный капитал в частности, только в том случае, если бы признали правильным их положение о том, что функциональное назначение эмитируемой кредитным институтом «покупательной силы» заключается не только или не столько в обращении товарного капитала, сколько в авансировании нового производительного капитала. Однако этот вопрос целесообразнее рассмотреть в связи с проблемой границ кредитной экспансии...

Шумпетер утверждает, что банк создает новый капитал только в том случае, если новая покупательная сила будет использована для производства. Что же касается Коклена и Маклеода, то они считали созданием капитала всякую дополнительную эмиссию «денег», под которыми они понимают покупательские и платежные средства. Также и Ган говорит о всяком выпуске «денег»—платежных средств,

[1]) Мы не согласны с решением этого вопроса Л. Шаниным, который в своей статье «Денежный капитал банковского происхождения» («Экономическое Обозрение» №№ 6 и 7 за 1925 год) пространно развивает ту мысль, что банки занимаются «капиталотворчеством», когда они через расширение активных операций («удлинение банковско-клиентской цепи») увеличивают денежную массу в обращении («Экон. Обозрение» № 6, стр. 94). Последнее, т.-е. то, что банк увеличивает денежную массу в обращении, совершенно правильно, но отсюда отнюдь не следует, что такое расширение денежной массы является «капиталотворчеством» или «созданием денежного капитала». Л. Шанин отождествляет деньги с капиталом и отсюда умозаключает, что эмиссия средств обращения в той или иной форме есть создание нового денежного капитала.

Но так именно рассуждают те экономисты, для которых между денежной формой капитала и денежным капиталом, или между средствами обращения и капиталом нет никакой разницы (см. отчетливое разграничение этих понятий у Маркса в 28 главе III тома «Капитала»: «Средства обращения и капитал; воззрения Тука и Фуллартона»). Конечно, конкретно и средства обращения и денежный капитал фигурируют как деньги, но для марксиста это не может служить достаточным основанием, чтобы отождествить их. Абстрактный анализ Маркса вскрыл различие между этими категориями по функциональному назначению денег с точки зрения процесса воспроизводства: «Лишь когда деньги затрачиваются как денежный капитал, в начале процесса воспроизводства (книга II, отдел I) стоимость капитала существует в чистом виде» («Капитал», III, стр. 430). Процесс реализации капитала (Т′Д′) есть процесс смены форм капитала, противоположное движение денежной и товарной его форм. Для осуществления этого движения нужны деньги, но не как капитал, а как чистая форма его движения, или—как средства обращения. Когда движение закончено и товарный капитал действительно реализован, т.-е. обменен на доход (или капитал), чтобы совершить новый цикл кругооборота, начиная с формы Д, только тогда мы имеем действительный денежный капитал, ибо, как говорит Маркс, здесь «стоимость капитала существует в чистом ее виде». Этот денежный капитал возмещает сноошенные элементы C и потребленный v, а остаток m может быть вновь капитализирован. Этот остаток может быть, а при финансовом капитализме должен быть превращен в денежно-ссудный капитал, прежде чем превратиться в производительный капитал.

Банк не создает ни денежного, ни денежно-ссудного капитала, но лишь фиктивный денежный капитал, средства обращения, или «перспективные деньги» (по выражению Ф. И. Михалевского), которые мы могли бы назвать также и «перспективным денежным капиталом». Итак, хотя по внешнему виду совершенно невозможно различить деньги, как капитал и как средство обращения, однако это не дает никакого основания Л. Шанину следовать за видимостью явлений и забывать об их сущности. В остальном статья т. Шанина дает интересный анализ различных форм банковской эмиссии средств обращения.

как о создании нового кредита вообще, а о кредите, как средстве создания нового капитала вообще. Это смешение средств обращения, как формы обращения наличного товарного капитала и денежного капитала как формы авансирования нового производительного капитала, можно считать поэтому общей чертой экспансивистической теории.

Но поскольку такое разграничение проведено, то в отношении денежной формы капитала, т.-е. создания средств обращения наличного капитала «свобода» и «творчество» банков в известных пределах несомненны (см. ниже).

Поэтому мы считаем, что и критика Дилем экспансивистической теории бьет мимо цели, ибо он находит у нее ошибки не там, где они в действительности имеются. «Имеющую тяжелые последствия ошибку Маклеода» Диль открывает в том, «что он (Маклеод) сущность кредита, который представляет лишь восполнение (Ergänzung) денежно-кредитной системы, видит в том, будто бы сам кредит является деньгами, и деньгами именно потому, что они добавляются к уже имеющимся в наличии деньгам в народном хозяйстве. Это неверно. Все эти денежно-платежные средства никоим образом не увеличивают массы денег, но благодаря им, наоборот, значительно сокращается потребность в деньгах[1]).

Но разве устраняется необходимость в той функции, которую до введения эмитированных банком платежных средств выполняли деньги в обращении? Ни в коем случае! Наоборот, эти платежные средства вступают в обращение именно потому, что недостаточно денег для выполнения этой функции. Следовательно, введение платежных средств означает не уменьшение, а расширение сферы обращения, и кредитные платежные средства, поскольку они на ряду с наличными деньгами обслуживают эту сферу и выполняют эту денежную функцию, действительно представляют из себя добавление к массе обращающихся денег. В этой своей форме они равноценны наличным деньгам и могут рассматриваться, как средства обращения, вполне аналогичные деньгам в этой функции, в чем совершенно прав Маклеод.

Но почему возможно увеличение массы денег в форме средств обращения посредством «кредитного творчества»? Только потому, что в функциях средств обращения и платежа форма денег безразлична, ибо здесь «функциональное существование денег поглощает, так сказать, их материальное существование» (Маркс). И именно в признании этого момента заключается положительно-научная сторона экспансивистов—кредита—номиналистов денег и слабая сторона противоположного направления.

Кредит на самом деле создает новые средства обращения, и это не только возможность, но и необходимость, ибо в противном случае «золотые оковы» связали бы развитие производительных сил, и не могла бы происходить повышательная волна промышленного цикла. И именно в этом мы видим второй критерий необходимости кредита для капитализма. Следовательно, кредит вдвойне необходим для капитализма: как форма накопления и капиталораспределения, с одной стороны, и как форма обращения, с другой. И поэтому ту переоценку роли кредита при капитализме, которая налицо у экспансистов, можно, пожалуй, предпочесть недооценке его роли у натуралистической теории, ибо именно эта переоценка дает возможность

[1]) Цит. сочин., S. 561.

экспансивистам вплотную подойти (но только подойти) к этой двоякой обусловленности роли кредита при капитализме.

Кредитная экспансия и капиталистическая динамика.

Мы переходим к третьему и последнему моменту поставленной проблемы. Мы выяснили, что кредит действительно создает средства обращения наличного товарного капитала. Но создает ли кредит также и покупательские средства, которые могут быть использованы для авансирования нового производительного капитала? Эта проблема является в то же время проблемой границ кредитной экспансии при капитализме.

Если кредит может создать только средства обращения наличного товарного капитала, то в этом случае проблема границ кредита решается просто: граница кредитной экспансии дана наличным в данный момент об'емом товарного обращения. Так именно решает эту проблему проф. З. С. Каценеленбаум. Он не отрицает, что в этом случае банк создает кредит или средства обращения (которые экспансивисты называют деньгами и капиталом) и что банки имеют в этом отношении некоторую «свободу творчества», но что эта свобода строго ограничена «эластичной» «потребностью оборота в денежных знаках» [1]). Только в пределах этой «эластичности» «эмиссионный банк (и депозитные банки, поскольку они эмитируют новые платежные средства.—З. А.) имеет в известном смысле возможность создавать кредит» [2]).

Таково одно решение вопроса, решение, которое пытается связать натуралистическую концепцию сущности кредита с фактами реальной действительности.

Совершенно иначе решает этот вопрос экспансивистическая теория, в частности ее горячий защитник Шумпетер.

В «Теории хозяйственного развития» Шумпетер элиминирует при анализе кредитных процессов не только потребительский кредит (что вполне правильно, с нашей точки зрения) [3]), но и те виды кредита, при посредстве которых создаются, как он выражается, «только технические средства циркуляции» (т.-е. средства обращения товарного капитала), ибо эти виды кредита не специфичны для динамического хозяйства и имеются также и в статическом хозяйстве [4]).

В качестве типического должника он берет предпринимателя [5]) и рассматривает кредит, как фактор хозяйственного развития, как рычаг производства благ [6]).

«Кредит,—говорит он,—по своему существу есть создание покупательской силы в целях предоставления ее предпринимателю, но не просто предоставление последнему наличной покупательской силы—свидетельств на наличные продукты. Создание покупательской силы принципиально характеризует метод, который осуществляет хозяйственное развитие в незамкнутом народном хозяйстве» [7]).

[1]) «Некоторые проблемы теории кредита», стр. 51, Москва 1926 г.
[2]) Там же, стр. 52.
[3]) «Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung», S. 209.
[4]) Ibidem, S. 211—212. С этим, конечно, ни в коем случае нельзя согласиться, ибо именно в прогрессивно развивающемся хозяйстве кредит, расширяя сферу обращения, делает возможным хозяйственный под'ем, и именно в этом мы видим один из критериев необходимости кредита для капитализма.
[5]) Ibidem, S. 208—209.
[6]) Ibidem, S. 212.
[7]) Ibidem, S. 214.

Здесь Шумпетер весьма отчетливо выявляет тот момент, который, на наш взгляд, составляет самую характерную черту экспансивистической теории в отличие от пассивно-натуралистической. Для Шумпетера кредит—основной фактор хозяйственной экспансии, рычаг производства, ведущее начало капиталистической динамики.

И уже здесь мы видим сильные и слабые стороны этой теории. Ее сила в том, что она элиминирует вторичные признаки и второстепенные виды кредита, и вместо догматических и познавательно-бесплодных определений, дает правильную установку для анализа кредита, выдвигая на первый план фигуру капиталиста-предпринимателя в качестве «типичного должника» и концентрируя внимание на роли кредита в процессе динамического производства, следовательно, расширенного воспроизводства. Ее слабость, помимо прочего, в переоценке роли кредита, именно в том, что она ставит кредит над производством, ложно трактует связь между производством и обращением, и видит в кредите не необходимую форму капиталистической динамики, но основной движущий фактор последнего. Вместо того, чтобы рассматривать развитие производительных сил как фактор, обусловливающий кредитную экспансию, они переворачивают эту связь и видят, наоборот, в самой кредитной экспансии основной фактор развития производительных сил.

Так же, как Маклеод, Коклен и Ган, Шумпетер исходит из фактов создания покупательской силы банком: «Каждый банковский практик,—говорит он,—знает, что кредитный оборот не исчерпывается тем, что наличная покупательская сила меняет руки, и что на банки при этом выпадает не только роль простых посредников». Он указывает на депозиты кассового происхождения, которые, как известно, используются банками для кредитования, и таким образом одна и та же сумма покупательской силы как бы удваивается. Эти и другие факты известны практике и описательной банковой литературе, и только для экономической теории приходится их «открывать» и соответственно интерпретировать [1]).

Шумпетер указывает на ряд новейших англо-американских авторов, как Cannan, отчасти Pigou, Stamp, Robertson, которые также признают возможность «коммерческого создания покупательской силы» [2]), и с некоторой горечью подчеркивает, что «теперь признается в качестве английской та теория, которая раньше отвергалась, как немецкая теория» [3]).

Однако, мы отнюдь не собираемся успокаивать оскорбленное национальное чувство Шумпетера и должны отметить, что честь этого «открытия» ни в коей мере вообще не принадлежит современной экономии как англо-американской, так и немецкой.

[1]) Jozeph Schumpeter, Die goldene Bremse an der Kreditmaschine,—«Kreditwirtschaft», Leipzig 1927, S. 86.
[2]) Из новейших авторов также и Густав Кассель признает, что банки, эмитируя платежные средства, увеличивают предложение денег и этим устраняют в известной мере недостаток в капиталораспоряжении. Отождествляя предложение платежных средств с предложением «капиталораспоряжения», Кассель приходит к выводу, что такое создание платежных средств понижает норму процента, в первую очередь по краткосрочному кредиту. См. интересную критику этих капиталотворческих идей Густава Касселя в общей связи всей его теоретической системы в статье С. Выгодского «Теоретическая система Касселя» («Социалистическое хозяйство» кн. V—VI, 1927 г.).
[3]) Ibidem, S. 96.

Не говоря уже о вышеупомянутых авторах, можно указать и на Дж.-Ст. Милля, который, не порывая с натуралистической теорией кредита, подчеркивал, что «кредит, не будучи производительной силой, служит покупательской силой»[1]), что «покупательская сила в кредите точно такая же, как и в деньгах», и что поэтому кредитная эмиссия, влияя на цены, также как и денежная эмиссия, обязательно требует ограничения[2]). И именно в этой связи Милль оперирует абстракцией «безденежного хозяйства[3]), которую Ган выдвигает в качестве своего собственного метода, но, конечно, выводы Милля из этой абстракции противоположны гановским. Даже представление о том, что капитал может создаваться без сбережений, можно встретить еще у Годскина:

«Если бы изобретение и применение бумажных денег ничего не давало, кроме того, что оно обнаружило, что капитал отнюдь не представляет какого-то сбережения, то уж этим самым оно сыграло бы важную роль... Когда были изобретены бумажные деньги и пергаментные облигации... тогда совершенно ясно стало, что капитал не представляет никакого сбережения»[4]) (Подчеркнуто нами.—З. А.).

Но допустим, что это действительно «новая теория кредита». В чем же она заключается?

«Новая теория кредита,—говорит Шумпетер,—есть, с одной стороны, новая теория источников предложения кредита, и, с другой стороны, функции кредита в жизненном процессе народного хозяйства. На основе приведенных фактов новая теория рассматривает создаваемую ad hoc банковскими методами новую покупательскую силу не только как один из источников предложения кредита, но и как то основное и наивнейшее, без которого вообще невозможно финансирование современного индустриального развития». Однако при всем этом Шумпетер отнюдь не отрицает значения сбережений: «это не значит, — подчеркивает он,— что отвергается значение сбережений». (Считая, что плата % по текущим счетам является исторической случайностью,

[1]) «Основания», стр. 34.
[2]) Ibidem, S. 53 и след.
[3]) Ibidem, S. 44.
[4]) Цит. по Марксу, Теории прибавочной ценности, т. III, стр. 261. Под бумажными деньгами Годскин, повидимому, понимает именно кредитные деньги, ибо он об'единяет их в одну группу с «пергаментными облигациями». Основная идея экспансивистической теории отчетливо была формулирована также и Родбертусом в «Первом социальном письме к фон-Кирхману». Он указывает, что расширение производства путем накоплений или сбережений (что дает концентрацию разбросанного в разных местах имущества и его капиталистическую утилизацию)—путь очень медленный. Это препятствие прогрессу может быть устранено: «То, что это возможно, ясно показывают эмиссионные банки. Последние ссужают некоторую сумму клочков бумаги, которые имеют ценность денег. Таким образом, они действительно измышляют капитальное имущество, которое не было накоплено, и дают возможность без такого предварительного накопления приступить к новым производительным предприятиям. Они устраняют, таким образом, это препятствие для более быстрого увеличения производства, возникающее из нынешних имущественных отношений... С этой точки зрения становится понятным та громадная сила побуждения, с какой эмиссионные банки врываются в обращение и оказывают содействие производству. Эмиссионные банки являются двойником машин, и при нынешних отношениях они должны быть налицо, чтобы все быстрее и быстрее могла развиваться сила промышленных циклопов» («Первое социальное письмо к фон-Кирхману», стр. 47—48).

Ган в противоположность Шумпетеру тем самым отрицал значение сбережений.—З. А.).

«Энергия, при посредстве которой сберегаются средства, есть, конечно, существенный элемент судьбы народа и его будущности». Признавая полезность сбережений, Шумпетер все же подчеркивает, что основа кредита не в аккумуляции сбережений, но в создании покупательской силы ad hoc: «Однако, — продолжает он,—помимо этого, имеется еще другой очень эластичный фонд в народном хозяйстве, который дан возможностью создания покупательской силы и который, как источник финансирования операций, не связан наличным сбереженным капиталом..., и это происходит фактически всегда, когда нечто новое финансируется»[1]).

Общеизвестно, что когда банки используют свои эмиссионно-творческие возможности в той или иной форме не для обслуживания обращения, но для финансирования производства, то такой образ их действий постоянно осуждается теоретиками кредита в качестве ненормальных методов, неизбежно вызывающих хозяйственные потрясения. Шумпетер же (также как и Ган) в теории—смелый и последовательный экспансивист. Он утверждает, что «поскольку речь идет о теоретическом анализе существа вещи и основного механизма индустриального развития при капитализме, постольку эти методы финансирования (создание ad hoc покупательской силы.—З. А.) следует рассматривать как собственно-нормальные и, еще более, как единственно возможные»[2]).

Итак, создание покупательской силы ad hoc признается ими не только как возможность, но и как необходимость для процесса расширенного капиталистического воспроизводства. Нужно отдать справедливость Шумпетеру в том, что он, в отличие от старых авторов, кратко, ясно и недвусмысленно выражает сущность этого направления. В силу этого экспансивистическая теория в новой редакции имеет возможность заранее отвести всякие попытки поверхностной натуралистической критики, вроде невозможности создания «нечто из ничего». Так, говоря о функциях кредита, Шумпетер подчеркивает, что «народно-хозяйственный смысл процесса, функции кредитования посредством ad hoc создаваемых платежных средств, заключается в осуществляемом благодаря этому иному применению национальных средств производства»[3]), что «это дает возможность отвлечь средства производства от их прежнего применения и осуществить новые комбинации производства. Этот метод кредитования относится в первую очередь не к нормально-постоянному приросту средств производства, но к их иному употреблению, в особенности благодаря введению новых производственных методов». Эти методы действуют аналогично сбережениям, использование которых означает иное распределение наличных средств производства. Такое финансирование за счет ad hoc создаваемой покупательной силы он называет «вынужденным сбережением» (Erzwungenes Sparen[4]).

[1]) Ibidem, S. 85—86.
[2]) Ibidem, S. 87.
[3]) Ibidem.
[4]) Ibidem, S. 88.

То, что кредит сам по себе не создает средств производства, но лишь использует в виде «новых производственных комбинаций» те возможности, которые заложены в самой капиталистической системе, Шумпетер подчеркивает и в другом месте, в связи с анализом роли банков: «Банки финансируют периодически возрастающие возможности новых производительных комбинаций, но они не создают ни этих возможностей, ни самих комбинаций [1]).

Мы считали необходимым привести все эти цитаты потому, что экспансивистическая теория часто ложно интерпретируется. Если в отношении Ло или Маклеода и были некоторые основания для обвинения их теорий в фантазерстве, беспочвенном прожектерстве и отсутствии научного анализа, то современная экспансивистическая теория значительно меньше заслуживает таких обвинений. Мы считаем, что эта теория более реалистична, чем натуралистическая теория, ибо ее исходными пунктами и предметом самого анализа служат действительные факты в их фетишизированном преломлении, те самые факты, перед которыми пасует старая, распространенная и поныне догма кредитной теории.

* * *

Решение вопроса о роли кредита в капиталистической динамике и границах кредитной экспансии на основе марксовой теории будет дано нами в особой статье. Однако и сейчас, при критическом анализе экспансивистической теории, мы считаем необходимым сослаться на некоторые места из «Капитала», которые очень помогут нашей оценке экспансивистической теории. Прежде всего очень важно марксово разграничение ссуды денег (или средств обращения) и ссуды капитала. «Поскольку купцы и производители,—говорит Маркс,—могут доставить надежное обеспечение, спрос на платежные средства есть просто спрос на то, чтобы превратить капитал в деньги: поскольку же этого нет, следовательно, поскольку авансированные платежных средств доставляет капиталистам не только денежную форму, необходимую для платежа, но также недостающий для этой цели эквивалент, постольку спрос на платежные средства есть спрос на денежный капитал» [2]).

Это кардинальной важности разграничение Маркс проводит и в других местах III тома «Капитала». Этому же вопросу посвящено и специальное примечание Энгельса, в котором детализируется это разграничение [3]). Далее Маркс показывает, что нередко за формой учета векселя скрывается ссуда денежного капитала, именно ссуда фиктивного капитала, который создают банки. Так, ссылаясь на «Manchester Guardian» от 24 ноября 1848 года, Маркс указывает на практику ост-индской торговли, «где векселя выдавались не потому, что был куплен товар, а покупали товар затем, чтобы иметь возможность получить вексель, который можно было бы учесть, превратить в деньги [4]). Это давало возможность по несколько раз получать денежные ссуды под один и тот же товар (сначала по векселю, затем под дубликат накладной на 6 месяцев), так что ссуда де-

[1]) Ibidem, S. 96.
[2]) «Капитал», т. III, ч. 2, стр. 54.
[3]) «Капитал», т. III, ч. 1, стр. 414.
[4]) «Капитал», т. III, ч. 1, стр. 395.

нег фактически превращалась в ссуду капитала, при чем ссужался, конечно, не действительный, но фиктивный денежный капитал.

Далее Маркс дал анализ и тех методов, при помощи которых банки создают фиктивный денежный капитал или, по Шумпетеру, «покупательскую силу ad hoc». «Поскольку,—говорит Маркс,—банк выпускает банкноты, не покрытые металлическим запасом (что идентично практике контокоррентной ссуды у современных банков.—З. А.), находящимся в его кладовых, он создает знаки стоимости, которые образуют не только средство обращения, но являются в то же время для него некоторым добавочным — хотя и фиктивным—капиталом на сумму, равную номинальной стоимости этих непокрытых банкнот» [1]) (Курсив наш.—З. А.). И именно из этой возможности создавать фиктивный денежный капитал, который выполняет роль денег в функции средств обращения, и проистекает дополнительная прибыль банкира [2]).

Маркс прекрасно понимал также и то, что «новая теория кредита» считает своим открытием, а именно, что помимо эмиссии нот есть и другие средства создавать фиктивный капитал [3]). Какие же эти «другие средства»?

«Мы видим, таким образом,—говорит Маркс,—как банки создают кредит и капитал (фиктивный капитал.—З. А.): 1) Путем выпуска собственных билетов. 2) Путем выдачи требований на Лондон сроком до 21 дня, при чем, однако, они сами, выдавая эти требования, получают наличными. 3) Путем уплаты дисконтированными векселями, кредитоспособность которых прежде всего и преимущественно—по крайней мере, для соответственного местного округа—обеспечивается передаточной надписью банка» [4]).

Что же к этому добавляет экспансивистическая теория? Только новую форму создания фиктивного денежного капитала (контокоррентную ссуду и обращение на этой основе чеков вместо банкнот и векселей), которая по существу ничем не отличается от описанных Марксом форм, более распространенных в его эпоху.

Для нас здесь важно только подчеркнуть, что Маркс не отрицал об'ективной возможности создания банками средств обращения, заменяющих действительные деньги сверх суммы металлического покрытия, против чего боролась Currency Scool, и что по логике вещей должна отрицать строгая догма натуралистической теории.

Из этой возможности создания банками фиктивного денежного капитала вытекает тот вывод, что об'ем реальных пассивов или денежного накопления не совпадает с об'емом активов, следовательно, вопреки натуралистической теории, пассивы не определяют об'ема «Krediteinräumung» по Гану или, что то же, денежное накопление не является абсолютной и необходимой границей активных операций банков.

Однако это отнюдь не значит, что активные операции вообще не связаны с денежным накоплением, и что первые определяют и «вы-

[1]) Ibidem, т. III, ч. 2, стр. 82.
[2]) Ibidem, т. III, ч. 2, стр. 83.
[3]) «Банки имеют, впрочем, и другие средства создавать капитал» (т. III, ч. 2, стр. 83).
[4]) «Капитал», т. III, ч. 2, стр. 83.

зывают» (Ган) действительное накопление. Банки «создают» лишь форму уже накопленного, прошедшего через производительный процесс и подлежащего реализации (Т—Д) капитала. Поскольку же часть прибавочной стоимости порожденной этим ранее накопленным капиталом подлежит новой капитализации, постольку, следовательно, банки, создавая денежную форму этого реализуемого капитала (антиципируя его действительную реализацию), тем самым «создают» денежную форму и для накопляемой части m (прибавочной стоимости), т.-е. создают денежную форму накопления или антиципируют процесс действительного накопления. Благодаря этому часть m капитализируется раньше, чем произошло действительное денежное накопление.

Поэтому, с одной стороны (вопреки натуралистической теории), об'ем кредитования в каждый данный момент больше об'ема действительного денежного накопления, но, с другой стороны (вопреки экспансивистической теории), это «сверхкредитование» обязательно должно иметь своей конечной основой продажу реального товара, т.-е. реализацию стоимости, часть которой идет на возмещение издержек производства (c + v), а другая часть подлежит капитализации (капитализируемая часть m). Банкноты или средства обращения вообще, выпущенные банком для реализации капитала (Т'—Д'), выполнив свою функцию, вновь возвращаются в банк (ср. с принципами «банковой школы» или «идеальными деньгами» Бендиксена. См. Бендиксен, «Деньги»). Если же «творческая деятельность» банка направлена не на обслуживание товарообращения, но на создание новых производительных капиталов, т.-е. грюндерство, то рано или поздно неизбежна инфляция.

Между тем, экспансивистическая теория утверждает, что такая инфляция является необходимостью для капиталистической динамики. Они, следовательно, как раз и находятся во власти той иллюзии, что создание банками фиктивного денежного капитала отнюдь не предвосхищает процесс действительного накопления, но даже устраняет необходимость в таковом; они считают, что денежное накопление протекает параллельно и независимо от создания банками платежных и покупательских средств. Наконец, отсюда они приходят к тому выводу, что создание банками платежных и покупательских средств является совершенно равноценным и дополнительным по отношению к действительному накоплению источником финансирования производства.

Если натуралисты связывают кредитование денежным накоплением, то экспансивисты разрывают совершенно эту связь.

Выше, критикуя натуралистов, мы уже доказали, что кредитование не может и не должно совпадать с об'емом денежного накопления, в каждый данный момент. Нам теперь остается доказать, что из этого несовпадения отнюдь не вытекает независимость кредитования от денежного накопления, а денежного накопления от действительного накопления, что утверждают экспансивисты. Так как положительный анализ этого вопроса будет дан нами в следующей части нашей работы, то здесь нам придется ограничиться «доказательством от противного», а именно, мы постараемся показать, что экспансивисты не могут доказать необходимости такой кредитной экспансии для прямого финансирования производства, которая, будучи независимой от процесса накопления, сама по себе «создавала» бы хозяйственный под'ем.

Действительно ли следует рассматривать финансирование производства за счет ad hoc создаваемой покупательской силы, независимо от действительного капиталонакопления, как необходимый фактор капиталистического развития, и имеются ли какие-нибудь границы для кредитной экспансии? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, посмотрим сначала, как представляют себе экспансивисты роль кредита в течение кон'юнктуры промышленного цикла.

Активная и пассивная экспансия.

Этот вопрос разработан у последователя экспансивистической теории Мюллера, который, рассматривая «эластичную кредитную систему», как необходимое звено в ряду кон'юнктурных факторов», совершенно правильно ставит вопрос о том, является ли этот фактор активным или пассивным?[1]). Заметим, что здесь речь идет не о расширении эластичности обращения в pendant к расширению производства, но о финансировании производства, развязывании дремлющих в обществе производительных сил при помощи кредитной экспансии.

Пассивный тип кредитной экспансии. Исходный пункт равновесия—реальный процент (прибыль промышленных предприятий)—выше ссудного процента. Это неизбежно вызывает под'ем, грюндерство, следовательно, рост спроса на кредит, который, согласно предположению автора, удовлетворяется теми методами, которые признает в качестве необходимых «новая теория кредита» (Ган).

Предприниматель, который хочет использовать новые возможности производства (техника, рынки и пр.), получает от банка в форме банкнот, текущих счетов, акцептов в свое распоряжение дополнительную покупательскую силу; последняя, выступая на рынке, поднимает общий уровень цен. Повышение цен вызывает рост притязаний на кредит предпринимателей; это повышает процент до тех пор, пока последний не достигнет уровня реального процента.

Таким образом, налицо две противоположных тенденции: рост банковского и снижение реального процента, и в результате приближение к одинаковому уровню обоих процентов. Потрясение здесь не возникает конститутивно из течения кон'юнктурного процесса, но если оно наступает, то причину следует искать не в кредитной экспансии, но в иных факторах.

Активный тип кредитной экспансии. При неизменной массе товаров, технике и условиях сбыта и при отсутствии тенденций экономического под'ема, сами банки снижают ссудный процент ниже реального процента. Здесь толчок к расширению кредита идет со стороны банков, поскольку не произошло никаких изменений в наличной массе реального капитала, или возможностях его приложения. Дополнительные притязания на кредит здесь возникают потому, что сниженный денежный процент делает рентабельным такое приложение капиталов, которое ранее было нерентабельным, а это снижение процента происходит потому, что банки выходят за пределы запаса сбережений. В отличие от первого случая, здесь «кре-

[1]) Alfred Müller, Formen der Kreditexpansion und der Kreditpolitik,— «Die Kreditwirtschaft», S. 157.

дит является мотором и стимулом движения кон'юнктуры».

Эта искусственная кон'юнктура несет, конечно, в себе опасности кризиса, ибо если в первом случае кредитная экспансия была ограничена предполагаемой возможностью расширения рынка, то теперь принципиально нет никаких границ для расширения кредита. В этом случае «чем больше банк снижает кредитный %, тем больше возникает предприятий, основой рентабельности которых служит премия, которую дает низкий % от пользования кредитом» [1]).

Но и в этом случае, поскольку происходит повышение цен и растет спрос на кредит, должно произойти приспособление денежного к реальному % (159, 160), и «это повышение кредитного процента в конце экспансии должно сделать нерентабельным все те предприятия, которые были основаны на базисе низкого процента».

Таким образом, если под'ем кон'юнктуры в первом случае обусловлен рынком, то во втором кредитом, и хотя в обоих случаях результатом является под'ем производства, но для рациональной хозяйственной политики различие этих двух типов под'ема имеет большое значение.

Конечно, нельзя не согласиться с Мюллером в необходимости теоретического разграничения этих двух принципиально отличных типов экспансии. Однако вряд ли из этого разграничения можно притти к тем выводам, которые мы находим у автора. Он утверждает, что «если кредитная экспансия следует на основе имеющихся в самом хозяйстве тенденций к под'ему, то в этом случае нельзя предполагать (?), что наступит конститутивно необходимое потрясение рынка» [2]). На этом основании автор считает описанную форму кредитной экспансии неустранимым (nicht wegzudenkender) фактором развития, сущность которого заключается в том, что всякий недостаток капиталов устраняется независимо от образования сбережений [3]). В отличие от этого, активный тип кредитной экспансии, т.-е. «исключительно банками вызванное кон'юнктурное движение, должно обязательно (unabweislich) при конечном связывании кредитной экспансии привести к потрясению» [4]).

В этих выводах автора дает себя чувствовать ложность общетеоретической концепции экспансивистов, и в частности ложная в самом своем основании теория кризисов. Согласно мнению автора, кризис «конститутивно» неизбежен только в том случае, если кредитная экспансия (без ведущей роли которой с их точки зрения вообще невозможно хозяйственное развитие) не совпадает с «естественной» тенденцией под'ема, как-то: расширившимся рынком сбыта или техническими улучшениями. Мы же считаем как раз наоборот: именно в том случае, когда кредитная экспансия (наличия которой мы вовсе не отрицаем) развивается в pendant с повышательной промышленной волной, ускоряя движение этой последней, кризис должен «конститутивно» неизбежно наступить.

Маркс доказал, и здесь мы не можем об этом распространяться, что кризисы являются sine qua non капиталистической динамики, исключительной формой развития производительных сил при капиталистической системе. И если конститутивно - неизбежно кризис должен

[1]) Ibidem, S. 159.
[2]) Ibidem, S. 160.
[3]) Ibidem, S. 161.
[4]) Ibidem, S. 161.

наступить именно при первом типе кон'юнктуры, то, наоборот, при втором типе мы имеем добавочный фактор, который может ускорить наступление кризиса ранее того срока, который необходим для нарастания в период под'ема моментов этого «конститутивно-неизбежного» кризиса.

Если бы банки совершенно были лишены возможности создания ad hoc покупательской силы и финансирования за ее счет производства, то и в этом случае кризис должен был бы неизбежно наступить.

Представление Мюллера о том, будто бы кредитная политика может нейтрализовать второй тип кредитной экспансии и этим устранить «конститутивность» кризисного развития, является чистейшей иллюзией: мы считаем, что кризисы не могут быть устранены не только «стабилизационным» и «рестрикционным» методами [1]), но также и рекомендуемыми автором «методами приспособления» (Anpassungsmethode). Последние должны, по мысли автора, выполнить двойную задачу: нейтрализуя второй тип кредитной экспансии, дать возможность свободного развития первому типу экспансии. Поэтому автор в отличие от Шумпетера восстает против всяких ограничений кредитной экспансии извне (нормы покрытия, размен), считая, что сама кредитная политика банков, если она будет следовать его «методу приспособления», сможет устранить кредитную экспансию второго типа. Этот метод очень прост: он заключается в том, что «кредитная политика постоянно должна быть направлена на то, чтобы движение денежного процента следовало за движением реального процента» [2]).

Однако, на наш взгляд, этот метод (трудности осуществления которого понимает и сам автор) неосуществим не только при наличии кредитной экспансии, но даже и в том случае, когда активные операции строго согласуются с об'емом наличных пассивов. Денежные капиталы, извлеченные из обращения, в виду сократившегося производства в течение кризиса и депрессии [3]), своим наплывом в банки, и фондовые биржи неизбежно должны вызвать падение уровня процента, и нет никаких оснований предполагать, что уже в начале периода под'ема может произойти то повышение уровня процента, которое автор считает необходимым для «нормального течения кон'юнктуры». Банки не могут в этот период повышать процент, ибо на них давят пассивы, и поэтому они не пойдут на рекомендуемую Мюллером кредитную политику, ибо это означало бы, что банки добровольно согласятся не только на отказ от прибыли, но даже на возможные дефициты.

Если же к освободившимся в период депрессии денежным капиталам добавить создаваемую банком ad hoc покупательскую силу (даже при существующих ограничениях), то в этом случае очевидно, что ни-

[1]) При «стабилизационном методе» стабилизируется уровень процента первого периода под'ема, при «рестрикционном методе» кредитная экспансия искусственно связывается соответствующими нормами покрытия и размена. Автор отвергает оба метода, и в особенности последний: «Принятие этого метода,— говорит он,—означало бы, что заранее парализуется всякое развитие рациональных хозяйственных методов именно в тех областях, где таковые представляются необходимыми» (Ibidem, S. 166).
[2]) Ibidem, S. 167.
[3]) «...неверно, будто в период депрессии праздно лежащий капитал состоит из денежного капитала, накопленного в денежной или кредитной форме. Состоит он в действительности из денежного капитала, высвободившегося благодаря ограничению производства: раньше он обслуживал обращение, при сокращении же производства сделался излишним» (Гильфердинг, Финансовый капитал, стр. 331).

какая кредитная политика не может препятствовать падению процента до уровня, стимулирующего грюндерство [1]).

Кредитную экспансию ни в коем случае нельзя считать основным фактором [2]), обусловливающим возможность под'ема кон'юнктуры, что утверждает Шумпетер. Если под'ем кон'юнктуры создается самой кредитной экспансией, то это «искусственная кон'юнктура» или, по Мюллеру, «активный тип экспансии», который приводит к денежно-кредитному кризису. Но если признавать необходимость кредитной экспансии в качестве основного фактора капиталистической динамики вообще, то как можно отказаться от второго типа? Если банки вообще и могут и должны создавать покупательскую силу ad hoc для финансирования производства, то экспансивистическая теория не имеет никаких оснований связывать эту возможность тем или иным состоянием производства и рынка, если, как утверждает Шумпетер, именно кредитная экспансия и порождает под'ем. Далее, если кредитная экспансия и возможна, и необходима, если пассивы не связывают активы, то следует указать тот саморегулирующий механизм, который лимитирует об'ем этой экспансии, следовательно, указать ее пределы. Мюллер ссылается здесь на ссудный процент, как фактор, регулирующий кредитную эмиссию...

Однако это не решение проблемы, но попытка уклониться от ее решения. Если банки свободны в творчестве покупательской силы, то процент не может быть регулятором кредитной экспансии, ибо ведь банкам эта создаваемая ad hoc покупательская сила ничего не стоит, и поэтому банкам, как коммерческим предприятиям, нет никакого основания отказаться даже от самого ничтожного процента. Они могут довольствоваться хотя бы и ½%, но ведь в этом случае и при первом типе кон'юнктуры кредитная экспансия неизбежно породит «искусственную кон'юнктуру» и «конститутивно не необходимый кризис», ибо она вызовет к жизни грюндерство при какой угодно норме прибыли.

Итак, экспансивистическая теория упирается в проблему о пределах кредитной экспансии, без решения которой эта теория не в состоянии защитить свои основные принципы.

Границы кредитной экспансии.

Кредитная экспансия действует аналогично бумажно-денежной инфляции, и это прекрасно понимает сам Шумпетер. Но бумажно-денежная инфляция никем, и Шумпетером

[1]) Для иллюстрации этого положения весьма интересно проследить движение кон'юнктурных показателей Гарвардского института с 1903 по 1914 год. Гарвардский индекс состоит из трех показателей: 1) кривая спекуляции (Spekulation), дающая котировку ценных бумаг как акций, так и бумаг с фиксированным доходом; 2) кривая торгово-промышленной кон'юнктуры (Business), составленная из двух показателей—производства чугуна и Бредстритовского индекса оптовых цен, 3) кривая «денег» (Money) или кредита, дающая движение учетного процента. В течение указанного периода движение этих трех показателей в Сев.-Америк. Соед. Штатах происходило в строго-закономерном порядке: впереди идет «спекуляция», за ней показатель торгово-промышленной кон'юнктуры и на третьем месте, с опозданием на 6 месяцев против Business, кривая денег, т.-е. уровень процента.

Отсюда ясно, что под'ем кон'юнктуры происходит при низком уровне процента, который поощряет спекуляцию, а вместе с тем и действительное расширение производства.

[2]) Критикуя Мюллера и Шумпетера, мы пользуемся термином «кредитная экспансия» в том смысле, какой он имеет у этих авторов, т.-е. как создание банками покупательской силы ad hoc непосредственно для финансирования нового производства.

в том числе, не признается необходимой (исключение—Сильвио Гезель), и здесь вместо экспансии все выдвигают рестрикцию. Поэтому экспансивистическая теория должна показать, в чем принципиальное отличие обоих видов инфляции и каков тот «естественный механизм», который заменяет необходимость рестрикции при бумажно-денежной инфляции.

Шумпетер не отрицает, что смысл кредитной инфляции заключается в том же, в чем и смысл государственной бумажно-денежной инфляции: усиленный выпуск средств обращения повышает цены, снижает наличные реальные доходы и притягивает блага к эмитентам или к тем лицам, которые пользуются эмиссией. Аналогично и действие обоих видов инфляции на общее хозяйственное положение, торговый баланс и уровень цен. Однако бумажно-денежная инфляция, поскольку она является источником покрытия государственных потребностей, влияет непосредственно на цены потребительских благ, в то время как предназначенная для индустриальных целей вновь созданная банками покупательская сила сначала выступает на рынке средств производства, чтобы потом только перейти на рынок потребительских благ, следовательно, сначала повышает денежные доходы и лишь затем цены потребительских благ. Это различие между обоими процессами, хотя и вторичного характера, но имеет, с точки зрения влияния инфляции, на положение хозяйственных классов практически очень важное значение.

В этом пункте Шумпетер оставляет аналогию между обоими видами инфляции [1]). Коренное различие между ними заключается, с его точки зрения, в том, что в то время как при бумажно-денежной инфляции возросшая масса средств обращения (если не последует дефляционных мероприятий) остается в обращении и имеет тенденцию повышать уровень цен и еще более ухудшать наступившее опустошение товарного мира (так что требуются общеизвестные и болезненные мероприятия, чтобы восстановить прежнюю массу средств обращения), механизм коммерческой кредитной инфляции заключает корректив в самом себе.

«Этот самокорректив есть отражение того факта, что процесс, элементом которого является этот тип инфляции, означает улучшение национального производственного аппарата, повышение производительности» [2]).

[1]) Н. Шапошников делает еще один шаг в этом направлении, отождествляя банковскую эмиссию с казначейской в том случае, когда эмиссия имеет производительное назначение. «Типичной формой капиталообразования путем вынужденного сбережения,—говорит Шапошников,—является установление налога с тем, чтобы расходовать налоговые поступления на какие-либо производительные цели. Такую же капиталообразующую роль может иметь эмиссия, при том безразлично какая—казначейская или банковская. Если эмитируемые деньги расходуются, скажем, не на повышение заработной платы, а на постройку новых заводов, то мы имеем здесь несомненное образование нового капитала, и притом также путем вынужденного сбережения» (Н. Шапошников, «Аммортизация и сбережения как источник капиталообразования» в «Вопросах кон'юнктуры», т. I, в. I, стр. 118).

Эмиссия, казначейская или банковская, действительно, превращается «в вынужденное сбережение» и тем самым может рассматриваться как налог только в том случае, когда она достигает инфляционных размеров, т.-е. когда растут цены и реальные ценности переходят в руки эмитента. Без инфляции, т.-е. расстройства денежного обращения, эмиссия еще не превращается в налог или в «вынужденное сбережение». Следовательно если Шапошников за столь восхваляемое им «вынужденное сбережение», то он за инфляцию. Но вряд ли это идеология инфляционизма найдет сочувствие в кругах наших руководяще-хозяйственных работников, на которых рассчитана статья Н. Шапошникова.

[2]) «Die Kreditwirtschaft», S. 93—94.

Каким образом это происходит? Шумпетер дает отчетливый ответ и на этот вопрос. Через некоторое время после получения дополнительных кредитов, предприниматели выбрасывают на рынок вновь созданные товары, и таким образом появляется товарный комплемент вновь созданной покупательской силы. Параллелизм между денежным и товарным потоками вновь восстанавливается», чего нет при бумажно-денежной инфляции. Более того: выпуск товаров даже должен быть больше, чем сумма выданных кредитов плюс проценты, ибо в противном случае новые предприятия были бы (по ценности) с частно-хозяйственной точки зрения нерациональными: ведь смысл всего процесса в том и заключается, что средства производства, служащие теперь для новых комбинаций, должны быть использованы целесообразнее, чем при прежнем применении. «Уже простое появление новых продуктов означает, следовательно, корректив происшедшей инфляции, автоматическую дефляцию, которая опять снижает уровень цен. Но эта самодефляция усиливается еще тем, что предприниматель при дальнейшем ходе дела оказывается в состоянии свой дебет постепенно уменьшать, так что, наконец, возросшему товарному потоку соответствует даже, по крайней мере, относительно уменьшившийся денежный поток. Отсюда важное положение, что в течение капиталистического развития уровень цен веками должен снижаться».

«Следовательно,—заключает Шумпетер,—этот вид кредитной инфляции лишь временно разрывает параллелизм между денежным и товарным потоком. Однако эта неодновременность увеличения средств обращения и увеличения товаров не есть принципиально-материальная аберрация сущности вещи. Скорее здесь проявляется именно сущность вещи (das Wesen der Sache). Описанный процесс «не только теоретическая конструкция, но он отчетливо проявляется в действительности. Большая проверка нашей теории заключается прежде всего в постоянных повышениях и падениях уровня цен в течение фаз кон'юнктурного цикла, каковые иначе вообще не могут быть об'яснены».

Здесь мастерски нарисована очень заманчивая картина хозяйственного под'ема на основе кредитной инфляции, картина, от которой веет проектами Джона Ло.

Но в этом стройном механизме саморегулирования упущены некоторые «мелкие» винтики, без которых, однако, механизм вряд ли сможет действовать.

Во-первых, вопрос об об'еме кредитной инфляции. «Чистая» или абстрактная экспансивистическая теория не указывает, какой об'ем инфляции возможен и необходим. Кредитная инфляция может составить 50, 100 и 1.000 миллионов марок. Естественно, что при инфляции в 1.000 и более миллионов марок дополнительная покупательская сила вызовет одновременно такое повышение цен и такое сокращение доходов, при котором неизбежен кризис сбыта, и ликвидация финансированного этой новой покупательской силой грюндерства. Видимо, предполагается, что банки будут сдерживать грюндерство в известных рамках, чтобы избежать возможного краха созданных ими предприятий. Но именно эта предпосылка некоторой «рационализации» процесса кредитной инфляции противоречит теории саморегулирования последней.

Во-вторых, нет никаких оснований предполагать, что появившийся через некоторое время товарный комплемент эмитированной покупательской силы вызовет дефляционные последствия, ибо

последняя может быть с избытком компенсирована новой инфляционной волной.

Поскольку никакие пределы для кредитной эмиссии с их точки зрения теоретически не могут быть указаны, постольку очевидно, что вместо снижения цен может последовать новый рост цен, и если первая инфляционная волна еще не вызвала кризиса, то вторая уже наверное приведет к таковому. Совершенно очевидно, что как в том, так и в другом случае экономический под'ем, созданный кредитной инфляцией, обязательно должен превратиться в свою противоположность—кризис, депрессию, ликвидацию грюндерства, крахи банков.

Наконец, и это самое важное, почему, собственно, под'ем невозможен без кредитной экспансии? На это иного ответа мы не находим у Шумпетера, кроме ссылки, что так всегда, мол, происходит. Сам Шумпетер указывает, что кредитная инфляция лишь вызывает к жизни новые производительные комбинации, улучшает производственный аппарат общества и максимально активизирует наличные в обществе материальные фонды. Все это совершенно верно, но именно из этого и не вытекает необходимость кредитной инфляции для повышательной волны, ибо тот же процесс может осуществиться через аккумуляцию накоплений и их использование методами «новых производственных комбинаций». И именно под влиянием напора денежных накоплений на денежный рынок и происходит снижение процента, рост кредитования и грюндерства. Кредитная эмиссия в той или иной мере действительно имеет место, но она действует не в качестве первопричины под'ема, но как сопутствующий и усиливающий этот процесс фактор. Это и есть, по Мюллеру, пассивный тип кредитной экспансии, и здесь найден правильный термин—именно пассивная экспансия, т.-е. экспансия, порождаемая самим развитием производственных сил.

Чтобы выяснить роль кредитной экспансии, необходимо проанализировать самый процесс создания «новых производственных комбинаций».

Допустим, что в период депрессии группа выдержавших кризис капиталистов А располагает товарным фондом X, на который все еще нет спроса. Допустим далее, что этот фонд X заключает в себе все необходимое для создания «новых производственных комбинаций», т.-е. элементы C (постоянного капитала) и V (переменного капитала).

Банк, следуя принципам Шумпетера, передает группе капиталистов В покупательскую силу в об'еме Y рублей. Этот Y рублей покупательской силы и составляет спрос на товарный фонд X. Покупательская сила переходит к А, товарный фонд—к В. Следовательно, здесь произошло то же, что и при бумажно-денежной инфляции: товарный фонд экспроприирован эмитентом покупательской силы (или тем, кто воспользовался эмиссией). Цены растут, кон'юнктура поднимается, капиталисты А удачно реализовали свой товар, получили достаточную прибыль, что и побуждает их вновь использовать свои средства для производства новой товарной массы. Но каким образом капиталисты А могут создать «новые производственные комбинации», коль скоро фонд X уже использован? Капиталисты А не могут ждать, пока капиталисты В создадут новый товарный фонд, ибо за этот период «ожидания» праздно лежащая покупательская сила не принесет никакой прибыли. Таким образом, появление нового спроса на Y покупательской силы со стороны капитали-

стов А вызовет резкое повышение цен, как на элементы С, так и на элементы V.

Это, в свою очередь, приведет к притоку товаров из-за границы, так как все внутренние фонды уже исчерпаны, т.-е. к ухудшению торгового и платежного баланса, падению вексельного курса, отливу золота из страны. Таким образом, дело сведется просто к тому, что банки, эмитировавшие Y покупательской силы, должны будут оплатить наличным золотом или же самими созданную «без золота» покупательскую силу.

Поскольку же предпосылкой является именно отсутствие реальной покупательской силы (золота), постольку совершенно ясно, что описанный процесс кредитной инфляции неизбежно приведет сначала к external drain (отливу золота за границу), а затем к internal drain (отливу золота внутрь страны), следовательно, к потрясению всей кредитно-денежной системы, т.-е. к денежно-кредитному кризису. Процент будет сразу резко повышен, кредит сокращен, что и вызовет падение цен и прибыли и крах тех самых предприятий, которые были вызваны к жизни «творчеством» банков! А крах этих предприятий означает в то же время (если только не последует энергичной поддержки со стороны центрального банка), и крах тех банков, которые создали эти предприятия [1]).

Мы показали, что кредитная экспансия в смысле Шумпетера вовсе не может рассматриваться в качестве sine qua non под'ема. Что касается активной кредитной экспансии, то этот тип кон'юнктуры, как мы видели, признает «ненормальным» и Мюллер. Следовательно, возможен только пассивный тип экспансии: однако этот вид экспансии не является ни ведущим, ни необходимым фактором, и, называя кредитную экспансию «вынужденным» сбережением, Шумпетер отнюдь не доказал, что без таковой «вынужденности» невозможен под'ем. Более того: в одном месте Шумпетер сам признает, что без кредитной экспансии под'ем был бы лишь менее эффективным. А раз так, значит под'ем возможен и без кредитной экспансии, но в ином темпе. Тогда следовало бы доказать, что именно данный темп под'ема необходим для капитализма. Но такого доказательства мы у Шумпетера не находим.

Однако Шумпетер все же указывает границу «коммерческого создания покупательской силы». В теории Шумпетер продолжает настаивать, что чрезмерная кредитная инфляция невозможна, ибо в самом механизме экспансии действует строго-лимитирующий ее об'ем фактор. Эту границу Шумпетер находит не на стороне банков, но на стороне их клиентуры.

Свобода банков в создании покупательской силы ограничивается спросом на кредит, что, в свою очередь, определяется возможностью рентабельного приложения этой кредитованной покупательской силы. Последняя, дойдя до этого предела, вызывает «самодефляцию», следовательно, пределы творчества покупательской силы в... частно-хозяйственной рентабельности [2]).

[1]) Такой, например, характер имел кризис 1866 года. См. Туган-Барановский, Периодические промышленные кризисы, 3 изд., гл. V, стр. 124 и др.

[2]) У нас к экспансивистической теории примыкает Н. Шапошников. Повторяя Гана, он считает, что «если бы мы имели всеобщую систему безденежных расчетов, то не было бы никаких пределов для возможного со стороны банков расширения кредитования. Они (банки) могли бы в любом количестве создавать деньги и денежные капиталы». (Статья «Кредит и кон'юнктура» в «Вопросах кон'юнктуры», том III, в. I, стр. 27. Разрядка наша.—З. А.). В современных

«Этот автоматизм кредитной машины связывает определенной границей создание покупательской силы, и одновременно указывает на существование силы, которая действует в направлении фиксации данной границы» [1]).

Граница, однако, на наш взгляд, чрезвычайно эластичная, настолько эластичная, что превращается в безграничность! Каким образом рентабельность (норма прибыли) может ограничивать экспансию, коль скоро эта последняя сама повышает спрос, цены и, следовательно, «частно-хозяйственную рентабельность»? Раз новая покупательская сила повышает цены, и этим сама создает возможность ее рентабельного приложения, то ясно, что рентабельность с этой точки зрения не может лимитировать создание покупательской силы. «Рентабельность» действительно парализует «творчество» банков, но отнюдь не «автоматически», но в качестве резкой кризисной реакции. И эта реакция, как мы показали, неизбежно должна наступить, коль скоро под'ем порождается самой кредитной экспансией независимо от процесса капиталоаккумуляции. Поэтому либо под'ем «нормально» может создаваться кредитной экспансией, но тогда нет никаких пределов для последней, и, следовательно, нужно предположить perpetuum mobile капиталистического под'ема. Либо в качестве границы действует «рентабельность», но тогда этот под'ем не может рассматриваться в качестве «нормального», ибо падение «рентабельности», есть не что иное, как кризис, который является показателем «искусственной кон'юнктуры» или лжепод'ема.

Мы считаем, что под'ем на основе одной кредитной экспансии вовсе не является «нормальным» и необходимым для капиталистической динамики. Развязывание кредитной инфляции означало бы, что

ке условиях, по мнению Н. Шапошникова, границей экспансии является кассовое обеспечение депозитов и текущих счетов: необходимый минимум кассы определяет размеры возможного расширения банковских депозитов» (Там же, стр. 27). Но чем определяется этот минимум, Шапошников не выясняет, считая достаточным ссылку на то, что и Хоутри разделяет этот взгляд. Для нас, конечно, этот аргумент малоубедителен. Искать решения этого центрального вопроса о границах кредитной экспансии в нормах кассовых резервов—это значит отсылать от Понтия к Пилату и вращаться в порочном кругу.

Напряжение кассового резерва при наличии кредитной экспансии не причина, лимитирующая об'ем последней, но в лучшем случае только симптом, сигнализирующий, что кредитная экспансия перешла об'ективно допустимые для нее пределы. В иных случаях нормы покрытия не выполняют даже и этой сигнализирующей функции, на что указывает практика Английского банка в период мировой войны, когда кредитная инфляция прекрасно уживалась с высокой нормой обеспечения банкнот и достаточными кассовыми резервами (считая в числе последних, как это и принято в английской практике, также и текущие счета депозитных банков в Английском банке).

Один и тот же процент кассового обеспечения в обычные времена может быть достаточным; в других—не достаточным. Последнее наступает именно в тот момент, когда кредитная экспансия переходит об'ективно необходимые для народного хозяйства границы, т.-е. когда создаваемые банками средства обращения используются для финансирования производства или для других целей, не имеющих никакого отношения к процессу товарообращения. Только, исходя из анализа воспроизводственного процесса, как единства процессов производства и обращения, можно понять роль и границы кредитной экспансии. Ссылкой же на обеспечение депозитов наличностью может удовлетвориться только тот банковский практик, для которого экономические законы управляются балансом, а кредитная политика—кассовой позицией сегодняшнего дня. В отличие от Шапошникова (и Хоутри) «вожди» современной экспансивистической теории Ган и Шумпетер не удовлетворяются подобной теорией и пытаются глубже проникнуть в анализ экономических процессов, связанных с кредитной экспансией.

[1]) Ibidem, стр. 96—97.

в капиталистическую динамику вмешивается особый фактор нарушения ее равновесия, действующий извне (неприсущий ее внутренней закономерности) и усугубляющий, следовательно, имманентные и «нормальные» противоречия капиталистической системы.

Это и дает об'яснения тому, почему эта идеология инфляционизма не встречает сочувствия в специальной литературе. Ибо, если бы этим принципом руководствовались в действительности, то это означало бы новые скачки конъюнктуры, новые, уже специально кредитно-денежной политикой вызываемые потрясения [1]).

Инфляция возможна и бумажно-денежная, и кредитная. Но капитализм борется с этими обоими видами инфляции, борется с этими инородными и дезорганизующими капиталистическую систему факторами.

И с этого пункта начинается не скрываемое самими экспансивистами отступление «в полном боевом порядке» их теории под напором действительности!

Практика против теории.

Шумпетер разграничивает вопрос о том, заключает ли «кредитообразное создание покупательской силы» границу в самом себе от вопроса о том, нужно ли, если это так, из практических соображений особое регулирование этого процесса! [2]). И далее он сам признает ни более, ни менее, как то, что его «автоматический механизм» просто отказывается действовать. На сцену появляется золото (развенчанное ранее в теории), и Шумпетер пессимистически указывает, что если бы отдельные банки не были обязаны «разменивать» по требованию свои кредиты на банкноты, а центральный банк свои банкноты на золото (sic!), то, «вследствие изменчивости условий кредита», судьба «ценности денег», следовательно, уровня товарных цен, была бы в чересчур широких пределах предоставлена во власть банкам, на что впервые указал Виксель. Ну, конечно, Виксель прав и Шумпетер тоже в этой «практической части» своей системы.

[1]) Практика Английского банка во время мировой войны может рассматриваться как классический образец кредитной инфляции. Английский банк принял на себя перед правительством обязательство оказывать широкую помощь торгово-промышленному обороту. Это обязательство банк полностью выполнил, и в итоге сумма оказанных кредитов значительно превысила нормальные довоенные размеры таковых. В числе прочих операций широко практиковались также и ссуды под облигации военных займов. Несмотря на то, что с 1 августа 1914 года по 1 августа 1915 года золотой резерв Банка почти утроился, и потому осталось в силе полное золотое покрытие банкнот, указанная кредитная политика неизбежно должна была привести к инфляции. Замечательно то, что формой проявления инфляции при наличии широко развитой в Англии системы жирооборота явился рост частных депозитов, вызванный предоставлением больших кредитов, а не эмиссия непокрытых нот. Кейнс, выступив с критикой этой политики Английского банка, с полным основанием указал, что в английских условиях рост депозитов, вызванный широким кредитованием, приводит к таким же инфляционным последствиям, как и рост банкнотного обращения (См. Weber, Depositen- und Spekulationsbanken, S. 31). Так же и Alfred Lansburgh («Die Bank», 1915, S. 989) об'яснял дизажио фунта стерлингов в этот период чрезмерным предоставлением кредитов частному обороту под давлением правительства. С этим соглашается и A. Weber (цит. соч., S. 31—32). Таким образом инфляционное влияние роста банковских депозитов даже при полном покрытии банкнот может рассматриваться не только как теоретически мыслимый процесс, но и как подтвержденный историческим опытом факт (О денежном обращении и кредитной политике в Англии во время и после войны см. статью Л. Юровского в «Социалистическом Хозяйстве» кн. IV и V за 1925 год).

[2]) Ibidem, S. 90.

И эта опасность, как мы показали, вытекает именно из того, что «автоматизм кредитной экспансии» не действует, что одна экспансия без капиталоаккумуляции не может породить «нормального» под'ема, и что поэтому только ложность самой экспансивистической теории вынуждает ее сдать свои позиции перед действительностью! И мы вполне соглашаемся со следующим практическим «откровением» Шумпетера:

«Хотя избыток созданной покупательской силы благодаря своему действию на уровень цен и отсюда вытекающих препятствий экспорта и стимулирования импорта устранялся бы противоположными действиями, но все же этот процесс означал такие потрясения, что удовлетвориться этим нельзя» [1]).

Так шаг за шагом теория «корректируется» практикой.

«Но кроме того,—продолжает Шумпетер,—наши положения слишком сильно отклоняются от действительности для того, чтобы можно было рекомендовать изложенный ход мыслей в качестве практической кредитно-политической установки» [2]).

Это верно: «ход мыслей» экспансивистической теории настолько «отклоняется от действительности», что, будучи развит на основе ложных положений, представляет из себя не более, чем довольно стройную логическую конструкцию, которая, однако, отнюдь не соответствует анализу действительного процесса. Познание, оторвавшееся от своего об'екта, создающее искусственную картину реального процесса, не может, конечно, быть плодотворным, и яркой иллюстрацией тому служит экспансивистическая теория.

Шумпетер разграничивает «сущность об'екта» и «несущность об'екта», при чем оказывается, что в этой «несущности» нуждается «сущность» кредитной системы. «В необходимости особой,—говорит он,—уже не в сущности вещи (Sache) лежащей «повязки» на кредитной машине, если разумно рассуждать (sic!) нельзя, следовательно, сомневаться» [3]). Итак, здесь «разумное рассуждение», а что же представляет из себя вся теоретическая конструкция? Видимо, «не разумное рассуждение»...

Далее Шумпетер указывает, что практика разных стран конструирует различного рода «повязки», в числе которых автор находит и рекомендуемую им систему Goldkernwährung (валюта с золотым ядром), при которой границей кредитной экспансии служит «данный уровень цен». «Конечно, золотая валюта абсолютно не гарантирует этой границы», ибо такое «связывание валютной единицы с золотом уже само является причиной изменения цен»: однако при этой системе денежная единица не будет изменяться по крайней мере под влиянием банковского создания покупательской силы (вот это «разумное рассуждение»!) и в то же время не будет препятствовать банковскому созданию покупательской силы. Влияние последнего на повышение цен благодаря «золотой повязке» в период под'ема как в отношении продолжительности, так и интенсивности этого под'ема цен удерживается в твердых рамках.

Положительную сторону этой «золотой повязки» Шумпетер находит в том, что она не препятствует временным колебаниям цен, и видит поэтому в ней «существенный элемент жизненно-важного механизма»; другая положительная сторона этой «повязки» в ее «автоматическом действии» (здесь «автомат» в отличие «автомата» кредит-

[1]) Ibidem, S. 97.
[2]) Ibidem, S. 98.
[3]) Ibidem, S. 99.

ной экспансии безусловно действует.—З. А.), каковое устраняет необходимость в сложных мероприятиях государственного управления и политики, направленных к регламентированию кредитной экспансии. «Она («кредитная повязка») врастает в кредитный механизм, становится частью его, и банковский мир не ощущает больше ее, как чужеродное тело».

Итог: во-первых, Шумпетер принципиально считает необходимой «повязку» (или «узду») для кредитного механизма, и, во-вторых, лучшей «повязкой» считает «золотую повязку» [1]).

Уничтожив до основания всю свою теоретическую конструкцию «автоматизма кредитной экспансии», Шумпетер успокаивает себя на том, что «сущность кредитного механизма благодаря появлению связывающего влияния золотой валюты, так же мало становится иной, как сущность вексельного курса или денег». Эта аналогия очень мало помогает Шумпетеру. Пока Шумпетер доказал только то, что без «золотой повязки» невозможно «нормальное» функционирование капиталистической системы, и что золото—это не «оковы», как любят выражаться номиналисты, но эластично-автоматическая и абсолютно-необходимая «повязка»!! Раз кредитно-денежный механизм не может «нормально» функционировать без «золотого ядра», раз «золотая повязка» врастает в кредитный механизм и не ощущается последним, как «инородное тело», то какие основания имеет Шумпетер считать, что сущность кредита, денег и вексельного курса не связана с золотом (т.-е. ценностью на роли всеобщего эквивалента), но представляет из себя нечто особое? Абстрактно теоретически элиминируя деньги и кредит от их «об'ективно-ценностной» основы, Шумпетер, как реалист-эмпирик, вынужден подвести этот базис под кредитно-денежную систему, и именно здесь мы убеждаемся, что теория для Шумпетера это одно, а действительность нечто иное, и поэтому законы теории не приложимы в действительности!

Мы доказали, что теоретически не может быть обоснован механизм, лимитирующий об'ем кредитной экспансии, коль скоро эта последняя освобождена от об'ема накопления. В теории Шумпетер пытался доказать обратное. На практике и он признает, что вынужден еще особый фактор, лимитирующий об'ем кредитной экспансии. И таким фактором, как мы знаем, является золото,—эта необходимая и неустранимая база кредитного и денежного аппарата. По Шумпетеру же «было бы неправильным сказать, что сущность денег изменяется через связывание их (денег) золотом. Скорее этим вводится только новый момент ограничения их количества, новая вещная гарантия против произвольного увеличения их массы» [2]).

Ну, конечно, сущность денег и кредита «не изменяется» от «связывания» их золотом, не изменяется потому, что вне связи с золотом, как всеобщим элементом, не может быть понята сущность денег и кредита, ибо без ценностной основы нет ни денег, ни кредита, ни капитализма вообще.

И, конечно, нельзя не согласиться с практиком Шумпетером в том, что **«золотая повязка» накладывает узду на «произвол банков», дает наиболее рациональную форму связыванию их действий: «золотая повязка в виде обязательства размена связывает ближайшим обра-**

[1]) Ibidem, ст. 99.
[2]) Ibidem, S. 100.

зом Центральный Банк, а через него и другие банки, а через них коммерческий мир и уровень цен» [1]).

Однако здесь мы должны заметить, что хотя «золотая повязка» и необходима для капитализма, но в этой необходимости заключается внутреннее противоречие. С одной стороны, капитализму имманентна тенденция освобождения от «золотых оков», ибо в противном случае рост производительных сил был бы поставлен в зависимость от роста металлического обращения. Обращение, которое само является лишь необходимым моментом производства и воспроизводства, не может подчинить себе производство, и сжать золотыми тисками развитие производительных сил. Последние разрывают эти тиски и, в полном соответствии с внутренней закономерностью воспроизводственного процесса, раздвигают рамки обращения за пределы наличных металлических средств обращения, создавая заместителей последних в виде бумажных денег, и в особенности кредитных денег. Рост последних как раз и отражает растущее производство и необходимость соответственного расширения границ обращения.

Итак, создание средств обращения, в которых «материальное существование поглощалось бы, так сказать, их функциональным существованием» (Маркс), следует рассматривать, как неизбежное и необходимое. И именно эта об'ективная закономерность и необходимость обуславливает возможность «творчества» средств обращения как государством, так и банками в форме «коммерческого создания покупательской силы». Но если эта эмансипация необходима для устранения разрыва между ростом производства и обращением, то сама эта эмансипация, поскольку она принципиально уничтожает всякие границы роста средств обращения, порождает, но уже с противоположной стороны, новую возможность разрыва между производством и обращением.

Этот разрыв в любой момент может наступить под напором бумажно-денежной или кредитно-инфляционной волны. Вот почему капитализм не может целиком освободиться от связывания обращения золотом и не устраняет, но лишь раздвигает эти границы тем, что допускает кредитную экспансию, но на золотой основе, что более или менее гарантирует поддержание «золотых цен». Такой гарантией и служит обязательство размена, которое дает возможность автоматического сокращения массы средств обращения, в случае падения их «ценности» ниже ценности замещаемого металла.

То, что действительно необходимо для капитализма—это номинальные средства обращения и «золотые цены». И именно эта необходимость заставляет Шумпетера шаг за шагом отказываться от принципов своей экспансивистической теории. Именно «золотая повязка» сводит на-нет эту теорию, ибо, препятствуя повышению цен, которое создает кредитная экспансия сама по себе, она в то же время парализует и самую кредитную экспансию, устраняет ее «ведущую роль»; вместо роли основного фактора, порождающего под'ем, кредитная экспансия низводится до положения вторичного и содействующего этому под'ему фактора.

Но если «золотые цены» держат банкнотную эмиссию в границах обращения и антиципации процесса капиталонакопления, то это не отрицает возможности жиро-эмиссии или эмиссии текущих счетов, которая одна в состоянии дезорганизовать процесс обращения, а сле-

[1]) Ibidem, S. 104.

довательно, нарушить равновесие хозяйственной системы. Отсюда необходимость в особых нормах, связывающих и этот вид экспансии, как-то: установление процентного отношения наличности к обязательствам, депозитов к акционерному капиталу, нормы ликвидитета и публичная отчетность, борьба с иррегулярными операциями банков и пр.

Кредитная экспансия, связанная всеми этими нормами, все же играет исключительно важную роль в капиталистической динамике, ибо она реализует ту возможность и необходимость под'ема, которая вытекает из закономерностей циклического движения: она создает средства обращения, без чего под'ем вообще был бы невозможен. Большее или меньшее приспособление кредитной экспансии к циклическому движению как раз и достигается всеми этими мероприятиями, как размен, резервы и пр. Именно они и направлены к предотвращению «лжепод'ема» на основе кредитной экспансии, как таковой, эмансипированной от накопления. То, что Шумпетер - практик рекомендует «золотую повязку», а Мюллер считает допустимой только пассивную кредитную экспансию, показывает лишь то, что основной экспансивистический принцип не увязан с действительностью.

Заключение.

Наши выводы из критического анализа экспансивистической доктрины сводятся к следующему. На вопрос о том, необходима ли кредитная экспансия вообще, т.-е. эмиссия сверх наличных пассивов—денежных накоплений,—мы отвечаем положительно.

Но мы совершенно расходимся с экспансивистической теорией в том, какого типа кредитная экспансия необходима для капитализма. Мы утверждаем, что для развития производительных сил при капитализме действительно необходим лишь тот тип кредитной экспансии, при котором растущее производство освобождается от связанности границами металлического обращения, т.-е. экспансия, приспособляющая денежное обращение к об'ему товарного обращения. Именно благодаря наличию такой экспансии производительные капиталисты освобождаются от необходимости авансирования денежного капитала на весь период обращения, и этим достигается «наивысшее напряжение производительной силы капитала» (Маркс). Полученная, например, по учету векселей производительными капиталистами покупательская сила (создаваемая банками), немедленно же реализуется в элементы производительного капитала и служит для дальнейшего расширения производства, следовательно, не только возмещаются элементы C + V, но также капитализируется m (частично), которая в действительности пока еще не реализована. Следовательно, как уже было отмечено, антиципируя реализацию T', банки тем самым антиципируют и накопление части m, что приводит к возрастанию производительной силы всего общественного капитала.

Только такая кредитная экспансия и необходима для капитализма, но отнюдь не та, о которой говорит Шумпетер. Мы уже показали, что источником финансирования нового производства не могут служить создаваемые банками ad hoc покупательские средства, что такая экспансия не только не необходима для под'ема, но что, наоборот, она может оказаться препятствием для под'ема, ибо вызывает инфляцию и потрясение кредитно-денежного аппарата, а следовательно, и всей капиталистической системы.

Есть ли далее граница для того типа кредитной экспансии, возможность и необходимость которой мы установили? Такой границей является не что иное, как реализуемая товарная масса (T'). Конкретным показателем этой границы служит уровень цен: при «золотом стандарте» чрезмерная кредитная экспансия обязательно вызывает повышение цен, отлив золота, и в результате банки под нажимом центрального эмиссионного института вынуждаются к сокращению кредитной экспансии.

«Границу» кредитной экспансии не следует, однако, понимать, как нечто твердое и абсолютное. Действительный процесс представляет из себя постоянное нарушение этой границы вверх и вниз. Подобно прочим экономическим законам, и этот закон осуществляется только, как тенденция, как непрерывное колебание вокруг указанной точки. Анархическая капиталистическая система, даже при унификации всего кредитного аппарата, не в состоянии приспособить об'ем кредитной экспансии к об'ему производства и обращения.

И именно из этой об'ективной невозможности такого совпадения и вытекает суб'ективное представление о кредитной экспансии, как особом источнике финансирования производства, о кредите, как самостоятельной производительной силе, и независимости кредитования от действительного капиталонакопления. Эти иллюзии вытекают, однако, из конкретных фактов, а именно из того, что сплошь и рядом за счет фиктивных денежных капиталов (т.-е. ad hoc, созданной покупательской силы), финансируется грюндерство. Но это и есть не что иное, как закономерное (в силу стихийного характера действия экономических законов вообще), нарушение границы об'ективно-необходимого об'ема кредитной экспансии. И поэтому, с нашей точки зрения, нет никакого противоречия между признанием наличия указанной выше об'ективной границы кредитной экспансии и конкретными фактами финансирования грюндерства за счет ad hoc создаваемой покупательской силы. Хотя «нормальный» под'ем и не создается за счет финансирования по Шумпетеру, но такое финансирование в действительности всегда сопутствует под'ем, и не может не сопутствовать, ибо раз необходима вообще кредитная экспансия для под'ема, значит неизбежно и нарушение об'ективных границ этой экспансии. Точное же приспособление кредитной экспансии к об'ективно-необходимой ее границе, чего добиваются натуралисты, означало бы такую рационализацию процессов денежно-кредитного обращения, которая противоречит самой природе этих последних. Капитализм вырабатывает целую систему барьеров для кредитной экспансии, но эти барьеры никогда не могут приспособить кредитную экспансию к необходимому об'ему обращения; они всегда оставят лазейки для спекулятивного грюндерства именно потому, что нет такого органа, который мог бы проконтролировать, как в каждом отдельном случае используются эмиссионные рессурсы (в широком смысле) банков, а также и кассового характера депозиты последних (которые, не являясь формой накопления, не могут служить фондом финансирования производства): идут ли они на реализацию товаров или на грюндерство.

Операции с фондами, являясь с банковской точки зрения, равноценными краткосрочным ссудам, в действительности всегда служат источником финансирования грюндерства, и никто не может запре-

тить банкам использовать свои эмиссионные рессурсы именно в этих целях, т.-е. не для товарообращения, ибо никто вообще не может по балансу банка установить, с одной стороны, какая часть банковских пассивов представляет денежное накопление и какая фиктивна, и, с другой стороны, какая часть активов обслуживает обращение товаров и какая представляет из себя капитальные вложения (Anlage). Это разграничение проводит стихийно-капиталистический регулятор лишь post factum, при чем симптоматология этого процесса политической экономией вполне разработана: колебания резервов банков, вексельного курса и процента; нередко «регулирование» осуществляется и в более резкой форме, а именно в кредитно-денежных кризисах, которые сопровождаются крахами отдельных банков и финансируемых ими предприятий, и напряжением всего кредита страны, не вызывая, однако, такого потрясения, которое бывает при периодических промышленных кризисах.

Итак, перед нами противоречие между целым и его частями, между капиталистической системой и составляющими ее элементами—капиталистическими предпринимателями. Об'ективно для капиталистической системы необходима кредитная экспансия лишь в об'еме, соответствующем потребностям товарного обращения в средствах обращения. Но для каждого отдельного банка или предпринимателя, наоборот, желательна и с точки зрения конкуренции необходима кредитная экспансия, далеко выходящая за эти пределы [1]), а именно поощряющая самое широкое грюндерство в целях использования создавшейся в данный момент благоприятной кон'юнктуры.

Каждый отдельный капиталист добивается такой «сверхэкспансии», как представитель своих собственных интересов, но не как представитель всего класса в целом, ибо такая сверхэкспансия, как было показано выше, способна расстроить весь процесс обращения и нарушить равновесие всей системы. Это противоречие в некотором отношении аналогично противоречию между стремлением каждого отдельного капиталиста к максимуму прибыли, что достигается введением улучшенной техники и сокращением необходимого для производства труда, и об'ективным результатом этого стремления—повышением органического состава капитала и понижением нормы прибыли. В обоих случаях каждый отдельный капиталист действует против интересов всего класса, как целого.

Натуралисты, которые в теории выступают резкими противниками широкой кредитной экспансии и рекомендуют банкам сдержанность и осторожность, как раз и являются идеологами класса капиталистов, как единой корпорации: они либо вообще отрицают кредитную экспансию, либо допускают кредитную экспансию лишь для процесса обращения. Тем самым они устраняют противоречие по крайней мере на бумаге, но оно, несмотря даже на все мероприятия по обуздыванию произвола банков, продолжает существовать в действительности.

Это противоречие проявляется не только в сравнительно редких кредитно-денежных кризисах, но непрерывно действует всегда и везде на протяжении промышленного цикла.

Именно кредитная экспансия подхлестывает волну под'ема кон'юнктуры и тем самым увеличивает ту высоту, с которой должно

[1]) «Поскольку каждая фирма, которая полностью использует кредит, имеет преимущество перед другой фирмой, им не пользующейся, становится ясным стремление в условиях конкуренции вполне использовать кредитные возможности» (Дж. Гобсон, Эволюция современного капитализма, Гиз, 1926, стр. 223).

произойти падение, а следовательно, и силу самого падения и тяжесть его последствий для капиталистической системы.

Сказанное определяет наше отношение к экспансивистической теории, с одной стороны, и натуралистической, с другой. Последняя правильно считает, что обращение обуславливается производством, и что поэтому причиной экономического под'ема не может быть кредит или кредитная экспансия. Но они не понимают роли кредита, как формы производства и формы обращения, и в кредитной форме капиталистического под'ема (кредитная экспансия), поскольку она представляет из себя нечто отличное и не совпадающее с материальным процессом (реальным накоплением), видят «ненормальность», порождаемую злой волей банкиров. Они хотят, чтобы сущность вещей совпадала с формой их проявления, и поэтому упорно настаивают на необходимой будто бы обусловленности об'ема кредитования данным об'емом денежного накопления (пассивы), устанавливают «твердые границы» для кредитной эмиссии и пр. Между тем, уже самый факт банкнотной или жиро-эмиссии указывает на несовпадение материального содержания воспроизводственного процесса и формы его движения.

В результате — противоречие натуралистической теории с действительностью и «осуждение» ими этой последней. И вот строгие натуралисты с сожалением вынуждены констатировать, что жизнь не такова, какой она должна была быть, согласно их теории. Так, например, известный знаток английской кредитной системы Яффе в теории утверждает, что за счет краткосрочных банковских пассивов нельзя, мол, кредитовать строительство, но, несмотря на это, вынужден констатировать, что английские банки в эти операции вкладывают гораздо больше средств, чем допускает природа их пассивов [1]). Точно так же и от знатока немецкой банковской системы Вебера мы узнаем, что немецкие банки основательно занимаются «спекулятивными операциями», т.-е. финансируют производство, не имея в своем распоряжении соответствующих этим операциям капитального характера пассивов [2]).

Итак, теория—одно, действительность—другое! В теории есть «принципы» и «твердые границы» для кредитования, а на практике нет ни «принципов», ни «границ». Поэтому то, что происходит в действительности, и представляется им в виде какой-то аберрации или ненормальности. Заметим, что финансирование производства банками за счет эмиссии, или, например, «кассовых депозитов», на практике прекрасно уживается с золотой валютой.

Если несовпадение формы воспроизводственного процесса с его материальным содержанием натуралисты принимают за извращение действительности, то экспансивисты исходят из самой формы движения, видят в этой «ненормальности» единственно-возможный и необходимый процесс. Если одни отождествляют содержание процесса с его формой, то другие, наоборот, отождествляют форму движения с его содержанием, и по движению формы (кредитная экспансия) судят о возможности или необходимости динамики самого материального процесса.

Поэтому в теории они отбрасывают те границы реально-денежного накопления, которые устанавливают натуралисты, и допускают возможность и необходимость кредитной экспансии, которая, раз «появив-

[1]) Jaffé, Das englische Bankwesen, S. 215.
[2]) Weber, Depositenbanken und Spekulationsbanken.

шись, вызывает к жизни и ту материю», формой которой она сама является. Если у одних форма подчинена содержанию, то у других (экспансивистов) содержание подчинено форме, и движение формы обязательно поэтому порождает движение материи (товарный комплемент созданной банками покупательской силы у Шумпетера). Мы уже видели, что и экспансивистическая теория пасует перед действительностью («золотая повязка» Шумпетера и пассивная экспансия у Мюллера). Последняя не укладывается в рамки ни той, ни другой теории, и, вместе с тем, отдельные стороны последней отражаются как в той, так и в другой теории.

Двойственность самого воспроизводственного процесса, его материального содержания и социальной формы, порождает и теоретическую двойственность в буржуазной науке. Противоречия теории есть не что иное, как противоречивая действительность, рассматриваемая с противоположных сторон.

И здесь, в теории кредита, мы имеем полную аналогию с двойственностью всех буржуазных теорий денег, именно товаро-металлической и номиналистической.

Для первых материальное содержание денег (деньги—металл) исчерпывает их сущность. Для номиналистов же, наоборот, форма денег, как платежного или покупательского средства, и есть сущность денег, которая поэтому и не нуждается ни в каком особом материально-ценностном содержании. Поэтому для одних деньги—товар, для других деньги—знаки. Мы же знаем, что поскольку деньги являются выражением общественных производственных отношений, они не являются материалом—товаром и суть просто знаки, которые служат лишь формой реализации этих отношений (как средства обращения и, идеально, как масштаб цен); поскольку же эти отношения невозможны без превращения конкретного труда в абстрактный, и выражения последнего в каком-нибудь одном товаре в качестве мерила ценности, постольку деньги не просто знаки, но товар с вполне определенной «материальной субстанцией». Только соединение материального содержания с его социальной формой дает нам возможность раскрыть сущность этого феномена и разрешить основную контроверзу буржуазной теории денег.

Именно марксова теория денег и дает такое решение старой контроверзы денежной теории. Теорию кредита Маркс не успел закончить разработкой, и если теория денег дает нам уже готовое решение проблемы, то аналогичную контроверзу теории кредита приходится решать его ученикам. В той же плоскости и тем же методом мы должны найти решение проблемы о сущности и функциях кредита и границах кредитной экспансии.

Социал-демократия и военный вопрос.

Рудольф Гаус [1]).

«Поэтому мы приветствуем тот факт, что Исполком Интернационала (Второго) на своей апрельской сессии постановил назначить особую комиссию по разоружению».
Гильфердинг, в «Gesellschaft», стр. 285—286.

В журнале «Gesellschaft», «международном обзоре по вопросам социализма и политики», видные теоретики II Интернационала обсуждают отношение пролетариата к войне и организации военных сил.

В № 5 названного журнала за 3-й год издания мы находим три статьи по вопросу о разоружении: 1) Рудольфа Гильфердинга—«Война, разоружение и милиционная система»; 2) П. Фейлана—«Первые шаги к разоружению» и 3) Альсинга Андерсена—«Социал-демократическая политика разоружения в Дании». Заслуживает еще внимания появившаяся в № 2 статья Теодора Гаубаха—«Социализм и военный вопрос». Здесь с такой изумительной откровенностью подводятся итоги военно-теоретической программе II Интернационала, что вместе с тремя вышеназванными статьями стоит внимательно рассмотреть и эту.

В основе всех статей лежит одна и та же общая установка. В одном только пункте между Гильфердингом и Гаубахом имеется разногласие (при единомыслии во всех важных принципиальных вопросах): в вопросе о милиции. Об этом мы поговорим особо в последней главе.

В дальнейшем мы ставим себе целью отчетливо выяснить военные принципы реформизма и рассмотреть, что́ они собою представляют в свете марксистского учения. Мы постараемся показать, какие тенденции определяют военное дело (военную технику, стратегию и тактику) в эпоху империалистических войн и пролетарской революции. Отношение коммунизма к милитаризму должно быть выявлено со всею ясностью.

I. «Антимилитаристская» программа II Интернационала.

На политическом горизонте сгущаются черные грозовые тучи. Империалисты готовят новую мировую войну. В этот момент, когда пролетариат всего мира с тревогой взирает на лихорадочные приготовления капиталистов, на сцене появляется II Интернационал. Рудольф Гильфердинг задает тон. Он был достаточно долго одним из вождей 2½ Интернационала, чтобы набить себе руку в революционной фразеологии и соединенной с реакционнейшими делами.

[1]) Перевод с немецкого И. Румера.

Гильфердинг знает, что в рабочих жива вера в силу международного пролетариата. И он знает также, что пролетариат помнит до сих пор о международных конгрессах довоенного времени (например, о Штутгартском конгрессе 1907 г. и о Базельском—1913 г.). Клич революционной социал-демократии «война войне!» еще не позабыт. Вопреки II Интернационалу, вопреки его разнузданной травле всякой революционной борьбы, пролетариат все больше проникается убеждением в необходимости революционного антимилитаризма.

И поэтому Гильфердинг говорит в общих чертах о «подлинном антимилитаризме» (стр. 396), за который должен-де бороться II Интернационал. Гильфердинг обнаруживает большое мастерство в искусстве произносить революционные фразы, защищая в то же время реакционнейшие планы, совершая гнуснейшее предательство социализма. Посмотрим, что́ разумеет Гильфердинг под «подлинным антимилитаризмом» социал-демократии.

«Теперь он (II Интернационал) переходит к формулировке конкретной политической программы действия для работы Лиги Наций по разоружению, к разбору тех методов, при помощи которых оно может быть осуществлено—правда, в трудной и долгой борьбе» (стр. 386).

Итак, II Интернационал приступает к выработке конкретной программы разоружения с тем, чтобы разоружение могло совершиться под эгидой Лиги Наций. Не будем останавливаться на том, что именно Лиге Наций (достаточно показавшей свое «миролюбивое» лицо в мосульском вопросе, в отношении Сирии, Китая и т. д.) поручается дело разоружения. Но вглядимся попристальней в программу II Интернационала по вопросу о разоружении. Это даст нам полное понятие о характере социал-демократического «антимилитаризма».

Гильфердинг начинает с критики социал-демократического прошлого. Однако, не прошлого 1914—1918 годов! Не критикует он и позицию германской социал-демократии во время дискуссии о разоружении в 1911—1912 годах. Зато он критикует тот период домировой войны, когда социалистический Интернационал еще был революционным. Теоретики революционного социализма—вот кто вызывает его гнев. Конечно, все реформисты начинали с утверждения, что «пустая, отрицательная критика» вредна. Естественно поэтому, что Гильфердинг заявляет: «Отношение к мирным конференциям в Гааге было недостаточно целостным, более критичным, чем положительным, и только в последние годы перед войной, благодаря сознанию растущей военной опасности и не в последнюю очередь благодаря проникнутым этим сознанием страстным усилиям Жореса, это отношение сменилось более активным поведением отдельных партий и социалистического Интернационала» (стр. 386—387).

Такова прелюдия. А затем Гильфердинг издает трубный звук, долженствующий опрокинуть стены революционного социализма:

«Война (имеется в виду мировая война 1914—1918 гг.) внесла еще бо́льшую ясность в положение. Старый тезис: «капитализм, это—война, социализм—мир» стал несостоятельным в обеих своих частях» (стр. 387).

Итак, маска сброшена!

Социализм не есть мир,—ибо Советская Россия воюет! По мнению Гильфердинга, Советская Россия должна была бы покорно мириться со всяким вражеским нашествием! Если даже подавление контрреволюционных восстаний (Грузия) вызывало негодование Гильфердинга, то, разумеется, отпор покушениям Чжан Цзо-лина на русскую железную дорогу возбуждает еще больший гнев в теоретике II Интернационала. Он мечет громы и молнии против «русского стремления к экспансии, не отступающего... даже перед военной угрозой для удержания колониального влияния» (стр. 387). Эти слова могли бы буквально в том же виде стоять в какой-нибудь лондонской буржуазной газете. Но мы имеем дело с социал-демократическим теоретиком.

Он «открывает» поэтому такие параллели: и «французские революционные войны... закончились завоевательными войнами Наполеона и борьбой Франции и Англии за гегемонию» (стр. 387). Нужна поистине большая тупость или большое злопыхательство, чтобы не видеть разницы между войнами революционной буржуазии конца XVIII века и революционными боями пролетариата в эпоху империализма. Гильфердинг дал поистине «баснословное» обоснование своему утверждению, что социализм не есть мир!

Затем он переходит к другой половине своего тезиса: «Капитализм не равносилен войне». Период войн миновал, ликует Гильфердинг: по экономическим, политическим и военным причинам капитализм вступил в такую стадию, когда война уже невозможна. «Было бы ошибкой считать уничтожение войны невозможным при господстве капитализма, считать разоружение иллюзией до окончательной победы социализма...» (стр. 390). Какое счастье! Ужасное время войн осталось позади! Капитализм сделался миролюбивым!

В обосновании и этого пункта Гильфердинг проявляет большую тупость. Но у Гильфердинга есть усердный ученик—Теодор Гаубах. Этот последний — откровенный националист в СПГ — подхватывает тезис о «конце войны» и подробно исследует его в пространной статье. Гаубах делает выводы из теории Гильфердинга. В дальнейшем мы увидим, чего стоит этот тезис Гильфердинга-Гаубаха о «конце войны».

Но, чтобы как следует понять эту теорию, рассмотрим рассуждения Гаубаха несколько ближе. Мы увидим, каким политическим содержанием наполнено утверждение о «конце войны».

II. Социализм и пацифизм.

Спросим себя прежде всего, что́ понимает Гаубах под социализмом? Вот его собственные слова: «Конститутивное употребление признаков конечной цели при рассмотрении развития недопустимо. В применении к нашей проблеме это значит: нынешняя эвдемонистическая формулировка конечной цели необязательна. Во-первых, она слишком конститутивна по своему характеру... а, во-вторых, она не имеет никакой опоры в реальных путях развития». Просим прощения у читателя! Но мы не могли отказать себе в удовольствии процитировать подлинные слова самого Гаубаха во всем их великолепии. В переводе на человеческий язык эта галиматья означает: «конечная цель—ничто, движение—все!».

Эта песенка нам хорошо знакома. Бернштейну она помогла дойти, до степеней высоких. Почему бы реформисту Гаубахту не высказать сегодня с полной откровенностью то, что тридцать лет тому назад сорвалось у Бернштейна с губ в минуту слабости? К чему признавать еще, что законы развития капитализма ведут за его пределы, к внеклассовому обществу? Ведь марксизм—для Гаубаха и для реформизма—устаревшая точка зрения! Единственная оригинальная черта Гаубаха заключается, пожалуй, в том трюке, что у него именно «диа-

лектический социализм» обязывает реформистов безвольно плыть по течению. Вести социалистическую политику — это для реформизма значит: ради требований момента жертвовать будущностью пролетариата.

Для Гаубаха характерно, что он делает марксизму замаскированный упрек за его «умозрение о конечной цели». Гаубах потешается над «сотериологией [1]) социализма», повествующей о прекращении эксплоатации человека человеком, об уничтожении классов и отмирании государства. В противовес этому мы подчеркиваем со всей энергией, что сущность марксизма именно в том и заключается, что он распознает в нынешнем обществе зародыши будущего и служит повивальной бабкой для рождающегося нового общества.

Но не будем здесь останавливаться на вопросе о сущности марксизма (т.-е. учения об условиях освобождения рабочего класса).

Посмотрим, каково отношение Гаубаха к пацифизму. Гаубах заявляет, что «бессодержательность и абстрактность голого пацифистского понятия о мире... делает это понятие философски и политически непригодным». Гаубах не дает себе труда разобраться в том, почему пацифистское движение «непригодно». Он даже не пытается обосновать свое утверждение.

Военный теоретик пацифизма должен был бы показать, что пацифизм есть, в лучшем случае, только борьба против последствий капиталистической системы. Пацифизм борется с ветряными мельницами.

Ни Гильфердинг с Гаубахом, ни Фейланд, ни Андерсен не вскрывают сущности пацифизма. И если они все-таки отмежевываются от него, то лишь самым поверхностным, чисто внешним способом. Они остерегаются обнажить ядро пацифизма. Да это было бы им и не по силам, потому что они сдали позиции марксизма. Гильфердинг выбросил лозунг: «Капитализм не есть война!». Этим лозунгом военные теоретики II Интернационала преградили себе доступ к уразумению сущности войны и к ее преодолению.

В противовес буржуазному и социал-демократическому пацифизму мы, марксисты-ленинцы, должны установить следующее: капитализм будет неизбежно порождать все новые войны, и пацифизм (честный!) обрекает себя на сизифов труд. Надо уничтожить корни военной опасности—борьба должна быть направлена против причин войны, против капитализма.

Впрочем, в большинстве случаев пацифизм является сознательным обманом. Его цель—усыпить бдительность пролетариата перед лицом нового военного пожара. Рабочим стараются втолковать, что о войне никто и не помышляет, что с каждым днем мир все больше успокаивается и умиротворяется.

Но, пока пацифисты поют свои свирельные песни о мире, военные спецы работают во-всю. Начиная с 1914 г. они с головой ушли в работу. Заключение мира отнюдь не явилось сигналом для ослабления милитаризма и соперничества народов в области вооружений. Наоборот—вооружаются усиленней, чем до войны. Уроки мировой войны собираются, систематизируются, практически используются. Непригодные составные части армии устраняются или сильно сокращаются. Производятся «перегруппировки» элементов военного

[1]) Сотериологией называется в церковной догматике учение о спасении человека искупительной смертью Иисуса Христа.

дела. Строятся новые военные машины. Война дала толчок изготовлению новых орудий истребления, она открыла неведомые до тех пор возможности. В связи с этим идет проверка всех видов оружия. Упражняются в обращении с оружием новых образцов, к каждому орудию нападения подыскивают соответствующее орудие обороны и т. д. Подготовка к будущей мировой войне в полном разгаре.

Но пацифисты этого не видят—по их мнению, кругом воцаряется миролюбие. На берегах голубого озера, у которого лежит Локарно, растут для них чудеснейшие пальмы мира.

III. Теория насилия.

Со времени блаженной памяти Дюринга немало было написано книг о насилии. Теперь Гильфердинг и Гаубах выступают с новой модификацией этой бесспорно важной теории. Посмотрим, что они нам предлагают.

Прежде всего Гаубах замечает: «Раз утверждают, что конечная цель, социализм, заключает в себе отсутствие насилия, как свою безусловную предпосылку, то во всяком случае придется соблюдать принцип неприменения насилия и на пути к этой конечной цели» (стр. 122). Но почему же из совпадения этих двух понятий, социализма и отсутствия насилия, должно следовать, что надо «во всяком случае» отказаться от насилия, как средства осуществления социализма? Почему? Да ведь «глас народа» уже давно возвестил, что нельзя изгонять чорта именем дьявола! Кого это доказательство не удовлетворяет, тот уж пусть пеняет на себя! Но этого мало, к ответу привлекается и Гегель. К сожалению, Гаубах не указал, где именно говорит Гегель о тождестве средства и цели. А то немедленно бы выяснилось, что Гаубах откопал и слегка подновил одно старое «знаменитое» искажение Гегеля. Бедному Гегелю пришлось уже, однажды, благодаря грубому непониманию его тезиса о разумности существующего, послужить оправданием для старого, прогнившего общественного строя. Мы живем теперь в таком же разлагающемся мире, и поэтому Гегель должен стать опять предметом того же грубого недоразумения. Старому философу оказывается новая почесть!

Но вернемся к Гаубаху: в мире существует насилие. Значит, и социализм наших дней должен употреблять насилие. Значит, социализм не может существовать без насилия. Недаром Гаубах неоднократно заявлял, что «конечная цель, социализм», ничего не стоит.

Итак, мы теперь знаем, что в нашем современном обществе существует насилие, а, следовательно, насилие должно быть и при социализме. Ведь это так ясно. Так учат глас народа и официальный философ прусского королевства.

Но тут Гаубах вспоминает, что «это учение о конечной цели (т.-е. социализм—Р. Г.) по существу живо еще и поныне». Это, конечно, верно — ведь в СПГ еще существуют пролетарии. А они все еще верят в «конечную цель», т.-е. «в уничтожение классового расслоения и прекращение взаимного общественного угнетения и эксплоатации». (Между прочим: пролетарии уж, конечно, не верят во взаимное угнетение; пролетариат не знал до сих пор, что он эксплоатирует и угнетает буржуазию). Итак, пролетарии еще верят в уничтожение классовых противоречий и в отмену института наемного труда. И этим пролетариям даже самый откровенный теоретик реформизма еще вы-

нужден бросать крохи социалистических фраз. Итак, по Гаубаху, насилие останется и при социализме. Но не бойтесь: в этом насилии не будет ничего дурного. Ведь и сейчас мы видим, что буржуазия больше не палит из пушек.

Пролетарий недоумевает. Он сомневается, чтобы империалист отказался от своих пушек. Но это так, успокаивает его Гаубах. Это сказал уже сам Маркс. Неужели? Гаубах имеет наглость утверждать это. Авторитетом Маркса хочет он прикрыть свою теорию. Он говорит: «Насилие остается—меняется только форма его проявления. Не сказал ли Карл Маркс: «Капитал вместо пушек»?» (стр. 123—124).

Господин Гаубах, это—грубая передержка, низкий обман! Прочтите, что написано в I томе «Собрания сочинений Маркса и Энгельса» на 64 странице! Там вы увидите черным по белому, как издевается Маркс над ничтожеством манчестерской школы, якобы стремящейся заменить пушки капиталом. Маркс прямо говорит, что «было бы большой ошибкой придавать манчестерскому евангелию мира глубокое философское значение». И он прямо указывает на то, что «увеличенные сметы на армию и флот были без возражений приняты в нижней палате, и ни один из членов парламента, присутствовавших на мирной конференции, ничего не имел против предложенного увеличения вооруженных сил». Но вы, господин Гаубах, превращаете презрительное, ироническое замечание Маркса в положительное утверждение. Тем самым вы ставите утверждение Маркса вверх ногами. «Великий учитель» Каутский показал, как можно фальсифицировать Маркса. Военный теоретик Гаубах показывает себя его достойным соратником.

Впрочем, если бы Гаубах внимательно прочел тот отрывок цитаты, который он переписал из статьи Люткенса в «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», он не мог бы сделать такой грубой ошибки. Одно из двух: либо он на стр. 124 забыл то, что сам же писал на стр. 121, — либо он занимается сознательной фальсификацией.

Гаубах ни разу не дает точного определения понятия насилие. Он только ходит вокруг да около. С торжественной миной возвещает он, с разными философскими побрякушками, самые избитые общие места. Если бы Гаубах действительно задумался над теорией насилия, он вспомнил бы, может быть, и о пространных рассуждениях о насилии в «Анти-Дюринге». Энгельс посвятил три главы этой книги теории насилия. Вот его буквальные слова: «Насилие, это в настоящее время—армия и военный флот...». Еще яснее и определеннее уточняет понятие насилия Ленин: «Насилие в XX веке. как вообще в эпоху цивилизации, это не кулак и не палка, а армия» (Ленин, «О войне»).

Насилие, это—армия! Пока существуют классовые противоречия и государственный аппарат, до тех пор армия останется одним из важнейших орудий в руках господствующего класса! Насилие есть, стало быть, политическое угнетение. Для Гаубаха это книга за семью печатями. Зато у него восстановлен классовый мир! По Гаубаху, бесправность пролетария уничтожена веймарской конституцией, и теперь буржуа и рабочий умиленно заключают друг друга в объятия.

Мир все больше проникается миролюбием. Кроме случайных потасовок в пивных, скоро не будет на свете никаких грехов. По крайней мере, если судить по статьям Гаубаха и Гильфердинга.

IV. Тезис о конце войны.

В основе военной теории Гильфердинга-Гаубаха лежит тезис о конец войны. С восторгом перенял Гаубах этот тезис Гильфердинга и подробно развил его, исправив кое-какие случайные погрешности. Утопая в «философской» болтовне, Гаубах пропел отходную социализму и насилию. Далее он переходит к «положительной» стороне своей теории. Постепенно в его статье выделяются четыре тезиса о конце войны. Эти четыре тезиса характеризуют конец войны с экономической, этической, технической и политической точек зрения.

Итак, бой начинается. Гаубах становится более точным и силится доказывать свои утверждения. Чтобы решить задачу, которую ставят себе Гильфердинг и Гаубах, т.-е. выяснить отношение социализма к военному вопросу, надо ответить на вопрос о конце войны.

1. Тезис об экономическом конце войны.

В ноябрьском выпуске журнала «Gesellschaft» (1925 г.) в статье, посвященной «реалистическому рассмотрению» проблемы мира, Гильфердинг «открыл», что капитализм достиг такой стадии, которая означает экономический конец войны. Не будем здесь останавливаться на этом открытии Гильфердинга. Тем более, что он уже получил за него заслуженную отповедь в других местах.

Гаубах с радостью хватается за этот тезис об «экономическом пацифизме капитализма». Мы рассмотрим подробнее его остроумные дополнения к тезису Гильфердинга. В конце концов Гаубах все же находит, несмотря на все преклонение перед своим учителем, сучек в глазу «экономического пацифизма». Во всех углах мира кипят войны и восстания. В Марокко, Сирии, Ираке и Китае ревут пушки и рвутся снаряды летчиков. И военных приготовлений империалистов против Советской России не могут замолчать даже самые восторженные «локарнисты».

Но наш теоретик не унывает: он выдумывает «европейско-северо-американскую территорию», которой-де ограничивается гильфердинговский «экономический пацифизм». И с невероятной откровенностью военный теоретик II Интернационала допускает, что война этой «европейско-северо-американской территории» против Советской России вполне возможна. С презрением говорит он о китайских и марокканских востаниях, находя вполне правильным, что «высоко-развитой законченный капитализм» расправляется с повстанцами при помощи ядовитых газов и артиллерии. Советская Россия лежит тоже за пределами умиротворенной территории. Здесь, однако, Гаубах не решается говорить яснее. Он предоставляет читателю додумать эти мысли до конца и воскликнуть: Долой Советскую Россию! Да здравствует высоко-развитой законченный капитализм!

2. Тезис об этическом конце войны.

«Этический пацифизм» заключается в утверждении, что «война, как организованное кровопролитие, есть преступление, и что поэтому от нее надо отказаться». И что же мы видим? Гаубах «без всяких церемоний» отклоняет тезис об этическом конце войны. Реформистский пролетарский читатель (если найдется такой, который продерется до этого места сквозь все проволочные заграждения) с облегчением вздохнет и скажет: вот каков материалист Гаубах!

Однако, посмотрим, что будет дальше.

3. Тезис о техническом конце войны.

Гаубах утверждает: «В результате своей технической интенсификации война сама себя уничтожила». Доказывается это следующим образом: «В тот момент, когда военная машина стала господствовать над воином, война перестала быть делом военных». Мы благополучно пришли, таким образом, к войне, которая не является больше делом военных! Это превосходное открытие, г. Гаубах! Оно вполне достойно вашего утверждения, что насилие перестает быть насилием, хотя насилие всегда остается.

Гаубах говорит: «Перемещение центра тяжести в машину отняло у солдата его первенствующую роль на войне». Он думает, стало быть, что война, это только такая борьба, которая ведется без помощи машин. Конечно, современная война не кулачный бой, в котором дело решается физической силой и присутствием духа. Но это—прописная истина, которую столько раз повторяли в течение десятков лет, что она сделалась в достаточной мере пресной.

С каких пор господствует машина в военном деле? Послушаем Энгельса («Анти-Дюринг»): «Огнестрельное оружие было... с самого начала оружием городов и поднимавшейся, опираясь на города, монархии против феодальной знати. Неприступные до тех пор каменные стены феодальных замков пали перед пушками горожан, рыцарские панцыри были пробиты пулями бюргерских мушкетов. Вместе с закованной в латы феодальной кавалерией рухнуло и господство феодалов; по мере развития бюргерства решающим родом оружия все больше становилась пехота и артиллерия; благодаря артиллерии, военное искусство было вынуждено включить в себя новую, вполне индустриальную отрасль—инженерное дело».

Энгельс говорит совершенно ясно: военное искусство буржуазии победило феодала, потому что оно включило в себя индустриальные отрасли. Капитализм характеризуется машиной, и военное искусство капитализма тоже характеризуется тем, что оно осуществляет дело убийства машинным способом. Если Гаубах другого мнения, то пусть он попробует поставить свои физические силы против револьвера; мы не сомневаемся, что победа останется за револьвером. Вследствие полнейшей неосведомленности в технике вооружений Гаубах просто говорит вздор. У него выходит, что военная машина только теперь стала господствовать над воином. Пятисот лет как не бывало! С таким господином не стоит и полемизировать!

Гаубах мог бы сослаться на одну интерпретацию энгельсова текста, которая до войны была довольно распространена среди социал-демократов. Энгельс говорит в «Анти-Дюринге» о том, что «милитаризм погибнет... от диалектики своего собственного развития». Эти слова были поняты в том смысле, будто Энгельс имел в виду невозможность единого общего командования в современных гигантских армиях. На самом деле Энгельс был очень далек от этой мысли. Наше время, с его невиданными прежде транспортными средствами и новейшей постановкой службы связи, дает возможность организовывать колоссальнейшие армии—покуда пролетариат будет давать убивать себя ради интересов капиталистов. Когда Энгельс говорил о диалектике милитаризма, он имел, конечно, в виду «качество» солдата. Но социал-демократы предвоенного периода не были революционерами, и поэтому все революционные черты социализма были для них в корне непонятны. Они всегда восторгались рассуждениями Энгельса о «состязании между рыцарскими доспехами и действием артиллерии», но тщательно старались при этом не замечать революционного смысла этих рассуждений. А между тем Энгельс выделил его так рельефно, что поистине трудно его не заметить. Энгельс пишет («Анти-Дюринг»):

«Милитаризм держит в своих руках и пожирает Европу. Но этот же милитаризм носит в себе зародыши собственной гибели. Соперничество между отдельными государствами заставляет их, с одной стороны, с каждым годом тратить все больше денег на армию, флот, артиллерию и т. д., все больше ускоряя, таким образом, наступление финансовой катастрофы; а, с другой стороны, оно вынуждает их все серьезнее проводить принцип всеобщей воинской повинности, и, следовательно, обучить в конце концов весь народ обращению с оружием, что даст ему в определенный момент возможность отстоять свою волю против командующей военной клики. Этот момент наступит тогда, когда у народной массы — сельскохозяйственных и городских рабочих и крестьян—будет своя воля. На этой точке государево войско превращается в народное войско; машина отказывается служить, милитаризм погибает от диалектики своего собственного развития. Чего не могла сделать буржуазная демократия 1848 г., именно потому, что она была буржуазная, а не пролетарская,—дать трудящимся массам волю, содержание которой соответствовало бы их классовому положению,—то неминуемо будет достигнуто социализмом. А это будет означать, что милитаризм и вместе с ним все постоянные армии взорваны изнутри».

Тут мы имеем совершенно ясное провозглашение антимилитаристической борьбы. Энгельс об'являет долгом классово-сознательного пролетариата вести борьбу против милитаризма в народных массах и в войсках. Социал-демократия предвоенного времени не поняла слов Энгельса, несмотря на всю их ясность. Но она, по крайней мере, пыталась понять Энгельса. Теперь ни один социал-демократ уже не считает нужным брать теорий Энгельса всерьез и выяснить свое отношение к ним.

Гаубах полагает, что если бы война вообще была еще возможна, то она могла бы вестись только небольшой группой химиков и инженеров. На пролетариате она отразилась бы в таком случае только косвенно: он участвовал бы в ней лишь пассивно. Рабочим не пришлось бы больше жертвовать собственной шкурой ради интересов капитализма. Если бы утверждения Гаубаха были правильны, то у пролетариата действительно не было бы, или было бы мало, поводов для об'явления войны империалистической войне.

Что сказать об этой мнимой замене миллионных армий несколькими инженерами и химиками? На самом деле в будущей войне миллионы пролетариев снова должны будут истекать кровью на фронтах во славу империализма. Женщины, дети и старики должны будут служить войне в милитаризованной промышленности. Правда, наблюдается тенденция к сокращению и дифференцированию армий. Но, несмотря на эту тенденцию, в будущей войне (а ни один военный специалист не сомневается, что мы находимся накануне новой чудовищной мировой войны) на фронты будут брошены еще более огромные человеческие массы. Театр военных действий раздвинется до гигантских размеров; грядущая мировая война будет, вестись на материках.

Мысль, что военные действия будут перенесены в химические лаборатории и технические бюро, есть удар по противовоенному фронту про-

летариата. Воззрение Гаубаха есть прямая поддержка империалистов. Подобным теориям мы должны об'явить самую решительную борьбу.

Один момент выдвинулся со времен Энгельса на первый план: преодоление пространства. Успехи авиационной и автомобильной промышленности дали толчок дальнейшему развитию военной техники. Невероятная быстрота прохождения больших расстояний совершенно преобразила военное дело. Новейшие военные аэропланы могут двигаться с небывалой быстротой в 480 км./час. Земной шар съежился под ударами этой техники. «60 дней вокруг света» превращаются в «два дня вокруг света». Мы стоим накануне того времени, когда в два дня можно будет долететь до отдаленной точки земного шара.

Но мы находимся только в самом начале развития авиационной техники. Ближайшее десятилетие сделает дальнейшие гигантские шаги в деле преодоления земных пространств. Уже все народы протягивают руку к холодным скалам Северного Ледовитого океана. Теперь уже нет ничего фантастического в утверждении, что материковые группы близ Северного полюса станут новым Гибралтаром между Евразией и Северной Америкой!

Но подобное же развитие происходит и в области передвижения на суше. Правда, здесь вредные сопротивления не могут быть преодолены так полно, как в воздушном судоходстве. Но все же автомобилям удавалось достигнуть рекордных цифр в 250 км./час. А с тех пор, как танки стали двигаться со скоростью в 50 км./час, проблему применения автомобилей и танков в любой местности можно считать почти разрешенной. Средства передвижения не связаны больше с наличностью шоссейных дорог (непреодолимой преградой остаются пока еще только болота и первобытные леса). Комбинацию из автомобиля и моторной лодки можно тоже считать осуществленной.

Отсюда вытекает, прежде всего, следующее: едва ли возможно, чтобы и будущая война застыла в позиционную войну. Война будет все время вестись на обширных территориях. Об'ектами нападения будут столицы, промышленные центры и т. д. Лучшим способом обороны будет удар по опорным базам неприятельской державы. Поэтому все воюющие государства будут вынуждены вести маневренную войну. Правда, с другой стороны, придется перейти к укреплению своих опорных баз (промышленных районов, силовых установок).

Опыт прошлой мировой войны ничего не говорит против фортификации вообще, а только против возведения небольших крепостей. Уже Энгельс указывал на то, что единственно правильный способ защиты Парижа заключался бы в возведении вокруг него больших крепостных сооружений. Педанты военной науки не мало издевались тогда над попыткой укрепить такое обширное пространство, как Париж. Но военная история доказала всю правильность мысли об укреплении Парижа. Героическая борьба, которую, несмотря на гнусную измену парижской буржуазии, вели против пруссаков коммунары, еще у всех в памяти.

Против возведения больших крепостей можно было бы сослаться на пример Антверпена. Но этот пример не доказателен. Необходимо только считаться с тем, что укрепления должны принять теперь гораздо большие размеры. При дальности полета современных артиллерийских снарядов в 100 км., нельзя, конечно, чтобы радиус всего

крепостного сооружения не достигал и 30 км., как это было в Антверпене. Опорные базы армий придется защищать на большем пространстве. Военная мысль должна теперь оперировать сотнями километров.

Момент быстроты в преодолении пространства ведет к обострению борьбы. Во всех прошлых войнах боевая воля воюющих значительно ослаблялась невозможностью немедленного столкновения с врагом, трениями в собственной армии, которые возрастают с каждым новым днем войны. От дня об'явления войны до первой битвы проходило довольно много времени. Продолжительные и часто очень трудные походы и т. д. резко понижали физическую и психическую силу бойцов. Совсем не то теперь. В начале современной войны,—может быть, в первые же часы,—будет дан ожесточенный воздушный бой. Победившее в этом бою государство, завоевав господство в воздухе, обеспечит себе большие преимущества и для сухопутной войны. Весь неприятельский тыл будет почти совершенно открыт перед победителем. Передвижения неприятельских войск будут совершаться на его глазах. Побежденный же будет лишен возможности пользоваться воздушной разведкой (а воздушная разведка самая важная!). Впрочем, окончательное уничтожение воздушного флота одной из воюющих держав будет редкостью. Не удивительно, что все империалистические государства стремятся обеспечить за собой, ко дню об'явления войны, превосходство воздушных сил. Это приводит нас к вопросу о родах оружия в будущей войне. Но сначала одно замечание политического характера.

Обострение предсмертной борьбы издыхающего капитализма будет сопровождаться параллельным обострением методов ведения войны. Это приходится сказать, прежде всего, о войнах между отдельными группировками империалистических держав, дерущимися за свое место на земном шаре. Но еще в большей степени способствует новая военная техника обострению классовой борьбы. Война становится, по Фихте-Клаузевицу, «истинной войной». Своего высшего напряжения она достигает в столкновении между капитализмом и коммунизмом. Воля к уничтожению напрягается с обеих сторон до предела, до жажды физического истребления врага.

Рассмотрим теперь современное вооружение империалистических государств. Мы живем в переходное время. Мы находимся в середине процесса великого преобразования военной техники и тактики.

Вполне понятно, что в периоды великих революционных переломов, когда, как в наши дни, рушатся все опоры капиталистического строя, фантастические вымыслы на военные темы растут как грибы.

Во всех углах мира бредят таинственными изобретениями. Особенно отличается по этой части Германия. В бесчисленных журналах и газетах пишут о «серьезных военных изобретениях». Но при ближайшем рассмотрении часто оказывается, что эти изобретения существуют только в мире романтических вымыслов. Так, всевозможные националистические романы занимаются уничтожением «наследственного врага» при помощи самых фантастических средств. Рассказывают об особом металле, лишенном всякой тяжести и в то же время непроницаемом для пуль; воскресают добрые старые пули, огибающие при своем полете углы, и многое другое.

Трудно установить действительный об'ем новейших сенсационных изобретений. Несомненно, многое в этой области существует вполне

реально. Отметим один эксперимент, вызвавший много толков: управление движением на расстоянии посредством электричества. В Соединенных Штатах и во Франции давно уже пробуют управлять на расстоянии движением аэропланов, автомобилей, судов и танков. В Америке будто бы удалось передвигать безпилотные моторные лодки на большие расстояния, и затем поворачивать их обратно, при помощи электрического переключения.

Более подробные сведения имеются о таком же управлении автомобилями. Например, один автомобиль прошел из Нью-Йорка в Сан-Франциско без шофера. Газеты изображали это так, будто автомобиль приводился в движение со станции отправления. Подобное управление движением на расстоянии сотен километров относится, конечно, к царству вымыслов. Другой пример: на улицах Парижа произвел однажды большую сенсацию пустой автомобиль, мчавшийся в сутолоке уличного движения без всяких инцидентов. За ним, на очень близком расстоянии, шел другой автомобиль, откуда и управлялся первым. Такая же управляющая машина, несомненно, шла и за автомобилем, ехавшим из Нью-Йорка в Сан-Франциско.

Мы констатируем: при настоящем состоянии техники аппарат, с которого управляют, не может находиться дальше, чем на расстоянии 80 м. Если бы захотели управлять на расстоянии аэропланами (мы предполагаем, что удалось удлинить это расстояние до многих километров), то такие беспилотные аэропланы легко становились бы добычей неприятельской артиллерии. Они расстреливались бы ею без промаха. Но не с меньшей легкостью расправлялись бы с ними неприятельские летчики, от которых они не могли бы ни ускользать, ни обороняться. Одного пулеметного выстрела было бы достаточно, чтобы вызвать падение любого такого аэроплана. На подобные же трудности наталкивается мысль об управлении целой эскадрой беспилотных аэропланов с летящего позади аппарата.

Таким образом, для военных целей управление на расстоянии пока еще не может быть использовано. Франция и Соединенные Штаты отказываются поэтому ввести его в своих армиях.

Развитие аэронавтики создает переворот во всем военном деле. Воздушный флот, газ и танки будут решающими родами оружия в будущей мировой войне. Все другие роды оружия теряют с каждым днем свое былое значение, ниспадая на степень вспомогательных средств.

Тенденция всего этого развития может быть уже сейчас установлена с абсолютной достоверностью.

Воздушный флот будет важнейшим родом оружия в будущей войне. Перед ним открываются необ'ятные перспективы. Во время мировой войны он быстро вырос из примитивных начатков в крупную силу. Высота полета в 1.000 м. считалась тогда для аэропланов большим достижением. Радиус их действия был невелик. Теперь аэропланы с легкостью поднимаются на высоту в 7—8 тысяч м. Военные аэропланы достигли рекордной скорости в 480 км./час. Такие расстояния, как от Берлина до Лондона, покрываются в 6—7 часов без спуска в пути.

Теперь стремятся к тому, чтобы аэропланы были: 1) как можно лучше вооружены и 2) покрыты бронею. Эти попытки наталкиваются на серьезные препятствия, до сих пор не преодоленные. Вооружение и броня создали бы такую перегрузку, при которой аэроплан потерял бы всякую годность. Так как цифровые данные о военных аэропланах

держатся в тайне, то мы должны обратиться за сведениями к пассажирской авиации. Возьмем, например, пассажирский аэроплан Юнкерса, тип F/13 (1 пилот, 5 пассажиров), которым в 1924 г. была обслужена одна треть всего мирового воздушного транспорта [1]). На мотор этого аппарата приходится 24% всего веса (1.940 кг.); на горючее на 4 часа—10%; на грузоприемник—40%; на полезный груз—26%. В военных аэропланах применяются более сильные моторы. Кроме того, чем больше размеры аэроплана, тем меньше в процентном отношении вес мотора. Тем не менее, из приведенных данных видно, как трудно было бы вооружить аэроплан орудиями крупного калибра. Еще труднее покрыть его бронею.

В качестве наступательного оружия приходится считаться только с аэропланами-бомбометателями и истребителями. Они снабжены пулеметами и легкими орудиями. В бомбометателях имеются особые кабины для хранения бомб или жидких газов. Хорошим наступательным оружием является также пускаемая с аэроплана торпеда. Торпеды удается теперь пускать во все стороны, независимо от направления полета аэроплана.

Наблюдательные и разведывательные самолеты являются в наше время основой всей службы связи в армии.

Аэропланами пользуются теперь и для перевозки раненых. В марокканской войне оказались будто бы на высоте задачи санитарные аэропланы.

У большинства государств имеются наполненные газом дирижабли. Однако в мировой войне они показали себя негодным оружием. Потери немцев при их цеппелиновых атаках на Лондон были так велики, что не находились ни в каком соответствии с достигнутыми успехами. В Соединенных Штатах в последнее время начали строить дирижабли в качестве авиоматок для аэропланов. Опыты с выпусканием аэропланов с дирижабля при помощи катапультов и их обратным возвращением к дирижаблю дали благоприятные результаты (параллельное явление мы имеем в морском флоте). Такое употребление дирижабля, особенно в странах с обширной территорией, мы считаем весьма многообещающим.

О возможности применения дирижаблей, как бомбометательных судов, фантазировали очень много. В Америке делали после войны эксперименты с так называемым «ядовитым дождем», который заключается в том, что с дирижабля сбрасывают яд в жидком виде.

Однако, как наступательное оружие, дирижабли при нынешнем состоянии военной техники не могут итти в счет. Они слишком громоздки и являются слишком удобной мишенью для неприятельских самолетов. Почти каждый обстрел наполненного газом дирижабля оканчивается его взрывом. Таков опыт прошлой мировой войны, и пока нет оснований считать его устаревшим.

Перейдем теперь ко второму по степени важности роду оружия—к газу.

Под газом понимаются все яды, так или иначе поражающие противника. В соединении с военной авиацией и артиллерией газ приобретает огромное значение.

Многие известные деятели Лиги Наций и Соединенных Штатов заявили о своей полной уверенности, что в будущей войне борьба будет вестись при помощи газа. Общественное мнение Англии и Америки

[1]) Мы берем тип F/13, хотя он уже не вполне удовлетворяет современным требованиям.

обрабатывается в пользу газа, как боевого средства; газ изображается, как наиболее гуманный из всех родов оружия. Это, разумеется, вздор. На войне не до гуманности. Но уж если сравнивать действие разных родов оружия, то нужно сказать, что газ является скорее одним из самых страшных и чудовищных боевых орудий «цивилизации».

Со времени окончания мировой войны изобретено не менее тысячи новых ядовитых газов, о составе которых империалисты хранят, конечно, глубокое молчание. Почти все сведения, доступные публике, восходят к военному времени.

Немецкая классификация различает раздражающие вещества и ядовитые вещества.

Задача раздражающих веществ в том, чтобы отбить нападающего противника. Они выводят его из строя лишь на несколько часов, самое большее—на несколько дней. Они действуют на слизистые оболочки человеческих органов—на глаза, нос, рот, задний проход и половые части.

Ядовитые газы различаются по степени своего действия. Фосген ($COCl^2$) убивает человека, даже при очень слабой концентрации, в два часа. Другие газы, тоже лишенные цвета, запаха и вкуса, можно вдыхать в течение 6 часов, ничего не замечая; смерть часто наступает только через сутки. Особенно опасен так называемый горчичный газ—иприт. Он тяжелее воздуха и застаивается на много дней в низинах, вырытых гранатами воронках, лощинах, блиндажах, лесах, домах и т. д. Он часто сохраняет способность действовать в течение многих недель и даже месяцев. Иприт раз'едает всякую неогнеупорную противогазовую маску, проникает сквозь одежду и сапоги и непосредственно поражает кожу. Он переносится от человека к человеку: солдат с ипритовой инфекцией заражает всю свою роту, лазарет и т. д. Иприт отравляет воду.

В будущей войне противогазовые маски, известные из опыта прошлой мировой войны, будут доставлять лишь слабую защиту [1]). В качестве защитных средств можно говорить только о кислородных аппаратах и непроницаемых для воздуха оболочках из каучуковых и асбестовых слоев. Кислородные аппараты можно носить на спине. Они весят по 20 кг., и солдат может оставаться с таким аппаратом в пораженной газом области никак не больше 4 часов. Эта тяжесть и особенно непроницаемая для воздуха оболочка настолько связывают движения солдата, что делают его почти неспособным к выполнению его главной задачи—к боевой работе.

Изготовление ядовитых газов для военных надобностей тесно связано с производством химических веществ для мирных целей. Многие газы существуют как предварительные фабрикаты для красок, лекарственных средств и т. д. В большинстве случаев газ нуждается только еще в одном химическом превращении, чтобы стать пригодным для военных целей. Так, напр., фосген, главный газ французской армии в мировой войне, является исходным пунктом для целого ряда красных, синих и фиолетовых красок. Американский газ левизит, на который некоторые специалисты возлагают большие надежды, мог бы, при другом окончании процесса превращения, оказаться вместо левизита сальварсаном, лечебным средством против сифилиса.

Химическая промышленность стала в наши дни только замаскированным обозначением для производства ядовитых газов. Этим об'ясняются усилия всех правительств создать у себя собственную химическую промышленность. Германия производила до войны около 80% всей мировой потребности в химических продуктах. Теперь эта монополия у нее отнята, но она все еще обладает сильной химической промышленностью, являющейся одной из баз германских империалистических устремлений. Все великие державы стараются развивать свое химическое производство. Так, японская химическая промышленность получила недавно от своего правительства субсидию в 20 млн. иен. Америка, Англия, Италия и т. д. закрыли свои границы для красящих веществ высокими протекционными пошлинами.

[1]) Редакция не разделяет взгляды автора по данному вопросу. Ред.

Рабочий химической промышленности знает лишь в самых редких случаях, пойдет ли изготовленный им продукт на военные или на мирные цели. А если какой-нибудь фабрикат изготовляется на нескольких фабриках, то рабочий лишен уже всякой возможности контроля. Так, напр., во время мировой войны три первые стадии производства иприта протекали в Людвигсгафене, а четвертая и последняя—в Леверкузене. Социал-демократически-синдикалистский лозунг «не производить военных материалов!» оказался бы в случае войны пустым звуком, потому что рабочий совершенно не может распознать, какие продукты предназначаются для войны и какие—для мирных целей. Мы должны поэтому всячески раз'яснять рабочим, что во время войны вся промышленность работает только для войны.

Танк тоже один из тех видов оружия, которые наложат свою печать на характер будущей войны. Достигнутые теперь быстрота, поворотливость и бесшумность значительно повышают боевую ценность танка. В результате новейших изобретений удалось сделать его непроницаемым для газа, так что им можно пользоваться в пораженных газом областях. Танк становится главным орудием сухопутной войны.

В Америке и Англии сконструированы танки с колесным и одновременно гусеничным ходом. Легкие французские танки Рено оказались, будто бы, превосходным боевым средством против риффов в труднейших местных условиях. В Сирии Франция тоже применяет танки против инсургентов.

Опыт последних лет определенно показал, что легкие танки пригоднее тяжелых. Тяжелые танки не оправдали себя. Они слишком громоздки и доставляют огню противника (существуют особые орудия против танков!) слишком большую поверхность для обстрела.

Может быть, со временем, когда удастся сделать их более быстрыми и бесшумными, тяжелые танки смогут быть использованы шире. Но гораздо большее значение имеют сейчас легкие танки. Одним из наиболее интересных типов является английский танк Викерса, официально обозначаемый, как «Medium Tank Mark D». Стоит он «пустяки»—160.000 марок! Этот танк сосредоточивает в себе большую огневую силу. В его вращающейся башке спереди поставлена пушка, а сзади—три скорострелки Гочкисса. Средняя из них приспособлена для стреляния вверх. Этот танк может, будто бы, развить скорость в 40—50 км./час. На осенних маневрах 1925 г. большое впечатление произвел одноместный танк. Говорят, что стоимость такой машины при массовом производстве не превышает 8.000 марок. И морской флот проявляет интерес к этому лилипуту. В Портсмуте был проделан опыт с его переправой «в брод»: машина без труда прошла через ил и гальки до берега и взобралась на дюны.

В будущих войнах танк будет играть в сухопутных действиях доминирующую роль. Интересно составить себе понятие о количестве

танков, имеющихся у важнейших империалистических государств. Официальные данные этих государств таковы:

Франция	5.806	танков
Англия	300	„
Соедин. Штаты	600	„

Эти данные (от 1924 г.) являются образцовым примером маскировки. Франция указала, повидимому, число своих танков более или менее правильно. Но зато Англия и Соединенные Штаты опубликовали только число танков, имевшихся в тот момент в их армиях. В обоих этих государствах производится сейчас много экспериментов с танками и выработаны типы их стандартного производства. В случае войны типы, признанные годными, можно будет изготовлять в кратчайший срок сотнями и тысячами.

Для полноты картины скажем еще несколько слов о значении пехоты, артиллерии и кавалерии.

Пехота и теперь составляет крупнейшую по своему численному составу часть армии (около 35%), но по своему значению она все больше отходит на второй план. Тем не менее пока еще пехота остается тем родом оружия, который своим ударом должен закрепить успех, хотя бы он и был одержан при помощи других родов оружия. Успех проявляется вовсе не в захвате в плен противника или в выигрыше пространства.

Пехота—независимо от того, перевозится ли она на автомобилях или на танках—немыслима в наши дни без механического вооружения. Ее главным оружием сделался пулемет. Пехотные части снабжаются легкими полевыми орудиями, минометами и т. д. Это ясно показывает, что пехота сама по себе уже небоеспособна.

Дальнобойные орудия, с дальностью до 100 км., будут к началу будущей войны совсем не редкостью. Калибр в 42 см. останется в общем наибольшим, хотя в Соединенных Штатах имеются уже, будто бы, и 50-сантиметровые орудия (Япония строит орудия калибром в 45,5 см.).

Теперь стараются изобрести способы увеличивать дальность полета снаряда, сохраняя или даже усиливая подвижность орудия. Генерал Римэло, французский Крупп, сообщает в своей недавно появившейся книге, Artillerie de campagne, о французских опытах в этом направлении. Передают, что эти опыты, при которых легкие полевые орудия ставились прямо на тракторы, дали превосходные результаты на демонстрациях в Сен-Шамоне. Более тяжелые орудия нельзя ставить на тракторы, потому что они своею тяжестью так глубоко вдавили бы в землю колеса, что дальнейшее движение машины стало бы невозможным.

Особую задачу артиллерии составляет в настоящее время оборона против самолетов. Обстрел воздушных мишеней, быстро движущихся по всем направлениям, пред'являет очень большие требования к артиллерии, уже строящей для этой цели специальные орудия. В общем эта задача—обстрел воздушных мишеней—может считаться разрешенной. Орудийным обстрелом самолеты загоняются на такую высоту, при которой сбрасываемые с них бомбы теряют всякую точность попадания.

Кавалерия решительно устарела. Уже во время прошлой мировой войны она совсем не применялась на главных фронтах. Современная военная техника не оставляет ей места. Аэроплан вытеснил ее в область дальней разведки, а в области близкой разведки ее вытесняет танк (одноместный).

Впрочем, некоторое значение остается за кавалерией и сейчас. Так, в мировой войне англичане победили в Палестине турок (1917 г.) только благодаря своей кавалерии. Англичане пользовались одновременно проложенной через пустыню железной дорогой и кавалерией, и это дало им огромный перевес. Такая страна, как Советская Россия, не могла бы и теперь обойтись без большой кавалерии. Но не подлежит сомнению, что в общем кавалерия находится на пути к отмиранию.

Нечто подобное следует сказать о военном флоте. К этому вопросу мы еще вернемся ниже, когда будем говорить о разоружении и о Лиге Наций.

Обратимся теперь снова к Гильфердингу и Гаубаху. Их тезис о техническом конце войны несостоятелен до конца. Только совершенные невежды могли так писать о технике вооружения.

4. Тезис о политическом конце войны.

По Гильфердингу и Гаубаху, можно считать доказанным, что исход мировой войны «не разрешил спорных вопросов европейской политики». Мы недоумеваем: как так война не разрешила спорных вопросов между английским и германским империализмом? Для Гаубаха это очень просто: он ни слова не говорит о том, в чем собственно заключались «спорные вопросы». Поэтому нам неизвестно, что́ он под ними разумеет. Но посмотрим, как он доказывает свое утверждение, что война и не может разрешить этих «вопросов». А вот как: «... в наше время государство не может погибнуть в результате разгрома своей армии». Ага! Не думает ли Гаубах, что для всякого династического государства разгром его армии означал гибель? История учит другому. Была ли от 1848 до 1917 г. хоть одна война, которая закончилась бы гибелью побежденного государства? Нет! Но Гаубах этим не стесняется. Он считает, что прежде разгром на поле битвы мог уничтожить государство, а теперь это уже невозможно.

И то, и другое одинаково неверно. История показывает, что и прежде войны тянулись веками, при чем побежденные на полях сражения государства отнюдь не погибали. А с другой стороны мы знаем также, что во все времена бывали случаи, когда военный разгром приводил государство к гибели. Всякий раз, когда новый и более высокий общественный строй сталкивается со старым, старорежимные государства терпят крушение. Вспомним о войнах французской революции и о войнах ее душеприказчика Наполеона, разгромившего ряд государств «Священного союза».

Мы можем, таким образом, констатировать, что армия нового режима наносит сокрушительный удар старому миру. Гаубах говорит, что в наши дни военное поражение уже не может сокрушить государство. Чем вызвано это его утверждение? Тем, что он (как все реформисты) безусловно убежден в незыблемости и вечности капиталистического строя. Поэтому он так прямо и проповедует: капитализм непреоборим!

Лучшего саморазоблачения реформизма нельзя себе и представить.

Но правда ли, что мировая война 1914—1918 гг. не привела ни к какому политическому результату? Для ответа на этот вопрос мы должны выяснить, какую цель ставили себе воюющие государства. Не подлежит ни малейшему сомнению, что мировая война была борьбой английского империализма против восходящего германского империализма. И война решила спор с полнейшей ясностью: английский империализм оказался сильнее. Германские колонии достались государствам-победителям. Багдад теперь английский город. Железнодорожная линия Берлин — Багдад будет построена, если она вообще будет строиться под английским руководством. Германия проиграла тяжбу за нефтяные источники. Или другой пример: соглашение между американскими и германскими электрическими трестами опрокинуто исходом войны. Германская электропромышленность должна была принять условия, которых она никогда не приняла бы до войны. Нельзя сомневаться в том, что мировая война категорически решила спорные вопросы между двумя главными империалистическими державами, Англией и Германией,—решила их так, как они только и могли быть решены при господстве капитализма. Правда, придуманные для масс фразы о «защите малых наций», о «разгроме милитаризма» и т. д. так и остались фразами. Но империализм никогда и не думал о разрешении таких вопросов.

Но мелкий буржуа Гаубах всерьез ожидал от империализма разрешения этих мнимых задач. И поэтому теперь он сетует по поводу того, что европейские проблемы остались не решенными. Зато он с восторгом восклицает: «Несмотря на версальский мир, Германия осталась великой державой». В тевтонской груди нашего военного теоретика шевелится захудалый германский империализм.

5. Разоружение и Лига Наций.

«Разоружение»—магическое слово социал-демократии. Социал-демократы не думают больше об уничтожении милитаризма. Они давно забыли свой лозунг: «Ни одного человека, ни одного гроша этой системе!». Они стали скромны. «Практический антимилитаризм» II Интернационала сводится теперь к следующей жалкой программе: «Ограничение производства определенных видов военных припасов и сокращение военного бюджета». Так формулирует Гильфердинг (стр. 397) «антимилитаристические» задачи социал-демократии.

Вопросу о разоружении посвящена особая статья П. Фейланда. Он сообщает о «первых шагах к разоружению». Не спорим, задача Фейланда затруднительна: он должен говорить о миролюбивой деятельности империалистов. В 1926 г. это чертовски трудно. Но он побеждает все препятствия и уже видит в своем воображении пальмы мира.

Чтобы иметь возможность повествовать о наших великолепных успехах в деле разоружения, Фейланд изображает сперва империализм в самым мрачных красках. При этом у него вырываются некоторые признания: «Все страны, и в особенности Европа, сверхмилитаризованы... Европа вооружена до зубов, Америка увеличивает до гигантских размеров свой морской и воздушный флот, Африку и Азию война белых всколыхнула так, что в результате Англия, Франция и Бельгия усиливают свои колониальные войска, а в то же время скандинавские и японские военные заводы едва успевают выполнять заказы своих экзотических клиентов» (стр. 399—400).

Но тут Фейланд замечает, что это для социал-демократа слишком близко к истине. Он быстро сворачивает на другую колею, чтобы ослабить впечатление от своих собственных слов. Реакция против лихорадки вооружений не заставит долго себя ждать, успокаивает он читателя. И кто же именно ведет борьбу против этого страшного недуга?

Г-н Фейланд отвечает: «Она (реакция) исходит от этического сознания...» (стр. 400). Что вы на это скажете, г-н Гаубах? Вы ведь только что об'явили этический момент «политически и философски непригодным». Но г-н Гаубах и не думает волноваться: в неразберихе социал-демократических военных теорий одна лишняя нелепица ничего не значит.

Г-н Фейланд продолжает: реакция против лихорадки вооружений «исходит—и это немаловажно—от финансовых ведомств почти всех стран» (стр. 400; разрядка Фейланда). Выходит, стало быть, что капиталисты сами против вооружений! Чего же еще нужно социал-демократам?

И наконец: на ряду с реакцией со стороны этического сознания и со стороны финансовых ведомств, реакция против гонки вооружений «исходит от рабочих масс».

Но центр тяжести лежит отнюдь не в оппозиции рабочих масс! В статьях Гильфердинга все-таки изредка упоминается о «политике рабочего класса», как о факторе, пытающемся влиять на политику государств. У Фейланда об этом ни слова. Зато Фейланд открыл философский камень: все дело в денежной мошне министра финансов! И Фейланд подробно распространяется о своих планах:

«Анализируя тенденцию к разоружению, выделяя образующие ее факторы, мы находим..., что главным моментом,—моментом, который заставляет итти в Женеву и правые правительства, — являются финансы» (стр. 400; разрядка Фейланда).

После этих заявлений следует программа социал-демократии: «борьба за сокращение вооружений тем скорее увенчается успехом, чем больше она будет опираться на важнейший и наиболее общий момент. Если сокращение расходов на вооружение будет выдвинуто в центр, то можно будет сделать первый шаг на пути к разоружению... Чтобы облегчить в близком будущем народам Европы (только ли Европы?—Р. Г.) бремя военных расходов необходимо провести всеобщее равномерное процентное сокращение военного бюджета» (стр. 400; разрядка Фейланда).

Правда, Фейланд слегка опасается, что тогда империалисты станут прятать свои военные расходы в другие статьи бюджета (как они это уже делают и сейчас), но все-таки он преисполнен самых радужных надежд.

И если только Франция удалит «с европейской территории свои цветные войска», все уладится как нельзя лучше.

Прежде чем остановиться на этих соображениях Фейланда, вернемся еще раз к Гаубаху. Разумеется, и Гаубах верит в «частичное или полное разоружение под эгидой Лиги Наций». Вместе со всем II Интернационалом он расценивает локарнский пакт, как дело мира, а не как подготовку империалистов к борьбе с Советской Россией. Тем самым он угождает империалистам, показывает себя исправным лакеем буржуазии. Для революционного пролетариата ясно, что Локарно обернется в конце концов войной против Советского Союза.

«Разоружение» империалистов заключается в том, что они торопливо строят воздушные флоты, перестраивают военные суда по по-

следнему слову техники, усердно изобретают новые газы, то-и-дело выпускают новые танки, лихорадочно работают над постройкой дальнобойных орудий и т. д. Но социал-демократия не перестает верить в разоружение и всеобщее умиротворение.

Однако не представляет ли Дания действительный пример «разоружения под эгидой Лиги Наций»? Во всем мире не мало шумели о победе пацифистской идеи: Дания разоружается! И социал-демократы спешат зарегистрировать это разоружение, как доказательство благотворной деятельности коалиционного правительства Дании.

В сборнике статей о программе разоружения («Beiträge zum Rüstungsprogramm») должна, конечно, фигурировать и статья о «социал-демократической политике разоружения в Дании». Д-р Альсинг Андерсен из Копенгагена прославляет свою страну, как самую пацифистскую в мире. Вот где социал-демократия празднует победу! Поверженный милитаризм лежит во прахе! «Этой борьбой (за разоружение.—Р. Г.) руководит социал-демократическое правительство, но вся подлинная демократия нашей страны поддерживает в этом вопросе правительство и большинство палаты» (стр. 409).

Андерсен пишет длинное исследование. Он устанавливает, что по своему географическому положению маленькая Дания не в состоянии обороняться против нападения какой-нибудь великой державы. Он доказывает читателю с цифрами в руках, что Дания, с ее 500 островов и полуостровов и растянутой на 8.000 км. береговой линией, не может держаться военной силой. Но этого от Дании никто никогда и не требовал. Об этом вообще нет никакого спора. Зато Андерсен доволен: он исписал несколько страниц для обоснования датской программы разоружения.

При этом он очень ловко обходит реальные факты.

Присмотримся к этим фактам ближе. Численный состав армии устанавливается в 30.000 человек. В новом правительственном проекте от радикального разоружения остается немного. Сохранен пункт о срытии крепостей: уничтожает валы, форты и крепостные орудия, все равно потерявшие всякую военную ценность! Далее: отменяется всеобщая воинская повинность! Зато ежегодно будет производиться набор 1.600 наемников, обязующихся служить 12 лет.

На радикальное разоружение это не очень похоже. Зато одно несомненно: отмена всеобщей воинской повинности и ее замена наемной гвардией есть явно реакционный шаг! Оружие вырывается из рук крестьян и рабочих и передается в более верные руки. Германский рейхсвер—тоже наемная гвардия,—слишком ясно показал, как такого рода организации становятся сборищем самых реакционных элементов. Наемные гвардии—это самые верные опоры капитализма.

Когда Андерсен говорит: «датская социал-демократия предпочитает... признать военное бессилие нашей страны...» (стр. 409), то в действительности это значит: «датская социал-демократия предпочитает предать социализм, обезоружить пролетариев и передать весь аппарат насилия в руки буржуазии».

Разоружение в Дании разоблачается, таким образом, как маневр реакции для внесения замешательства в ряды сознательных рабочих и как укрепление позиций буржуазии.

Обратимся теперь к вашингтонской конвенции, от которой в восторге все теоретики II Интернационала. По Гаубаху, например, она «предохранила нас, быть может, от кровавых последствий чрезвычайно острого японо-американского конфликта в вопросе об эмиграции...» (стр. 125). Но если дело не дошло тогда, два года тому назад, до войны между Японией и Америкой, то вашингтонская конвенция тут решительно не при чем. Просто Япония была тогда еще недостаточно сильна для войны с Америкой. А, главное, Япония только что пережила сильнейшее землетрясение, равнявшееся по своим последствиям проигранному сражению, если не проигранной войне.

Кто читает специальную военную литературу Японии и особенно Америки, тот знает, как лихорадочно вооружаются друг против друга два эти государства. Япония строит сильный воздушный флот. Она усеяла свое обращенное к Америке побережье дальнобойными орудиями калибром в 45,6 см. Соед. Штаты, со своей стороны, превратили группу Гавайских островов в Тихом океане в сильную опорную базу против Японии. Остров Оаху сделался тихоокеанским Гибралтаром. В его военном порте сосредоточено не меньше 150 аэропланов, всегда готовых к отправке. В кратчайший срок это число может быть удвоено и даже утроено. Подводные лодки и истребители сосредоточены здесь в большом количестве. В Оаху же находится крупнейший сухой док Северной Америки.

И после всего этого Гаубах все еще верит во всеобщее умиротворение и в «благодетельные» последствия вашингтонской конвенции!

Присмотримся к этой конвенции внимательней. Чтобы как следует понять ее, надо вкратце уяснить себе роль морского флота в будущей империалистической войне.

Морской флот—как все роды оружия в наши дни—находится в процессе радикального преобразования. У него появился серьезный соперник в лице воздушных боевых средств. Но и внутренние соотношения в самом флоте приводят сейчас к полной переоценке всех ценностей в этой отрасли вооруженных сил. Напомним, что во время мировой войны не было дано ни одного большого морского боя.

В самой общей форме можно утверждать следующее: мелкие суда имеют превосходство над крупными. Поэтому мелким судам предстоит большое развитие. И тут, в области морских вооружений, мы наблюдаем бешеное соперничество между государствами. Но теперь строят мало дредноутов, зато очень много мелких судов. В этом отношении весьма показательно следующее сообщение, обошедшее недавно всю специальную военную печать: американский и английский флоты производят теперь эксперименты с небольшими моторными лодками, обладающими повышенной скоростью. Эти крохотные суда, с экипажем в 2—3 человека, вооружены настоящими торпедными трубками, и их бросают целыми роями против неприятельского флота. Они представляют собою очень маленькие мишени, и если половину из них и удастся пустить ко дну, остальные могут нанести флоту противника громадный вред.

Такова тенденция развития флота в эпоху империализма. Исключительно только военными соображениями объясняется готовность империалистов ограничить строительство дредноутов. Вашингтонская конференция постановила ограничить постройку линейных судов, боевых крейсеров и авиоматок. За вычетом авиоматок, империалисты отказались только от таких судов, которые не представляют больше военной ценности. Как великодушны эти «пацифисты»! Подписав вашингтонскую конвенцию, они пожертвовали боевыми судами устаревшего типа; но они оставили за собою право строить в неограниченном количестве современные орудия морского боя—крейсера, торпедные лодки, моторные лодки, подводные лодки. Впрочем, и это соглашение выполняется «великими» державами лишь весьма приблизительно. Так, Америка и

не думает ограничивать себя в постройке авиоматок. Она умеет выйти из положения: кроме разрешенных авиоматок она строит еще вспомогательные авиоматки! Она попросту обходит Вашингтонское соглашение!

Это соглашение дает, кроме того, великим империалистским державам возможность держать под своим контролем военные силы малых государств.

В доказательство того, что отмеченная нами тенденция в развитии военного флота признается непререкаемым фактом и в империалистических кругах, сошлемся на «почтенную», консервативную книгу «Taschenbuch der Kriegsflotten» за 1926 г. (23-й год издания). Там мы читаем: «С величайшим усердием принялись быстро и широко увеличивать число тех судов и лодок, которые вашингтонская конвенция разрешает строить в неограниченном количестве. При этом не следует забывать, что как раз эти «легкие» боевые единицы флота будут играть в грядущей войне выдающуюся, если не решающую роль, особенно в соединении с воздушным флотом, величине и составу которого тоже не поставлено никаких границ и который поэтому увеличивают до громадных размеров».

Таким образом, милитаристы сами открыто признают в своих специальных органах, что «разоружение империалистов»—пустая комедия. Но те органы, которые обращаются к массам,—правительства, газеты и т. д.—громко кричат о всеобщем «умиротворении». Их цель—усыпить пролетарские массы, внушить рабочим уверенность, что никакой военной опасности не существует.

И самыми ярыми пропагандистами этой насквозь лживой фразы о разоружении являются реформисты!

6. Государство и революция.

В капиталистическом царстве господствуют мир и согласие, вещают Гаубах и Гильфердинг. Но вот Гаубах переходит к внутриполитическому положению в капиталистических странах. И тут даже он не решается утверждать, что все исполнено мира и согласия. Слишком глубоко всколыхнуло умы пролетарская революция. И Гаубаху приходится начать с признания, что «борьба за государственную власть сильно обострилась». Его признание, что мы идем навстречу положению, которое следует обозначить как «скрытую гражданскую войну», тоже звучит еще довольно реалистично. Но все-таки он весьма далек от определения задач пролетариата. До того еще можно наговорить много всякого философского вздора и много вещей поставить вверх ногами.

Прежде всего: для Гаубаха и для реформизма классов больше не существует. Существуют только группировки—правые и левые партии, при чем под последними он разумеет партии имперского знамени. Гаубах говорит, что борьба будет итти за государственную власть. Но как?

Против реакционных милиций «уже в полном ходу контрдвижение левых (черно-красно-золотое имперское знамя и республиканский шуцбунд)» (стр. 128). Имперское знамя, как контрдвижение против реакции! Попы из центра и демократические банковские гиены, как опора в борьбе против реакции!

Как будет вестись борьба за государственную власть? И какими средствами?

«Гражданская война» будет, в изображении Гаубаха, чем-то в роде потасовки в пивной, с бомбардировкой пивными кружками! «Вооруженные отряды разных партий столкнутся друг с другом, частью на демонстрациях, частью в более или менее серьезных (даже кровавых) схватках» (стр. 128).

Более или менее серьезные схватки! Военный теоретик реформизма благополучно опустился до уровня баварского филистера! Революция! Несколько пивных кружек летит в Кара и Лоссова! Успокоительно Гаубах прибавляет: «Вооружение будет не очень страшное». Это пишет «военный теоретик» в эпоху империалистических войн, когда мир переполнен боевыми аэропланами, ядовитыми газами и танками!

Одновременно теоретик социал-демократии издевается над энергичным выступлением пролетарских членов «имперского знамени» против националистической опасности. Он осыпает насмешками социал-демократических рабочих, выступивших за свое убеждение и приговоренных к долголетнему тюремному заключению монархическими судьями (см. процессы имперского знамени в Гревесмюле, Котбусе и т. д.). Гаубах отметает от себя этих честных пролетариев. Он заявляет: о демонстрациях и стычках приходится сказать, что «борьба различных групп за государственную власть скорее сопровождается, чем решается ими». Но как же решится борьба за государственную власть? На это Гаубах не отвечает. Но ведь ни для кого не тайна, что по социал-демократическому рецепту капитализм можно победить с избирательным бюллетенем в руках!

Поэтому реформизм и не нуждается в вооруженных силах.

Чтобы заглушить классовое сознание социал-демократических рабочих, Гаубах глубокомысленно замечает: «Самая полная победа в уличных боях еще далеко не передает в руки победителей глубоко запрятанные, физически едва уловимые и в своем использовании сложные источники общественной и политической власти» (стр. 128). Итак: имейте в виду, социал-демократические рабочие, что нет никакого смысла пытаться победить буржуазию в открытом бою.

Для Гаубаха государство стоит над партиями. Государство,—поучает Гаубах,—есть более или менее нейтральная организация, которая должна заботиться о «собственном порядке». Удивительно это изречение о «собственном порядке»! Гаубаху и в голову не приходит, что этот порядок есть порядок капиталистического общества. Ему не приходит в голову, что только, сломав государственный аппарат, рабочий класс сможет овладеть государственной властью. На место буржуазного государства пролетариат должен поставить пролетарское. На смену буржуазной диктатуре идет диктатура пролетариата. Если при капитализме государство, как организация кучки паразитов, властвует над эксплоатируемой массой, то пролетарское государство подавляет ничтожное меньшинство бывших эксплоататоров в интересах большинства народа. С исчезновением классов «государство отомрет», как сказано в Коммунистическом Манифесте.

Но для реформизма государство так же вечно, как и сам капитализм!

7. О милиции.

Если до сих пор среди социал-демократических теоретиков наблюдалось далеко идущее согласие, то картина меняется, когда мы обращаемся к современности. Вопрос об организации вооруженных сил ставит социал-демократов в крайнее затруднение.

Рассмотренные нами выше военные теоретики демонстрируют собою этот социал-демократический разброд.

Гильфердинг против введения милиции.

П. Фейланд за введение милиции.

Андерсен (Копенгаген) против введения милиции.

Гаубах за введение милиции.

Социал-демократические теоретики распадаются, таким образом, на поборников и противников милиционной системы.

Признанные вожди германской социал-демократии, как Бебель, неоднократно и вполне определенно высказывались за всеобщее вооружение народа, за систему милиции. Но в последние годы перед войной официальные теоретики партии, и прежде всего Каутский, перешли на противоположную точку зрения.

Во время большой дискуссии на тему о «милиции и разоружении», происходившей в германской социал-демократии в 1912 г., Каутский писал: «За последние два десятилетия роль флота все время возрастает. А в отношении флота идея милиции оказывается совершенно бессильной. Если мы будем в нашей агитации ограничиваться требованием милиции, отказавшись от требования разоружения, то мы не сможем выдвинуть против агитации за флот никакой контр-агитации («Neue Zeit», 20-й год издания, «1-е мая и борьба против милитаризма», стр. 98). И далее: «Но если теперь требование милиции оказывается негодным средством для сокращения бюджета даже в области сухопутных вооруженных сил, то в отношении флота оно теряет, как такое средство, уже решительно всякий смысл («Neue Zeit», 30-й год издания, стр. 766).

Пауль Ленш, бывший тогда еще усердным защитником революционного марксизма, дал Каутскому следующую отповедь: «Этот поворот (Каутского) в вопросе о милиции в высшей степени характерен. В истории партии уже была однажды высказана мысль, что требование милиции, потерявшее значение даже в области сухопутных сил, стало окончательно бессмысленным в отношении флота. Это было в 1898 году. Тогда эту точку зрения отстаивал Шиппель, между тем как Каутский выступил с ее блестящим опровержением» («Neue Zeit», 30-й год издания, стр. 767).

Мы видим, таким образом, что официальная теория партии уже в 1912 году внутренно отпала от революционного требования милиции. Она еще только не решалась открыто заявить об этом перед рабочими. Каутский всячески вилял, чтобы не выдать себя прямым сторонником Шиппеля.

Одни только «левые радикалы»—Роза Люксембург, Радек, Меринг, Эрнст Деймиг—еще отстаивали старую марксистскую точку зрения, наиболее ясно формулированную Энгельсом в марте 1893 года в «Форвертсе» в серии статей под общим заглавием «Kann Europa abrüsten?» («Может ли Европа разоружиться?»). «Именно революционной стороной прусской системы государственной обороны,—писал Энгельс,—является требование, чтобы к делу защиты государства были привлечены силы всех боеспособных мужчин на все время их боеспособности. И единственный революционный момент во всем развитии военного дела с 1870 г. заключается как раз в том, что оказалось необходимым,—чаще всего вопреки желанию,—все больше проводить в жизнь это требование, осуществлявшееся до тех пор только в фантазии шовинистов. Теперь нельзя уже возражать ни против продолжительности военнообязанного состояния, ни против привлечения в войска всех боеспособных молодых людей; меньше всего может возражать против этого Германия и в особенности социал-демократическая партия, которая, наоборот, одна способна в Германии целиком претворить в действительность и это требование. Остается, стало быть, только один пункт, к которому потребность в разоружении могла бы приложить движущий рычаг: продолжительность пребывания под ружьем. Здесь действительно и находится архимедова точка (цитировано из «Neue Zeit», 20-й год издания, II том, стр. 309).

Мировая война и крах II Интернационала создали совершенно новую ситуацию. Теперь как раз так наз. «левые» австро-марксисты выступают против милиционной системы. Как раз те социал-демократы, которые еще произносят революционные фразы, возражают теперь против милиции. Наоборот, откровенные националисты среди социал-демократов за милицию. Правда, во что они ее превратили, мы сейчас увидим.

Гаубах известен в германской социал-демократии как прямой националист. Он чувствует себя вполне солидарным с польской социал-демократией, создавшей свою милицию. Милиционные отряды ППС—самые антипролетарские вооруженные отряды Польши. Они показали свое истинное лицо 1 мая 1926 г., когда они расстреляли безоружных рабочих коммунистической демонстрации.

Но вернемся к Гильфердингу, противнику милиционной системы. Он пытается ссылаться на Энгельса, но искажает его при этом самым грубым образом. Гильфердингово изложение военной теории Энгельса до такой степени поверхностно, что начинаешь думать, что он не прочел ни строчки из военно-теоретических писаний Энгельса. Не будем останавливаться на утверждении Гильфердинга, будто Энгельс, заявил, что милиционная система «исключает наступательную войну и годится только для обороны» (стр. 391). Энгельс слишком хорошо знал историю военного дела, чтобы утверждать нечто подобное.

«Реальный политик» Гильфердинг изображает Энгельса, как безнадежного фантазера. Он говорит: «Энгельс рассчитывал на быстрое наступление социал-демократии на армию. В крупных капиталистических государствах, думал он, рабочие будут все в большей мере составлять главную массу армии, и такая армия будет все меньше годиться в качестве орудия наступательной войны или подавления внутренних революционных движений» (стр. 391).

Вот уже действительно с больной головы на здоровую! Гильфердинг отлично знает, что одним из главных грехов социал-демократии было и остается саботирование борьбы против милитаризма. И вот он становится в позу и смеется над Энгельсом, который не допускал сомнений в том, что революционная социал-демократия будет вести антимилитаристическую борьбу, чтобы дать пролетариату «возможность отстоять свою волю против командующей военной клики» («Анти-Дюринг»). Мало того, Энгельс определенно заявляет, что пролетариату надо дать волю, которая соответствовала бы его классовому положению. Но Гильфердинг и социал-демократы распростились с пролетарским классовым сознанием. Поэтому «великий теоретик» Гильфердинг и хочет «исправить» Энгельса. На международном социал-демократическом конгрессе в Марселе Гильфердинг заявил: «Необходимо... совершить по существу большую идеологическую революцию, заменить буржуазный принцип национальности пролетарским принципом национальности» (Протокол, стр. 261; разрядка Гильфердинга).

Итак, необходимо совершить идеологическую революцию! Революция, выходящая за пределы идеологии, для Гильфердинга детская сказка. Не станет же социал-демократия заниматься такими пустяками!

Все-таки Гильфердингу приходится констатировать следующее: «Развитие военной техники, решительно определяющее развитие организации вооруженных сил, стремится, если мы не ошибаемся, уменьшить различия между системой постоянных армий со всеобщей воинской повинностью и милиционной системой. Развитие техники все больше усиливает значение больших военных машин, аэропланов, танков, гигантских орудий, военных припасов за счет значения солдат; и здесь, выражаясь в экономических терминах, доля постоянного капитала все больше перерастает долю переменного» (стр. 393). Гильфердинг совершенно правильно устанавливает, что развитие военной техники ведет, выражаясь экономически, к преобладанию постоянного капитала над переменным.

Как же выпутывается Гильфердинг из петли, которую он сам затянул на своей шее тем, что сказал правду?

Гильфердинг знает, как выйти из положения. Он спрашивает себя, что такое милитаризм. И на примере Англии он поясняет: «Милитаризм, примат военной власти над гражданской, или хотя бы сильное давление первой на вторую, не играл в Англии значительной роли». Итак: милитаризм, это—примат военной власти над гражданской; «военная идеология»,—вот в чем несчастье! (стр. 392). Не материальная сила тревожит Гильфердинга, а военная идеология! И Гильфердинг вполне последовательно приходит к заключению, что система наемного войска лучше, демократичнее, полезнее для пролетариата, чем всеобщая воинская повинность. Гильфердинг констатирует: «Несомненно..., что среди непрошедшего военную учебу английского народа всякая военная идеология слабее, чем в странах со всеобщей воинской повинностью» (стр. 392).

Военно-теоретические писания Энгельса окончательно преданы забвению (Напомним его «Die preussische Militärfrage und die deutsche «Arbeiterpartei», «Notes on the War» и т. д.).

Гильфердинг и знать не хочет, что Энгельс видел великое преимущество в том, что всеобщая воинская повинность выучила пролетариат владеть оружием. Он не желает знать, что все наемные гвардии отличаются особенной реакционностью. Даже германский рейхсвер—наемная гвардия чистейшей марки—не смог поколебать веру Гильфердинга в превосходные качества наемных гвардий! А о том, что именно владение оружием дает пролетариату возможность завоевать государственную власть, установить пролетарскую диктатуру, Гильфердинг не смеет и помыслить. Только бы без насилия,—лепечет трусливый мещанин Гильфердинг.

«Так как милиционная система обеспечивает наивысшую военную дееспособность...», то именно поэтому г-н Гильфердинг против милиционной системы! «Ее возведение в общее правило восстановило бы по существу дела те военно-политические отношения, которые существовали до войны. Государства с более многочисленным населением и более развитой промышленностью получили бы опять (?!—Р. Г.) политическое преобладание, а малые государства сделались бы снова вассалами великих держав, или покорными орудиями их политики... Рост вооружений продолжался бы попрежнему» (стр. 395—396). Но, слава богу, у нас нет милиционной системы. Всеобщий мир обеспечен—для Гильфердингов.

А потому—«мы не можем усмотреть в милиционной системе ни средство для внутриполитического прогресса, ни средство для международного умиротворения, и считаем невозможным сохранить требование милиции в программе рабочих партий или социалистического Интернационала» (стр. 396).

Таким образом, Гильфердинг безоговорочно складывает оружие перед реформистами довоенного времени. «Счастливые дни милиционной идеи давно миновали»,—вторит он Шиппелю,—не то с радостью, не то с грустью (Шиппель, «Socialische Monatschefte» 1911, стр. 1169).

Обратимся теперь к защитнику милиционной системы Гаубаху.

Гаубах начинает со следующего утверждения: «Отличительной чертой современного положения является, таким образом, создание боевых милиций при разных партийных группировках» (стр. 128). Он говорит о боевых милициях, т.-е. о том, что в каждой стране существует параллельно несколько милиций. И в доказательство он ссылается на фашистские милиции в Германии, Италии, Америке, Франции и Скандинавии.

Реформизм признает, следовательно, что фашизм создал белые гвардии во всех странах. Как же он предлагает бороться с этим? «В Германии и Австрии контрдвижение левых уже в полном ходу (черно-красно-золотое «имперское знамя» и республиканский шуцбунд)». Откровеннее реформизм не мог бы расписаться в отказе от образования классового фронта. Для реформизма не существует больше пролетариата. Не существует особого, самостоятельного социалистического движения. Пролетарское движение для реформизма только привесок к левым буржуазным партиям. Реформистский социализм ощущает себя членом в буржуазной системе. Он не желает выступать отдельно от промежуточных буржуазных партий. Такова идеология «имперского знамени». Она означает отнятие всякой самостоятельности, всякой силы у рабочего движения.

О том, как Гаубах издевается над пролетарскими членами союза имперского знамени, мы уже говорили выше.

Для старой социал-демократии милиционная система была вопросом далекого будущего. Пролетарская революция была еще в таком отдалении, что конкретные вопросы революции не занимали теоретиков социал-демократии. Они считали, что стоит только превратить постоянные армии в милиционные ополчения по швейцарскому образцу, и все пойдет как по маслу. В постоянной армии они видели монархическую форму организации вооруженных сил, в милиции—социалистическую.

Присмотримся к американской милиции. В Швейцарии и Соед. Штатах одна и та же система государственной обороны. Некоторые различия об'ясняются тем, что Швейцария—промышленно-отсталая страна, тогда как Америка бесспорно идет во главе империалистических держав.

В Северной Америке на ряду с милицией существует еще наемная гвардия. Американская милиция носит определенно-буржуазный характер. Она набирается, главным образом, из студентов, учащихся технических и торговых школ, гимназистов и т. д. Ее организационными центрами являются университеты, располагающие собственным оружием новейшего образца: танками, артиллерией и пр. В этих боевых дружинах царит сверхнационализм, 100%-ный американизм, пола-

гающий свою гордость в линчевании негров, евреев и в особенности революционных рабочих.

Буржуазно-шовинистический дух проникает эти дружины до мозга костей. Честный пролетарий не мог бы просуществовать в них и одного дня. Однако, несмотря на эти белогвардейские дружины, американская буржуазия все еще чувствует себя недостаточно крепкой. На ряду с милицией она организовала наемную гвардию из 150.000 бойцов и 15.000 офицеров (эти официальные цифры наверное преуменьшены для введения в обман общественного мнения). Личный состав этой гвардии просеивается самым тщательным образом: только архиреакционные, 100%-ные американцы удостаиваются чести служить в ней. Они занимают важнейшие посты, в их руках фактически сосредоточен военный аппарат. Воздушный флот, химический арсенал (Эджвуд) и танки, подавляющее большинство полевой артиллерии и вся тяжелая артиллерия и т. д. находятся в руках наемной гвардии.

Положение в Англии очень близко подходит к американскому.

Кто-нибудь мог бы возразить, что в Швейцарии милиция не так реакционна.

Но это неверно. И в Швейцарии все тяжелое, т.-е. решающее, оружие находится в руках постоянного реакционного ядра профессиональных солдат. Правда, швейцарскому пролетарию винтовка выдается на дом, но—без патронов. С незаряженной винтовкой в руках швейцарский рабочий совершенно беспомощен перед реакционным дружинником, вооруженным по последнему слову техники. Против артиллерии, газа, танков он так же бессилен, как безоружный пролетарий против винтовок постоянных армий. Для политического облика милиции имеет решающее значение вопрос об офицерских кадрах. Союзное собрание избирает главнокомандующего, который должен быть генералом и которому поручается верховный надзор за войсковым управлением и дисциплиной. На выборы офицеров солдаты не имеют никакого влияния, офицеры назначаются высшим командованием. Реакционный офицерский корпус вербуется исключительно из кругов швейцарской буржуазии.

Милиция Швейцарии и еще определеннее милиция Соед. Штатов и Англии являются самыми типичными белыми гвардиями буржуазии. В милиции этих стран нет и в ней не может быть ни капли пролетарского духа.

Составляют ли Соед. Штаты, Англия и Швейцария исключение?

Посмотрим, как развивается организация вооруженных сил великих держав. Большинство капиталистических стран находится накануне отмены постоянной армии. Эти страны не могут больше, несмотря на беспощаднейшее обложение пролетариата, выносить бремя расходов на армию. Они сокращают её личный состав, чтобы сберечь деньги на постройку новых орудий истребления. Во всех государствах военный бюджет необычайно вырос после войны. Вооружение нового типа ложится на государство тяжелым бременем.

Развитие военной техники требует ядра высококвалифицированных солдат. Для обучения этих специалистов нужен продолжительный срок. Даже пехота, эта «простейшая» войсковая группа, все больше перегружается теперь оружием, аппаратами и снаряжением. Механический пулемет определяет облик современной пехоты. Кроме того к пехотным частям придаются орудия, минометы, танки и т. д.

Все государства с постоянными армиями сокращают время военного обучения, стремясь поставить на службу милитаризму более широкие массы. Так, Франция сократила в последнее время срок военного обучения до 18 месяцев, а сейчас правительство обсуждает новый закон о сокращении срока действительной службы до одного года. В Италии с 1921 г. срок обучения для сотрудников фашистской милиции составлял 8 месяцев; теперь он сокращен до шести. Сокращает срок военного обучения и Чехо-Словакия. Дания отменила всеобщую воинскую повинность, чтобы передать оружие в руки наемного войска, которое она усиливает буржуазными дружинами, и т. д.

Таким образом, ясно обнаруживается тенденция—отменить постоянные армии и заменить их, по образцу Соед. Штатов, наемным войском, усиленным буржуазной милицией.

Итак, в настоящий переходный момент все государства сокращают время военного обучения. Энгельс считал, что сведение времени военного обучения к одному году явилось бы банкротством системы постоянных армий. Такое сокращение срока действительной службы может быть только неустойчивым переходным состоянием между постоянной и милиционной армией.

Военные теоретики Швейцарии, Великобритании и Соед. Штатов были уже до войны убеждены в полезности милиционной системы для буржуазии. Теперь среди военных специалистов всех стран утвердился тот взгляд, что следовало бы повсюду ввести милиционную систему, подкрепленную сильной наемной гвардией. Хотят, чтобы военная служба не ограничивалась двумя годами, а продолжалась всю жизнь, чтобы молодежь получала военное образование уже в школе. В сущности буржуазия хотела бы обучать военному делу только своих братьев по классу. Но это невозможно. Буржуазия численно представляет ничтожную величину, а кроме того—буржуазия лишена гражданского мужества. Поэтому ей поневоле приходится обучать пролетарские массы обращению с оружием. Буржуазия знает, что в будущей войне ей снова понадобятся миллионы солдат. А против пролетарского восстания она старается оградить себя тем, что сохраняет в своих руках все командные места, все важные виды вооружения и т. д.

И германские военные специалисты признают теперь, что политические и военные соображения говорят в пользу введения буржуазной милиции в соединении с наемной гвардией. Правда, в такой стране, как Германия, только что пережившей бури гражданской войны, милиционная система (как думает официальный орган германского рейхсвера, «Militär-Wochenblatt») не может иметь применения. Для капиталистического общества было бы слишком опасно вооружить германских пролетариев.

Между милицией и демократией существует явная аналогия. Как демократическая республика есть «самая лучшая политическая оболочка капитализма» (по Ленину), так буржуазная милиция, в соединении с наемной гвардией, есть наилучшая военная организация империализма. Чем больше буржуазия эксплоатирует пролетариат, чем беспощаднее она угнетает рабочих, тем громче возвещает она о благодеяниях чистой демократии, всеобщего равноправия. (Смотри «самую свободную страну в мире» Германию, с ее знаменитой 48-й статьей, и «свободную» Америку, где чистокровному американцу разрешается всякое злодеяние, всякое убийство, если только убитым оказывается рабочий). И так же громко превозносит теперь буржуазия систему чистой милиции, вводя под этой маркой самую что ни на есть реакционную белую гвардию (Америка!).

Не подлежит сомнению, что реформизм выскажется за чистую милицию. Если в 1898—1899 гг. реформист Шиппель выступал за мили-

таризм и постоянные армии против милиционной системы, то теперь реформист Гильфердинг выступает за наемные гвардии, а реформист Гаубах—за чистую милицию. Реформизм всегда выступает за то, чего в данный момент требует буржуазия. Буржуазия ввела теперь, под флагом милиции, свои белые гвардии. Значит, социал-демократия стоит за белые гвардии! Гаубах пишет: «Роспуск постоянных армий или полицейских войск, их замена просто вооруженными добровольными отрядами милиции (что это за «простое» вооружение? бильярдные кии и пивные кружки?—Р. Г.), долженствующими стать подлинной опорой государства, контроль над организацией этих отрядов со стороны Лиги Наций,—вот во что мы, германские социалисты, должны преобразовать современный милитаризм в Германии и во всей Европе» (стр. 130). Попросту это значит: мы за буржуазную милицию, за белую гвардию!

Факт существования нескольких боевых милиций представляется Гаубаху нежелательным. Он хочет, чтобы была только о д н а милиция. Гармония всех классов должна привести к гармонии и в области вооружения. Практически это, конечно, означает: да здравствует буржуазная милиция!

Чистой милиции не существует точно так же, как не существует чистой демократии. Демократия может быть только либо буржуазной (диктатура буржуазии), либо пролетарской (диктатура пролетариата). Реформизм не признает классового антагонизма, он хочет примирить враждующие классы; поэтому он и не может признать диктатуру пролетариата и пролетарскую милицию. Он смазывает все классовые противоречия и сбивает с толку рабочих. Зато он тайно—или, как Гаубах, явно—стоит за буржуазную милицию.

Резюмируем вкратце ход развития организации вооруженных сил.

Во всех странах развитие шло от системы наемного войска к всеобщей воинской повинности. Наемное войско было заменено постоянной армией или милицией. В милиции всеобщая воинская повинность проведена последовательнее, идея всеобщего ополчения выражена гораздо яснее, чем в постоянной армии. В самой сжатой формулировке милиционная система означает перенос воейного обучения в гражданскую обстановку. Но система милиции поражена внутренним противоречием. Милиционная армия, как и постоянная, имеет своей предпосылкой внутреннее единство народа. Капиталистическое же общество состоит из враждующих между собой классов. Поэтому милиционная система остается неосуществимой абстракцией; в действительности милиция может быть только или буржуазной, или пролетарской. Чисто всенародного ополчения не существует точно так же, как не существует чистой демократии.

Взгляд довоенной социал-демократии, будто милиционная система при капитализме невозможна, в корне неправилен.

В ту же ошибку впадает и Меринг. Возьмем, например, его работу «Милиция и постоянное войско» (появилась в пяти номерах «Neue Zeit» в 1913 г.). Сначала Меринг прекрасно показывает, что на протяжении последних двух столетий уже существовал целый ряд армий, организованных на милиционных началах, и происходили войны, как этих армий между собой, так и между ними и постоянными армиями. Его изложение в высшей степени интересно, но оно срывается, как только переходит к современности. По мнению Меринга, в настоящее время милиция уже невозможна, потому что капитализм атомизировал общество. Меринг упускает при этом из виду, что и буржуазия и пролетариат сплотились в классы, организовались. Его собственное изложение должно было бы привести его к выводу, что буржуазия вполне может опереться на (буржуазные) милиционные ополчения (соединенные с постоянной или наемной армией). И прежде всего Меринг должен был бы констатировать, что не существует «чистой» милиции, а есть только буржуазные милиции (белая гвардия) и пролетарские милиции (красная гвардия). Если бы Меринг додумал свои мысли до конца, он не мог бы так превратно понять Энгельса, как он его понимает. Меринг пишет (стр. 910): «Тем не менее, и Энгельс сделал в вопросе о милиции некоторые уступки буржуазным представлениям—правда, лишь в последние годы своей жизни, когда его мысль была, конечно, не менее революционна, чем в пору его зрелого расцвета, но когда могучий под'ем рабочего движения, после сорока лет надежд и ожиданий, преуменьшил в его глазах стоящие на пути препятствия. Причиной тому был все тот же оптимизм, который удерживал его от уныния в самые мрачные и тяжелые дни. Но из-за этого мы не должны забывать о промахе, допущенном им в последнем из его военных писаний, в брошюре «Может ли Европа разоружиться?». Здесь он старается доказать, что превращение постоянных армий в основанную на всенародном вооружении милицию возможно и «для современных правительств и при современном политическом положении». С этой целью он требует прежде всего перемещения центра тяжести военного обучения в воспитание молодежи, усматривая именно в этом отличие предлагаемой им милиционной системы от любой существующей милиции, например, швейцарской».

Очень лестной эту мерингову апологию Энгельса никак нельзя назвать. Как обстояло дело в действительности?

Энгельс ясно понял, что буржуазные государства вполне могут создать милиционные ополчения—в том смысле, в каком они могут установить демократию. Но он требовал революционного осуществления милиционной системы. Тем самым Энгельс вышел за пределы буржуазной милиции и провозгласил борьбу пролетариата против милиционной системы буржуазии. Энгельсу всегда было ясно, какое громадное преимущество приобретает пролетариат, обучаясь владеть оружием. Как Энгельс выступал за буржуазную демократию, чтобы использовать ее для боя между буржуазией и пролетариатом, точно так же выступал он и за милицию, видя в ней наиболее последовательную форму всенародного вооружения. Он был бесконечно далек от каких бы то ни было заблуждений насчет буржуазного характера как «чистой» демократии, так и «чистой» милиции. Энгельс правильно понял тенденцию развития буржуазных армий: буржуазия может ввести милиционную систему. И она всегда будет вынуждена обучать в своей милиции не только членов буржуазного класса, но и членов других классов (мелких буржуа, крестьян, отчасти рабочих и т. д.). Введение буржуазной милиции наглядно демонстрирует пролетариату разделение классов. С укреплением пролетарского классового сознания из задач текущего момента вырастает боевой лозунг: Долой буржуазную милицию! Да здравствует милиция пролетариата!

Но Меринг совершенно не понял хода развития современных армий и изобразил Энгельса старым фантазером.

Рассмотрим теперь утверждение, будто постоянная армия является вернейшей опорой капитализма. Вспомним о роли бельгий-

ской армии. Благодаря образцовой антимилитаристской работе бельгийской социал-демократии бельгийская армия была до такой степени «отравлена» социал-демократическим духом, что отказывалась стрелять в бастующих рабочих, тогда как, например, швейцарская милиция стреляла в забастовщиков. Мы видим, что и постоянные армии могут выйти из повиновения капитализму. И наоборот: в Швейцарии, Соед. Штатах и других буржуазных государствах милиционные гвардии были введены еще до войны.

Итак, мы можем констатировать: капиталистические государства могут опираться как на наемные войска и постоянные армии, так и на милиционные армии и на комбинации из тех и других.

Наемные войска были войсками династий. В наше время ни одна держава не могла бы участвовать в мировой войне с одними только наемными войсками. Довоенная Англия могла позволить себе благодаря своему островному положению роскошь пользования для целей «обороны» одной только наемной гвардией.

Попытки создать высококвалифицированные армии из офицеров потерпели крах. Даже при вооружении самоновейшего типа человеческая сила остается необходимой. Современное оружие требует громадного множества солдат для своего обслуживания. Этим раз навсегда ликвидирована система наемных войск. Наемное войско может еще играть роль только в соединении с постоянной или милиционной армией.

Постоянная армия пред'являет государственному бюджету колоссальные требования. Это обстоятельство, а также военно-политические соображения заставили некоторые государства отказаться от нее.

Интересно, что милиционная система (в соединении с наемными войсками) введена как раз в капиталистически наиболее развитых, наиболее богатых странах (Соед. Штатах, Великобритании). Эти страны являются вместе с тем наиболее сильными в военном отношении. Напомним, что Англия первая провела механизацию военного транспорта, что в обеих странах усерднее всего работают над изобретением новых газов, что они обладают наиболее сильной авиопромышленностью и т. д.—Милиционная система (в соединении с постоянной армией) введена и еще в одной стране, обладающей значительной военной силой, в пролетарской России.

Какие основания говорят за введение милиционной системы?

Во-первых: расходы на армию становятся все более обременительными. Современное оружие состоит из сложных и, следовательно, дорогих машин. Даже в простейшей войсковой группе, в пехоте, оружием является уже не винтовка, а пулемет и ручная граната. Воздушный флот, танки, артиллерия, газы стоят огромных денег. Чтобы иметь возможность вооружить войска по новейшему образцу, надо уменьшить число бойцов. Мы имеем здесь нечто подобное тому, что происходило в военном флоте. По мере развития судоходства инженер все больше выдвигался на первое место, а значение капитана, т.-е. военного чина, все больше падало (Сравни соответствующие рассуждения Энгельса в «Анти-Дюринге»). Но так как на суше приходится иметь дело с более мелкими единицами, то здесь каждый воин, оставаясь воином, должен вместе с тем до известной степени стать инженером.

Во-вторых, носителем «духа» в постоянной армии был унтер-офицерский и особенно офицерский корпус, т.-е. верные слуги буржуазии. Но бури пролетарской революции напугали буржуазию. Она

потеряла чувство самоуверенности и охотнее всего вернулась бы к системе наемного войска. Наемник ощущает свою прямую зависимость от хозяина и является поэтому преданнейшим лакеем. И потому буржуазия создает себе в лице наемной гвардии кадровую организацию, в которую включается буржуазная милиция. Этой организации поручается заведывание оружием.

В-третьих, войны империалистической эпохи бесспорно самые «научные» из всех войн, какие когда-либо велись. Это пред'являет особые требования не только к каждому солдату, но еще больше к специалистам, которые всегда существовали в армии. Специалисты,—вспомним только о воздушном флоте, газе, артиллерии и их вспомогательных органах,—доминируют сейчас в большей степени, чем прежде. Увеличивается и их численный состав; в миллионных армиях они насчитываются сотнями тысяч. Эти специалисты нуждаются в многолетней выучке. Так как в их руках сосредоточена вся мощь армии, то для буржуазии самое важное предохранить их от пролетарских влияний. Она достигает этого тем, что берет их себе на службу, создает из них наемное войско. Долголетняя физическая и умственная дрессировка превращает этих наемников, в военно-техническом и политическом отношении, в вернейших слуг буржуазии.

В-четвертых, в будущей войне миллионы пролетариев опять должны будут истекать кровью ради интересов капитализма. Для буржуазного государства слишком разорительно содержать постоянные армии. Милиционная система, при гораздо меньших издержках, обеспечивает военную выучку граждан, не вырывая их из гражданской обстановки. Кроме того, в наше время военное дело так быстро прогрессируют, что теперь уже нельзя ограничиваться однократным прохождением военной службы. Через всю жизнь гражданина должны проходить военные упражнения. Военная учеба должна начинаться с школьной скамьи. Нельзя также надолго вырывать миллионы людей из их гражданской обстановки; но вполне возможно собирать их под знамена на несколько недель. Однако большая часть военного обучения граждан будет падать на непризывное время. Возникающая при этом у граждан иллюзия, будто им дается в руки оружие, содействует маскировочным тенденциям буржуазной демократии. На самом деле, вооружение граждан добрыми старыми винтовками не имеет никакого значения; действительно важное оружие останется в руках надежных кадров, т.-е. реакционных наемных войск. Зато благодаря милиционной системе военная учеба проникает до домашнего очага. Гражданин будет солдатом не с 20 до 22 лет, как прежде, а с 6 до 60.

В-пятых, современный бой пред'являет громадные требования к телу и психике каждого отдельного бойца. Каждый в отдельности должен обладать необычайно высокой степенью сознательности, чтобы вообще быть в состоянии сражаться. Трудность еще увеличивается от того, что методом боевых действий в наше время и на ближайшее будущее является метод «наименьшей группы» (На развитии от цепи к группе мы здесь не можем останавливаться). Все буржуазные военные теоретики нашего времени ломают себе голову над тем, как удержать солдата в повиновении и, вместе с тем, настолько поднять его сознательность, чтобы он мог самостоятельно ставить и разрешать боевые задачи. Утверждают, что господство буржуазной демократии повысило сознательность гражданина; введение буржуазной милиции должно теперь поднять ее еще ступенью выше. Буржуазный мир не разрешит этой проблемы, но тем вернее погибнет на ней. Здесь тот пункт, где

пролетариат бесконечно сильнее буржуазии. В пролетарских государствах, в противоположность капиталистическим, нет надобности возбуждать боевой дух обманом и ложью. Боевой дух пролетарских армий рождается из насущнейших интересов рабочих. Поэтому русская Красная армия обладает наибольшей моральной силой, какая только, вообще, возможна в настоящее время. Пролетариат в состоянии разрешить стратегию—тактическую проблему «наименьшей группы», буржуазия же и здесь подошла к предельной черте своего развития.

Развитие капитализма и, значит, капиталистических противоречий заставляет «все серьезнее проводить принцип всеобщей воинской повинности и, следовательно, обучить в конце концов весь народ обращению с оружием». Это утверждение Энгельса очевидно означает: капитализм неизбежно должен будет ввести милиционную систему. На наших глазах предсказание Энгельса оправдывается целиком. Введением всеобщей воинской повинности капитализм создает предпосылку для гибели милитаризма от диалектики своего собственного развития. Об'ективные условия для победоносного утверждения пролетариатом своей воли против командующей военной клики имеются налицо. Все дело теперь в том, чтобы пролетариат проникся волей, содержание которой соответствовало бы его классовому положению. Другими словами, дело в том, чтобы вооруженные силы буржуазии пролетариат превратил в свои собственные. Отныне воля буржуазии не должна больше господствовать, воля пролетариата должна сделать армию своим орудием.

Чрезвычайно глубоко укоренилось суеверие, будто милиция годится только для обороны. Сотни раз повторяли, что воины милиции сражаются храбро лишь до тех пор, пока им видна колокольня их села, но что стоит им перешагнуть границу своего уезда, как они становятся трусами и массовыми дезертирами. Конечно, такой взгляд можно подтвердить примерами. Но это нисколько не говорит против милиционной системы вообще, а только против морального состояния данных милиций. Повстанческие отряды американской революции были милиционными войсками. Они покрыли себя бессмертной славой, и наверное остались бы победителями и без вмешательства регулярной армии. Они доказали, что милиция может совершать великие подвиги и в наступательной борьбе.

Против милиционной системы можно привести то возражение, что милиционная армия неспособна быстро развернуться для боевых действий. Вопрос быстроты развертывания есть в значительной степени вопрос о коммуникационных средствах. При слабо развитом транспорте переброска на фронт милиционных войск действительно возьмет больше времени, чем переброска постоянных армий. Но зато система милиции дает такие огромные, почти неисчерпаемые запасы человеческого материала, что пролетарская революция не может отказаться от этого наиболее последовательного способа всеобщего вооружения.

Послушаем, что говорит Бухарин в «Азбуке коммунизма», в главе о программе коммунистов в военном вопросе (§ 66): «Всеобщее обучение должно свести к минимуму казарменное обучение, чтобы в дальнейшем совсем похоронить красную казарму... Она (коммунистическая партия) стремится к тому, чтобы формируемая часть, например, рота, батальон, полк, бригада, совпадала по возможности с фабрикой, заводом, деревней, селом и т. д. Иными словами, она стремится... военное

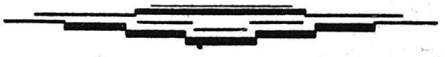
об'единение построить на естественном производственном об'единении трудящихся»...

Чтобы держать свои вооруженные силы всегда наготове, Советская Россия создала на ряду с пролетарской милицией—«национально-территориальной службой»—Красную армию, которая набирается из пролетариев и крестьян. Такое построение вооруженных сил представляет как с политической, так и с военной точки зрения высшую форму военной организации, какая только возможна в настоящее время. Отчет английской профсоюзной делегации (отличающийся на наш взгляд точностью приводимых данных и солидностью фактического материала) сообщает о русской Красной армии следующее: «Сейчас постоянные военные формирования (армия, флот, воздушные боевые силы) охватывают, по новейшим данным, не больше 563.000 человек... Но военная организация Советской России дает возможность очень быстро расширить этот состав мирного времени. Введена система «территориально-национальной службы». Каждый призывной возраст обучается в течение шести недель, а потом служит четыре года в каком-нибудь ополченском отряде».

Назначение или тенденция развития пролетарской русской армии выясняется лучше всего из вступительных слов к подписанному Лениным декрету о создании Красной армии: «Рабоче-крестьянская Красная армия должна быть образована из наиболее сознательных и организованных элементов рабочего класса. Эта новая армия послужит образцом для замены в ближайшем будущем постоянных армий вооруженным народом, который будет защищать грядущую пролетарскую революцию в Европе».

* * *

Коммунисты ведут революционную борьбу против милитаризма. В эпоху империалистических войн старый тезис: «капитализм, это—война, социализм—мир» приобретает новое и повышенное значение. Пролетарская Россия—самый последовательный борец в войне против войны! Милитаризм и война, эти близнецы капитализма, будут уничтожены только тогда, когда мировой пролетариат в сплоченной борьбе повергнет в прах капитализм. А до тех пор все действительные пацифисты и антимилитаристы должны об'явить самую беспощадную войну войне.



Неовитализм и марксизм[1]).

И. Агол.

I.

Некоторые методологические предпосылки.

Жизнь—есть продукт истории не только в том смысле, что к современному своему состоянию она пришла через длинную цепь развития материального мира, но и в том, что в своем настоящем она одновременно содержит и значительные следы своего прошлого. Пройденный ею исторический путь не исчез для нее бесследно, а на ряду с новыми условиями существования является одним из существенных факторов, определяющих ее данный характер и направление ее дальнейшего развития. Строение и функции организма зависят не только от закономерностей условий, в которых он ныне очутился, но и от исторического прошлого, накопленного в нем за все время его развития. Настоящее жизни неотделимо от ее прошлого.

Существует одно довольно широко распространенное заблуждение, по которому в процессе развития мира меняется будто бы только материя, а законы, определяющие это развитие, остаются вечно одни и те же: в непрерывной изменчивости природы неизменны и вечны только одни ее законы. Это заблуждение проистекает от того, что закономерности природы отрываются от мира действительных вещей и явлений, т.-е. отрываются от самой природы и ставятся в совершенно независимое от нее положение, как - будто бы они могут существовать самостоятельно вне мира вещей. Вещи и явления всегда подчинены определенным законам, «свободных» вещей в природе нет, но и законы имеют место только там, где существуют вещи. Закономерности выражают постоянные отношения между вещами. С изменением вещей меняются и их отношения, меняются и закономерности. Биологические закономерности возникли вместе с возникновением жизни на земле. До этого их не было: законы ж и в о й природы могут существовать только там, где имеются ж и в ы е существа. То же самое можно сказать и о закономерностях, управляющих человеческим обществом. До появления общественного человека никаких специфических социальных законов не существовало. Больше того: социология показывает нам, как с развитием человеческого общества постоянно меняются и закономерности, управляющие им. Доисторическое человеческое общество подчинялось другим закономерностям, чем историческое, а последнее в свою очередь распадается на целый ряд этапов со своими специфическими закономерностями. На каждой новой ступени развития материального мира старые закономерности видоизменяются, дифференцируются, получают особый характер. Словом, изменяется не только материальный мир, но вместе с ним претерпевают изменения и закономерности, действующие в нем и определяющие его непрерывное развитие. Само собой разумеется, что мы имеем в виду о т н о с и т е л ь н у ю изменчивость, а не а б с о л ю т н у ю. Поскольку материя и движение неразрушимы, а только изменчивы, постольку имеются и более общие закономерности, характерные для всякой материи и всякого движения и отмечаемые на всех этапах эволюции мира. Таков, например, закон постоянства энергии, закон притяжения и др. Вот почему попытка охватить весь мир одной общей мерой заранее обречена на неудачу. Она в лучшем случае может привести к вскрытию этих общих закономерностей, но специфическая картина явления, своеобразный характер закономерностей, действующих именно в данном явлении, особенно если оно сложно, останутся при этом за пределами досягаемости.

[1]) Две главы из подготовляемой к печати работы на эту же тему.

Почти до середины прошлого столетия в естествознании преобладал статический метод. Старое естествознание было по преимуществу о п и с а т е л ь н ы м естествознанием. Задача тогдашней науки состояла в том, чтобы накоплять побольше отдельных фактов, тщательно изучать их, по возможности, в самых мелких подробностях. Это был период «первоначального накопления» знаний. В таких условиях описательный метод не только не представлял особых трудностей, но и был довольно плодотворным орудием в руках исследователя. Ибо вещи изучались вне связи с их историей, вне связи с остальным миром. Но по мере накопления отдельных фактов, когда появилась необходимость выйти за рамки простого описания, когда нужно было от частностей перейти к общим закономерностям, словом, когда появилась нужда в теоретическом осмысливании этого накопленного упорным многовековым трудом материала,—безнадежная несостоятельность старого метода в применении его к новым задачам с каждым днем давала себя все больше и больше чувствовать. Каждый факт в отдельности как будто бы подтверждал установившееся веками мнение об абсолютной устойчивости природы, но взятые вместе эти факты никак не укладывались в рамках этой устойчивости. Натуралисты, занятые кропотливым изучением изолированных вещей и явлений, в подавляющем большинстве случаев не поднимались выше своей практической деятельности и как-будто вытекающей из нее «очевидности» статической природы изучаемого мира, тем более, что старый метод не создавал для них никаких затруднений в практической работе. Даже больше того, всякая стихийно или обдуманно прорывавшаяся мысль об историчности природы авторитетно отвергалась всем научным миром, как несостоятельная спекуляция, ничего общего не имеющая с об'ективной действительностью. Такова, например, судьба учения первых эволюционистов додарвиновского времени. Философы, опиравшиеся в своих теоретических обобщениях на данные, почерпнутые из современного им естествознания, с трудом сводили концы с концами, и только иногда в чрезвычайно осторожной и робкой форме становились в оппозицию ходячему мнению натуралистов. В такой форме, например, эволюционные идеи нашли свое выражение у французских материалистов XVIII века. И только такие титаны мысли, как К а н т и Г е г е л ь, осмеливались со всей последовательностью выступить против общепринятых взглядов. Но их влияние на современное им естественно-научное направление было крайне недостаточно. Во-первых, потому, что они были идеалистами и об'ективные процессы изображали вверх ногами, а излишняя рационалистическая спекуляция приводила их нередко к простой фантастике. А, во-вторых,—и в этом лежит основная причина,—их эволюционные идеи не имели еще прочного фундамента в современной им науке и, не встречая соответствующей почвы, неизбежно должны были провалиться. Они были преждевременны. Есте

ствознание в этих идеях еще не нуждалось, и они, в большинстве случаев, либо отвергались, либо просто оставались незамеченными.

Но время шло, а вместе с ним шло вперед и знакомство с миром. Наконец, наступил такой момент, когда почти каждый новый научный успех не только не облегчал дальнейшего прогресса, но вызывал все бóльшие и бóльшие трудности в понимании изучаемых явлений.

Такой, нередко всплывающий, исторический парадокс, когда новые успехи не облегчают, а затрудняют понимание не только вновь открытых явлений, но и старых фактов, казавшихся раньше совершенно понятными, всегда характеризует методологический тупик. Это есть своего рода болезнь роста. Подобную болезнь роста, например, переживает современная нам физика. Теория квантов вновь поставила в порядок дня старые, казалось бы, окончательно решенные вопросы о причинности и случайности, о прерывности и непрерывности и т. п. Некоторые довольно известные физики, в поисках выхода из тупика, одно время даже подвергли сомнению один из основных законов природы, закон сохранения энергии. На таком же методологическом распутьи находится и современная эндокринология.

Кризис естествознания первой половины прошлого столетия был кризисом роста, коллективным протестом фактов против стесняющих рамок, в которые они насильно были втиснуты старым, изжившим себя методом. И характерно, что разрешение кризиса наступило почти одновременно в разных областях науки и шло в одном и том же направлении. Сначала Ляйелль, затем Дарвин, Уоллес и Маркс, Менделеев и Лотар Мейер каждый в своей специальной области, оперируя различным материалом, пришли к одному и тому же решению. Кризис был разрешен отказом от старой статической точки зрения в пользу исторического метода.

Наша тема о витализме не позволяет нам подробно остановиться на закономерностях развития материального мира на всех ступенях его эволюционной лестницы. Но совершенно обойти эти вопросы мы не можем. Жизнь есть один из этапов этого развития, самый последний и самый сложный этап. Чтобы понять жизненное явление, недостаточно одно рассмотрение его с точки зрения его динамики на данной стадии развития материального мира. Необходимо еще развернуть весь этот процесс развития в его исторической преемственности. Для этого нам, прежде всего, хотя бы в самой сжатой форме необходимо рассмотреть закономерности развития материального мира вообще. Нам, прежде всего, нужно ответить на вопрос, что представляет собою это вечное развитие, это вечное и непрерывное движение материи.

Мы здесь, к сожалению, также не можем подробно остановиться на философской проблеме материи. Этот вопрос выходит за рамки нашей задачи. Тем не менее, мы все же считаем необходимым подчеркнуть, что об'ективное существование материи вне нас мы считаем для себя непреложной истиной. Людей науки, людей дела может интересовать только то, что об'ективно существует, что имеет реальный смысл, на что мы можем реально воздействовать, что может влиять на нас. Всякие скептические разглагольствования по поводу нереальности об'ективного мира для науки не имеет никакого значения. Серьезный исследователь, серьезный практический деятель проходит мимо этих метафизических мудрствований и упражнений, воздействует на внешний мир и извлекает из своей деятельности об'ективные результаты. Да и сами скептики в своей практической работе зло издеваются

над своими собственными схоластическими измышлениями. И Э. Мах, и М. Ферворн, и другие натуралисты, стоящие на суб'ективной точке зрения, в своих специальных исследованиях совершенно забывают свою «философию природы», оперируя с внешним миром, с его закономерностями, как с настоящими реальностями. Если бы об'екты наших исследований не имели реального существования, а находились только в нашей голове, то какой смысл их изучать?! Какой серьезный человек и для какой цели стал бы заниматься пустыми несуществующими призраками?! Какую практическую ценность имели бы наши исследования, если бы оказался прав М. Ферворн, идущий по стопам Беркли, Авенариуса и Маха и утверждающий, что «то, что является нам как телесный мир, в действительности есть наше собственное ощущение или представление, наша собственная психея. Если я смотрю на какое-либо тело или воспринимаю его как-либо иначе, то в действительности я имею вовсе не тело вне меня, но только ряд ощущений в моей психее»[1]). Мы убеждены,—да простят нам за несколько вульгарный пример,—что ни один из скептиков, отвергающих или сомневающихся в реальности внешнего мира, если только этот скептик находится при полном уме и твердой памяти, не решится подставить свою голову под дуло заряженного револьвера с отведенным курком, как бы он твердо ни верил в то, что это орудие смерти есть только его суб'ективное представление, а не реально существующий факт.

Мы также отвергаем и об'ективный идеализм, поскольку мы исходим из реального мира, а не из беспочвенных разглагольствований о нем. Единственным критерием наших воззрений служит практика. А каждый наш практический шаг, так сказать, вопиет против так называемого «об'ективного духа», не зависящего от материального мира. Практика учит нас, что, где мы ни встречаемся с «духом», он всегда и неизбежно связан с живой материальной системой. Мы не знаем «духа» без этой системы. На первых стадиях развития материального мира, по крайней мере, нашей планеты, никакая жизнь на ней не была возможна, хотя бы благодаря определенному ее физико-химическому состоянию. А отсутствие материального носителя «духа» исключает и всякую возможность существования этого «духа». «Дух» рождается из материи. Но он не есть свойство, изначально присущее материи. В отдельных частицах вещества, в атомах мы никакого «духа» не встречаем, несмотря на то, что «дух» возникает из атомов, когда последние на определенной высоте своего исторического пути вступают в чрезвычайно сложные соединения. Чувствует, сознает, мыслит не материя вообще, но определенным образом организованная материя. И совершенно необоснованным произволом является распространение психического бытия на весь материальный мир, допущение атомного сознания и тому подобные метафизические построения. Опыт учит нас, что нет «духа» без материи, но тот же опыт не дает нам положительно никаких указаний на то, что «дух» связан со всякой материей, с материей вообще. Эта позиция резко отграничивает научный материализм от гилозоизма и панпсихизма, одухотворяющих всю природу, допускающих наличие сознания или психики в любой частице любого вещества.

Научно-материалистическая концепция сознания также резко отличается от вульгарно-материалистических взглядов Фохта, для

[1]) Макс Ферворн, Общая физиология, пер. М. А. Мензбира и Н. А. Иванцова, выпуск I, Москва 1897, стр. 71. Подчеркнуто самим Ферворном.

которого «дух» представлялся такой же грубо материальной вещью, производимой центральной нервной системой, как, например, желчь, производимая печенью [1]). Формальное наивно-материалистическое «разрешение» проблемы психического и физического, очевидно, не есть преодоление дуализма, против которого, главным образом, и направлена эта «монистическая» точка зрения вульгарных материалистов средины прошлого столетия. Сведение психического к физическому, как мы это видели на только что приведенном примере вульгарного материализма, или обратное сведение физического к психическому, с чем мы встречаемся у вульгарного идеализма, есть простое отрицание одного из данных в пользу другого, простая замена психического физическим, или наоборот. У одних все сводится исключительно к материи, у других—исключительно—к «духу». Очевидно, ни та, ни другая точка зрения не есть концепция единства психического и физического. Диалектический материализм стоит на точке зрения психо-физического монизма. Он признает реальное существование нематериального «духа», но не изолированного, не независимого, а тесно связанного с определенной материальной системой. С этой точки зрения «дух» есть субъективное выражение определенных физиологических процессов, происходящих в достигшей большой высоты развития живой системе под воздействием внешнего мира и самой системы.

В чем состоит «сущность» того, что некоторые объективные физиологические процессы сопровождаются субъективными ощущениями или переживаниями, мы не знаем, как не понимаем еще очень многих других фактов. В чем, например, заключается «сущность» превращения одного вида энергии в другой? В чем состоит «сущность» притяжения? На все эти вопросы в настоящее время мы можем дать только один ответ: таковы—факты. Этим ответом мы вынуждены пока довольствоваться, если хотим оставаться на уровне современного нам естествознания. Само собою понятно, что этот временный отказ от объяснения явления ни в коем случае не означает утверждения принципиальной непознаваемости его или принципиального деления мира на познаваемые явления и непознаваемые, иррациональные «вещи в себе». Подобный отказ от метафизических разговоров о первопричинах, о сущности, о первом толчке вводит только наши исследования в строгие научные рамки. Уничтожение этих рамок превращает науку в метафизику. Каждое открытие все больше и больше раскрывает перед нами эту самую «вещь в себе». Каждый научный успех превращает «иррациональный остаток», непознанную еще часть вещи или явления в рациональную, приближает нас к более широкому и глубокому пониманию этой самой «сущности» или «вещи в себе». Наши возможности познать мир—безграничны, хотя абсолютно исчерпать его мы никогда не будем в силах: всегда перед человечеством будет маячить какой-нибудь непознанный (но не непознаваемый) остаток, к познанию которого будут направлены наши усилия. И каждый успех в этом направлении будет все больше и больше сокращать этот непознанный остаток, в то же время открывая все новые и новые незнакомые еще нам горизонты. Ибо вселенная бесконечна и неисчерпаема. Следующий пример покажет нам, как успехи науки превращают «вещь в себе» в «вещь для нас», как сущность явления или вещи в процессе развития науки все глубже и шире вырисовывается перед нами. Еще со времен Пифагора было известно, что равно напряженная струна при последовательном изменении ее длины

[1]) См., напр., Carl Vogt, Physiologische Briefe für Gebildete aller Stände, Tübingen 1845, S. 206.

в простом численном отношении дает созвучные тоны. Композиторы и музыканты пользовались этой закономерностью и создавали выдающиеся произведения искусства. Но «сущность» этого удивительного явления была неуловима для нашего познания. Консонанс, как явление, был очевидным фактом, им пользовались на практике, он был «вещью для нас», но «сущность» его в течение тысячелетий представлялась неподдающейся нашему познанию «вещью в себе». Но вот, после долгих тщетных усилий познать это явление, пришел Гельмгольц и искусной рукой тонкого исследования приподнял краешек непроницаемой завесы с этой тайны, и прежняя «непознаваемая» «вещь в себе» стала все более и более отчетливо развертываться перед нами многими ранее нам неизвестными сторонами своей «сущности». Победоносное шествие науки, наше прогрессирующее с каждым днем познание природы, углубляющееся и расширяющееся человеческое господство над стихийными естественными процессами является нагляднейшим уроком надуманности, искусственности и метафизичности разговоров о принципиальной непознаваемости «вещей в себе». Никакая отрасль науки принципиально не может допустить в своей области существование каких-то потусторонних, непознаваемых вещей, ибо она не может ставить себе преграды на своем пути, заранее указывать пределы, до которых она вправе доходить, но которые переходить ни в коем случае нельзя. Современное естествознание прекрасно понимает относительность своих знаний, неисчерпаемость материала, подлежащего его изучению, но оно не может огородить себя китайской стеной от объектов своего изучения или заранее наметить себе границу, за пределами которой наши познавательные способности обязательно должны оказаться бессильными, где неизбежно должен прерваться дальнейший путь развития, откуда начинается вечное прозябание, повторение задов и топтание на месте. Современное естествознание не может не отвергнуть точку зрения «принципиальной непознаваемости», метафизических «иррациональных остатков», трансцендентальной «вещи в себе».

Эта единственно научная методологическая позиция обязательна для всех без исключения отраслей нашего знания. Ее должна придерживаться и биология. Конечно, это не должно означать, что любая поставленная задача может быть сегодня же решена. Темп развития науки находится в преемственной зависимости от всего ее прошлого, ее прогресс не может выйти за рамки эпохи, естественные науки не знают сверх'естественных прыжков. Тем более естествознание не может заниматься метафизическими вопросами.

Вопрос о «первопричинах» и «конечных причинах» долгое время занимал натурфилософов и продолжает занимать некоторых естественников до настоящего времени. Перенесенные из метафизики в естествознание, эти понятия и здесь не могут иметь никакого реального смысла. Действительный мир не имеет ни начала, ни конца, и он поэтому не может иметь ни начальных, ни конечных причин. Введение понятия первопричины в естественные науки равносильно признанию внезапного возникновения мира из ничего, его божественного происхождения. Естествознание не может иметь и никогда не будет иметь дела с первопричинами просто потому, что реальный мир не имеет начала, он бесконечен во времени и никаких первопричин не знает. То же самое мы можем сказать и о конечных причинах (causae finales). Конечная причина—явная бессмыслица: поскольку она конечная и замыкает цепь развития, она не может быть причиной чего-либо, ибо за ней ничего не следует, и она не имеет никаких следствий. Причина без следствия—не причина. Клод Бернар в своих известных фи-

зиологических лекциях поднял вопрос о первопричинах [1]). Он приходит к заключению, что физиологу нечего делать с первопричинами, ибо они недостижимы для науки, непознаваемы. Выходит, что первопричины имеют реальное бытие, но заниматься ими не следует, так как об'ект исследования лежит по ту сторону нашего познания. Не убеждение в том, что первопричины являются пустой иллюзией метафизика, ничего общего не имеющей с реальной действительностью, а метафизический агностицизм вынуждает Клода Бернара отказаться от их поисков.

В настоящее время поиски начальных и конечных причин, несомненно, указывают на мистическое умонастроение и сознательную или бессознательную цель ее искателя. И неудивительно, что эти поиски, как правило, обыкновенно кончаются «открытием» какой-нибудь таинственной «сущности», очень смахивающей на сверх'естественного создателя. В этих случаях «открывают», собственно говоря, то, что заранее наметили или поставили себе целью «открыть».

Жизнь есть продукт исторического развития материального мира. В настоящее время мы еще не можем дать более или менее точную картину возникновения жизни на земле. Наши лабораторные достижения в направлении искусственного воспроизведения возможных путей этого развития пока все еще крайне ограничены. Все же имеющийся наличный материал в разных областях естествознания достаточно ясно обнаруживает генетическую связь между органическим и неорганическим мирами. Хотя после знаменитых работ Пастера никто уже не верит в спонтанное самозарождение жизни (generatio aequivoca), все же мы непрерывно наблюдаем, как всасываемые растениями неорганические вещества служат исключительным материалом, идущим на восстановление беспрерывно разрушающегося живого тела этих растений. Современное естествознание может привести достаточное количество данных, указывающих, что корни органического мира несомненно лежат в неживой природе. Эту нашу научную уверенность обильно питает принятый во всех отраслях науки исторический метод, не мирящийся с дуалистическими представлениями о двух независимых рядах развития — органического и неорганического. Для понимания жизненного явления с развиваемой здесь монистической точки зрения недостаточно изучение этого явления в том виде, как оно сложилось к настоящему времени,— необходимо еще проникнуть в его прошлое, его историю, вскрыть его преемственную связь с более низкими ступенями эволюции материального мира. Для этого прежде всего необходимо рассмотреть хотя бы коротко основные закономерности развития материи вообще.

Мысль о непрерывной изменчивости природы теряется в глубине древности. О непрерывной изменчивости, о вечном становлении говорили: Гераклит, Демокрит, Эмпедокл и другие. Аристотель учил, что круговращение небесных светил вызывает ряд изменений на земле, постоянно меняющих ее облик. Бессмертная поэма Лукреция Кара («О природе вещей») свидетельствует, что идеи изменчивости были близки и науке, развившейся в древне-римской империи. Многие памятники средних веков и начала нового времени говорят о том, что эти идеи ни на минуту не исчезали с научного горизонта даже и в самое тяжелое для науки время. Но, несмотря на это, учение об эволюции принадлежит исключительно девятнадцатому столетию. Раньше говорили о процессах изменчивости как о замкнутых, периодических циклах, вращающихся в неизменном кругу, неизбежно приводящих к первоначальному состоянию. В этих представлениях имеется изменчивость, есть механическое становление, но нет поступательного развития, нет эволюции в ее диалектическом понимании. Мысль о неповторяющейся эволюции, о движении, приводящем к необратимым новообразованиям, принадлежит исключительно веку Гегеля, Дарвина и Маркса.

[1]) Кл. Бернар, Курс общей физиологии, перевод М. Антоновича, Спб. 1878 г., первая лекция.

Для примера возьмем представления Эмпедокла о возникновении органических форм. Его «эволюция» не есть непрерывный все усложняющийся процесс, а простое механическое сложение отдельных вполне готовых частей. Организм, как целое, не развивается, он не есть продукт эволюции, а возникает сразу в готовом виде в результате стихийного механического скрепления между собою отдельно выросших органов. Вот как рисуют этот процесс дошедшие до нас отрывки из произведений Эмпедокла.

Так выросло множество голов без шеи,
Блуждали голые руки, лишенные плеч,
Двигались глаза, лишенные лба...
Но, когда божественное теснее соединилось с божественным,
Они (члены) скрепились между собою, как кто с кем повстречался,
И к множеству существующих без перерыва присоединились еще другие...
Появилось много существ с двойными лицами и двойною грудью,
Рожденный быком с головой человека, и наоборот.
Произошли рожденные людьми с бычачьими головами, которые вперемежку происходили от мужчин
Или же от женщин, имеющих нежные органы... [1]).

Из всей этой массы возникших существ остались в живых более или менее приспособленные. Остальные неизбежно вымирали. Так, по Эмпедоклу, возник органический мир. Развития в современном смысле здесь нет.

Эволюционное учение Бонне, Галлера и др. рассматривало развитие организмов как простое развитие того, что было в совершенно готовом виде в зародыше, как простой рост заложенного в яйце или сперматозоиде миниатюрного существа. В процессах старения и смерти это учение видело простое свертывание развившегося организма, его возвращение в исходное состояние. Прямое или обратное развитие пропорционально увеличивает или уменьшает в размерах то, что уже раньше существовало в исходном или зрелом виде. Такое понимание эволюции есть фактическое ее отрицание. Ибо оно, как и древние эволюционные учения, отрицает новообразование, оно представляет себе об'ект развития на всех этапах его пути в одной и той же качественной форме, сведя весь процесс развития к простым изменениям размеров.

К фактическому отрицанию эволюции приводит также и та точка зрения, которая сводит эволюционный процесс к простым количественным перемещениям материальных частиц в пространстве. Механистическая концепция, не видящая никакого принципиального отличия между различными формами материи на различных стадиях ее эволюционного пути и сводящая все это разнообразие и обилие форм к большему или меньшему количеству частиц, распределенных в различном порядке, есть по существу антиэволюционная точка зрения. Мир не развивается, он только комбинирует вечно неизменные частицы, составляющие его. Реально никакого многообразия в мире нет. Все предметы однородны. Они различаются между собою только количеством и порядком расположения своих состав-

[1]) Таннери, Первые шаги греческой науки, Спб. 1902, Приложение, стр. 99.

ных элементов. Качественных отличий реальный мир не знает, они суб'ективны и вносятся нами в него. Они—формы нашего созерцания, зависящие от специального устройства нашего организма, но не реальная действительность вещей или явлений. Вне нашей головы нет никакого качественного многообразия природы. Дюбуа-Реймон, например, в своей работе «О границах познания природы» утверждает, что «мир сам по себе безмолвен и мрачен, т.-е. лишен свойств не только с точки зрения суб'ективного анализа, но и для механического воззрения, добытого путем об'ективного исследования». Если об'ективно природа не знает никаких качественных различий, если об'ективно вещи и явления лишены свойств, которыми мы их отличаем друг от друга, то эволюция, приводящая к этим различиям, есть пустая выдумка и никаких корней в реальном мире не имеет. Вот единственный вывод, который сам собой напрашивается, если принять механистическую концепцию мира.

Чисто-механистический взгляд на органическую эволюцию, как простую перегруппировку неизменных зародышевых частиц, в наше время развивает в биологии голландский ботаник Лотси. Он утверждает, что эволюция органического мира, совершается при постоянстве видов, в результате простой перегруппировки неизменных отцовских и материнских зачатков при скрещивании. «Эволюция,—пишет Лотси,—возможна, по меньшей мере, мыслима, и при постоянстве видов» [1]). В эволюционном процессе ничего нового не создается. Признаки, возникающие у организмов на различных стадиях развития, не новы, они извека существуют в скрытом виде в абсолютно неизменных зачатках и выявляются только при определенном сцеплении зачатковых элементов. Новые органические формы, возникающие в процессе эволюции, по существу не новые формы, а новые комбинации извека данных зародышевых частиц. Вся эта «эволюционная» теория, фактически отрицающая эволюцию, чрезвычайно характерна для механистического мировоззрения.

Эволюция есть процесс созидательный [2]). В своем развитии материя не только меняет месторасположение своих составных частей, увеличивает или уменьшает их в числе, но и качественно меняет форму своего бытия. Такой процесс развития возможен потому, что качества присущи предметам об'ективно, а не вносятся нами извне. Вещи без качеств такая же пустая абстракция, как качества без вещей. Процесс эволюции состоит в диалектическом превращении одних качеств развивающегося субстрата в другие. Откуда могло бы взяться в нашей голове представление об изменившихся признаках, об изменившихся вещах, если бы эти признаки не имели места в об'ективных предметах? Наша голова не может их создавать из ничего. Ничто не приходит со стороны. Изменяется то, что раньше было, но в процессе изменения возникает нечто новое, а не повторяется старое. Каждая новая ступень развития потому и новая ступень, что содержит в себе нечто такое, чего раньше не было. В этом суть эволюционного процесса. Этой общей закономерности развития подчинена вся природа,—она присуща как неорганическому, так и органическому миру и социальным явлениям. Но это, как мы уже показали выше, не значит, что законы развития на всех ступенях эволюции одни и те же. Из нашего понимания эволюционного процесса вытекает как

[1]) Сб. «Новые идеи в биологии» № 4, стр. 121.

[2]) В этом отношении Бергсоновская «творческая эволюция», как правильно отметил уже Л. С. Берг, есть простой плеоназм. Нетворческой эволюции нет. Понятие эволюции содержит в себе и понятие творчества.

раз обратное. Каждая стадия развития материи, помимо особенностей, присущих всякой материи вообще, имеет еще и свои специфические особенности. Откуда и следует, что помимо общих закономерностей материя на каждом этапе эволюции подчиняется еще и специфическим закономерностям, свойственным каждому этапу развития. Вот почему не только биологические процессы не сводимы «до конца» к физическим и химическим, но и физико-химические явления не исчерпываются одной механикой, а социальные явления не укладываются в рамки одних биологических закономерностей.

Это специфическое своеобразие, свойственное каждой ступени развития и не сводимое до конца к закономерностям более низких этажей эволюции, приводит к необратимости процессов развития. Признак в зависимости от условий, а также внутреннего состояния системы, которую он частично представляет, может качественно усложниться или упроститься, но он не может повториться. Деградация некоторых видов, скажем, паразитов, очевидно, не есть возврат к исходной форме, а упрощение организации, замена старых более сложных признаков новыми менее сложными.

Чрезвычайно показательными в этом отношении являются исследования Долло над филогенетическими изменениями панцыря морской черепахи (Dermochelys coriacea), опубликованные им в 1893 году. Подробными и тщательными исследованиями относительно строения и образа жизни морских черепах он доказал, что далекие предки современных кожистых черепах были береговыми животными и имели полный костяной панцырь. Из них развились пелагические (живущие в открытом море) черепахи, потерявшие в связи с этим образом жизни свой панцырь почти совершенно. Потомки этих пелагических форм снова стали береговыми жителями и образовали новый панцырь, мозаичный панцырь кожистых черепах, в котором первоначальному панцырю принадлежит лишь затылочная пластинка, а все остальное имеет новое строение и форму. Кожистые черепахи в сравнительно недавнее время снова перешли к пелагической жизни, почти совершенно не изменив своего панцыря [1]). Таким образом мы здесь имеем два повторных возвращения к одному и тому же образу жизни, при чем ни в одном случае мы не имеем повторения признака, меняющегося в зависимости от условий существования. Основываясь на этих исследованиях и других данных, О. Абель формулирует следующий «закон Долло»: орган, ставший в процессе филогенетического развития рудиментарным, никогда не достигает своего прежнего уровня, а исчезнувший совершенно никогда не появляется снова. Если в процессе приспособления к новому образу жизни теряются органы, игравшие при прежнем образе жизни значительную роль, то при новом возвращении к старому образу жизни эти органы никогда более не возникают снова. Их место занимают новые органы [2]).

Необратимость органической эволюции очень смущала Нэгели. Ему казалось чрезвычайно странным и чудесным, почему возникший у организма в процессе эволюции новый признак не имеет обратного хода. Для об'яснения этого явления он считал необходимым допустить наличие у живых существ особого «принципа совершенствования», препятствующего процессам обратного развития. Другими словами, Нэгели стал на виталистическую точку зрения. Но он,

[1]) Брэм, Жизнь животных, т. IV, ч. 1, стр. 584 (писано Францем Вернером).

[2]) O. Abel, Grundzüge der Palaeobiologie der Wirbeltiere, Stuttgart 1912. S. 616.

как и почти все виталисты, не заметил одного: эта общая закономерность развития присуща не только органическому, но и неорганическому миру, а также общественным явлениям. Чтобы быть последовательным, он должен был бы признать этот мистический «принцип совершенствования» не только в живом организме, но и в предметах неорганической природы и в социальных явлениях. А это по существу означало бы отказ от всяких виталистических «принципов совершенствования», ибо жизненные явления не составили бы в этом отношении никакого исключения.

С этой точки зрения более последовательной является позиция известного ботаника, профессора Кильского университета, И. Рейнке. «Сверхсилами» или «доминантами» он наделяет не только мир растений и животных, но и всякую неорганическую систему, действующую, как целое, независимо от того, приводит ли данную систему в движение человек или ее действие вынуждается естественными условиями. По мнению Рейнке, никакая система сама по себе не могла бы координировать действие своих составных частей, не могла бы функционировать как единое целое, если бы не обладала регулирующей и направляющей доминантой. Доминанта действует как руководитель, дает направление силам природы, об'единяет энергию отдельных составных частей системы в единый целостный поток. Доминанта может выявлять свое руководство над готовым материалом, над готовыми силами природы, в пределах общих естественных закономерностей. Выходить за пределы естественного она не может. Таким образом, доминанта, по Рейнке, не сама энергия, не сама сила природы, а нечто такое, что стоит над ними и приводит хаотические процессы отдельных частей системы в гармоничное целое. Специфическое своеобразие различных систем определяется не только различием материалов, из которых состоят эти системы, но и характером направляющих их деятельность доминант. Каждой системе и даже каждому ее отдельному компоненту соответствует особая доминанта. Новое качество, независимо от того, проявляется ли оно в неорганических или органических системах, обязано своим возникновением и существованием этим сверхсилам. «Сколько имеется орудий и машин, даже больше того, сколько частей содержится в них,—пишет Рейнке,—столько различаем мы видов принуждений, управляющих энергией. Коротко говоря, в каждом таком случае мы можем говорит о сверхсиле или доминанте, стоящей над энергией и управляющей ею» [1]).

Позиция Рейнке несомненно более последовательна многих других виталистических учений: в ней нет той непроходимой пропасти между органическим и неорганическим миром, которую мы отмечали в других виталистических концепциях. Плохо только то, что взгляды Рейнке, может быть, даже чрезвычайно последовательные с точки зрения первобытного антропоморфизма и анимизма, совершенно чужды современному научному естествознанию. Современная наука изучает реальные явления, ей нет дела до фантастики, мистических измышлений и беспомощных представлений отдельных людей, если только она не ставит себе специальной цели изучения корней и причин подобного рода мозговой работы. Другое дело виталистическая философия природы. Для нее, по откровенному признанию виталиста Вл. Карпова, «имеют ценность показания не только ученых, но также мистиков и поэтов—лиц, могущих, благодаря особенностям своего гения, усиливать те связи человека с природой, которые остаются незамеченными для среднего человека и даже отвергаются им как ложные. «Поэзия есть нечто более философское и важное чем история» (Аристотель, Поэтика)» [1]).

[1]) J. Reinke, Die Welt als Tat, Berlin 1925, Verlag von Gebrüder Paetel, S. 290.

Сведение сложных явлений к более простым имеет громадное значение для познавания этих явлений. Оно углубляет наши знания о предмете, выявляет многие скрытые от нас стороны этого явления, но не снимает специфичного своеобразия сложного процесса. Нам, например, удалось точно доказать, что в состав человеческого тела не входит ни один элемент, не встречающийся в окружающем нас мире. Мы можем даже не остановиться на этом, а итти еще дальше и с полной уверенностью сказать, что человеческое тело состоит из электронов и протонов, но этим мы никак не докажем, что человек не есть человек, а простая совокупность материальных частиц. Чтобы изучать человека, нельзя ограничиваться простым перечислением его составных частей. Необходимо рассмотреть его, как целостную конкретность, установить своеобразные закономерности, которым он подчинен, как данная реальная единица.

Задача всякого научного исследования состоит в установлении не только сходных черт между различными формами материи, но и различий, выделяющих данную форму, как особую, своеобразную форму, не встречающуюся на других ступенях развития. Это означает, что никакая наука не может отказаться от изучения специфически своеобразных закономерностей явлений, подлежащих ее исследованию, а исключительно заниматься простым «сведением» их. Каждая отрасль науки имеет свой специальный предмет и вытекающие из него специальные методы работы. «Сведение» не приводит к познанию сводимого явления в его реальной конкретности. Никакая механика не в силах заменить физику или химию, как эти последние не заменят биологии, а биология—социологию.

Много поучительного в этом направлении могут нам дать явления мимикрии. Покровительственная окраска некоторых насекомых, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих зависит от зоркости и остроты глаза врага - хищника. Более заметные животные беспощадно уничтожаются. Остаются жить те, которые недоступны или, во всяком случае, мало доступны глазам хищника. Причина закрепления той или другой окраски у животного лежит именно в том, что хищник уничтожал других, менее приспособительно окрашенных животных, а этих не только не трогал, но и не замечал. Наличие определенной окраски у многих животных находится в зависимости от устройства зрительного аппарата у их хищного врага, а сохраняется она именно потому, что недоступна ему. Таким образом, понять эти явления можно, только распутав причудливый клубок связей и взаимоотношений между отдельными группами животных, «сведение» к физике и химии здесь не только бесцельно, но и невозможно.

Витализм также утверждает специфичность жизненного процесса. Но у него эта специфичность получает абсолютный характер и теряет свое историческое лицо. Жизнь насильно вырывается из природы и даже противопоставляется ей. Существует живое и неживое. Пути их развития и закономерности этого развития принципиально различны. Между ними нет исторической преемственной связи. Жизненные явления определяются деятельной, регулирующей,

[1]) Вл. Карпов, Основные черты органического понимания природы, Москва, изд. «Путь», год не указан, стр. 10.

направляющей нематериальной сущностью, физико-химические же процессы целиком подчинены законам механики. Витализм непосредственно ведет к дуализму или даже плюрализму, к установлению двух или большего числа рядов развития, не связанных между собою общностью происхождения. Витализм имеет дело с надуманной метафизической непротяженной «сущностью», обладающей способностью вмешиваться в любой процесс организма, где только в этом вмешательстве оказывается малейшая необходимость. Виталистическая нематериальная «сущность» напоминает маленького суетливого бестелесного божка, не уловимого никакими научными средствами, принципиально неуловимого божка, но, тем не менее, наделенного многочисленными конкретными признаками и охарактеризованного до мельчайших подробностей. Этот божок, по мнению виталистов, и есть реальная причина качественного своеобразия, автономности жизненного процесса.

Правильную постановку проблемы качества, а вместе с ней и проблемы развития мы встречаем в произведениях В. Келера (W. Köhler), М. Вертгаймера (M. Wertheimer), М. Гартмана (M. Hartmann), К. Левина (K. Lewin) и других представителей так называемой «теории формы» («Gestalttheorie»). Они правильно подчеркивают, что не только живые существа, но и многие неорганические системы имеют характер целостности, не укладывающейся в арифметической сумме ее составных частей, и в этом отношении нет принципиальной разницы между живыми и мертвыми системами. Вольфганг Келер в своей книге «Физические формы» [1]) приводит большое число примеров подобных анорганических целостностей. Он доказывает, что всякая система, образовавшаяся из синтеза отдельных частей, всегда содержит новые признаки, не встречающиеся у составных частей, что отдельные свойства частей «снимаются» в целостной системе. Во всякой системе целостность довлеет над частью, ибо последняя теряет здесь свою самостоятельность. Этот анализ проблемы качества не может встретить с нашей стороны никаких возражений. Мы должны только прибавить, что такое понимание качества не представляет ничего нового. Больше ста лет тому назад оно было подробно и глубоко развито Гегелем, а от него через Маркса и Энгельса перешло в современный научный материализм. Но на этом общность взглядов у представителей «Gestalttheorie» и марксистов кончается. В дальнейшем анализе качества Келер, Вертгаймер, Гартман и др. примыкают к столь распространенному в современном естествознании агностицизму, утверждая, что новые признаки, выявляющиеся в целостной системе, представляют «иррациональный остаток», лежащий по ту сторону естествознания, а потому не поддающийся нашему познанию. Макс Гартман, например, во второй части своей «Общей биологии» [2]), почти буквально утверждает, следующее: «Естествознание со своими средствами познания,—пишет он,—не в состоянии охватить особенного, специфически качественного, собственно - иррационального не только в органическом, но и в неорганическом мире, но это его не интересует. Оно вполне удовлетворяется познанием поддающихся исследованию частей и количественным установлением причинных зависимостей, а

[1]) Wolfgang Köhler, Physische Gestalten, Verlag der Philosophischen Akademie, Erlangen 1924.

[2]) Max Hartmann, Allgemeime Biologie, Eine Einfürung in die Lehre vom Leben, Zweiter Teil, Jena, Gustaw Fischer, 1927. Интересующая нас проблема трактуется Гартманом на стр. 707—717.

иррациональное обходит и оставляет. И с своей точки зрения естествознание совершенно право. Мы были бы чрезвычайно удовлетворены, если бы поддающаяся познанию часть явлений целиком открывалась перед нами в своем процессе изменчивости. Но иррациональный остаток бытия лежит за пределами естествознания». И дальше для пояснения своей позиции Гартман приводит рассуждения Роберта Майера на тему о том, что мы не можем знать, что такое сила, что такое теплота, но мы должны знать, как неизменными единицами измерить силу, работу и теплоту, и какое существует отношение между килограммометром и теплотой.

Марксизм отвергает этот дуалистический взгляд на природу. Для него нет принципиально непознаваемых вещей и явлений. «Трансцендентный мир», «иррациональный остаток»—все это искусственные, метафизические построения, вытекающие из неправильного взгляда на характер нашего познания. Совершенно правильно, что абсолютное познание невозможно, что познание, как бы далеко оно ни ушло вперед, всегда останется относительным, но это не значит, что перед ним стоят какие-то пределы, что где-то имеются какие-то принципиально непознаваемые вещи или явления, что перед нами два мира—мир непознаваемых явлений и мир трансцендентных, иррациональных, непознаваемых вещей. Причины относительной ограниченности нашего познания коренятся не в самих вещах, не в их надуманной трансцендентной природе и не в неспособности якобы нашего разума проникнуть в самую суть явлений, а в том простом факте, что бесконечная природа не может быть исчерпана до конца. Перед нашим познанием всегда будут стоять временные преграды, обусловленные определенными историческими причинами, но с каждым новым открытием эти преграды будут отодвигаться все дальше и дальше и «иррациональный остаток» все больше и больше будет превращаться в рациональный. Познание есть бесконечный процесс раскрытия «трансцендентности» природы и превращения пресловутой «вещи в себе» в «вещь для нас».

II.

Организм как целостность.

Единство и целостность органических форм становится проблемой биологии особенно после открытия Шванном и Шлейденом клеточного строения организмов. До этого открытия вопрос о целостности почти не ставился, да он, собственно говоря, и не мог ставиться. Организм представлялся старым натуралистам в виде непрерывной массы «живого вещества», не распадающейся на части, не раздробленной на элементы, откуда и само собой разумеющаяся целостность и единство его. Но с открытием клеточного строения неизбежно должен был возникнуть вопрос о том, как спаяны эти отдельные элементы, из которых состоит организм, в единую морфологическую целостность и что связывает отдельные специфические деятельности этих клеток в гармоничное функциональное единство.

Из учения о клеточном строении организмов одни сделали вывод, что каждая клетка представляет собою элементарный организм с самостоятельною жизнеспособностью (Брюкке), другие видели в клетке «элементарную живую машину», а некоторые, например Рейнке, стали даже говорить о клетке как об «элементарнейшей наследственной сверхмашине», работающей под непосредствен-

ным руководством воплощенной в ней части космического духа. Натуралисты и философы независимо от своего мировоззрения стали рассматривать клетку как основную, самостоятельную единицу всего живого. Этот взгляд не совсем изжит и до настоящего времени, несмотря на превосходные и убедительные работы Гайденгайна, Меркеля, Роскина, Леонтовича и др., доказавшие, что субстанция живого организма не обязательно должна быть связана с клеткой, что структурные единицы организмов надо искать гораздо дальше клетки, которая ни в коем случае не является «последним или основным элементом» живого. Прежний принцип—все живое состоит из клеток (omne vivum e cellulis), считавшийся одним из основных законов биологии, не знающим никаких исключений, при свете новых данных потерял свое универсальное значение. Среди тканей организма можно отметить значительные отделы, лишенные клеток, охватывающие в одно структурное целое гораздо бо́льшие образования, чем клетка. Здесь приходится говорить о синцитии или синцеллии, понятии более широком, чем клетка. Затем клетка не является основным или последним элементом, ибо она сама разложима на ряд более простых частей. Наконец, о клетке ни в коем случае нельзя говорить, как об элементарной машине, ибо клетка есть часть живой системы, и как всякая часть не есть целое, а потому и не может играть самостоятельной роли вне организма. Если иногда и можно с большими оговорками позволить себе сравнение живого существа с машиной, то ни в коем случае нельзя сравнивать клетку с нею. Организм не есть «машина, составленная из более мелких машин», а целое, состоящее из частей. Старая точка зрения на клетку как на элементарную самостоятельную единицу, несовместима с пониманием организма, как целого. Ибо целостность есть нечто бо́льшее, чем простое федеральное сожительство отдельных самостоятельных клеток, чем простой результат сотрудничества слагающих ее самостоятельных элементов.

Целый ряд биологов, рассматривающих клетку как элементарную самостоятельную единицу, отказывается понимать организм, как истинное единство. Для Вирхова, например, истинное единство существует только в яйце, дальнейшее развитие которого, от первых стадий дробления до самой смерти развившегося из него организма, нарушает это истинное единство, превращая его в федеративное сожительство отдельных частей. С точки зрения Вирхова целостность есть фикция или абстракция, наше суб'ективное представление, но не реальный факт, имеющий место в об'ективном мире. «Единство организма,—пишет Вирхов,—существует только в яйце и в сознании. В остальном это единство является в большей или меньшей степени абстракцией, основанной на ложном истолковании индивидуальности высших зрелых организмов. Между тем, эта последняя основана на федеральном взаимоотношении отдельных частей, которым приходится считаться друг с другом и которые не могут долго сохраняться в изолированном состоянии» [1]).

Целостность организма не есть фикция, как думал Вирхов, а непреложный об'ективный факт, подтверждаемый многими наблюдениями и исследованиями. Организм—не федеральный союз клеток, а такое же единство, как сама клетка. Не только организм в целом есть продукт взаимодействия деятельностей отдельных его частей, но каждая клетка всей своей деятельностью и формой обязана организму, как целому. Одна и та же клетка при различных состояниях организма может выполнять разные функции и принимать различные формы. Многие физиологические процессы становятся более или менее понятными только с точки зрения потребности организма в целом. Вопрос, создает ли организм клетку или клетка—организм, является по существу таким же метафизическим, как и вопрос о том, происходит ли курица от яйца или яйцо от курицы. Совершенно прав О. Гертвиг, когда утверждает, что клетка создает организм, в такой же мере, как и организм создает клетку. Многоклеточное существо, несомненно, развивается из одной оплодотворенной клетки, но эта единственная клетка есть, с одной стороны, продукт родительского организма, а с другой,—каждая вновь возникающая в процессе дробления яйца часть организма, несомненно, носит печать целого. Структура и деятельность вновь образующейся части зависит от состояния и характера всей живой системы в целом. Процессы регенерации, их специфичность и направление определены состоянием и характером всего регенерирующего организма. Какое-нибудь более или менее существенное отклонение от нормы в строении и деятельности какого-нибудь органа, например, нервной системы или органов внутренней секреции, отзывается расстройством организации и деятельности всего организма. В живом организме мы сплошь и рядом констатируем, как одни клетки принимают на себя функции других утраченных или поврежденных клеток. Блестящие опыты Ру, Дриша, Моргана над яйцами различных животных показали, что результаты развития оплодотворенного яйца зависят как от положения его в пространстве, так и от характера связей с соседними клеточными элементами. Одна и та же клетка, полученная на самых ранних стадиях дробления, в зависимости от окружающих условий или точнее от связей с соседними клетками, может развиться либо в составную часть целого организма, либо в целый организм уменьшенных размеров, либо в группу клеток, неспособных к дальнейшему развитию (опыты Ру, Моргана, Пшибрама и др.).

Все эти факты свидетельствуют с несомненной очевидностью, что единство многоклеточного организма базируется не на федеральном взаимодействии отдельных его частей, а на тесной органической связи между ними. Организм—не колония автономных или полуавтономных клеток, а такая же целостность, как любое одноклеточное существо. Отдельная клетка или даже группа клеток в многоклеточном организме может функционировать только как часть, зависимая и органически связанная со всей системой. Отождествление подобной клетки со свободным одноклеточным организмом не выдерживает критики. Это две принципиально различные вещи, несмотря на одинаковое их словесное выражение. Любое одноклеточное существо—протозоон—есть законченная органическая система, действующая самостоятельно, об'единяющая функции различных своих частей в единое целое, в то время как отдельные клетки многоклеточного организма—метазоона—являются лишь составными частями, неспособными к самостоятельному существованию вне организма. Некоторая физиологическая активность изолированных органов или частей организма в искусственных условиях в течение более или менее длительного времени (опыты покойного Кравкова и др.), само собой разумеется, не есть самостоятельное существование этих органов. В этих опытах искусственно восстанавливаются более или менее приблизительно те нарушенные

[1]) Virchow, Virch. Arch., Bd. 13, S. 12.

связи и воздействия на орган, которые существовали в естественных условиях до изоляции его. Теоретически здесь мы имеем дело с искусственным восстановлением целостности разрушенной системы, где изолированный орган играет роль части, а не целого. «По Ферворну, Валленгрену и Казанцеву инфузории уменьшаются от голода до ⅓ первоначальной своей величины. Пропорциональность частей сохраняется и в этом случае. Следовательно, протозоон ведет себя не так, как единичная клетка, но как многоклеточное животное, при чем части его тела строго сохраняют свою пропорциональность так же, как части тела метазоона» (Schultz, 1908) [1]). Стало быть, если уже искать аналогии, то протистов можно сравнивать с целым многоклеточным существом, но отнюдь не с отдельными клетками последнего. Протистолог Добель говорит, что не знает одноклеточных организмов [2]). По его мнению, протозоон не одноклеточное, а бесклеточное существо. Клетка возникает в процессе эволюции бесклеточного организма, усложнившегося настолько, что для правильного отправления жизненных функций менее резкая дифференциация отдельных его частей должна была уступить место более резкому «разделению труда» между отдельными дифференцированными частями.

Морфологическая и функциональная зависимость отдельных частей организма от всего организма в целом нигде не проявляется так отчетливо и наглядно, как в процессах регенерации. Ибо физическая изоляция от целого создает новую обстановку для жизненных процессов и направляет их по другому руслу. Отдельные отрезки разрезанного на куски дождевого червя регенерируют в целый организм. Их формообразовательные способности могли только выявиться после насильственного отсечения их от целого. До операции над червем, когда эти отрезки составляли еще неразрывную часть целого, их способности были совершенно иные и определялись всей системой в целом. Процессы регенерации выявляют не только эту непосредственную зависимость отдельных частей от целого, но и обнаруживают с очевидностью и тот факт, что части организма могут существовать только как части в системе целого. Изолированные от организма и предоставленные самим себе они неизбежно погибают, даже и тогда, когда из этих изолированных частей вырастают новые организмы. Из полоски, вырезанной двумя поперечными разрезами из тела планарии, вырастает новая хотя меньшая размерами планария. На теле лишенной головы тубулярии вновь вырастает голова. Отрезанная от тела жаберная корзина клавеллины после ряда процессов распадения отдельных клеток регенерирует в целую асцидию. Во всех этих процессах насильственно изолированные от организма части погибают. Ни полоска из тела планарии, ни жаберная корзина клавеллины, ни отрезанная голова тубулярии, взятые как таковые, не находят себе места в новой особи. Они не восстанавливаются в своем прежнем положении части организма, а распадаются и либо идут в пищу регенерирующему организму, либо просто распыляются (голова планарии в нашем примере).

Виталисты утверждают, что во всех этих процессах печать целого остается на его частях, даже и после насильственного вырывания этих частей из всей системы, заставляя их проделывать целый ряд

[1]) D-r Bernz. Fischer, Vitalismus und Pathologie, Springer, Berlin 1924, S. 51. русский перевод, 1926 г., стр. 45.

[2]) H. C. Dobell, The principles of Protistology. Archiv für Protistenkunde, Bd. 23, 1911.

сложнейших превращений, пока снова не восстановится целое. Не даром эти процессы заняли такое исключительное место во всех виталистических построениях нашего времени, видящих в целостности организмов проявления деятельности особого специфического целедействующего регулятора, вневременной и непротяженной энтелехии, психоида, жизненного порыва, системы импульсов, доминанты и т. п. Процессы регенерации, функциональная и морфологическая целостность организмов, а также способность части зародыша в зависимости от окружающих условий дать в дальнейшем развитии различное внешнее проявление («проспективное значение» Дриша), по мнению виталистов, служит явным доказательством того, что в живом организме имеет место не материальное целедействующее начало, вмешивающееся каждый раз в жизненный процесс и дающее ему то направление, которое в данных условиях всего выгоднее организму в целом. Виталисты думают, что только фактор, стоящий над процессами, может регулировать эти процессы, заставить их в зависимости от условий протекать по различным, но всегда и неизменно «целостно направленным» путям. Другими словами, витализм утверждает, что причины деятельности органических форм—нематериального характера и лежат хотя внутри живых существ, но не в самых процессах, протекающих в организмах, а вне их.

Вопросы регенерации представляют один из интереснейших отделов современной биологии. Для многих из этих явлений мы пока еще не можем найти конкретного причинного об'яснения. Но когда биология или любая другая отрасль естествознания вообще будет иметь исчерпывающее до конца об'яснение об'екта своего исследования? Сегодня мы раскрываем одни тайны, но за ними всегда возникают новые, ждущие своего раскрытия. Наука никогда не будет иметь конца, ибо природа и связи в ней бесконечны. А сколько уж было в биологии таких, якобы «не разрешимых» с точки зрения материалистической причинности проблем, нашедших при дальнейшем развитии биологии свое полное материалистическое об'яснение! При попытке разрешить какую-нибудь сложную или запутанную проблему опаснее всего сбиться на ничего не говорящие фразы или простые тавтологии и думать, что проблема разрешена. Любая гипотеза должна быть на высоте современных ей знаний и строго соответствовать направлению и общей линии всей науки. Разве непонятные факты и явления станут более понятными от того, что мы выдумаем еще менее понятный фактор, которому заранее припишем удивительные способности производить именно те явления, причины которых недоступны нашему пониманию? Кроме простой игры словами здесь ничего не получится.

Остановимся на процессах органических саморегуляций более подробно. Действительно ли в этих процессах всегда обстоит дело так, как его рисует современный витализм? Действительно ли в них всегда можно отметить целесообразно направленную руку энтелехии или другого какого-нибудь сверх'естественного фактора? Здесь незачем подробно распространяться о всем известных примерах бесцельных или нецелесообразных регенераций, когда, например, вместо одной потерянной конечности вырастают две или больше конечностей или когда вместо одного оперированного органа появляется другой (гетероморфоз Ж. Леба) или ублюдок его. В этом отношении чрезвычайно интересны опыты Гербста над некоторыми ракообразными. Гербст показал, что вместо вырезанного глаза у этих животных может появиться совершенно другой орган, а именно—антенна. При

этом появление антенны или глаза зависит от характера операции. Если вместе с глазом удалить и зрительный ганглий, то будет иметь место гетероморфоз, т.-е. вместо глаза появится антенна. Оставление же при вырезке глаза зрительного ганглия нетронутым вызывает регенерацию, т.-е. восстановляется настоящий глаз... Куда девается целедействующая энтелехия при искусственном получении нежизнеспособных или мало способных к жизни химер? Почему при искусственном сращивании двух особей низшего порядка мы можем получить один экземпляр с двумя головами, с несколькими хвостами или с недостающими органами? Почему энтелехия здесь не перестроит излишний орган или часть тела в соответствующую недостающую часть или просто не уничтожит ее? Почему при дроблении яиц астерии с ненормальным распределением содержимого,—факт, указанный в 1914 г. Шакселем,—это ненормальное распределение передается на все бластомеры и каждое последующее деление все более и более удаляет от нормы развитие зародыша? Куда девается здесь целедействующая энтелехия? Почему она не выравнивает процесса развития? В этих процессах, казалось бы, ей легче всего проявить свою власть, ведь здесь она имеет дело с зародышевым, почти нетронутым еще материалом. Образование бесцельных и бессмысленных уродов при некоторых раздражениях зародышевого материала также явно не мирится с виталистическими представлениями об энтелехии, как основном, целенаправляющем факторе формообразования. Торнье, например, «удалось добиться путем химического вмешательства образования таких встречающихся в природе ненормальных животных форм, как образования двойни, отсутствия глаз, излишества жабр, патологической ассиметрии тела, альбинизма, меланизма, неотении, умножения головы или нижней части туловища, раздвоенного хвоста, круглоголовости, образования мопсообразной головы, гидроцефалии, заячьей губы или волчьей пасти» [1]). К этому можно было бы прибавить еще эксперименты в том же направлении, выполненные Морганом, Ру, Штокардом и др., можно было бы во много раз увеличить количество примеров искусственно получаемых уродств, бессмысленных химер и регенераций, можно было бы привести многочисленные примеры, собранные Вайгартом, но и приведенное достаточно ясно показывает, что с точки зрения последовательного витализма необходимо помимо целесообразно регулирующего начала допустить в организмах еще и бессмысленно действующую энтелехию, поскольку жизнеспособная химера или урод все же продолжает свое существование, как определенная целостность, несмотря на все извращения своего тела.

— Постоянные ссылки современных виталистов на процессы регенерации заставили некоторых биологов более основательно заняться этими проблемами. Был поставлен ряд экспериментов по более тщательному изучению и проверке этих процессов. При этом выяснилось, что некоторые специфические процессы, игравшие большую роль в доказательствах виталистов, просто, не имеют места в действительности. В этом отношении характерны, напр., так называемые «обратимые» процессы у клавеллины. Дриш утверждал, что изолированные части клавеллины, прежде чем регенерировать, претерпевают обратный, инволюционный процесс к пройденным уже стадиям зародышевого состояния, после чего только и начинается действительная реституция клавеллины. В этом сложном пути инволюции и повторной эволюции

[1]) D-r Bernh. Fischer, Vitalismus und Pathologie, S. 39, русский перевод, стр. 36.

Дриш видел разумно направленную деятельность некоего фактора, не имеющего себе аналога в остальном материальном мире. Этот фактор как бы сознательно выводит из тупика обреченную на гибель изолированную часть организма, превращая ее частично в зародышевую субстанцию, которая одна только и обладает способностью развиться в новый организм. Без инволюции не было бы и реституции, так как непосредственно дифференцированные клетки неспособны к такому сложному превращению. Тот факт, что дифференцированный материал, нормально не изменяющийся, при отделении от целого начинает инволюционировать, по мнению Дриша, остается совершенно непонятным, если не видеть целенаправляющей деятельности энтелехии.

Однако, при проверке Шакселем [1]) этих «обратимых» процессов оказалось, что описанный Дришем путь регенерации клавеллины не соответствует действительности: никакая инволюция в этих процессах не имеет места [2]). Зародышевые клетки в жаберной корзине клавеллины не представляют результата обратного метаморфоза дифференцированных клеток, они являются неотъемлемой частью корзины и всегда в значительном количестве сосредоточены здесь между дифференцированными клетками. В целом организме этот резервный зародышевый материал вследствие механических и физиологических причин находится в связанном состоянии. Расстройство процессов обмена, изменившиеся взаимоотношения между частями, нарушенное нормальное влияние целого и происходящий благодаря всему этому распад и гистолиз квалифицированных клеток вызывает активную деятельность запасного зародышевого материала, приводящую к процессам новообразования. Из самих же продуктов распада дифференцированных тканей или клеток не исходит никакого новообразования. Активность зародышевых резервов выражается в типичном дроблении и образовании зачатка из трех недифференцированных слоев клеток (эндодермы, мезодермы и эктодермы), из которых путем дальнейшего также чрезвычайно типичного развития образуется новая клавеллина. Старые дифференцированные клетки погибают безвозвратно, новый организм возникает в результате типичного эмбрионального развития запасных зародышевых клеток. В этих процессах нет никакой «обратимости», никакого «свертывания и развертывания», здесь имеется обыкновенный, типичный процесс превращения зародышевых клеток в зрелый организм.

Наличие в жаберной корзине клавеллины зародышевого материала зависит всецело от распределения различных веществ, из которых состоит яйцо, между различными бластомерами при его дроблении, а затем и от дальнейшей судьбы этих бластомер. Учение о гомогенном составе яйца, которое усиленно поддерживается современными виталистами, давно уже опровергнуто тщательными наблюдениями многих авторитетных биологов. Бовери, например, нашел, что неоплодотворенное яйцо морского ежа strongylocontrotus lividus из Неаполитанского залива состоит из трех слоев: небольшой прозрачный слой у одного полюса, затем пигментированное кольцо, не доходящее несколько до экватора яйца, и, наконец, еще один прозрачный слой,

[1]) Schaxel, Grundzüge der Theorienbildung in der Biologie, Jena, 2 Auflage, 1922, а также его «Rückbildung und Wiederaufruschung», Verhandl. d. Deutsch. Zoolog. Ges., Freiburg 1914.

[2]) Дриш во втором издании своей работы «Philosophie des Organischen» (Leipzig 1921, S. 120) посвящает небольшую сноску в четыре строчки работам Шакселя. Не возражая по существу этих работ и как будто бы даже соглашаясь с ними, Дриш, однако, считает свою общую точку зрения непоколебимой.

тянущийся до второго полюса [1]). При этом наблюдении показали, что первый прозрачный слой образует мезенхиму, из которой развивается скелет и соединительные ткани, пигментированное кольцо дает начало эндодерме, из которой образуется кишечник, а последний непигментированный слой развивается в эктодерму. Бовери пытался проникнуть также в тайну происхождения слоистости в самом яйце. Оказалось, что та часть яйца, которая соединена со стенкой яичника, образует последний лишенный пигмента слой (эктодерму), другая же противоположная ей сторона яйца образует два других слоя (кишечник и мезенхиму). Таким образом было доказано, что слоистость яйца находится в какой-то зависимости от стенки яичника. Конклин нашел, что протоплазма яйцевых клеток асцидий, ланцетников и многих моллюсков, имеет в различных областях различный химический состав, который и определяет различные органообразовательные потенции каждой такой области [2]).

Исследования Шакселя показывают, что так называемые «обратимые» процессы или реституции ничем принципиально не отличаются от обыкновенных регенеративных явлений, при которых вместо утраченной части тела вырастает новая часть. Разница только в том, что в первом случае в процессе развития зародышевого материала получается новый целый организм, во втором же случае—только часть его. Вырастание нового хвоста у ящерицы и развитие зачатковых клеток, разбросанных в жаберной корзине клавеллины, в новую клавеллину есть по существу один и тот же процесс. Ни там, ни здесь мы не имеем восстановления или превращения старого дифференцированного материала в новый, а типичное развитие имеющихся налицо зачатков. Никакой организм не обладает способностью восстановления утраченного. Потерянное не образуется вновь. Во всех этих процессах мы имеем дело с новообразованием, получившимся в результате развития резервных зародышевых клеток, активированных к усиленной деятельности нарушением обмена, распадом соседних клеток и освобождением запасных зачатков от связывающего влияния этих клеток. Те же формообразовательные процессы, лежащие в основе организации и дифференциации всего организма, определяют и регенерацию. При этом не следует думать, что, как это представляют себе виталисты, что регенерация есть точное воспроизведение утраченного, а, как раз наоборот, она всегда является атипичным. «Всякое нарушение типического хода создает атипическое исходное состоянне, при чем новое заложение в месте ранения происходит в иных условиях пространства и времени, чем первое, типическое заложение. За атипическим началом следует атипический процесс и атипическое же конечное образование» [3]). Изолированные части организма способны регенерировать лишь постольку, поскольку в них заранее имеется для этого определенный резервный материал, полученный от яйца при его делении. Именно поэтому не всякая часть целого и не любой организм способен в одинаковой степени к регенерации.

Перейдем к рассмотрению выдвигаемых Дришем фактов и выводов из области зародышевого развития. Если изолировать друг от друга бластомеры дробящегося яйца на самых ранних стадиях его

[1]) Th. Boveri, Verhandl der physik-med. Geselschaft, Würzburg 1901, XXXIV, 145.

[2]) E. G. Konklin, Heredity and Environment in the Development of Man, Princeton University Press, 1915.

[3]) Schaxel, Unter dem Banner des Marximus, № 2, 1925, русский перевод в «Вестнике Коммунистической Академии» № 12, 1925.

развития, то каждый такой изолированный бластомер или группа бластомеров может дать начало целому зародышу, соответственно уменьшенному в размерах. Например, если отделить друг от друга первые две клетки делящегося яйца морского ежа, то каждая из этих клеток, предоставленная самой себе, дает в своем развитии целый зародыш, вдвое меньший обыкновенного. В нормальных же условиях каждая из этих клеток легла бы в основу только части организма, а не целого, из обоих бластомер образовался бы только один организм. Если же отделить один из четырех бластомеров зародыша на его четырехклеточной стадии развития, то в результате изолированный бластомер снова образует целый организм соответственно уменьшенных размеров (с одну четверть нормальной величины), точно так же как и оставшиеся вместе три бластомера дадут в своем дальнейшем развитии целый организм в три четверти величины нормального. Наконец, если разрезать надвое готовую плавающую бластулу, мы все же из каждой половины получим по целому организму личинки морского ежа, только уменьшенному в два раза. Из этих фактов Дриш [1]) делает вывод, что осуществленная возможность не есть единственная возможность, присущая отдельным элементам организма. Помимо осуществленной возможности в каждой клетке заложены потенции, способные производить не только то, что мы наблюдаем, но и нечто другое. Возможная судьба каждой клетки или ее проспективная потенция, по терминологии Дриша, не то, что ее осуществленная судьба или, по Дришу, ее проспективное значение: первая богаче, шире второй. В наших примерах каждый бластомер дробящегося яйца морского ежа обладает проспективной способностью образовать и целый организм, и любую часть его, в то время как его проспективное значение выражается только частью или только целым. Проспективных потенций у каждого элемента много, проспективное же значение в каждом случае только одно. А так как каждый элемент организма заключает в себе способность образовать любую часть целого, то Дриш делает вывод, что во всех элементах живой системы заложены одинаковые проспективные потенции. Итак, организм состоит из равнопотенциальных элементов, он есть эквипотенциальная система.

Но в этой системе, как мы видели, всякое произвольное изменение роли одного какого-нибудь элемента сейчас вызывает гармоническое изменение ролей всех остальных элементов. Откуда Дриш делает заключение, что живой организм представляет не простую, а гармонически эквипотенциальную систему. Но здесь сразу возникает новый вопрос, а именно: если в каждом элементе заложено много потенций, и притом совершенно одинаковые во всех элементах, то чем вызывается тот факт, что в каждом конкретном случае выявляется только одна определенная потенция, именно та, которая больше всего в данных условиях соответствует интересам целого, а не какая-нибудь другая? Другими словами, какие факты определяют проспективное значение каждого элемента? Пространственное расположение и абсолютная величина элементов, по мнению Дриша, обусловливают только роль данного элемента в процессе развития и величину готового зародыша, но ни в коем случае не могут об'яснить гармоническое изменение всех остальных элементов, связное, осмыслен-

[1]) Hans Driesch, Philosophie des Organischen, Zweite Auflage, Leipzig 1921, S. 65—68, см. также его книгу «Витализм, его история и система», перевод А. Г. Гурвича, Москва 1915, стр. 210—217 и след.

ное проявление только тех потенций, которые в совокупности дают гармоническое целое. Таким образом, указанные материальные факторы, хотя и играют роль в этих процессах, но ими можно об'яснять только часть явления, а не явление в целом. Для понимания процесса в целом, по мнению Дриша, в гармонически эквипотенциальной системе необходимо допустить действие еще одного фактора, который в состоянии в каждом конкретном случае точно учитывать создавшуюся обстановку и координировать деятельности отдельных элементов в интересах целого. Этот фактор Дриш называет энтелехией и приписывает ему непротяженное и вневременное существование. Без этого организатора и регулятора, как утверждают сторонники витализма, совершенно непонятно, почему потенциальные возможности, заложенные в каждом элементе, реализуются там и постольку, где и поскольку в них имеется потребность с точки зрения целого.

На ряду с понятием гармонически эквипотенциальной системы, в которой каждый элемент обладает неопределенным числом различных проспективных потенций, Дриш вводит еще понятие «комплексно эквипотенциальной системы», которую он кладет в основу регенеративных процессов. В этих процессах, по мнению Дриша, с очевидностью обнаруживается не только эквипотенциальность живой системы, т.-е. одинаковая проспективная способность ее элементов, но и тот факт, что эта способность направлена на образование определенной сложной или комплексной целостности (zusammengesetzte Totalität). Планомерное образование довольно сложного мозга на раневой поверхности тела аннелиды при поперечном рассечении ее об'ясняется, по Дришу, тем, что аннелиды представляют собою не только эквипотенциальную, но и комплексно эквипотенциальную систему. Но такая сложность системы исключает всякую возможность ее механистического «машинного» понимания. «Такая машина,—пишет Дриш,—должна была бы заключаться целиком в каждом элементе комплексно-эквипотенциальной системы. Все эти элементы произошли путем повторного деления из одного, который тоже должен был заключать в себе машину. Таким образом это бесконечно сложная, типично построенная машина должна была бы повторно делиться и при этом сохранять свою целость. С этим положением нельзя связать никакого смысла, оно «бессмысленно». Никакая машина не может делиться повторно, оставаясь в то же время целой. Основой развития элементов комплексно-эквипотенциальных систем является, таким образом, не машина, а нечто, что не есть «экстенсивное» многообразие. Мы назовем это начало и здесь энтелехией» [1]). В этом, собственно говоря, и заключается второе дришевское доказательство витализма.

С первого взгляда произведенный Дришем анализ таящихся в элементах организма возможностей может произвести некоторое подкупающее впечатление своей кажущейся последовательностью и глубиной. Дриш дифференцирует потенции, лежащие в организме, и приходит к заключению, что помимо реализованных способностей каждый элемент в каждый данный момент обладает еще рядом других, не могущих проявиться способностей, откуда и появляются понятия «проспективной способности» и «проспективного значения». Правомерно ли такое деление потенций организма? Является ли оно отражением действительного факта, имеющего место в организме, или простым искусственным построением в угоду предвзятой точки зрения?

[1]) Г. Дриш, Витализм, его история и система, стр. 236.

Ошибка Дриша заключается в том, что все его построения сугубо абстрактны и далеки от реальной действительности. Он говорит о возможности «вообще», не наполняя ее никаким конкретным содержанием. А конкретно каждый элемент в каждый данный момент и в данных конкретных условиях может обладать только одной способностью, которая в то же время и проявляется. Других способностей в данных условиях у него нет. Другое дело, если изменяются условия, тогда изменятся и способности, но и для этого случая они опять-таки будут вполне конкретны и определенны. В действительности проспективная способность и проспективное значение всегда неразрывно связаны между собою. Никакой множественности способностей конкретная действительность не знает. Каждый бластомер, находящийся в нормальной связи с другими бластомерами, обладает одной только способностью, а именно производить часть организма, т.-е. той способностью, которую он реализует на деле. Других способностей в данных условиях у него нет. Точно также и изолированные клетки дробящегося яйца на ранних стадиях развития обладают только способностью производить целое, других способностей в данной конкретной обстановке у них также нет. Проспективная способность есть абстракция, искусственное метафизическое построение. В этом отношении чрезвычайно поучительны известные опыты В. Ру и О. Гертвига над изолированием бластомеров дробящихся яиц лягушки на двухклеточной стадии их развития. Ру изолировал бластомеры проколом одной из них накаленной иглой. В результате этой операции, оставшийся бластомер, имея на себе безжизненный придаток другого, пораженного бластомера, развивался и полуэмбрион. Гертвиг же тонкой шелковинкой тщательно отделял один бластомер от другого. Каждая изолированная клетка в этих условиях давала по целому эмбриону. Почему в приведенных опытах проявляются различные проспективные значения одних и тех же бластомеров дробящегося лягушечьего яйца? И можно ли говорить в данном случае об одинаковых их проспективных потенциях? Разные условия развития бластомеров не только дали различные результаты, но и создали строго ограниченные рамки для этого развития. При создавшихся конкретных условиях у каждого элемента не было другого возможного пути развития, кроме того, по которому он шел в действительности, т.-е. не было никакой другой «проспективной потенции», кроме той, которая выявилась в данном «проспективном значении». В опытах Ру, при наличии мертвого привеска, у развивающегося бластомера была одна единственная «проспективная потенция» развиваться в половину эмбриона, в экспериментах же Гертвига, при совершенно изолированном развитии бластомера, эта способность была другая, но тоже одна и единственная, а именно: способность развиваться в целый эмбрион. Стало быть, и в первом случае, и во втором, как вообще во всяком другом реальном биологическом явлении, «проспективная потенция» и «проспективное значение» совершенно идентичны, между ними нет никакого различия. То, что в данных конкретных условиях возможно, целиком и реализуется. Реально возможных, но не выявленных потенций организм не знает. Если потенция не выявлена,—значит, она невозможна, значит, она не может реализоваться при данных условиях. Дришевская классификация потенций организма на возможные и реализованные есть искусственное, надуманно-метафизическое построение, плод досужей фантазии. Ее отвергает не «плоский материализм», а факты, в особенности те факты, которые приводятся самим Дришем в целях обоснования его метафизики. Но вместе с

падением этой классификации неизбежно рушится и все здание, воздвигнутое на ней, начиная от эквипотенциальной системы и кончая энтелехией.

Но, принимая идентичность «проспективной потенции» и «проспективного значения», мы все должны дать ответ на вопрос, почему в одних случаях бластомер образует целый зародыш, а в других—только часть его. Приведенные выше работы Бовери, Конклина, а также многие другие тщательные наблюдения над процессами дробления оплодотвореного яйца проливают некоторый свет и на эту проблему. Бовери, Конклин и др. показали, что яйцо имеет определенную слоистую структуру. Первое деление яйца после оплодотворения всегда идет перпендикулярно этим слоистым зонам. В результате все три слоя яйца равномерно распределяются между обоими полученными бластомерами. Следующее деление идет также перпендикулярно слоистости: образуются четыре бластомера, каждый из которых содержит по четверти каждого из трех слоев яйца в их нормальном расположении. Фактически мы имеем здесь четыре целых миниатюрных яйца. Дальнейшее распределение слоистости по бластомерам не носит уже такого равномерного характера. Таким образом, получение целых зародышей из изолированных первых четырех бластомеров в действительности есть целое миниатюрное яйцо с нормальным соотношением слоев. На восьми или шестнадцатиклеточной стадии развития зародыша «далеко не все изолированные клетки вещества эктодермы образовали гаструлу; в тех случаях, когда из такой клетки все же развивалась гаструла, последнее об'яснялось, очевидно, содержанием в клетке некоторого количества вещества энтодермы; в то же самое время из всех клеток энтодермального участка развивались нормальные зародыши; следовательно, в этих клетках содержалось энтодермальное вещество» [1]). Из всего этого мы можем сделать заключение, что проспективное значение каждого бластомера есть, собственно говоря, выражение дифференциации, его физико-химического состояния в данных конкретных условиях. В каждой клетке зародыша до определенной стадии его развития имеются все данные, чтобы в определенных условиях из нее мог развиться целый организм. На более высоких стадиях развития благодаря неравномерному распределению основного зародышевого материала между всеми клетками, не все бластомеры обладают этими данными в одинаковой степени. Вот почему разные бластомеры при одних и тех же условиях могут дать различные результаты.

Доказательство витализма Дриш видит также в невозможности «машинного» об'яснения жизнедеятельности организма. Из анализа гармонических систем он делает вывод, что любая часть (не слишком малая), такой системы вполне равнозначуща своему целому. То, что происходит из такой части, хотя и меньше в размерах, чем продукт развития целого, но оно является целым в миниатюре. «Таким образом» любая часть целого должна была бы включить в себе всю бесконечно сложную машину полностью; больше того: так как любому элементу целого может выпасть в искусственно и произвольно очерченной системе любая роль, то каждый элемент должен был бы включать в себе любые части не только одной, но бесконечного количества различных машин. Бесчисленное количество машин должно бы было пространственно почти совпадать друг с другом, их границы были бы сдвинуты друг относительно друга только на «дифференциал». Но это

[1]) H. Driesch, Arch. f. Entwicklungsmech., 1900, S. 361. Цитировано по Лебу.

не все; у об'ектов, как Clavellina и Tububaria, кроме бесчисленного количества машин нормальной величины, относящихся друг к другу только что упомянутым образом, следовало бы допустить существование такого же количества машин бесконечно-разнообразных величин, которые также пространственно совмещаются между собой и с машинами нормальной величины... Представление о такого рода машине становится совершенно бессмысленным» [1]).

Дриш совершенно прав, когда возражает против вульгарного отождествления живого организма с машиной, хотя, по совести говоря, ничего не научного мы не видим, если иногда в пропедевтических целях прибегают с определенными оговорками к сравнению некоторых частей организма или всего организма с той или иной машиной. Но в основном он прав: организм—не машина. Это бесспорно. Но какого примитивно-вульгарного оппонента выбирает себе Дриш! Даже самые вульгарные современные упрощенцы биологии не имеют таких наивно примитивных представлений о жизнедеятельности организма, какие Дриш пытается навязать всему современному материалистическому мировоззрению. Во всех его опровержениях этих выдуманных взглядов чувствуется собственное его отчаянное методологическое бессилие. Это—мысли вслух по поводу собственного наивно механистического тупика, безнадежного и беспросветного, не дающего никакого выхода, где остается одна надежда на сверх'естественную, чудодейственную энтелехию: может, эта кривая вывезет. Дриш считает организм законченной гармонической системой, где каждый элемент по первому требованию всевластной энтелехии всегда способен выявить любую из множества одновременно заключающихся в нем готовых потенций. И этот же взгляд на организм, как на вполне законченную систему, с вполне готовыми частями, которые начинают действовать, когда механик этого захочет, он влагает в уста своему вымышленному противнику, стоящему по сути дела на его же точке зрения, только отрицающему энтелехию. Жизнедеятельность организма есть непрерывный поток разрушения и созидания. Он вечно находится в процессе становления. У него нет и не может быть ни одной готовой, законченной части. Законченность — смерть для организма или его части. Отдельный бластомер—не законченная машина, сидящая в другой, более сложной готовой машине, а неразрывная текучая часть вечно становящегося целого. Жизнь организма—не множество маленьких жизней, слагающихся в одну большую жизнь, а единый целостный процесс, единая неразложимая жизнь. Изолируя бластомер, мы не удаляем машины из машин, а разрушаем целостность, и любая из раз'единенных частей, если только она в новых условиях будет лишена об'ективных возможностей самой стать вечно строящимся самостоятельным целым, неизбежно погибнет. Организм, как мы уже неоднократно подчеркивали, не есть сумма отдельных его элементов, а единое целое. Выдумав множество одновременных готовых и стойких проспективных потенций, Дриш идет по тому же направлению и в изобретении множества неподвижных машин, которые он вкладывает друг в друга, как дети вкладывают одно в другое игрушечные яйца, и думает, что чрезвычайно наглядно показал абсурдность концепции своих противников. На самом деле Дриш, сам того не желая, раскрыл всю абсурдность и беспомощность своего собственного витализма, построенного на основе наивно механистического и метафизического способа мышления.

[1]) Г. Дриш, Витализм, его история и система, стр. 233 и 234.

Итак, хотя фактические данные, которыми оперирует современный витализм, в подавляющем большинстве своем не расходятся с действительностью и во многих отношениях являются совершенно безупречными, общая виталистическая концепция должна быть, несомненно, отвергнута, как наивно механистическая и метафизическая точка зрения. Во всей этой концепции от начала до конца красной нитью проходит неудержимое желание доказать предвзятую анимистическую идею о господстве духа над материей, об исключительном значении непротяженных и вневременных факторов в жизненных процессах. Для этого мобилизуется вся мощь современной науки, строятся одни метафизические гипотезы над другими, но факты вопиют против насильственного их использования в угоду предвзятых идей. Они бьют в лицо, опрокидывают все искусственные построения, и никакие метафизические упражнения не в силах скрыть всей безнадежности витализма. «В области формообразования,—пишет Шаксель,—сперва предполагали, что при искусственном разделении зародыша из любой части возникает целое, т.-е., что наперед фиксирована цель, а не начало и не путь к ней. Энтелехия действовала бы в таком случае целестремительно. В действительности, однако, целый организм или другие соответствующие нормальному развитию образования получаются лишь в том случае, если экспериментальное вмешательство с самого начала дает состояние, подобное нормальной эмбриональной стадии или искусственно ее восстановляет. Так называемые регулятивные процессы не заключаются в определенном конечной целью восстановлении нарушенных состояний. Ничто не заставляет нас принимать фиктивное целое, которое переживает временные частичные недостатки положения, состава или состояния зародыша. То, что истолковывают как регуляцию, ограничивается явлениями стойкости формы или же является результатом предвзятой постановки вопроса при недостаточности фактических данных» [1]). Нельзя спорить в этой плоскости с виталистами,—замечает в другом месте Шаксель [2])—ибо в природе, просто, нет той проблемы, которую они усиленно выдвигают. Спорить же можно только по поводу того, что действительно существует.

Несмотря на то, что наши сведения о причинах формообразования не обладают достаточной полнотою, все же то, что мы уже знаем, дает нам возможность уже теперь подвести некоторый научно-материалистический, причинный фундамент под эти явления. Основа всех этих процессов лежит в физиологической корреляции организма, в его обмене веществ. Учение о железах внутренней секреции немало содействовало укреплению и развитию материалистического взгляда на процессы формообразования, имеющие чрезвычайно важное значение для понимания затронутой проблемы. В настоящее время можно считать доказанным, что различные формообразующие процессы вызываются различными специфическими инкретами или гормонами, выделяемыми в кровь так называемыми железами внутренней секреции. Эксперименты Гудернача над ростом конечностей головастиков, лягушек и жаб. (Rana temporaria и Rana esculenta), произведенные им в 1912 году, составили в этом направлении эпоху [3]). Как известно, молодые головастики лишены конечностей, но уже на ранних стадиях

[1]) Проф. Ю. Шаксель, Биологические теории и общественная жизнь, перев. с немецкого Д. Л. Рубинштейна, Гиз, 1926, стр. 43.

[2]) Шаксель, журнал, «Вестник Комм. Академии» № 12, 1925.

[3]) J. F. Gudernatech, Zentralblatt für Physiologie, 1912, XXVI, 323; Archiv für Entwicklungsmechanik, 1912, XXXV, 457.

развития у них появляются мезенхимные клетки, которые впоследствии, между четырехмесячным и годовым возрастом головастика, развиваются в лапки. Кормлением головастиков щитовидной железой Гудернач вызвал у них рост конечностей в любое время, даже на самых ранних ступенях развития. Этим было впервые доказано активирующее значение гормона щитовидной железы в процессах формообразования. Мезенхимные клетки, из которых развиваются конечности, остаются в более или менее покоящемся состоянии в течение многих месяцев и даже целого года. Подверженные же усиленному воздействию щитовидного гормона, циркулирующего в крови, они переходят в деятельное состояние гораздо раньше нормального срока [1]). В своих опытах Гудернач не ограничивался воздействием на организм одним только гормоном щитовидной железы. Помимо последнего он пользовался также зобной железой, гипофизом, надпочечником, половыми железами, печенью и другими. Различные железы вызывали различную реакцию организма как в смысле его роста, так и в смысле его дифференциации. Кормлением, например, зобной железой Гудернач добивался задержки или прекращения метаморфоза, в то время как щитовидная железа ускоряла эти процессы, вызывая преждевременное превращение головастика в лягушку или жабу. Различные расстройства формообразовательных процессов у человека под влиянием неправильного функционирования желез внутренней секреции всем хорошо знакомы. Стоит вспомнить такие заболевания, как Базедову болезнь, микседему, акромегалию, гигантизм, инфантилизм, гипофизарный карликовый рост, Адисонову болезнь и др.

В настоящее время накопилось довольно много фактов, подтверждающих зависимость формообразовательных процессов от физиологической корреляции. Эксперименты над «превращением» полов у различных животных особенно убедительны и наглядны. Так же показательны результаты кастрации у животных и у человека. Наглядное доказательство формообразующего значения инкретов было недавно найдено в области эмбрионального развития. «Уродство ненормальной в половом отношении телки при рождении двойни вызвано мужским половым гормоном. Дело в том, что Келлер, Тандлер и Лилли обнаружили, что близнецы в данном случае соединены между собою кровеносным анастомозом, так что в обоих обращается одна и та же кровь; но в мужском зародыше яички развиваются раньше, чем яичник в женском. И поэтому женский зародыш очень рано попадает под влияние мужских гормонов; дифференциация же приостанавливается, а все второстепенные половые особенности, которые не успели дифференцироваться, развиваются в мужском направлении» [2]).

Примером физиологической корреляции у растений может послужить обычный способ разведения Bryophyllum calicinum. Этот пример мы заимствуем у Ж. Леба. Это растение обычно разводится отводками. Срезанный лист Bryophyllum помещается в воду или влажный песок. Новое растение образуется в выемках листа. Так как никакие другие части листа, кроме выемок, новых побегов не дают, то отсюда

[1]) В последнее время стали появляться указания, что в этих процессах метаморфоза, помимо гормона щитовидной железы, принимает участие также и гормон гипофиза. Но это, конечно, не меняет общего учения о связи гормональной деятельности некоторых желез с формообразовательными процессами.

[2]) D-r Bernh. Fischer, Vitalismus und Pathologie, S. 64—65, русск. пер., стр. 54.

нужно сделать вывод, что «выемки содержат клетки, которые можно сравнить с семенами или неоплодотворенными яйцами или с мезенхимными клетками, дающими начало развитию конечностей головастика лягушки». Почему выемки листа не производят побегов, когда лист связан с растением и почему рост начинается лишь после физического отделения его? «На этот вопрос мы склонны дать ответ в духе Боннэ, Сакса, де Фриза и Гебеля, а именно,—что ток (специфических?) веществ внутри растения определяет время и место начального роста покоящихся почек. Подобные вещества могут образоваться в листе или только присутствовать в нем, но, поскольку лист связан с нормальным растением, вещества эти уносятся циркуляционным током к точкам роста стебля и корней, а потому они не достигают выемок. После же отделения листа наступает либо перераспределение, либо новый ток жидкостей, в результате чего вещества эти достигают некоторых выемок, в которых они образуют новые корни и побеги» [1]).

Разрушение единства обмена ведет к разрушению единства организма и в результате, если изолированные части способны регенерировать, к разделению целого на несколько индивидуальностей. Кольцевой надрез на ивовой ветке или тугая лигатура вокруг нее ведет к образованию корней выше надреза или лигатуры, а ниже повреждения—побегов. «Такое разделение побега на два индивида, очевидно, вызывается тем, что проводящие пути, идущие в коре, пересечены надрезом, благодаря чему, согласно нашей вышеприведенной гипотезе, специфические формообразующие вещества накопляются выше и ниже надреза» [2]). Почти буквально то же самое говорит об этих процессах Ж. Леб. Он пишет: «Явления корреляции или влияния целого на части обязаны своим происхождением особенностям тока или циркуляции растительного сока, и что изоляция препятствует течению этого сока по направлению к другим частям растения. Нет никакой необходимости в допущении существования таинственной силы, которая будто бы направляет рост части в целый организм» [3]). Организм—не только функциональное единство, он, само собою понятно, и морфологическое единство. Мы уже указывали на совершенно неправильное толкование клетки как морфологической и физиологической отдельности. То же самое можно сказать и об отдельных тканях и органах. Что, например, представляет любой орган, скажем глаз, ухо, почка и др., вне связи с нервной или сосудистой системой? Между отдельными частями организма помимо физиологической связи всегда имеется анатомическая связь, протоплазматические мостики, связки, спайки, анастомозы и т. п. Организм не только функциональное, но и анатомическое единство, спаянное физически в одно целое, единство во всех своих связях и взаимоотношениях. На различные воздействия, откуда бы они ни исходили, организм отвечает как целое, в котором нет ни отдельных частей, ни отдельных процессов, а все неразрывно слито между собою в одно вечно разрушающееся и вечно строящееся единство.

Но является ли единство, в котором отдельные части теряют свою специфическую самостоятельность, исключительной чертой органического мира? Исчерпывает ли характер компонентов сущность неорганической системы? Сводима ли без остатка сложная

[1]) Jasques Loeb, The organism as a Whole, C. P. Sutnam's Sons, New-York and London, p. 160—161 (год не указан), русск. перевод, Гиз, 1926, стр. 121—122.
[2]) D-r B. Fischer, Vitalismus und Pathologie, S. 82, русск. пер., стр. 66.
[3]) J. Loeb, The Organism as a Whole, p. 167, русск. пер., стр. 126.

неорганическая система к своим составным частям? Вот основные вопросы, от того или иного разрешения которых зависит, принять ли нам дуалистический взгляд на природу, выделяющий явления жизни, как абсолютно отличную от остального мира форму бытия, или материалистическую концепцию, рассматривающую жизненные явления, как своеобразную форму существования материи на определенной высоте ее развития, принципиально не более и не менее «автономную», чем другие формы материи на других узловых пунктах эволюционного пути материального мира.

Всякая сложная неорганическая система, как и всякая органическая, состоит из известного числа отдельных взаимодействующих частей. Только в этом смысле можно сказать, что любая система есть «сумма» его частей, что, конечно, не должно означать, что будто сумма частей исчерпывает данную систему. Структура системы в целом не остается индифферентной для своих компонентов. Не только составные элементы определяют характер системы, но и сама система в целом накладывает свою печать на свои составные части. Свободный водород и «водород» [1]) в системе H_2SO_4 (серная кислота) — две различные вещи. Этот же «водород» будет иметь совершенно другие свойства, если взять его как составную часть других систем — H_2O (вода, HNO_3 азотная кислота), CH_2O_2 (муравьиная кислота), несмотря на то, что, выделенный в свободном виде из всех этих систем, он, несомненно, будет совершенно идентичен. Еще более наглядный пример влияния структуры системы в целом на свойства составных ее частей являют так называемые изомеры, т.-е. качественно различные химические соединения, имеющие один и тот же, но различно сгруппированный состав. Характер системы в целом и каждого ее компонента в отдельности зависит от характера связей этих составных частей. Так, например, углеводород C_5H_{12}, имеющий строение $CH_3—(CH_2)_3—CH_3$ и известный под именем нормального пентана, кипит при 37°. Его изомер, изопентан $\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}\!\!\rangle$—CH—$CH_2$—$CH_3$, состоящий, как показывает приведенная структурная формула, из той же суммы, тех же самых элементов (C_5H_{12}), что и нормальный пентан, но иначе сгруппированных, кипит при 30°, а другой изомер того же самого углеводорода, тетраметилметан— $C(CH_3)_4$—кипит при 9,5°. И не только одной температурой кипения отличаются между собою эти одинаковые по составу, но различные по характеру связей химические соединения. Они отличаются и по температуре плавления, и по удельному весу, и по многим другим своим свойствам. Таких примеров можно было бы привести бесконечное множество. Достаточно указать, что количество изомеров одних только углеводородов чрезвычайно большое. Число их сильно возрастает, в зависимости от возрастания числа углеродных атомов в углеводороде. Так, углеводород бутан (C_4H_{10}) имеет всего одно нормальное строение и одно изо-строение, а тридекан ($C_{13}H_{28}$) теоретически может уже иметь 802 изомера, что, понятно, еще не означает, что все эти изомеры в настоящее время получены уже нами практически.

Приведенные примеры изомерии служат наглядным доказательством того, что различное пространственное расположение в системе одних и тех же составных частей отнюдь не безразлично для всей системы в целом, но они ничего не говорят о взаимодействии между

[1]) Мы берем здесь слово «водород» в кавычки, так как, строго говоря, в системе в целом водорода со всеми его характерными свойствами не имеется. Он здесь присутствует в «снятом» виде.

составными частями и системой, об обратном влиянии последней на характер и свойства составляющих ее частей. Другими словами, они оставляют открытым вопрос, остаются ли в системе составные части такими, какими они были в свободном состоянии, или получают здесь новый характер. Дюбуа-Реймон, например, утверждал, что «частица железа есть и заведомо остается тем же предметом, безразлично, описывает ли она длинный путь по вселенной, как составная часть метеора, или мчится по рельсам в колесе локомотива, или струится вместе с кровяными шариками через мозг поэта». Такая точка зрения несомненно ошибочна. Факты говорят против нее. Возьмем пример из той же химии. Долгое время считали, что валентность углерода, в какой бы связи он ни находился, есть величина постоянная. Этому учит школьная химия и до настоящего времени. Установленная для него четырехатомная валентность считалась его абсолютным свойством, не зависимым ни от каких условий его существования. Но с развитием органической химии обнаружилось, что не во всех соединениях углерод имеет четырехатомную валентность. В окиси углерода и некоторых классах органических веществ, как изонитрилы, гремучая кислота и ее соли, большинство современных химиков «признает присутствие двухатомного атома углерода, и в самое последнее время в некоторых исключительных случаях допускается трехатомность одного из углеродных атомов» [1]).

Все эти факты показывают, что не только живые, но и «мертвые» сложные образования представляют собою не просто сумму частей, а своеобразные специфические системы, характер которых определяется характером не только частей, но и связями и специфическими взаимодействиями между этими частями. Характерные признаки, присущие отдельным компонентам системы в свободном состоянии их, внутри системы стираются, исчезают («снимаются» по терминологии Гегеля), заменяясь другими признаками, в зависимости от характера внутренних и внешних связей системы в целом. Стало быть, и неживая система не исчерпывается до конца ее составными частями. В этом смысле любая сложная неорганическая система является такой же «автономной», как и любая органическая. Чтобы «понять» явление «до конца», чтобы исчерпать его «без остатка», последовательный витализм вынужден был бы и в неорганическом мире изобретать для каждого этапа развития материи какой-нибудь новый нематериальный «конститутивный» фактор. Последовательный витализм неизбежно приводит к насильственному разрыву единства и целостности природы, к искусственному установлению непроходимых пропастей не только между живым и неживым миром, но и между всеми этапами развития материального мира, к фактическому отрицанию эволюции материи. Мир рассыпается на множество отдельных, изолированных, «автономных» мирков, каждый из которых управляется своей собственной, специфической, нематериальной сущностью. Витализм ведет к плюрализму. И только вопиющей непоследовательностью можно об'яснить обычный виталистический дуализм, ограничивающий место действия нематериальной сущности рамками живой природы и отдающий весь неорганический мир в безраздельное господство простых механистических закономерностей.

Процессы регенерации, как мы видели, играют исключительную роль в обосновании виталистической концепции жизни. Это—основной

[1]) А. Е. Чичибабин, Основные начала органической химии, Гиз, 1925, стр. 47.

естественно-научный багаж, с которым Дриш отправился в свое нашумевшее путешествие к далеким, туманным берегам всемогущей энтелехии. Здесь нашел он тихую гавань для всех своих мучительных сомнений по поводу целостности и единства органических форм, как они особенно ярко выражаются в регенеративных процессах. Там, где процессы не укладываются в прокрустово ложе вульгарной механистической концепции, отчасти созданной самим Дришем, вызывается на помощь чудодейственная энтелехия, которой вручается неограниченная власть над каждой отдельной клеткой, и которая в каждом отдельном случае направляет ее деятельность по путям, наиболее выгодным для всего организма в целом. Но что же делать с теми процессами неорганических систем, которые также не укладываются в механистические схемы Дриша? И здесь, очевидно, следуя методу Дриша, нужно прибегнуть к помощи энтелехии, как существенной причине специфических формообразовательных процессов. Почему Дриш этого не делает, мы не знаем. Этим только он обнаруживает всю логическую непоследовательность своего метода. Возьмем восстановительные процессы, отмечаемые нами в кристаллах. Пшибрам показал, что «дефектные кристаллы в насыщенном растворе, если только воспрепятствовать испарению жидкости, снова вполне регенерируют свою форму, не увеличиваясь в своей массе». Мы, само собой разумеется, абсолютно не намерены отождествлять регенеративные процессы, происходящие в органической природе, с «регенерацией» кристаллов,—это различные по существу процессы, но нам позволительно поставить вопрос, где и какая часть физического механизма или готовой машины способна самостоятельно сама себя восстановить? Таких частей машин мы не знаем. Стало быть, и кристаллы, в которых происходят специфические формообразовательные процессы, должны обладать особым нематериальным фактором, способным реализовать «проспективную потенцию» каждой частицы кристалла в ее «проспективное значение». Это единственный вывод, который сам собой напрашивается, если принять методологическую концепцию Дриша. Витализм, если только он хочет быть выдержанным, должен расширить рамки для своей энтелехии, подчинить ей не только органическую, но и неорганическую природу, т.-е. всю вселенную. Это значит отдать весь мир в управление нематериальному и вневременному фактору, т.-е. новому своеобразному богу, который в противоположность английскому королю способен только управлять, но не царствовать.

Специфический признак жизни, выделяющий организм в особую автономную группу явлений, А. Бергсон видит в том, что живое существо представляет собою «изолированную, естественную индивидуальность» [1]). В то время, как неорганические предметы «выкраиваются» нами искусственно из остального мира и являются поэтому «искусственными индивидуальностями», живое существо «изолировано и замкнуто самой природой». Оно является естественно изолированной системой. Сам Бергсон не отрицает того, что живой организм множеством нитей связан с окружающим миром. Живое существо ест, пьет, дышит, растет за счет остального мира, оно движется, чувствует, действует в определенной обстановке. Но всегда и везде оно остается изолированной естественной индивидуальностью.

[1]) Анри Бергсон, Творческая эволюция, пер. В. А. Флеровой, изд. «Русская Мысль», 1914, стр. 11—13.

Рассмотрим, что собой представляет эта «изолированная естественная индивидуальность». Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что каждый организм является носителем не только своей собственной индивидуальности, но и индивидуальности своих предков, уходящих во тьму времен. Размножение не есть только «воссоздание нового организма из частицы, отделившейся от старого», но и сохранение старого в новом. Индивидуум непрерывно развивается во времени, он неразрывно связан со своим прошлым, и почти совершенно невозможно указать, что в индивидууме—его собственное, новое и что получил он в наследство от предков. Индивидуум нельзя искусственно оторвать от его филогенетического наследства, от его предков. Под индивидуальностью мы обыкновенно понимаем неделимую самостоятельно действующую изолированную систему. Является ли организм обязательно такой неделимой системой? Вместе с Энгельсом[1]) на этот вопрос можем дать только отрицательный ответ, ибо очень часто мы просто не можем сказать, является ли «данное существо индивидуумом или колонией», особенно когда речь идет о низших организмах. Что такое, например, лишайник—«изолированный, естественный индивидуум» или продукт слияния двух различных индивидуумов—гриба и зеленой водоросли? С одной стороны, он, несомненно, является единством, неделимым целым, вырабатывающим такие вещества, которые каждая его составная часть в отдельности выработать не в состоянии, а с другой—он, также несомненно, состоит из двух совершенно различных индивидуумов. Про лишайник нельзя сказать, что он «естественный индивидуум», несмотря на то, что он—живое единство, активная целостность. И даже про такое высоко организованное животное, как человек, нельзя без всяких оговорок говорить, как об «изолированной, естественной индивидуальности». Ибо индивидуальностью является весь человек в целом, все, что непосредственно связано с его телом, вся его организация. Бактерии coli, находящиеся в нижнем отрезке кишечного тракта и принимающие определенную роль в обмене веществ человеческого организма, являются неот'емлемой частью его индивидуальности.

Неправильны утверждения А. Бергсона, что живая система всегда обязательно «изолируется и замыкается самой природой». Живая система может быть изолирована и замкнута искусственно. Блестящие работы Вильгельма Ру, Вильсона, Дриша, Моргана, О. Гертвига и др.,—на некоторых из них мы выше довольно подробно остановились,—показывают, что живой организм может быть получен не только путем естественного развития оплодотворенной клетки или партеногенетически, но и искусственной изоляцией бластомеров на ранних стадиях развития эмбриона. Опыты покойного Кравкова и других по выращиванию в искусственной среде изолированных от организма органов и частей показывают, как далеко может уйти эта искусственная изоляция живого. Работы над химерами, когда из частей нескольких организмов удается искусственно «склеить» новый живой организм, показывают, насколько относительно это естественное возникновение так называемых «естественных индивидуальностей» Бергсона.

Нельзя противопоставлять «естественные индивидуальности» органической природы «искусственным индивидуальностям» неорганического мира, как это делает Бергсон, несмотря на всю глубокую разницу между живой и мертвой природой. Мы не собираемся отождествлять органические и неорганические индивидуальности:

[1]) Ф. Энгельс, Архив, кн. II, стр. 61.

это—целостности разного характера, разных ступеней развития материального мира. Но из этого совершенно не вытекает, что в противоположность «действительно реальным живым индивидуальностям» изолированное существование предметов неорганического мира есть искусственное явление, фикция, находящаяся в связи с нашим восприятием. Бергсон пишет: «В то время как подразделение материи на изолированные тела зависит от нашего восприятия, в то время как состав замкнутых систем материальных точек подчинен нашей науке, живое тело было изолировано и было замкнуто самой природой. Оно составляется из разнородных частей, дополняющих одни другие. Оно выполняет различные функции, связанные одни с другими. Это—индивидуум, и ни о каком ином предмете, даже о кристалле, нельзя этого сказать, ибо и кристалл не имеет ни разнородности частей, ни различия функций»[1]).

Но почему солнечная система не может быть зачислена в разряд естественных индивидуальностей? Она, несомненно, целостность, естественно возникшая на определенной ступени развития материального мира, имеющая свою историю, свои закономерности, состоящая «из разнородных, связанных друг с другом частей, выполняющих различные функции». Почему свободный атом—не индивидуальность? И он состоит из разнородных частей, несущих различные функции. Почему коралловый остров, сложившийся в течение длиннейших геологических эпох из мелких трупов и живущий совершенно другой жизнью, чем вся обстановка, окружающая его со всех сторон, нельзя считать индивидуальностью? Почему солнечную систему или атом мы должны считать искусственной индивидуальностью, а организм—естественной? «Индивидуальность»—настолько неясное, неопределенное и туманное понятие, что видеть в ней «характерный признак жизни», как это делает Бергсон, нет никакой возможности. Больше того—«индивидуальность» вообще не может быть отличительным признаком живого существа, так как она не есть исключительная принадлежность жизни.

Приведенный анализ фактического материала, которым оперирует современный витализм, и критический разбор его методологических позиций позволяет нам сделать несколько существенных выводов. Неовитализм свою концепцию жизни строит, главным образом, на том методологическом принципе, что живой организм представляет собою целостное единство, характерные процессы которого определяются своеобразной структурой целого, а не деятельностью, присущей отдельным компонентам живой системы. Жизнедеятельность организма характеризуется всей его целокупностью, а не каждой его составной частью в отдельности. Жизненные процессы не сводимы к их компонентам, они автономны, к ним нельзя подходить с меркой физико-химических явлений. Они управляются своими собственными законами, не соизмеримым с законами неорганической действительности. Современный витализм не отрицает физико-химической основы многих процессов, протекающих в живом организме. Но эта основа сама по себе, по мнению неовиталистов, не определяет всей сущности жизненного явления в целом, для характеристики которого не хватает основного звена, связывающего эти отдельные основные процессы в единую живую систему, преобразующего все эти процессы в новый, автономный процесс. Этот «оживляющий» материальную систему фактор не может быть материального свойства, он не пространственен, его нельзя изме-

[1]) Анри Бергсон, Творческая эволюция, стр. 11.

рить доступными нам методами, применяемыми в других областях естествознания. Эмпирически он неуловим, но с точки зрения теоретической он является якобы обязательным постулатом, без которого жизненные явления совершенно непонятны и необъяснимы. В виду невозможности положительного доказательства реальности этого нематериального фактора, неовитализм сводит все свои рассуждения почти исключительно к опровержению механистической концепции жизни, к доказательству недостаточности ее как с точки зрения методологической, так и фактической. Свои же собственные взгляды он декретирует в виде догматических положений, которые по существу апеллируют не к сознанию читателя, а к его вере.

Очевидная несостоятельность подобного метода научных построений не требует особых доказательств. Опровержение какого-нибудь факта, обоснованное даже самым безукоризненным образом, ни в коем случае не может служить доказательством в пользу другого факта. Опровержение «машинной» концепции жизни говорит только о том, что подобная концепция неверна, что ее надо заменить другой более соответствующей теорией, но это опровержение само по себе ни в коем случае не может служить доказательством истинности какой-либо другой теории. Само собой понятно, что этим мы и не думаем отрицать того огромного значения, которое имеют в научном исследовании убедительные опровержения старых предрассудков, неверных взглядов и т. п., мы здесь хотим только подчеркнуть, что всякая научная теория может базироваться исключительно на неопровержимых доказательствах в пользу себя, но не доказательствах, опровергающих концепцию противника. Если бы, например, кто-нибудь вздумал обосновать факт существования ведьм, совершенно недостаточно было бы опровержение закона причинности или ссылка на то, что никто не в состоянии доказать, что ведьмы не существуют, а нужно было бы привести целый ряд неоспоримых фактов или логических рассуждений, доказывающих именно реальное существование ведьм, а не чего-нибудь другого. Вся тяжесть доказательства и обоснования в научном исследовании лежит на том, кто пытается дать положительное решение проблемы, при этом решающую роль в данном случае играют те из приводимых фактов и доводов, которые подтверждают данное решение вопроса, а не те, которые опровергают другие факты и взгляды. Неовитализм направляет всю остроту своей критики против механистической концепции жизни, но дает чрезвычайно мало для обоснования своего собственного взгляда. Вот почему, если бы мы даже и согласились со всей его критической частью, мы должны были бы только отказаться от механистической теории жизни, в той, конечно, интерпретации, которую ей придает сам критикующий витализм, но для нас совершенно не обязательным оказалось бы все положительное построение витализма, поскольку оно является простым декретированием определенных положений, не подкрепленных ни одним более или менее веским доказательством.

Неовитализм в противоположность механистической концепции, подчеркивает прежде всего автономность жизненных явлений. Ганс Дриш в одной из своих последних работ[1]), посвященных этому вопросу, дает следующее определение витализма:

«Витализмом,— пишет он,— называют учение об автономности жизненных явлений. Согласно этому учению процессы, происходящие

[1]) Hans Driesch, Le vitalisme, Scientia, t. XXXVI, № CXLVII–7, от 1 июля 1924 г., p. 13—22.

в живых организмах, не являются ни результатом, ни сочетанием физических и химических, т.-е. в конечном счете механических явлений».

Методологически такая постановка проблемы означает полную изоляцию жизненных явлений, отрицание какой бы то ни было преемственной, исторической связи между органическим и неорганическим миром. С этой точки зрения жизнь есть абсолютно новое качество, которое не является «ни результатом, ни сочетанием» физико-химических процессов. Принцип организации живой системы есть особый, своеобразный принцип, не встречающийся на более низких ступенях материального мира. Характерная отличительная черта живого, по мнению виталистов, состоит в том, что из данных «о положениях, скоростях и силах отдельных материальных элементов живой системы» нельзя вывести всех без остатка явлений этой системы. Жизненный процесс не сводим к своим компонентам. Он характеризуется не особенностями каждой отдельной составной части, а целокупностью всей системы. Жизнь—не простая арифметическая сумма составляющих ее процессов. Она — целостность, которая хотя в некоторой степени зависит и от характера составляющих ее частей, но не исчерпывается ими. Этот не поддающийся физико-химическому анализу «специфический остаток» и определяет характерную автономность жизненного процесса. Специфичность жизни, единство ее многообразия обусловливается особым «интенсивным», т.-е. непротяженным и вневременным фактором, который, «на ряду с известными нам факторами физики и химии, выступает, как новое самостоятельное понятие» [1]).

Витализм прав, когда он утверждает несводимость и целостность жизненного процесса. Но он не прав, когда абсолютизирует эти понятия, когда специфичность жизни, возникшую в результате исторического развития материального мира, он об'являет «ни результатом, ни сочетанием» физико-химических процессов. Он сугубо неправ, когда, в поисках выхода из созданного им самим «абсолютного», метафизического тупика, он беспомощно хватается за призрак энтелехии, думая, что нашел диогенов фонарь, который поможет ему выйти из беспросветного тупика, тогда как в действительности в попытке выбраться из засасывающего болота он хватается только за собственные волосы. В органическом мире мы действительно встречаемся с своеобразными процессами и явлениями. Но причину этих явлений, если только хотим остаться на научной почве, мы обязаны искать в самих явлениях, в их связях и взаимодействиях, а не над ними, не по ту сторону их. В живом организме отдельные части не имеют самостоятельного значения, но подобное единство характерно не только для органического мира. Относительная целостность и автономность свойственны всякой сложной системе, независимо от того, принадлежит ли она к органическому или неорганическому миру. Проблема качества является проблемой не только биологии, но всех отраслей нашего знания.

[1]) Ганс Дриш, Витализм, его история и система, стр. 234.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Обзор текущей иностранной литературы.

1. История философии и диалектики.

P. Masson-Oursel, L'atomisme indien. „Revue Philosophique de la France et de l'Etranger" № 5 et 6, Mai—Juin 1925, pp. 342—368.

П. МАССОН-УРСЕЛЬ, Индийский атомизм.

М.-У. отмечает значение столь антипатичного брахманской ортодоксии, буддизму и джайнизму, «примитивного материализма», являющегося источником индийского атомизма. Чарваки, эти сенсуалисты, отрицавшие всякое духовное начало, исходили из убеждения, что все происходит лишь в силу материальных причин. Древнейшею формулою индийского атомизма является атомизм джаинистов, «несоизмеримый с греческим атомизмом», так как в джайнизме нет речи о пустом пространстве. Основное различие между джайнистским и демокритовским атомизмом заключается в том, что джаинисты признают постулат всеобщей проницаемости. Затем атомистами являются буддийские реалисты, представители философии Малой Колесницы (Узкого пути), отрицающие субстанциональность быта и признающие относительный атомизм. Чувственные качества представляют собой комплексы четырех родов атомов или первичных факторов: твердости или силы отталкивания, жидкости или силы притяжения, теплоты, движения. Сложные атомы настолько же реальны, как и общие элементы. Вторичный элемент предполагает четыре первичных. Материальная молекула предполагает одновременное сопоставление восьми атомов: четырех первичных и четырех вторичных (цвет, запах, вкус, осязание), к которым иногда присоединяется и звуковой атом. Структура мысли соответствует строению материи. То, что мы называем духом, есть не что иное, как аггрегат непрерывно возникающих и уничтожающихся десяти факторов, располагающихся вокруг центральной силы, сознания и причастных этой центральной силе. Психические молекулы, группируясь различным образом, образуют вторичные состояния. С наибольшею последовательностью атомизм формулирован в системе «Вайшешика». Сутры этой системы не только признают существование атомов, но и обосновывают его. Недоступные восприятию, непреходящие причины или субстанции не могут иметь частей. Атомы шарообразны, так как лишь эта форма исключает деление на части. Существует четыре рода атомов, каждый из которых соответствует определенному элементу и обладает присущим ему свойством: атому земли свойственен запах, атому воды — вкус, атому огня — цвет, атому воздуха — осязаемость. Атомистическая теория находит своеобразное применение в психологии Вайшешики: мы нуждаемся в атомистическом органе, manas, для того, чтобы находиться в связи с внешними субстанциями. Сутры системы Ньяйя доказывают существование атомов новым — для индийского сознания — аргументом: анализ реального должен приводить к неразложимым и непреходящим субстанциям, целое есть не что иное, чем его части, но

предполагает части. Если бы делимость была беспредельна, то небольшой комплекс равнялся бы большему. Поэтому последователи Ньяйи считают атомы не силами, как буддисты, и не вечными точками, как последователи Вайшешики, а неделимыми. Это понимание наиболее приближается к точке зрения греческих атомистов. Но с точки зрения Ньяйи нельзя допустить внутренних различий атомов; между ними существуют отношения, которым чужда относительность. Затем М.-У. резюмирует возражения против различных разновидностей индийского атомизма и аргументы, приводимые в его защиту. В заключение М.-У. констатирует, что в Индии существовали вполне материалистические системы, сводившие психическое к эпифеномену, но никогда не существовало вполне последовательного атомизма.

P. Masson-Oursel, Histoire de la Philosophie Chinoise. „Revue Philosophique" № 11 et 12 Nov.—Déc. 1927, pp. 453—456.

П. МАССОН-УРСЕЛЬ, История китайской философии.

Перед нами обзор книг по истории китайской философии, вышедших в 1924—1926 гг. Заслуживает внимания труд Марселя Гране «Танцы и легенды древнего Китая» (Marsel Granet, Danses et légendes de la Chine ancienne. Paris 1926. 710 p. en 2 vol.). Эта книга способна пробудить от догматического сна авторов, игнорирующих различие между Конфуцием и конфуцианством, между таоистскою обрядностью и онтологией Tao te King'a. Гране противополагает первобытную крестьянскую религию произведенной впоследствии систематизации феодальных верований, о чем свидетельствуют культ Неба и культ предков.

Книге Гране посвящен также доклад П. Массона-Урселя «Sur la conception de l'histoire chez la chinois» («О точке зрения китайцев на историю) (см. «Revue de Synthèse historique» № 127—129. Paris, Juin 1927, pp. 20—22).

Epicurus, The extant Remains with short Critical Apparatus, translation and Notes by Cyril Bailey, M. A. Fowett-Fellow and classical Tutor of Balliol College, Oxford. At the Clarendon Press. 1926, p. 432.

ЭПИКУР, Дошедшие до нас остатки его сочинений с кратким критическим аппаратом, переведенным на английский язык, и примечаниями. Издал Кирилл Бэйли, магистр филологии, профессор Оксфордского университета, стр. 432.

Б. признает заслуги Узенера, предложившего множество ценных поправок к тексту, большая часть которых признана всеми исследователями. Но, по мнению Б., Узенер был слишком склонен принимать за «глоссы, схолии и вставки комментаторов» те фразы, которые находились уже в первоначальном тексте. Поправки, предложенные Бригером Джюзани и Кохальским, Б. находит в большинстве случаев произвольными. Наиболее ценными для выяснения текста Эпикура, Б. считает труды Узенера и итальянских ученых Джюзани и Биньоне. Относительно письма к Питоклу Б. разделяет мнение Узенера, который считает это письмо эпикурейской компиляцией. «Основные положения» Б. считает, в отличие от Гассенди и Узенера, произведением самого Эпикура. Из фрагментов Б. дает только греческие, но не латинские. И английский перевод и сжатый, весьма содержательный комментарий Б., конечно, окажутся ценными пособиями при изучении Эпикура. Б. обещает издать критические этюды, посвященные философской системе Эпикура.

Michele-Losacco, Storia della dialettica, Parte prima, Periodo Greco. Firenza 1922.

МИКЕЛЕ ЛОЗАККО, История диалектики, часть первая. Греческий период. Флоренция. XVI + 314 стр.

Большая работа итальянского исследователя, посвященная истории греческой диалектики, рассматривает в последовательном порядке учения Гераклита Эфесского, пифагорейской школы, Эмпедокла, Зенона, Мелисса, гиппократиков, софистов (главным образом, Протагора и Горгия), Сократа, Антисфена, мегариков, Платона, Аристотеля, стоиков, скептиков и не неоплатоников (Плотина и Прокла).

Поставив себе задачей выяснение основных видоизменений античной диалектики, автор дает ряд метких характеристик, и то обстоятельство, что он, несмотря на его идеализм, стоит на диалектической точке зрения, позволило ему наметить более правильную линию развития греческой диалектики, чем это обычно имеет место в буржуазных историко-философских исследованиях. Перевод книги Лозакко на русский язык был бы весьма полезен для всех, интересующихся историей диалектического метода.

A. Dies, Le problème de l'un et du multiple avant Platon, „Revue d'histoire de la philosophie" 1927, № 1.

А. ДИЕС, Проблема единого и многого до Платона, «Обозрение истории философии» 1927, № 1.

Отмечая громадное значение проблемы единого и многого для философии Платона, автор напоминает, что проблема эта, согласно указаниям самого Платона, разрешалась им на основе материала, разрабатывавшегося уже в до-платоновской философии; не ставя своей задачей исчерпывающее рассмотрение вопроса, автор намечает ряд наиболее существенных, по его мнению, моментов в учениях об едином и многом Анаксимандра, Ксенофана, Гераклита, Парменида, Мелисса, Зенона и Эмпедокла.

Несмотря на незначительный об'ем статьи и некоторую ее структурную разбросанность, работа А. Диеса не может не привлечь к себе внимания историка античной философии, в особенности же античной диалектики, как благодаря интересной постановке вопроса, так и вследствие целого ряда метких замечаний и удачных сопоставлений отдельных фрагментов античных мыслителей. Наиболее подробно разработан вопрос о проблеме единого и многого в философии Гераклита Эфесского.

Eduard Schwartz, Geschichtsschreibung und Geschichte bei den Hellenen.

ЭДУАРД ШВАРЦ, президент Мюнхенской академии наук, Историография и история у греков. В журнале „Die Antike", Zeitschrift für Kunst und Kultur des klassischen Altertums. Herausgegeben von Werner Jaeger. Band I—V, Heft I, 1928, pp. 14—31.

В древности, в средние века, в эпоху Возрождения и позднее об'ектом историографического искусства являлась лишь история современной эпохи, точнее: ближайшего прошлого, которое еще живо ощущалось. Лишь с начала XIX века историография, которую нельзя отождествлять с историческими изысканиями и с публицистикой, пользующейся историческим материалом, считает себя в праве трактовать любой исторический материал. Хотя и в древности уже существовала теория, предоставлявшая историку свободный

выбор предмета, благодаря применению этой теории на практике возникли не только солидные труды, в роде Аррианова Истории Александра, но и «бессодержательная педантическая болтовня» в роде римской археологии Дионисия. Эта риторическая разновидность, пользовавшаяся любым об'ектом как предлогом для стилистических упражнений, возникла уже в эпоху эллинизма и распространилась в императорский период, когда поблекла подлинная историография; но она не характерна для античной историографии в целом. У малоазийских греков «квази-историческая» фантазия требовала, чтобы для действительных и вымышленных событий, воспеваемых в эпосе, была подыскана историческая канва, восходящая к далекому прошлому. История не могла развиться из квази-исторического эпоса; война за освобождение малоазийских греков лишь косвенно послужила импульсом для возникновения историографии в перикловских Афинах. Затем Ш. дает содержательные характеристики Геродота, Фукидида, историков эпохи эллинизма Полибия и Посейдония, и то обстоятельство, что он эти характеристики связывает с современными философскими течениями, придает интерес и ценность его работе.

---

2. Спиноза.

O. Kraus, Über die Philosophie Spinoza's,—Euphorion, 28 Band, 1927, Prag, 161—172.

О. КРАУЗ, О философии Спинозы.

На вопрос, является ли Спиноза мистиком, автор отвечает отрицательно. Божество Спинозы тождественно с природой; у него отсутствует план создания вселенной и любовь к единичным вещам; интуиция Спинозы также лишена всякого мистического характера; интуитивное познание есть познание бога, как существа, сущность которого заключает в себе существование. Целью Спинозы является об'единение человеческого духа с природой и приобщение возможно большего количества людей к познанию этого единства. Поэтому главное сочинение называется этикой. В его сочинениях заметно проявляется этически-политическое направление; рекомендуется гигиена и технические усовершенствования. Играет роль бэконовское «знание есть сила»; но в отличие от стремления Бэкона владычествовать над природой и народами у Спинозы проявляется стремление владычествовать над дурными страстями. В дальнейшем автор переходит к разбору понятия сущности; основным он считает онтологический аргумент; несостоятельность этого аргумента доказана, по его мнению, Кантом; полностью же он опровергается исследованиями Ф. Брентано о природе гипотетических высказываний, которые сводятся к тому, что в них дело идет о чисто-отрицательном познании: треугольник, сумма углов которого не равна двум прямым, не может существовать; в этом суждении не утверждается ничего положительного, но лишь аподиктически отрицается, что когда-либо может существовать такой треугольник. В общем философия Спинозы является философией тождества, так как в ней отождествляется существо непричастное с существом самостоятельным в том смысле, что оно не является свойством другого существа, т.-е. он смешивает отношение причины к действию с отношением субстанции к свойствам; затем у него отождествляются мышление с протяженностью, идея с суждением и волей, акт мышления с об'ектом, причинный и логический ряд. Основной недостаток философии Спинозы состоит в ее ультрареализме, т.-е. в гипостазировании понятий, в рабском подчинении языку и в построении системы на таких несостоятельных понятиях, как сущность и существование. Положительными же сторонами системы автор считает проведение принципа необходимости в самой строгой форме и распространение его на человеческие поступки,

отрицание антропоморфических представлений о боге,—хотя по мнению автора Спиноза идет в этом направлении слишком далеко. Больше всего привлекает в Спинозе автора его жизнь, представляющая пример жизни благородного мыслителя.

L. Roth, Spinoza in Recent English Thought, — Mind, April 1927, № 142, 205—240.

Л. РОТ, Спиноза и новейшие течения английской мысли.

Реакция против эмпиризма в Англии сосредоточивалась преимущественно в так наз. нео-гегельянстве. Философия Гегеля оказывала влияние в Англии преимущественно той стороной, которая была связана с философией Спинозы. Движение философии от Канта к Гегелю пришло к тому, что центральной идеей философии стало признание полной рациональности вещей. Что действительно, то разумно, что разумно, то вечно. Разумность же есть система, «истина—это целое». Истина—не согласие об'екта с понятием его, а согласие истины с самой собой. Истина и реальность совпадают, но это совпадение совершается только в целом. Те же идеи развивает Спиноза в «Трактате об улучшении интеллекта»; конечные вещи неистинны и менее реальны; существуют разные степени реальности; чем более вещь удалена от необходимого бытия, существующего само по себе и являющегося основой всего, тем менее она реальна. Учения о зле и заблуждении, об истинном и ложном бесконечном, о роли воображения и о степенях истины и реальности—характерны для Спинозы и возрождаются опять у Гегеля. «Абсолютное есть дух», изречение, которое, по выражению Гегеля, значит то же самое, что «истина реализована только в форме системы»,—носит вполне спинозовский характер. В таком смысле Гегель был воспринят английскими нео-гегельянцами; поэтому им было так легко перейти от Гегеля к Спинозе. Центральной фигурой английского нео-гегельянства был Бредли; основная книга его—«Принципы логики»; эта книга нанесла удар старому атомизму в его разнообразных формах—в форме ассоцианизма в логике и психологии, механической доктрины силлогизма и теории классификации, исходящей от неподвижных частиц. Истина и реальность не различные вещи; в каждом суждении суб'ект является всей совокупностью реальности. Враг—«догматический индивидуализм». Сам Бредли редко ссылается на Гегеля и мало занимается Спинозой, но его последователь Бозанкет много занимался Спинозой и сам признавал, что то ценное, которое он воспринял от Гегеля, он мог получить в более конкретной и простой форме непосредственно от Спинозы. Надо заметить, что основной чертой английского идеализма является не берклеевский имматериализм, а признание того, что природа—самостоятельное целое, в зависимости от которого так наз. части получают свой характер. С этой точки зрения идеализм не отличается от реализма; и Бозанкет стоит на той же платформе, что реалист Александер, который также вышел из Спинозы. Но относительно природы духа идеалисты и реалисты расходятся. Для реалистов духи (во мн. числе) являются только наиболее одаренными членами, известными нам в демократии вещей; для идеалистов же дух (в ед. числе) есть организация космоса. Для реалиста единство мира носит физический характер, а дух появляется автоматически, когда часть достигает известной степени сложности, для идеалиста же «нет единства во вселенной, если нет универсального духа». Это расхождение отражается и в толковании атрибута мышления у Спинозы. Согласно Александеру, если подставить вместо атрибута мышления время, то получится система, похожая на его систему. Бозанкет же настаивает на нереальности времени и видит единственную реальность в мысли. Для самого Спинозы мышление, во всяком случае, сосуществует с совокупностью реальности. Но в одном пункте сходятся

и Спиноза и его английские комментаторы,—это в том, что мышление не есть простое понимание. Все они согласились бы с Бредли в его осуждении интеллектуализма. Спиноза был для англичан всегда, выражаясь словами Толанда, «великим и хорошим человеком».

3. Гегель и неогегельянство.

J. H. Muirhead. How Hegel came to England,—Mind, October 1927 p. 423—447.

МЮРХЕД, Каким образом в Англии распространилось гегельянство.

Гегель был совершенно неизвестен в Англии до 1855 г., когда появился перевод его логики. Причин этому было несколько: во-первых, то, что в первые десятилетия XIX века философия в Англии не имела никакого контакта с континентальной философией; во главе философского движения стоял Дюгальд Стьюарт, который совершенно не знал немецкого языка и имел представление о Канте только по его латинской диссертации и французским и английским переводам. Далее, в старых английских университетах господствовало преклонение перед ортодоксальной теологией и «религией откровения» и недоверие к человеческому разуму. В неакадемических же кругах был распространен позитивизм; один из главных представителей его, Льюис, писал, что он с сожалением смотрит на претензии германского идеализма вообще и «на нелепости гегелевской системы» в частности. В Шотландии, где кафедру философии в Эдинбургском университете занимал В. Гамильтон, судьба была также неблагоприятна для философии Гегеля. Гамильтон считал себя последователем Канта. Но, с другой стороны, был ряд благоприятных обстоятельств. Таким обстоятельством следует считать распространение философии Канта. В 30-х годах имя Канта становится популярным, благодаря влиянию Карлейля, Кольриджа и де-Кенси. В это же время встречается имя Гегеля, как одного из противников Шеллинга. В 1841 г. Льюис в своей истории философии пишет, что философия истории Гегеля является одной из лучших книг по этому предмету. В своей истории философии XIX века, вышедшей в 1846 г., Морел пытается впервые в Англии найти «зерно истины» в системе Гегеля. Двумя основными принципами ее он считает единство противоположностей и тождество бытия и мышления. В это же время представитель ортодоксального направления, профессор Кэмбриджского университета Морис выражается о Гегеле, как о наследнике Платона. Новое направление нашло свое выражение в очерках проф. Ферье. В очерке о Гегеле он защищает диалектику, как правильную попытку показать развитие категорий от самой низшей до высшей путем превращения в свою противоположность, попытку, разрешающую антиномии Канта, столь смутившие его современников. Но главная заслуга в распространении гегельянства в Англии принадлежит Джемсу Гетчисону Стерлингу, автору книги «Тайна Гегеля, происхождение, принцип, форма и содержание системы Гегеля» в двух томах (1865 г.). В ней философия Гегеля рассматривается, как реакция против просвещения, ставившего права личности, частное суждение выше общего. Тайна Гегеля состоит в то же время в конкретном понятии, об'единяющем в себе противоположности. Но «тайна Гегеля является в то же время тайной Канта». Кант в своем учении об априорных формах созерцания и категориях рассудка показал, что мысль конструирует мир и об'екты, известные нам в мире. Здесь заключается в зародыше система Гегеля. Вселенная является только материализацией,

воплощением во вне известных мыслей. Но в то время, как Кант придает этим мыслям суб'ективный характер, скрывающий непознаваемые вещи в себе, у Гегеля эти мысли имеют об'ективный характер абсолютных универсальных принципов, не конституирующих мир. Вещь в себе упраздняется. Если правильно мыслить мир, то нет никакой нужды в индийской черепахе, поддерживающей мир. Абсолютное не только не есть нечто непознаваемое, но является об'ектом всех мыслей. Гегель завершает философское движение, начатое Кантом. Он представляет по отношению к современной Европе то же, что представлял Аристотель по отношению к древней Греции. Появление этой книги было отмечено, как событие, и в академических, и в не-академических кругах. Ее приветствовали Грин и Карлейль в Англии, Эмерсон в Америке, Розенкранц и Эрдман в Германии. Но Стерлинг был только следопытом, пионером. Книга страдала полным отсутствием метода и была очень трудна для усвоения не только по содержанию, но и по стилю. Но, как бы то ни было, первый шаг был сделан. Он расчистил путь Эдуарду и Джону Кэрдам в Глазго, Уоллесу, Грину и Бредли в Оксфорде, Бозанкету в Лондоне. Гегельянское течение широкой струей разлилось по Англии; как говорит автор,—«камень, который отвергли строители в Германии, стал главою угла в Англии и Шотландии».

Neo-Hegelianism. By Hiralal Holder M. A. Ph. D., Professor of philosophy in the University of Calcutta. London. Heath Granton Ltd. 1927, p. VII + 493.

ГИРАЛАЛ ГОЛЬДАР, профессор философии в Калькуттском университете Нео-гегельянство, 1927, стр. VII + 493.

Г. в ряде очерков излагает и критикует взгляды Стерлинга, Грина, Эдуарда Кэрда, Джона Кэрда, Уоллеса, Ритчи, Бредли, Бозанкета, Уотсона, Джонса, Мюиргеда, Маккензи, Гольдэйна и Мак-Таггарта. Гегель оказал сильное влияние на этих писателей, но никого из них нельзя назвать учеником Гегеля, так как каждый из них «является весьма независимым мыслителем и по-своему понимает и выражает центральные истины идеализма». Уже из этих слов видно, что сам Г. всецело стоит на идеалистической точке зрения. Он подчеркивает в предисловии, что его философские взгляды сложились, главным образом, под влиянием самого Гегеля и английского нео-гегельянства, которое он считает «величайшим—по крайней мере, в странах, где говорят по-английски—умственным движением нового времени» (p. VI).

Отрицательно относясь к «традиционным философиям Великобритании» и будучи убежден, что «то или иное разрешение спора между интуционизмом и эмпиризмом вовсе не означает разрешения задач «философского мышления», Г. констатирует, что вышедшая в 1865 г. книга Стерлинга «The Secret of Hegel being the Hegelian System in Origin, Principle, Form and Matter» (Тайна Гегеля, происхождение, принцип, форма и содержание системы Гегеля) составила эпоху в истории английской философской мысли: «До появления книги Стерлинга имя Гегеля ничего не говорило англичанам». Признавая заслугу Стерлинга в деле акклиматизации гегельянства в Великобритании, Г. правильно констатирует односторонность точки зрения Стерлинга, для которой философия Гегеля представляет собой «всего лишь логический вывод из системы Канта» (p. 10). Других сочинений Стерлинга Г. не касается, хотя «What is Thought?» («Что такое мысль?») заслуживало бы разбора. Наибольшее количество страниц Г. уделяет Грину, который признавал себя «гегельянцем в праздничные дни умозрения, но не в будни обыденного мышления», использовал Гегеля в борьбе против Милля и для поправок к Канту, но считал диалектический метод неприемлемым.

Г. выясняет значение диалектического метода и остроумно констатирует, что Грин сам применяет этот столь порицаемый им метод (p. 472). Э. Кэрда Г. считает скорее гегельянцем, хотя он и занимался преимущественно изложением и критикой Канта. У Д. Кэрда Г. с удовлетворением отмечает «особенно привлекательный» религиозный аспект нео-гегельянства и аргументы против материализма. Затем Г. резюмирует идеалистическую точку зрения Уоллеса, переводчика и истолкователя Логики Гегеля, и Ритчи, старавшегося сочетать идеалистическую точку зрения с дарвинизмом. Характерно замечание Г., что в сочинениях Ритчи преобладают социальные и политические интересы, а чисто богословский интерес отступает на задний план (p. 188). Важнейшие из «творческих произведений» нео-гегельянской школы Г. считает «Appearance and Reality» (Видимость и реальность) Бредли, с появлением которого окончился период, характеризовавшийся тем, что «британские последователи Канта и Гегеля занимались преимущественно усвоением и развитием их идей, и началась эра более самостоятельного трактования вечных проблем познания и бытия» (p. 214). Не излагая логических теорий Бредли и Бозанкета, Г. выясняет точку зрения Бредли на абсолют, в основном тождественную с точкой зрения Гегеля, и резюмирует метафизические и эстетические воззрения Бозанкета, «величайшего из английских идеалистов», и его идеалистическую теорию государства. В изложении взглядов лорда Гольдэйна заслуживает внимания указание на то, что теория Эйнштейна есть лишь одно из применений общей теории относительности, содержащейся в данной Гегелем критике категорий (p. 393). В последней главе Г. резюмирует точку зрения Мак-Таггарта, истолкователя и критика диалектического метода, относясь, однако, к этой точке зрения без должной критики и не выясняя даже неосновательности утверждения Мак-Таггарта, что Гегель преувеличивал значение и приложимость диалектического метода. Идеалистическую точку зрения Г. проводит и в написанной в 1910 г. и перепечатанной в виде приложения статье «Hegelianism and Human Personality (Гегельянство и человеческая личность).

Книга Г. вновь свидетельствует о том, что и в идеалистической интерпретации гегельянство все же продолжает быть несравненно более содержательным, чем другие идеалистические направления: нео-кантианство, интуитивизм, не говоря уже о разновидностях прагматизма, Als—ob и т. п. Но, упуская из виду революционную сторону гегельянства и игнорируя материалистические применения диалектического метода, Г. и другие нео-гегельянцы извращают культурно-историческое значение метода Гегеля и не в состоянии правильно понять его значение для естествознания и истории.

Dr. Eduard Färber. Heidelberg, Hegels Philosophie der Chemie. Kant-Studien. Band XXX. Heft 1—2, S. 91—114.

Д-р ЭДУАРД ФЕРБЕР, Философия химии Гегеля. Ф. признает существование «философских в подлинном смысле проблем химических процессов». «Антиномии нашего познания: качество и количество, непрерывность и ее противоположность, даже индивидуальность и общность становятся наиболее доступными научному, экспериментальному исследованию именно в химии, хотя «их лишь в редких случаях называют таковыми». И у экспериментирующего химика имеется своя философия, если не всей химии, то хотя бы специальной области его исследований, как бы ни была узка эта область. Она указывает ему направление его работ, дает ему возможность планомерно намечать новые реакции. Но этим не исчерпывается ее значение для химика; ее особая привлекательность заключается именно в

тенденции к осуществлению еще не выполненного. Итак, философия химии не только теоретически необходима, но и плодотворна для экспериментального исследования. Конечно, умозрение не может заменить опытов. Особый интерес представляет философия химии Гегеля. Будучи одним из наиболее принципиальных, а следовательно, и одним из наиболее смелых натурфилософов, Гегель в то же время относится с уважением к фактам. Гегель говорит в «Феноменологии»: «Элемент и содержание философии составляют не абстрактное и недействительное, а действительное», а именно: «действительное само себя полагающее, в себе жизненное, наличное бытие в его понятии». Ф. констатирует зависимость натурфилософских идей Гегеля от натурфилософии Шеллинга и зависимость как Шеллинга, так и Гегеля от тогдашних экспериментальных достижений и от теорий, опровергнутых опытом, но все еще излагавшихся в учебниках. В противоположность шеллинговой философии тождества Гегель придает особое, совершенно новое значение становлению, и это «делает философию Гегеля особенно привлекательной для современного человека, и в том числе для естествоиспытателя». Изложив по Феноменологии и по Энциклопедии точку зрения Гегеля на химические процессы, Ф. констатирует, что признаваемые Гегелем «четыре физических элемента» не имеют с аристотелевскими элементами ничего общего, кроме наименований, и истолковывает их в смысле энергетики. Ф. считает ценной вытекающее из по существу кинетической философии Гегеля рассмотрение вещей, как обусловленных процессом. Признавая многое из формулировок Гегеля совершенно несостоятельными, а некоторые же плодотворными, Ф. считает принципиально верною общую точку зрения Гегеля на соотношение между «химизмом», «механизмом» и «органическим». Статья Ф. и ее появление в «Kantstudien» заслуживает внимания, как один из симптомов изменяющегося отношения к Гегелю в широких кругах естествоиспытателей. Особенно характерно признание, что «психологическое описание процесса познания у Гегеля выражает тонко схваченные, постоянные истины».

J. Wahl, La place de l'idée du malheur de la conscience dans la formation" des théories de Hegel,—Revue Philosophique de la France et de l'Etranger, № 11—12, 1926, pp. 393—450, № 7—8, 1927, pp. 103—147.

Ж. ВАЛЬ, Роль несчастного сознания в образовании теорий Гегеля.

В статье рассматривается, как Гегель, преодолевая Шлейермахера и присоединяясь к Гельдерлингу, на которого он влияет в свою очередь, открывает сущность трагической интуиции в идее несчастия, проповедуемой христианством и романтизмом. Следя за историей несчастного сознания от иудаизма до современной философии, Гегель находит в ней ключ к об'яснению истории и религии. Статья рассматривает главным образом религиозный аспект этой идеи, как она выразилась в философии религии, феноменологии и юношеских богословских трудах Гегеля. Статья характерна для современных мистических направлений, надеющихся в метафизической «системе» Гегеля найти новое оправдание своих «интуиций» и проч.

J. Wahl, Commentaire d'un passage de la „Phénoménologie de l'esprit" de Hegel,—„Revue de Metaphysique et de Morale" 1927, Oktobre—Décembre, pp. 441—471.

Подробный комментарий к главе «Несчастное сознание» из «Феноменологии». Автор показывает, каким образом сознание, пройдя диалектическим путем ступень господства и рабства, стоицизма и скептицизма, поднимается на ступени несчастного сознания. Анализ понятия «несчастного сознания» дан весьма обстоятельно, при чем много внимания уделено диалектическому отношению конечного и бесконечного, частного и общего. В своем комментарии Гегеля автор не дает никаких новых точек зрения, не высказывает никаких оригинальных мыслей, оставаясь верным последователем метафизики («системы») Гегеля.

Friedrich Bülow, „Johannes Volkelt und die Hegelsche Philosophie" in Zwischen Philosophie und Kunst. Johannes Volkelt zum 100. Lehrsemester. Eine Sammelschrift von F. Bülow, H. Drisch, E. Everth... Lpz. 1926, S. 1—8.

Целью автора является анализ влияния Гегеля на Фолькельта. Это влияние в различные периоды философской эволюции Фолькельта было различным как по силе, так и по содержанию. Влияние Гегеля отразилось на эстетических воззрениях Фолькельта, т.-е. в той области, где Фолькельт занимает весьма почетное место. Эстетика Гегеля влияла на него не столько прямо, сколько через посредство Фр. Теодора Фишера, стоящего в своей эстетике на точке зрения Гегеля, и поэта Hebbel'я, реализовавшего в своих драмах гегелевское учение о трагическом. В последнее время метафизика Фолькельта снова проникнута гегелевским духом и гегелевскими формулировками (см. его работу «Phänomenologie und Metaphysik der Zeit» 1925).

---

4. Проблемы философии культуры и методологии.

Prof. Konrad Knopp, Mathematik und Kultur. Ein Vortrag. Preussische Jahrbücher. März 1928. Band 211. Heft 3, S. 283—300.

Проф. КОНРАД КНОПП, публичная лекция—Математика и культура.

Проф. Кнопп констатирует, что среди неспециалистов распространены совершенно неправильные, прямо-таки фантастические представления о математике и об ее значении для культуры. «Большинству математика внушает ужас: они питают к ней должное почтение, но предпочитают быть подальше от нее. Они прославляют ее, как наиболее достоверную форму нашего познания, но не завидуют занимающимся ею. Они признают ее значение для естествознания, но полагают, что можно быть образованным человеком, совершенно не зная математики. Чистых математиков считают странными чудаками, которые занимаются вещами, к счастью, безвредными, но практически безразличными». До некоторой степени ответственность за вышеуказанное отношение к математике падает на самих математиков, не сумевших придать преподаванию математики в высшей и в средней школе такой формы, в которой она могла бы сильнее влиять на широкие круги. Широкие круги не всегда относились к математике так, как они относятся к ней теперь, и это отношение должно измениться и изменится. В древности математика считалась чрезвычайно привлекательной, внушала неподдельный энтузиазм. Древнейший «архаический» стиль, древние орнаменты не только у греков являются геометрическими. Установив законы гармонического созвучия тонов, пифагорейцы привели музыку в связь с теорией чисел. Кнопп приводит аналогию между этим открытием пифагорейцев и современной теорией квант и периодической системой химических элементов. В эпоху Возрождения великие художники были и компетентными математиками, разработавшими теорию перспективы.

Max Wertheimer, Über Gestalttheorie, „Symposion", Bd. I., p. 39—60.

Это изложение основной мысли современной «теории качеств» («Gestalttheorie») может служить прекрасным введением в ее изучение. На ряде примеров из психологии и физиологии автор в яркой и убедительной форме доказывает непригодность господствующих среди естествоиспытателей представлений о механистичности процессов природы, о процессах, как о слагаемых из отдельных кусочков, частей, элементов, арифметических сумм. «Существуют естественные связи, при которых то, что происходит в целом, не вытекает из того, как существуют и соединяются единичные куски (Stücke), а, наоборот, то, что происходит в некоторой части этого целого, определяется внутренними законами структуры этого его целого».

5. Марксизм.

Ferd. Reinkemeyer, Die Geistigkeit des marxistischen Sozialismus,— „Philosophie und Leben" 1927, S. 131—147.

Ферд. РЕЙНКЕМЕЙЕР, Духовность марксистского социализма.

Сила марксизма не в его научных предпосылках, которые «давно опровергнуты», а в «вероисповедании», в «нравственном духе», который связывает его адептов, независимо от научных основ всего движения. Исходя из этой мысли, автор дает «феноменологический анализ» социализма (пользуясь методом Гуссерля-Шелера) и, усмотрев в «автономии индивидуума» главную идею социализма, видит основы социализма в романтизме. Автор приветствует уже давно проводимую в жизнь идею «делового сотрудничества» между рабочими и капиталистами и всю силу критики направляет против марксизма. Марксизм изображается как дело рук тех, кто «хочет спекулировать на материальных потребностях масс и воспитывать отрицательные аффекты». Статья находится в фарватере религиозного социализма и современной католической философии, выступающей против идеологии революционного пролетариата—марксизма.

G. Belat, L'éducation morale et sociale du prolétariat par la doctrine marxiste—„Revue de Métaphysique et de Morale" 1927, Juillet—September, pp. 393—417.

Статья представляет собою доклад, сделанный 7 января 1927 г. в «Лиге Морального Воспитания». Выделение пролетариата из совокупности остальных классов общества и рассмотрение его воспитания à parte обусловлено,— говорит автор,—только тем, что пролетариат сам упорно изолирует себя от всего остального общества. Цель доклада заключается не в критике марксизма и не в защите буржуазного строя (так уверяет автор!), а в доказательстве непригодности воспитания, даваемого пролетариату марксизмом. Для доказательства своего положения автор рассматривает три «основные момента марксизма»: 1) исторический материализм, 2) теорию классов и 3) теорию классовой борьбы. В понимании этих моментов (весьма произвольно и неправильно установленных) автор обнаруживает свою полную беспомощность, вульгарное и превратное толкование марксизма. Исторический материализм может быть кое-чем полезен лишь в качестве евристической гипотезы, но отнюдь не больше! Учение о базисе и надстройках можно сравнить с психологическим учением эпифеноменизма,— значение и роль идей совершенно отрицается, благодаря чему разрушается вся моральная культура. В учении же марксизма о классах и классовой борьбе автор усматривает только совершенно ненужное и неправомерное разрушение национальной и общественной солидарности, тормозящее мирное развитие социальной жизни.

Марксизм воспитывает в пролетариате как раз те чувства, которые препятствуют прогрессу общественного развития: чувство полнейшей изолированности, злобу, всеразрушающую ненависть. Воспитанный в таком духе пролетариат никогда не сможет ничего с о з д а т ь; единственно, на что он еще способен—это на разрушение старого строя и старой культуры. Следовательно, марксизм не в состоянии дать пролетариату правильного воспитания. Единственно правильным воспитанием является то, которое развивает чувство солидарности всех общественных классов и групп. Реформистская позиция автора, несмотря на упорное вуалирование ее, на всем протяжении доклада проявляется чрезвычайно ярко и достигает своего кульминационного пункта в заключительных словах, призывающих к мирному компромиссу «современного синдикализма с автономией и независимостью характеров». Заключительные слова автора были прерваны возгласами «юных коммунистов» (о чем он сам говорит в примечании), справедливо называвших его защитником современного буржуазного строя.

И. И. РУБИН, Современные экономисты на Западе. Оппенгеймер, Штольцман, Амонн, Петри, Лифман. Критические очерки. Гиз. 1927 г. Стр. 324.

Крупнейшие экономисты Запада говорят о кризисе современной политической экономии. Штольцман посвятил этому кризису даже специальную книгу. Еще не так давно экономическая мысль Запада находилась в плену психологического направления. Однако, австрийская школа, с которой связывался ренессанс буржуазной науки, перестройка всего здания экономической теории на новом, обновленном фундаменте оказалась беспомощной перед языком фактов, проявила себя неспособной анализировать реальные экономические явления современности. Ореол глубокой научности, который сопровождал психологическую теорию в ее триумфальном шествии по кафедрам университетов, в результате ее «побед» над враждебными направлениями, особенно над марксизмом,— с течением времени стал меркнуть. Отсюда — новые тенденции в развитии экономической мысли: или возрождение классической школы в так наз. неоклассицизме (Оппенгеймер), или сближение политической экономии с социологией (Штольцман, Амонн), или реформирование психологического метода (Лифман, Шумпетер). В рецензируемой книге нашли отражение эти основные направления западно-европейской экономической мысли. Первый очерк посвящается Францу Оппенгеймеру. Оппенгеймер задался целью дать новое обоснование об'ективной теории стоимости. Он считает себя завершителем учений классиков и Маркса. Исследование Оппенгеймера разбивается на три этапа, постепенно приближающие абстрактное исследование к реальной действительности: 1) доход производителя и стоимость продуктов в «обществе равных», 2) учение о квалификации, 3) учение о монополии. И. И. Рубин подробно прослеживает развертывание построений Оппенгеймера на каждом из этих этапов.

В «обществе равных», которое характеризуется абсолютным естественным равенством своих членов и которое является хозяйством натуральным, все производители получают равный доход, понимаемый в смысле совокупности потребительных благ. И. И. Рубин вскрывает глубоко противоречивый характер понятия равноценности дохода. Утверждение о равенстве и равноценности доходов бессмысленно, ибо оно не означает тожде-

ственность предметов потребления, не означает также равенство меновых стоимостей и «суб'ективных ценностей». Отсюда и несостоятельность формулы стоимости продукта $V=\frac{E}{n}$ (E — годовой доход, n — количество продуктов).

Основная методологическая ошибка Оппенгеймера—та же, что и австрийской школы—об'яснение закономерностей рыночного хозяйства, исходя из анализа натурального хозяйства.

На втором этапе своего анализа Оппенгеймер различает приобретенную и прирожденную квалификацию. Оппенгеймер сам признает, что в своем анализе приобретенной квалификации он повторяет приблизительно мысли Маркса, анализ же прирожденной квалификации у него построен на смешении учения Маркса об общественно - необходимом труде с проблемой квалифицированного труда.

Учение о монополии—третье «приближение» к реальной действительности. Как говорит Бухарин, Оппенгеймер смешивает «классовую монополию капиталистов и монополию внутри класса капиталистов», так как «монопольным доходом» в его понимании одинаково являются: 1) монополия в точном смысле этого слова, 2) прибавочная стоимость и 3) дифференциальная прибыль. Под монопольным доходом (следовательно, и прибавочной стоимостью) Оппенгеймер понимает дополнительный доход, присваиваемый определенными членами общества в силу их монопольной позиции. Прибавочная стоимость—разница между действительной стоимостью труда и заработной платой. Эта трактовка прибавочной стоимости является другой формулировкой воззрений Оппенгеймера на капитализм. Капитализм, по Оппенгеймеру, не система свободной конкуренции, а результат механического сложения «экономических» и «внеэкономических» сил. Свободная игра «естественных», «нормальных» законов свободной конкуренции нарушается «социальным» соотношением сил. Отсюда—обмен не-эквивалентов, прибавочная стоимость. Теория Оппенгеймера представляет собой воспроизводство учения утопистов о праве рабочего на полный продукт труда. Оппенгеймер, как мы видели, обещал дать всеоб'емлющую формулу стоимости, которая была бы применима и к монопольному обмену. Однако, если он, с одной стороны, утверждает, что во всех случаях обмена (также и монопольного) обмениваются «равные стоимости труда», то, с другой стороны, при монополии обмениваются не - эквиваленты. Как говорит И. И. Рубин, «Оппенгеймер должен отказаться либо от своей формулы стоимости, либо от своего учения о прибавочной стоимости» (стр. 65). В гл. 8 этого очерка Рубин разбирает Оппенгеймера, как критика Маркса. Таковы основные контуры очерка об Оппенгеймере. Достоинством очерка является глубокая критика внутренних противоречий системы Оппенгеймера. Однако автор оставляет вне поля своего зрения ее методологические основы. Если у некоторых экономистов социологические воззрения лежат «под спудом», и их можно так или иначе реставрировать анализом их экономической теории, то у Оппенгеймера дело значительно упрощается, так как он также крупный социолог. В интерпретации же Рубина, экономическая система Оппенгеймера выступает как deus ex machina, вне связи не только с его социально-политической программой, но и вне связи с его общей методологией. Нельзя, конечно, требовать, чтобы в небольшом очерке была освещена вся многогранная система Оппенгеймера, но специальная глава, посвященная его общей методологии, в другом свете представила бы и конструкцию его экономической системы. Однако Оппенгеймер не только ученый, но и социал-реформатор—«либеральный социалист». Причиной существования капиталистических отношений Оппенгеймер считает крупную поземельную собственность. Ее уничтожение—гибель капитализма, так как промышленность вынуждена была бы при растущем спросе на рабочих платить более высокую заработную плату. Здесь у Оппенгеймера точки соприкосновения с Генри Джорджем. Однако под румянами и мишурой этих «социалистических» деклараций скрывается попытка развернуть капиталистический строй на более широком базисе.

Второй очерк Рубин посвящает Штольцману. Идейные истоки, питавшие систему Штольцмана: 1) Маркс и Родбертус, 2) кантовская философия, 3) этическое направление экономической мысли. Штольцман различает «материю» хозяйства, подчиненную действию натуральных категорий и «социальное регулирование»—сфера социальных категорий. Социальное регулирование—совокупность норм и институтов—выступает в виде самостоятельной причинной цепи на ряду с натуральными условиями хозяйства, следовательно, между техническими и социальными причинами происходит взаимодействие. Такова первая ступень анализа Штольцмана—антитеза натуральных и социальных категорий. Однако, по Штольцману, социальное регулирование—продукт этически направленной, свободной воли человека. Таким образом, второй этап исследования—антитеза естественной необходимости и этической свободы.

На третьем этапе анализа Штольцман противопоставляет принцип каузальный принципу телеологическому, ибо только последний может дать окончательное об'яснение социального регулирования, как сферы свободно осуществляющихся этических целей. Отсюда вытекает и определение задач экономической науки—рассматривать народное хозяйство как этически целевое образование, воплощенное в урегулированной материи социальной жизни. Таким образом, монизму Маркса Штольцман противопоставляет свой дуализм. На основе изложенной методологии Штольцман строит свою экономическую систему. Стоимость, по Штольцману,—посредник распределения, стоимость должна выполнять функцию приспособления полезностей к трудовым затратам. Таким образом, закон стоимости—закон организованного общества. Цель хозяйственной жизни—равномерное распределение продуктов, средство—закон стоимости. Как говорит Рубин, «связь между явлениями стоимости и распределения — не причинного, а телеологического характера» (стр. 127). Ясно, что этот анализ тесно связан с методом Штольцмана. Регулирование, распределение и стоимость — логически замкнутая цепь. Распределение — целевая функция регулирования, стоимость же продукта должна быть достаточна, чтобы доставить трем классам общества заработную плату, прибыль и ренту. Таким образом, Штольцман устанавливает примат дохода над стоимостью — величина стоимости продуктов определяется величиною доходов отдельных классов общества. Как говорит И. И. Рубин, основная ошибка Штольцмана, что «об'ективный результат производства (доходы) он принимает за цель», а «об'ективную предпосылку этого результата (стоимость) за средство. Каузальная связь явлений переворачивается и истолковывается как телеологическая (стр. 145). Экономическая система Штольцмана является другой формулировкой его социально - органического метода. Главой «Штольцман как критик Маркса» заканчивается очерк, посвященный Штольцману. В этом очерке Рубин четко проводит водораздел между Марксом и Штольцманом, это тем более важно, что даже в марксистских кругах существует мнение, что Штольцман близок к Марксу. Подобно Марксу Штольцман проводит различие между материально - технической и социальной стороной производства. В этом сходство. Различие начинается с понимания социального. Если Маркс говорит о социальном отно-

шении, тесно связанном с производительными силами, если Маркс строит категорию «производственные отношения», то Штольцман в понятие «социальное регулирование» привносит телеологический и этико-юридический моменты. В самом деле. Теория Маркса построена на учении о «товарном фетишизме», которое предполагает вещное об'ективирование социальных отношений в результате взаимодействия людей на базисе их производственной деятельности. Штольцман, конечно, теорию товарного фетишизма не приемлет, ибо она не мирится с его телеологической установкой. Общество — взаимодействие людей, которое обусловлено стремлением людей к осуществлению высших этических целей. Социальное регулирование — практическая реализация этических сил. Достоинством очерка является его насыщенность методологией. Перед читателем проходят экономические воззрения Штольцмана на широком фоне его общей методологии. С литературной стороны этот очерк обилием повторений и цитат уступает первому.

3-й очерк посвящается Амонну. По Амонну—политическая экономия наука социальная. Как наука эмпирическая, она опирается на факты. Однако следует отличать «об'ект познания» от «об'екта наблюдения». «Об'ект наблюдения», как совокупность эмпирических фактов, дается суб'екту до всякого мышления. «Об'ект познания»—продукт целесообразной и сознательной деятельности научного мышления. «Об'ект наблюдения» политической экономии — мир хозяйственных явлений во всей его конкретности и непосредственной данности, «об'ект познания» — результат научного познания этих явлений с социальной точки зрения.

Об'ект теоретической экономии — социально обусловленные закономерности и правильности социальных отношений. Однако социальные отношения находятся в случайной эмпирической связи с процессом производства. Политическую экономию — по Амонну — интересует определенная форма социальных отношений, которая существует не только в сфере хозяйственных фактов. Итак, политическая экономия — наука социальная. Однако социальные отношения могут изучаться различными социальными науками. Отсюда необходимость уточнения понятия социальных отношений — об'екта теоретической экономии. Амонн строит новое понятие — «индивидуалистические отношения обмена», предпосылкой которых является определенный социальный строй. Необходимыми признаками этого социального строя являются четыре условия: 1) исключительная власть распоряжаться внешними об'ектами; 2) признание свободного обмена этой власти; 3) свобода определения количественной пропорции обмениваемых об'ектов; 4) признание всеобщего мерила стоимости.

«Об'ектом познания» теоретической экономии являются, следовательно, социальные отношения, которые имеют своей предпосылкой организацию общения, характеризуемую перечисленными четырьмя признаками.

Этот очерк построен по книге Амонна «Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie». Однако почему-то И. И. Рубин анализирует исключительно 1-ю часть этого труда. Между тем 2-я часть, трактующая об основных понятиях политической экономии, имеет значительный интерес, ибо эти понятия представляют собой экономическую формулировку общей методологии Амонна. Эти понятия дедуцируются Амонном из формального определения об'екта теоретической экономии. Мы перечислили четыре признака меновой социальной организации. Первому признаку соответствует понятие «суб'ект обмена». Амонн, однако, дает формальное определение этой категории, отрывая ее от производства и тем самым универсализируя ее. Ту же методологическую ошибку Амонн совершает в своей трактовке «об'екта обмена», соответствующего второму признаку менового социального строя. В своей теории стоимости он

синтезирует социальный и психологический метод, ибо считает, что цена, которую он отождествляет с меновой стоимостью, может быть об'яснена только на основании психологической категории суб'ективной стоимости, которая является последним раз'ясняющим принципом. Цену он определяет, как известное количество абстрактных, социальных, счетных единиц, — воскрешает, следовательно, концепцию Джемса Стюарта, построенную на грубом смешении функций мерила стоимости и масштаба цен.

Все эти категории, в понимании Амонна, носят ярко выраженный формальный характер, который является другой формулировкой формального взгляда на предмет политической экономии. Однако на этой ступени анализ Амонна не останавливается. Меновой социальный строй является логическим prins'ом по отношению к капитализму, который характеризуется кроме перечисленных четырех признаков — пятым, неравенством индивидуальной власти распоряжения в социальном обмене. Но и на этой ступени исследования Амонн остается верен своему анализу. Основная методологическая ошибка Амонна—отсутствие производственного отношения, отсутствие категории «общественного класса»—проявляется в трактовке отдельных категорий: капитал, деньги и др. Капитал, в его понимании,—социальное отношение имущественного неравенства. Противоположность между капиталистом и рабочим, по Амонну, базируется не на классовом базисе, а на имущественном неравенстве. Систематика категорий у Амонна явно формальная. В этом отношении интересно сопоставить его с Марксом: Амонн дедуцирует свои понятия из «об'екта» политической экономии. Все они, правда, социальны (в амонновском понимании социального), но между ними нет связи, они живут самостоятельной жизнью, формально об'единенные специфическим пониманием об'екта политической экономии. Не то у Маркса, где мы имеем поступательный переход одной категории в другую, диалектику абстрактных и конкретных категорий. Этот путь от абстрактного к конкретному освещен Марксом в «Введении»...

Весь этот круг вопросов И. И. Рубиным совершенно не затронут. Однако и анализ обще - методологических воззрений Амонна в рецензируемой книге не полон.

По существу И. И. Рубин весь огонь своей критики направляет на критику отрыва формы от содержания, социальных отношений от производства. В этой части автор устанавливает четкий водораздел между Амонном и Марксом. Однако автор не высказывает своего отношения к приводимому Амонном разграничению между «об'ектом опыта» и «об'ектом познания». Приемлемо ли это для марксиста или нет? Автор совершенно обходит молчанием устанавливаемое Амонном (вслед за Менгером) деление наук на теоретические и исторические. Это тем более важно, что некоторые марксисты считают это деление правильным.

Четвертый очерк посвящен разбору книги Петри «Der Soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie».

В отличие от разобранных выше экономистов, Петри не является автором собственной «системы». Его книга—своеобразная интерпретация Маркса. Петри—неокантианец, в отличие от «этической телеологии» Штольцмана, в данном случае можно говорить о «гносеологической телеологии». По Петри марксова система методологически «дуалистична, ибо она основана на «неестественном сочетании» идеалистической философии Гегеля с «материалистическими и естественно-научными задачами мышления». В теории стоимости этот дуализм проявляется в противоречии между каузальным методом, исходящим от Рикардо, и культурно-научной тенденцией. Каузальный метод Рикардо—естественно-научное об'яснение стоимости и цены, культурно-научный или критический метод—анализ социального содержания

стоимости и цены. Петри интересуется критической или социальной стороной метода Маркса. Маркс изучает не отношения между вещами, но «общественные отношения между людьми, как суб'ектами права». Меновое отношение, количественное отношение вещей друг к другу, можно представить, как производственное отношение, если от вещи перейти к человеческой личности. Этот переход Маркс совершает тем, что априорно рассматривает товары как продукты человеческого труда. Этот «априоризм труда» Петри связывает с учением Канта о примате практического разума, которое выделяет человека из природы своим «ценностным акцентом». В отличие от каузального об'яснения Рикардо, Маркс хочет вскрыть «социальный смысл» явлений обмена и распределения. Маркс не ставит себе целью найти причины изменений цен, вызываемых конкуренцией. Противоречие между первым и третьим томами «Капитала» это ясно показывает,—утверждает Петри. Маркс рассматривает различные доходы, как общественные отношения, как определенные «формы распоряжения человеческим трудом». «Социальная теория распределения» Маркса—анализ готовых результатов капиталистической конкуренции со стороны их социального содержания. Однако у Маркса каузальный и критический методы «неестественно» смешиваются. Эта своеобразная интерпретация Маркса целиком вытекает из разделяемого Петри риккертовского деления «наук о природе» и «наук о культуре». И. И. Рубин устанавливает две методологические ошибки Петри: 1) отрыв явлений стоимости от процесса материального производства; 2) идеалистическое истолкование связи между стоимостью и производственным отношением—«характеристика общественного отношения, как «трудового... не извлекается исследователем из самых реальных явлений, но привносится к ним извне, «примышляется» познающим суб'ектом» (стр. 229). Однако Петри, при всей неправильности своих построений, обнаруживает большой научный такт подчеркиванием, что для Маркса характерен его социологический метод. В приложении к своей книге, не затронутом Рубиным, Петри останавливается на теории денег Маркса, где он подчеркивает социологическую сторону этой категории. Этим очерком заканчивается анализ «социального» направления.

Последний, пятый, очерк посвящен психологическому направлению—Лифману. В этом очерке И. И. Рубин обстоятельно разбирает концепцию Лифмана на всех ее этапах анализа. Этот блестяще написанный очерк развенчивает систему Лифмана, претендующего на реформатора науки, на второго Рикардо, открывшего новую эру в развитии экономической мысли. Размеры рецензии не позволяют нам проследить развертывание аргументации Рубина. Отметим лишь основные вехи. В первой главе «Психическая концепция хозяйства»—Рубин излагает принципы, послужившие Лифману методологическим орудием для познания капитализма. Так, напр., хозяйствовать по Лифману, значит сравнивать чувства удовольствия и неудовольствия на основе экономического принципа. Издержки, полезность, выручка—психические категории. A priori, можно сказать, что с такой «методологией» далеко не уедешь. В этой главе Рубин доказывает неприменимость психической концепции к хозяйству индивида, рассматриваемому как одно целое. Во второй главе, «Денежное хозяйство», анализ усложняется: Рубин рассматривает единичное хозяйство, как единство приобретательского и потребительского. В третьей главе, «Капиталистическое хозяйство», единичное хозяйство индивида выступает в виде единичного хозяйства рабочего и единичного хозяйства капиталиста. Четвертая глава—«Теория цен». На всех этапах своего анализа И. И. Рубин вскрывает несостоятельность лифмановской системы, вытекающей из внутренне противоречивой задачи—об'яснения реальных явлений капиталистической действительности при помощи психической концепции.

Рецензируемая книга восполняет существенный пробел в нашей экономической литературе, ибо, кроме классического исследования Бухарина об австрийской школе, у нас нет почти работ о западно-европейских экономистах. Очерки, конечно, не дают исчерпывающий анализ той или иной системы. Это дело специальных монографий. Но основное, характерное в том или ином экономисте они выявляют. Кроме недостаточно развернутого методологического анализа в упрек автору нужно поставить отсутствие специального очерка, посвященного «окружению» разобранных экономистов. Мы говорим не столько о «социологическом эквиваленте» каждого из них, сколько о связи их учений с общим состоянием экономической мысли на Западе. Отрывочные замечания, имеющиеся в книге, явно недостаточны. Рецензируемая книга интересна и содержательна. Интересна—новизной и злободневностью темы, содержательна—глубиной марксистского анализа.

А. Реузль.

Д. РОЗЕНБЕРГ. Программа по политической экономии. С комментариями, заданиями и указателем литературы. Гиз. 1928.

Перед нами лежит только что вышедшая «Программа по политической экономии». Казалось бы, что мы имеем достаточное количество подобных программ и пособий, и добавим, все же, несмотря на такое их перепроизводство, не имеем почти ни одной программы, которую можно было рекомендовать без обиняков. Но уже беглый просмотр данной книжки т. Д. Розенберга с несомненностью показывает, что мы имеем тут дело далеко не с заурядным явлением; это же беглое знакомство свидетельствует и о том, что мы, наконец, имеем именно то, чего у нас до сих пор не было и в чем была такая настоятельная нужда. Все это заставляет нас внимательнее присмотреться к этой программе и посвятить ей некоторое количество строк.

Прежде всего, в ней мы имеем совершенно «новое» расположение материала; мимоходом заметим, что в своей педагогической практике мы пришли совершенно независимо от автора программы к точно такому же «новому» построению программы. Мы говорим «новому» в кавычках, ибо это «новое» расположение ново лишь по сравнению с обычными программами, однако оно насчитывает за собой изрядное количество лет; коротко говоря, программа в последовательности тем следует за расположением материала в трех томах «Капитала».

Здесь нам придется, хотя это и не принято в рецензиях, сказать несколько слов по вопросу о методике и методологии и их взаимной увязке. Последние годы сопровождались шатаниями и исканиями и в области методологии—правда, здесь поле для таких шатаний по самому существу дела не может быть весьма обширным, так в особенности и в области методики; в последней диапазон исканий был куда шире, можно даже сказать, что практически он не имел границ. Во всяком случае, методика при этом преблагополучно отрывалась от методологии, иной раз они сшибались даже лбами. Если, дескать, в методологических целях материал должен быть расположен так-то и так, то из соображений методики мы должны начать совершенно с другого конца, поступить как раз наоборот. С протестом против такого противопоставления метода и методики несколько лет назад выступил один автор (М. Кривицкий, Политическая экономия. Методология и методика, 1925 г.), и выступил вполне справедливо. Педагогический опыт т. Розенберга, очевидно, привел его к убеждению в невозможности такого отрыва методики от методологии; к тому же привел тот же педагогический опыт и пишущего эти строки. Правильная методическая постановка вопроса влечет за собой и правильное усвоение темы учащимся и притом с минимальной затратой энергии. Но эта правильная постановка предполагает и постановку

проблем на их надлежащем месте; тем самым достигается также и взаимная увязка всех проблем. Логическое же место каждой проблемы всецело диктуется методологией. Единство методики и методологии—это основное условие правильно разработанной программы—как раз и отличает рецензируемую нами программу; именно поэтому ее следует горячо рекомендовать всякому, имеющему какое-либо отношение к политической экономии. Но она обладает и рядом других чрезвычайно существенных достоинств. Прежде всего в ней есть стержень, что является лишь естественным результатом вышеуказанной увязки. Поэтому она представляет логически увязанное целое. В самом деле, стоит взять обычные, широко распространенные программы, построенные на разрыве методики с методологией, или же на неглижировании этой тесной связью, то сразу же бросается в глаза отсутствие этого стержня; проблемы чередуются в самом случайном порядке или в самом случайном беспорядке. По существу всякая такая программа распадается на ряд отдельных самостоятельных очерков; но при этих же условиях общая картина экономической системы Маркса просто исчезает. Приведем только два-три примера; излагая теорию денег, «по совокупности» излагают золото и бумажные и кредитные деньги. Но кредитные деньги предполагают знание кредита, без такового знания они—звук пустой. В лучшем случае, учащийся просто заучит несколько определений, а когда вы ему покажете реальную кредитную бумажку, то он ее не узнает, т.-е. не определит вам ее экономическую природу. Дальше, после раздела о прибавочной ценности иной раз переходят прямо к цене производства. Но цена производства образуется в сфере обращения, в которой и происходит распределение прибавочной ценности вообще; эти же определенности форм,—а реальным наполнением одной из таких форм и является средняя прибыль и цена производства—образуются лишь в процессе обращения; но что такое процесс обращения—учащемуся еще ничего не известно. Неясным остается и существо цены производства; в лучшем случае усваивается лишь внешняя сторона. Еще пример. Воспроизводство—и совершенно напрасно, как справедливо говорит т. Розенберг—переносится ближе к концу и связывается с теорией кризисов. Но тут встает затруднение следующего порядка. При трактовке проблемы воспроизводства (в конце II тома) Маркс исходит из предположения, что товары реализуются по ценности; при этом изучается капиталистическое воспроизводство. Но учащиеся уже знают, что в капиталистическом обществе товары продаются не по ценностям, а по ценам производства. Следовательно, у них естественно встает вопрос о правомерности такого предположения. А с другой стороны при этом неизбежны стремления в самих схемах найти кризисы, когда их там не дано, ибо в данном случае Маркс абстрагировался от всего того, что обусловливает кризисы. При этом же наиболее существенное и главное в теории кризисов—основное противоречие капиталистического способа производства сводится к роли какого-то рудимента, а на первый план выпячивается диспропорциональность вкупе с анархией производства.

Повторяем, существует естественный порядок расположения материала; им является порядок расположения проблем, принятый Марксом и Энгельсом в «Капитале». Этому порядку следует и т. Розенберг; но благодаря этому в данной программе занимает свое настоящее место, т.-е. выдвигаются на первый план, те проблемы, которые имеют чрезвычайно большое теоретическое (и практическое—добавим в скобках) значение, и которые, несмотря на это, обычно отодвигаются куда-то на задний план, что и приходится констатировать т. Розенбергу в своих указателях литературы.

Всячески приветствуя поэтому этот план построения курса, мы все же должны с своей стороны высказать несколько замечаний; необходимость их может быть мотивирована также и тем, что несомненно последуют

и новые издания брошюры. Кроме того, хотя программа и предназначена, по мысли автора, для совпартшкол II ступени и для тех, кто пожелал бы ознакомиться путем самообразования с политической экономией в этих пределах, однако ее смело можно рекомендовать и любому вузовцу; более того, она может оказаться весьма полезной также и преподавателю вуза.

Программа разбита на семь разделов. Первый охватывает проблемы товарного производства вообще, т.-е. стоимость и деньги; второй—производство прибавочной стоимости и производство капитала; третий—обращение капитала (включая и воспроизводство всего общественного капитала); четвертый—процесс капиталистического производства, взятый в целом,—т.-е. в общем охватывает содержание III тома «Капитала (включая и теорию кризисов); пятый—империализм; шестой посвящен экономике СССР и в седьмом разделе ставится вопрос о предмете и методе политической экономии.

Наши замечания начнем с конца. Хотя отнесение на конец темы о предмете и методе политической экономии, вообще говоря, вполне целесообразно; хотя в настоящем виде программа внешне имеет вид цельной и увязанной программы, однако с точки зрения логической увязки,—со стороны внутреннего смысла и содержания,—было бы целесообразнее эту тему поставить перед предыдущей темой. Ибо экономика СССР имеет уже иной предмет, более того, при переходе к ее изучению приходится специально ставить вопрос о методе. При указываемом нами расположении подведение итогов было бы непосредственным введением к изучению иной экономической формации, ибо и экономика переходного периода есть все же нечто весьма отличное, чем капиталистическая формация общества. Правда, при этом, может быть, пострадала бы внешняя архитектоника программы; но это не так уже важно.

Далее, в разделе об империализме первое занятие посвящено теме «от свободной конкуренции к монополиям». Здесь охватываются три вопроса: во-первых, ставится вопрос об основных тенденциях развития капитализма—его переход в стадию монополистического капитализма, далее второй пункт посвящен характеристике акционерной формы предприятия и всем тем понятиям и категориям, которые с ней связаны, в третьем пункте—вопрос идет о монополистических организациях капиталистов. Следующее же занятие посвящено процессу монополизации в сфере банков, сращиванию банковского капитала с промышленным,—одним словом, тому, что называется финансовым капиталом. Такой порядок нам кажется несколько искусственным. Гораздо целесообразнее,—и логически это лучше увязывается,—если бы пункт об акционерных обществах был бы выделен в самостоятельный отдел, который должен быть помещен непосредственно перед разделом об империализме. Ведь акционерная форма не есть нечто, необходимо связанное только с империализмом; с акционерными обществами мы встречаемся и раньше, до перехода капитализма к его последней фазе. Правда, она является важной предпосылкой для такого перехода, в значительной степени даже и стимулирующей этот переход, но все же она только предпосылка. С другой стороны, развитие акционерной формы родит новые определенности форм: как отмечает и т. Розенберг, здесь происходит расщепление капитала на капитал-собственность и капитал-функцию, при чем первый становится фиктивным капиталом; здесь появляется такая новая категория, как дивиденд, которая замещает прибыль и т. д. Наконец, здесь общественность процесса производства принимает новый смысл. Все это подчеркнуто у т. Розенберга, но нам думается, что это может явиться предметом отдельного раздела, промежуточного между классическим и монополистическим капитализмом. Правда, практически это трудно сделать, ориентируясь на существующую литературу.

В этом случае раздел об империализме принял бы другой вид; помимо исключения акционерной формы, здесь мы считали бы более целесообразным соединить в одно процесс монополизации в двух сферах—в области промышленности и в области банков. По существу это лишь две стороны одного и того же процесса монополизации.

Последнее замечание касается места «заработной платы». Мы предложили бы перенести ее несколько дальше и поставить в начале четвертого раздела. Под заработной платой мы разумеем здесь, конечно, превращенную форму цены рабочей силы. Подобное отступление от порядка, принятого Марксом, может быть мотивировано тем, что как раз данный отдел о заработной плате у Маркса может представить великолепное методологическое введение ко всем проблемам третьего тома. Ибо тут мы находим буквально классические места относительно как методов изучения экономических явлений вообще, так и более близкую характеристику капиталистической действительности, как определенной сущности, замаскированной внешней видимостью. Подобная же маскировка действительных отношений, это—тот общий фон, на котором строятся все проблемы третьего тома. В конце его мы снова встречаемся с всеохватывающей по своей широте и глубине постановкой того же вопроса о маскировке в известной главе о «триединой формуле».

Прежде чем перейти к обзору отдельных разделов, нам нужно сделать по поводу рецензируемой «программы» еще три замечания более общего характера; из них два—скорее формального характера и одно—по существу.

Первое касается, так сказать, самого оформления книги. Каждое занятие начинается с характеристики темы, далее идут методологические указания относительно самого содержания разбираемой проблемы. Здесь т. Розенберг стремится дать определенную теоретическую установку для того, чтобы занимающийся по этой программе мог лучше усвоить материал; по отношению к каждой проблеме подчеркивается гвоздь данной проблемы, указывается на ее логическое место в общей экономической системе, тем самым она логически увязывается со всеми остальными частями. В результате, разбираемая проблема выступает не в качестве какого-то самостоятельного вопроса, лишь искусственно вкрапленного в ряд других вопросов, она выступает как органическая часть единого целого, лишь как один из этапов развития всей экономической научной системы. Тут можно бы, пожалуй, с первого взгляда говорить о растянутости этих указаний. Ибо «Программа по полит. экономии» представляет довольно об'емистую книжку, размером около 10 печатных листов. Но это на самом деле не так; эти методические указания говорят только необходимое, но не более; навряд ли их можно сократить без ущерба для существа. Не нужно забывать, что она предназначена и для тех, кто будет проходить политическую экономию в порядке самообразования; для них она является замещением указаний руководителя. А кроме того, т. Розенбергу приходится во многих случаях давать не только такие указания, но отчасти и излагать содержание некоторых проблем за почти полным отсутствием их изложения в рекомендуемых учебниках. В итоге, нужно прийти к выводу, что сказано только необходимое; и все сказанное обладает очень большой ценностью; настоящий об'ем книги мы считаем поэтому вполне оправданным.

Второе замечание касается указателя литературы; в «Программе» указана лишь минимальная, необходимая литература. Нам думается, что эти указатели должны быть значительно расширены; на ряду с указанной минимальной литературой должна быть указана дополнительная, не обязательная литература. Для вузовца и даже для преподавателя вузов—а они, несомненно, будут пользоваться данной программой —такие дальнейшие указания будут особенно полезны; мы имеем здесь в виду, главным образом, провинциальные

вузы. А для читателей в порядке самообразования эти указания послужат некоторыми вехами, ориентирующими их в дальнейшей работе, если они пожелают познакомиться с политической экономией более основательно.

Третье наше замечание по существу сводится к следующему: т. Розенберг дает обычное определение политической экономии, как науки о производственных отношениях капиталистического общества в их вещной форме. Он очень хорошо делает, что все время подчеркивает эту в е щ н у ю форму. Но этого недостаточно; и эта недостаточность лучше всего доказывается тем, что действительное содержание науки, которое он излагает на протяжении всех страниц своей книги, оказывается гораздо шире; ему приходится подчеркивать также и те движения, которые происходят в этой вещной форме, вызванные и обусловленные наличностью определенной формы производственных отношений. А это движение вещей и сводится к развитию производительных сил.

Так, когда т. Розенберг пишет, «что нас интересует другое: как машина влияет на производственные отношения, в первую очередь между рабочими и капиталистами» (стр. 39), то он упускает, по крайней мере в этом месте, другую сторону, а именно, что та же машина, или вернее развитие системы машин, вызванное наличностью определенных производственных отношений, является в то же время развитием производительных сил. В других замечаниях эта сторона дела совершенно верно выдвинута на первый план. Это противоречие между данным определением предмета политической экономии и тем предметом, который фактически изучается в данной книжке, влечет за собой некоторое смазывание, отсутствие четкости в постановке ряда проблем. А кроме того, это приводит также и к такому положению т. Розенберга, что Маркс абстрагировал форму от содержания (при анализе товара и др. категорий), чего не сделали классики. И т. Розенберг тут же цитирует Зомбарта, который указывает, что Маркс, абстрагируя форму от содержания, открыл капиталистическое общество. Но вопрос весь в том, к а к абстрагировать. Зомбарт начисто абстрагирует форму от заключающегося в ней содержания, эту абстракцию помещает дальше в голову исследователя, тем самым превращая ее в орудие познания, и только. Маркс же р а з л и ч а л форму от содержания; для него — это противоположные полюсы, но внутри единства. Но мы видим, что даваемая т. Розенбергом трактовка предмета политической экономии очень хорошо может быть увязана с концепцией Зомбарта.

Несмотря на данное определение, повторяем, фактически у т. Розенберга,—и с этим мы согласны на все 100%,—изучается единство производительных сил и производственных отношений; иными словами, в ней изучается то, каким образом внутри данной формы производственных отношений и благодаря этой форме происходит развитие производительных сил и как на определенной ступени развития развившиеся производительные силы неизбежно приходят в противоречие с данной системой производственных отношений; этим ведь и обусловливается неминуемая неизбежность краха капитализма.

Поэтому было бы очень целесообразно устранить это несоответствие и дать такое определение предмета политической экономии, которое вытекает из всего содержания книги.

Нам остается только отметить некоторые, наиболее важные, неувязки в более детальной разработке отдельных тем.

Так в отделе первом, посвященном товару и стоимости, во-первых, слишком мало внимания уделено вопросу о стоимости и меновой стоимости; форма меновой стоимости все же далеко не маловажная категория и играет большую роль в построении экономической системы Маркса. Во-вторых,

дано исключительно физиологическое толкование абстрактного труда; правда, тут же говорится о том, что это абстрагирование совершается самим товарным производством. В этом тов. Розенберг и зидит другую—социально-историческую—сторону абстрактного труда. Но эта сторона затем тотчас же целиком попадает в характеристику труда, как общественно-необходимого труда, который противопоставляется частному индивидуальному труду. Поэтому в понятии абстрактного труда тов. Розенберга фактически остается одна только физиология. На самом деле, абстрактный труд противопоставляется частному индивидуальному труду; конечно, из понятия абстрактного труда нельзя выбрасывать физиологию, иначе мы сейчас же перескочим в царство теней; но все дело в том, что эта физиологическая трата энергии есть трата энергии отдельного автономного производителя, и абстракция при этом производится не от конкретной формы траты энергии, абстрагируются от этой конкретности именно по той причине, что она в товарном обществе всегда характеризует частный индивидуальный характер труда. Трата энергии в товарном обществе—всегда трата энергии отдельного самостоятельного производителя. В общественно же необходимом труде вопрос идет об индивидуальном или общественно-необходимом количестве затраченного труда.

Больше возражений вызывает трактовка формы стоимости после изложения стоимости. Форма (а не формы, но у тов. Розенберга и идет речь о форме) стоимости как раз и характеризует стоимость исторически. Между тем, в «Программе» вопрос об историческом характере категории стоимости решается до постановки вопроса о форме стоимости. Это нужно признать очень существенной неувязкой.

В итоге, несмотря на ряд отдельных неувязок и недостатков, «Программу» тов. Розенберга нужно считать весьма ценным вкладом в нашу сравнительно небогатую методическую литературу. Со своей стороны выразим также и пожелание, чтобы она получила самое широкое распространение.

Издана книжка весьма небрежно. Имеется ряд искажающих смысл опечаток, что является совершенно недопустимым для изданий такого характера. Так, на стр. 35 в заголовке «Погоня за относительной прибавочной стоимостью как стимул технического прогресса» вместо подчеркнутого слова «относительной» напечатано «абсолютной». На стр. 77 закон падения нормы прибыли «толкает к укреплению предприятий», тогда как нужно «к укрупнению». На стр. 95 говорится, что монопольная рента вытекает из того, что рыночные цены выше цены производства, тогда как нужно «выше стоимости». На стр. 108 имеем: «На самом деле, акционер получает только процент, а капитализированная предпринимательская прибыль достается акционерам», — нужно, конечно, «учредителям». На стр. 128 вместо «социологическими» напечатано «социалистическими».

В. Позняков.

Л. ИВИН, Англо-французское соперничество 1919—1927 гг. С предисловием Е. Б. Пашуканиса. Госиздат. 1928 г. Стр. 164. Ц. 1 р. 60 коп.

Работа Л. Иванова посвящена одному из интереснейших вопросов современной международной политики. Соперничество между двумя крупнейшими империалистическими державами Европы—Великобританией и Францией, по словам автора, составляет главное содержание европейской политики с момента заключения Версальского мирного договора до настоящего момента. В основе этого соперничества лежит противоречие интересов названных двух государств, имеющее давнее происхождение, но за последнее время изменившее свой характер под влиянием внутренних экономических превращений обеих стран.

Франция, до войны бывшая по преимуществу аграрной страной и страной банковского капитала, во время мировой войны и особенно после нее, превращается в страну по преимуществу индустриальную. Промышленный капитал в ней об'единяется, появляются концерны, которые, как особенно пресловутый «Comité des Forges» (металлургический и машиностроительный трест), диктуют французскому правительству его политику. Напротив, Англия, которая некогда была по преимуществу страной индустриальной, начала уже до войны, а в особенности после нее, переживать длительный промышленный кризис, при чем доминирующая роль перешла здесь от индустриального капитала к банковскому. Последний, об'единившись, начал диктовать английскому правительству как внутреннюю, так и внешнюю политику. Некогда характерная для Англии «островная точка зрения» отошла в прошлое и заменилась точкой зрения мировой финансовой державы. Этим изменением внутренней экономической структуры обеих стран и определяется характер англо-французской борьбы за гегемонию в Европе (в частности, в бассейне Средиземного моря), а также в других местах.

В систематическом конфликте, каждый раз принимающем новые формы в зависимости от условий места и времени, Франция в общем и целом терпит ряд поражений, которые в конечном счете обусловливаются растущей зависимостью Франции от английской и американской бирж. Рассматриваемая книга характеризует все перипетии, разноречия и столкновения в вопросах военном, репарационном, о военных долгах, о безопасности (проблема гарантий) и т. д. и показывает, что во всех этих вопросах Франция вынуждена была в конце концов отступить перед давлением Англии, которая ловкими дипломатическими ходами и финансовым нажимом постепенно парализовала стремление Франции к гегемонии в Европе. В частности, автор доказывает, что Франция явилась страной, наиболее пострадавшей от локарнских соглашений, вовлекших Германию в орбиту влияния британского империализма.

Противоречие интересов Англии и Франции сказывается и в других сферах международной политики. На берегах Балтийского моря Англия сумела постепенно вытеснить Францию. Этот дипломатический перевес Англии сказался даже в Польше, за последнее время поворачивающей от Франции к Великобритании. Такое же поражение Франция понесла и в области дунайской политики. Французский план установления гегемонии в Восточной и Центральной Европе на основе союза с Польшей и Чехо-Словакией, ныне окончательно разрушен британской дипломатией. Англия содействует сближению Венгрии с Италией, выдвигает проект нового союза Италии, Румынии, Венгрии и Болгарии, муссирует план Балканского Локарно, который равносилен уничтожению Малой Антанты, и в проведении этого плана находит мощную поддержку со стороны фашистской Италии, которая становится одним из орудий Англии в нажиме ее на Францию. Такая же борьба происходит и в Азии, и в Африке. В Сирии Англия поддерживает восстание против Франции, наносит ей ряд дипломатических поражений в Турции, в Афганистане и даже в далекой Абиссинии (правда, Франция не остается в долгу и со своей стороны поддерживает Турцию в 1922 году, а через своих агентов возбуждает волнение в Бирме в 1925 году). Таковы дружеские отношения «дорогих союзников».

Не менее ожесточенная борьба происходит между Англией и Францией в Лиге Наций. И здесь Англии постепенно удается вытеснить Францию с руководящих постов и превратить Лигу Наций в свое орудие. Франция начинает понимать, что для обеспечения своей самостоятельности ей необходимо добиться непосредственного экономического и политического сбли-

жения с Германией. Но и это сближение систематически срывается Англией с помощью целой серии ловко задуманных и планомерно проводимых дипломатических ходов.

Несмотря на лицемерные уверения во взаимной дружбе, оба империалистических хищника не перестают готовиться к столкновению. Параллельно с дипломатическим соперничеством идет нескончаемое соревнование в области вооружений. Англия стремится к обессилению Франции, а последняя подводит мины против английского господства на морях. Характерно, что оба союзника считают друг друга своим опаснейшим и заклятым врагом. В то время, как Франция, неспособная конкурировать с Англией в постройке крупных линейных кораблей, стремится обзавестись максимальным числом легких крейсеров и подводных лодок, а также могучим воздушным флотом, угрожающим Англии налетами, Великобритания за последние годы строит громадные подводные лодки, явно предназначенные для истребления французских субмарин, и создает сильнейший военный флот для борьбы с Францией и, в частности, для отражения возможного нападения со стороны своей дорогой союзницы. Состоявшийся за последнее время перевод главных английских морских сил в Средиземное море явно предназначен для угрозы морским сообщениям Франции, в частности с ее африканскими колониями.

Так обстоит дело в капиталистическом мире, подготовляющем новую мировую бойню. Но дипломатические победы Англии над Францией имеют и свою специфическую сторону, особенно интересующую нас. Дело в том, что все успехи Англии одним своим острием направлены против Франции, а другим обращены против СССР, которому Англия подготовляет дипломатическое и военное окружение. Рассмотрению этого вопроса посвящена последняя (10-я) глава книги Л. Иванова, впрочем, намечающая лишь самую общую схему его. Мысль автора сводится к тому, что, в то время, как весь господствующий класс Англии враждебно настроен против Советской Республики, во Франции наблюдается расхождение точек зрений между различными французскими группировками. По мнению Иванова, Франция, угрожаемая расширением английского влияния, заинтересована в общих действиях против агрессивного британского империализма с другими государствами, против которых направлена империалистическая политика Англии. Среди этих государств первым является Советский Союз. Но сумеет ли Франция избрать путь самостоятельной внешней политики, свободной от давления английского и американского капитала,—на этот вопрос автор рассматриваемой книги не решается ответить с уверенностью, да и трудно сейчас дать на него более или менее точный ответ.

Таково в общем содержание интересной книги Л. Иванова, использовавшего доступный исследователю материал и представившего в ней сводку, глубоко занимательную для читателя нашей страны, которая является, пожалуй, главным об'ектом британских вожделений. Уже одно это обстоятельство обеспечивает книге успех среди нашей читательской публики, интересующейся вопросами международной политики.

Ю. С.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ.

Письмо в редакцию.

Глубокоуважаемый товарищ редактор!

Прошу не отказать поместить в вашем журнале нижеследующее письмо в редакцию:

В своем обширном обзоре: «О нашем философском развитии за 10 лет революции», помещенном в №№ 10/11 и 12 «Под Знаменем Марксизма» за 1927 год, тов. Г. Баммель, между прочим, касается и моей статьи: «К вопросу о философском наследстве» («Научн. Известия Смол. Гос. Ун-та», т. II). Он приводит несколько цитат из нее и пытается установить место ее в наших философских спорах за последнее 10-летие. В характеристику моей точки зрения вкрались, однако, две очень крупные неточности, которые, во избежание дальнейших недоразумений, я считаю необходимым отметить:

1. Тов. Баммель пишет (стр. 67, № 10/11): «По мнению Миллера, фундаментальная ошибка «последователей Плеханова» состоит в том, что они вообще говорили о философии и философском обосновании частных наук или о материализме, как философской основе марксизма, в то время как никакой философии для марксиста не может быть». Здесь в подчеркнутых мною местах тов. Баммель два раза приписывает мне полное отрицание философии. Между тем, достаточно прочесть только небольшую главу моей статьи, посвященную специально этому вопросу (она носит заглавие: «Философия и «философия»»), чтобы убедиться, что я не только не отрицаю философию, но, наоборот, отвожу ей очень крупное и почетное место в нашем знании и лишь отвергаю известные стороны старой философии («философию» в кавычках).

2. Как в указанном месте, так отчасти в 12-й книге «Под Знаменем Марксизма» (стр. 43) Баммель характеризует мою статью, прежде всего, как выступление «против «плехановского», т.-е. установившегося в марксизме, отношения к философии», или как «движение против Плеханова». Между тем, в указанной статье я неоднократно (напр., на стр. 20 и 22), подчеркиваю громадные заслуги Плеханова по развертыванию философской стороны марксизма. Все острие моей статьи направлено, прежде всего, против кантианства, а затем против махизма, как некоторой надстройки над кантианством. Только в связи с этой полемикой против кантианства и махизма я считал полезным отметить опасность некоторых выражений Плеханова (опасность в насыщенной кантианскими предпосылками атмосфере, которая сильно давала себя чувствовать во время написания статьи в 1916 г., а отчасти в первые годы после Октябрьской революции). Вдобавок я несколько раз (особенно решительно на стр. 21) оговариваюсь, что, «если иметь в виду самого Плеханова, а не его молодых учеников, отнюдь нельзя говорить о прямом влиянии Канта, а лишь о совершенно косвенном, через посредство стихийного давления «общественных запросов» и притом не столько на самые мысли, сколько на навязанную обстоятельствами форму их изложения».

Из двух указанных неточностей, естественно, вытекает у Баммеля приравнивание моих выводов ко взглядам тов. Минина и проф. Рожицына. Но солидарность с этими авторами я должен решительно отклонить. Когда появилась статья Минина: «Философию за борт!», я начал было даже немедленно писать ответ, и лишь потому не окончил начатую статью, что в журнале «Под Знаменем Марксизма» тотчас же появилось опровержение его точки зрения. Также точно я всегда чрезвычайно отрицательно относился к писаниям проф. Рожицына и, в частности, к его интегральному отклонению плехановской точки зрения на философию марксизма.

Считаю необходимым прибавить еще, что под «молодыми последователями Плеханова» я в 1916 году (когда писалась статья) не разумел и не мог разуметь тех товарищей, которые теперь группируются вокруг журнала «Под Знаменем Марксизма», а совершенно иных лиц, которых наблюдал вокруг себя (напр., в Ленинградском университете) и из которых кое-кто перекочевал теперь даже в лагерь механистов.

С товарищеским приветом *В. Миллер.*

В редакцию „Под Знаменем Марксизма".

Уважаемые товарищи!

Просим поместить в ближайшем номере журнала «Под Знаменем Марксизма» нижеследующее письмо.

В № 10—11 вашего журнала за 1927 г. напечатана статья И. Разумовского, в которой автор возводит на нас, нижеподписавшихся, ряд серьезных обвинений. Казалось бы, такие обвинения, как «левокоммунистическая фраза», прикрывающая «социал-демократическое» существо, когда они выдвигаются против членов партии, которым с санкции высших партийных органов поручена ответственная академическая работа, не должны были бы выдвигаться голословно и должны были бы сколько-нибудь подтверждаться фактами. И. Разумовский, однако, позволяет себе голословные обвинения, в которых смешаны стремление внушить между строк читателю представления, не отвечающие действительности, и легкомысленное суждение о предмете, с которым автор незнаком. Что касается, в частности, тов. Раевича, то в отношении него верно лишь то, что он ранее (в 1922—1924 гг.) разделял некоторые ошибки А. Гойхбарга. Утверждение же, что он рассматривал нэп, исключительно как отступление, есть не что иное, как явная неправда.

При помощи двусмысленного намека отнесен к «гойхбаргианцам» также и Ф. И. Вольфсон. Его «гойхбаргианство» усмотрено критиком в том, что он... считает ряд статей Г. К. классовыми нормами. И. Разумовский берет даже слово «классовый» в иронические кавычки. (А ведь отрицание классового характера нашего гражданского законодательства составляет специфическую особенность «правожизненцев»). Неосновательность рассуждений автора здесь особенно бросается в глаза: ведь, по сути дела, И. Разумовский оспаривает то положение, что Г. К. устанавливает грань, отделяющую законный интерес всякого гражданина, действующего в современном экономическом обороте, от того, что является злоупотреблением нэпом, и что «во всех государствах легально», но чего «мы легализовать не хотим». Эта мысль принадлежит никому иному, как В. И. Ленину. Укажем кстати еще и то, что формула «классовые статьи Г. К.» принята и V с'ездом деятелей юстиции после двухлетнего опыта применения этого кодекса.

С. Раевич.
Ф. Вольфсон.

Вынужденный ответ.

Письмо тт. Вольфсона и Раевича способно вызвать только недоумение.

Что, в самом деле, «опровергают» названные товарищи? Могут ли они опровергнуть то обстоятельство, что внимание т. Вольфсона—в его учебнике—сосредотачивалось на так наз. «классовых» статьях Г. К.? Или подтверждаемый ими самими факт временного родства душ у т. Раевича с А. Г. Гойхбаргом? Или, быть может, их обидело замечание в моей статье — о «лево-коммунистической фразе» и социал-демократической тенденции? Так разве товарищи не отдают себе отчета в том, что речь идет не о каком-либо сочувствии социал-демократии, а о социал-демократическом теоретическом уклоне?

Разве не писал т. Стучка по поводу того же учебника т. Вольфсона («Революция права» № 2, 1927, стр. 123—125), что некоторые положения автора «очень близко подходят к выводам, выдвинутым об'единенной оппозицией»? Разве взгляды А. Г. Гойхбарга, к которым одно время примыкал т. Раевич, не получили в нашей литературе исчерпывающее освещение, как перенесенная на советскую почву теория юридического социализма, как братание с Дюги и Гедеманом? (см. сборн. и журнал «Революция права»). Так почему же «опровергатели» вместо того, чтобы адресоваться по этому поводу в специальный теоретико-юридический журнал, предпочитают метать громы и молнии по поводу скромной обзорной статьи методологического характера?

И. Разумовский.

Условия приема в Институт Красной Профессуры на 1928—29 учебный год на подготовительное отделение.

§ 1. Подготовительное отделение имеет своей задачей подготовку к поступлению в ИКП. Срок пребывания на отделении устанавливается 2-летний.

§ 2. Подготовительное отделение имеет единую программу и на отделения не разбивается.

§ 3. На подготовительное отделение принимаются члены ВКП(б), по преимуществу рабочие и вышедшие из рабочей среды, в возрасте не более 27 лет и обладающие. 1) не менее, чем трехлетним партийным стажем и опытом массовой работы; 2) общеобразовательной подготовкой в об'еме курса рабфаков.

§ 4. Кандидаты на подготовительное отделение командируются окружными, губернскими и краевыми комитетами ВКП(б), ЦК нацкомпартий и ЦК ВКП(б), при чем товарищи, идущие по разверстке для рабфаков и комвузов, намечаются президиумами рабфаков и правлениями комвузов и утверждаются соответствующими партийными организациями.

§ 5. Товарищи, идущие в счет разверстки комвузов и рабфаков, должны представить в правление ИКП (Остоженка, 53), не позднее 1 июля, идущие по разверсткам парткомов и др. организаций — к 15 июня с. г.: 1) заявление с указанием адреса, 2) краткую автобиографию, 3) засвидетельствованный партстаж, 4) командировку партийного комитета, а также 5) удостоверение об окончании рабфака или другого учебного заведения, если оно проходилось товарищем; 6) копию воинского документа и 7) заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья за последние 2—3 года. Представленные документы рассматриваются мандатной комиссией.

§ 6. Допущенные мандатной комиссией подвергаются вступительным испытаниям по русскому языку, математике, историческому материализму, политэкономии и экономполитике, советской конституции, истории, истории ВКП(б) и ленинизму.

Испытания производятся в срок между 1—10 сентября 1928 года.

§ 7. При вступительных испытаниях требуется:

1. По русскому языку и математике—знания в размерах программы для приемных испытаний в вузы.

2. По общественным дисциплинам—основательное знание следующей литературы:

По историческому материализму:

1. Бельтов (Плеханов)—«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». 2. Плеханов—«Основные вопросы марксизма». 3. Бухарин—«Теория исторического материализма». 4. Деборин—«Ленин как мыслитель». 5. Маркс и Энгельс—«Коммунистический манифест» с комментариями Рязанова (в изд. «Библиотечка марксиста»). 6. Ленин—«Маркс, Энгельс и марксизм (изд. и-та Ленина). 7. Энгельс—«Развитие социализма от утопии к науке».

По политической экономии:

1. Каутский—«Экономическое учение К. Маркса». 2. Михалевский—«Курс политической экономии». 3. Ленин—«Империализм как новейший этап капитализма».

По экономполитике:

1. Айхенвальд—«Советская экономика». 2. Ленин—т. XVIII: а) О продналоге (брошюра), б) Доклад о продналоге на всероссийской конференции ВКП(б) 26 мая 1921 г., в) Отчет ЦК ВКП(б) XI с'езду партии, г) О кооперации, д) О Рабкрине, е) «Лучше меньше, да лучше». 3. Доклады по хозяйственным вопросам XIV с'езду, XV партконференции и XV с'езду и резолюции по ним.

По советской конституции:

1. П. Стучка—«Учение о государстве пролетариата и крестьянства и его конституции СССР и РСФСР». Изд. 5-е. М.—Л. 1921 г. 2. Г. Гурвич—«Основы советской конституции». Изд. 5-е. М.—Л. 1926 г.

По истории:

1. Маркс—«Гражданская война во Франции (в изд. «Библиотечка марксиста»). 2. Маркс—«Классовая борьба во Франции в 1848 году». 3. Покровский—«Русская история в самом сжатом очерке». 3 части. 4. Моносов—«История революционных движений». 5. Арк. А—н—«Три типа рабочего движения (об Интернационале). 6. Молох—«Парижская Коммуна».

По истории ВКП(б) и ленинизму:

1. Ленин—а) том VI. «Две тактики», б) том IX. «Аграрная программа с.-д. в русской революции», в) том XIII. «Социализм и война», г) том XIV. «Удержат ли большевики власть», д) том XVIII, ч. 2. «О нашей революции». 2. Попов, Н. Н.—«История ВКП(б) (четвертое издание). 3. Сталин—Из «Вопросов ленинизма»: а) К вопросам ленинизма, б) Об основах ленинизма, в) Политический отчет ЦК XIV с'езду ВКП(б). 4. Сталин—«Еще о с.-д. уклоне в нашей партии» (доклад на VII пленуме ИККИ. 5. Сталин и Коссиор—Отчет ЦК XV с'езду ВКП(б). 6. Бухарин—Доклад на XV с'езде (отчет делегации ВКП(б) в Коминтерне). 7. Резолюции XIV с'езда, XV партконференции и XV с'езда по докладам Сталина и Бухарина. 8. Доклад ЦКК и доклад комиссии по вопросу об оппозиции на XV с'езде и резолюции с'езда по этим докладам.

§ 8. В отношении материального обеспечения слушатели подготовительного отделения приравниваются к слушателям основных отделений ИКП.

РАЗВЕРСТКА
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ НА 1928—29 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Рабфаки:

Московские: им. Бухарина—4, им. Покровского—5, ИНХ—4, МИИТ—2, МВТУ—3, Горной Академии—2, Рог.-Симон.—3, им. Ленина—3, им. Тимирязева—2, Межевого и-та—2, Ломоносовск. ин-та—2, им. Свердлова—3, 1-го Мая—2, Вхутемас—2, ТСХА—3.

Ленинградские: Гос. у-та—4, Электр.-техн.—2, и-та ИПС—2, Полит. и-та—4, Технол. и-та—2, С.-х. и-та—2, и-та им. Герцена—3, Лесного и-та—1, Горного и-та—2.

Провинциальные: Казанский—2, Саратовский—1, Иркутский—1, Донской—2, Уральский—3, Пермский—2, Тульский—2, Тверской—2, Костромской—1, Ив.-Вознесенский—3, Владимирский—2, Ярославский—3, Нижегородский—3. Воронежский—1, Вятский—1, Тамбовский—1, Ульяновский—1, Дальневост.—1, Омский—1, Томский—2, Смоленский—1, Брянский—2, Крымский—1, Тифлисский—1, Бакинский—2, Эриванский—1, Владикавказский—1, Чувашский—1, Ижевский—1.

Парткомитеты:

ЦК ВКП(б)—7, ЦК ВЛКСМ—7, Ленингр. губком—10, МК—13, ЦК КП(б)У—28, ЦК Белоруссии—9, Ср.-Аз. бюро—12, Заккрайком—8, Севкавкрайком—10, Уралобком—9, Сибкрайком—10, Крымобком—2, Немобком—1, Чувобком—1, Якутобком—1, Киробком—1, Башобком—1, Вотобком—1, Калмобком—1, Комиобком—1, Маробком—1, Татобком—2, Бур.-Монг. обком—1, Дагобком—2, Киробком—1, Казакрайком—3. Далькрайком—2, Архангельский губком—1, Астраханский губком—1, Брянский губком—3, Владимирский губком—3, Вологодский губком—1, Воронежский губком—2, Вятский губком—1, Ив.-Вознесенский губком—6, Костромской губком—1, Курский губком—1, Ленинградский губком—10, Орловский губком—1, Оренбургский губком—1, Пензенский губком—1, Рязанский губком—1, Самарский губком—2, Саратовский губком—2, Нижегородский губком—7, Северо-Двинский губком—1, Смоленский губком—1, Сталинградский губком—3, Тамбовский губком—1, Тверской губком—3, Тульский губком—5, Ульяновский губком—2, Ярославский губком—3, ПУР—10.

Комвузы:

КУНМЗ—3, КУТВ—3, Ленинградский—3, Свердловский—5, ТКУ—3, С.-К. К. У.—3, УСКУ—3, САКУ—3, СОКУ—3, АКВ—3, Артемовский—3, Белорусский—3, ЗКУ—3.

К СВЕДЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ В ИНСТИТУТ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ.

В виду недостатка жилой площади в помещениях Института, правление предупреждает всех поступающих в 1928—29 уч. году на основное подготовительное отделение, что:

1) Институт совершенно не может в 1928—29 уч. году взять на себя обеспечение жилой площадью членов семей вновь поступающих и

2) самим же вновь поступающим может предоставлять жилую площадь лишь в порядке общежития (одна комната для 2—3 человек).

Правление Института Красной Профессуры.

Ответственный редактор **А. М. Деборин.**

Редакционная коллегия: **А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. Э. Стэн, А. К. Тимирязев, А. Я. Троицкий.**

Институт К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ПРИСТУПИЛ К ИЗДАНИЮ

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Г.-В.-Ф. ГЕГЕЛЯ

в 15 томах

Издание будет закончено в 1931 г.—
к столетию смерти ГЕГЕЛЯ.

Ежегодно будет выходить 4 тома

ПЛАН ИЗДАНИЯ:

Том I. — **Феноменология духа.**
Том II. — **Энциклопедия философских наук.** Часть I. **Логика.**
Том III. — **Энциклопедия философских наук.** Часть II. **Философия природы.**
Том IV. — **Энциклопедия философских наук.** Часть III. **Философия духа.**
Томы V- VI. — **Наука логики.**
Том VII. — **Философия истории.**
Том VIII. — **Философия права.**
Томы IX—XI. — **Эстетика.**
Томы XII—XIV. — **История философии.**
Том XV. — **Философская пропедевтика. Разные статьи. Библиография сочинений Гегеля и литература о нем.**

Издание будет выходить под редакцией и с предисловием
А. М. ДЕБОРИНА и Д. Б. РЯЗАНОВА.

В течение 1928 г. выйдут т. т. II, V, VII и VIII.

Том II. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, часть I. ЛОГИКА
ВЫЙДЕТ ИЗ ПЕЧАТИ К 1 ИЮЛЯ с. г.

Готовятся к печати т. т. III, VI, IX и XII.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР